РОССИЙСКАЯ АКАДЕМИЯ НАУК
ИНСТИТУТ НАУЧНОЙ ИНФОРМАЦИИ ПО ОБЩЕСТВЕННЫМ НАУКАМ
КАФЕДРА ОБЩЕЙ СОЦИОЛОГИИ
ГОСУДАРСТВЕННОГО УНИВЕРСИТЕТА – ВЫСШЕЙ ШКОЛЫ ЭКОНОМИКИ

СОЦИОЛОГИЧЕСКИЙ ЕЖЕГОДНИК

2009

Москва, 2009

Серия

«Теория и история социологии»

Центр социальных научно-информационных исследований

Отдел социологии и социальной психологии

Кафедра общей социологии ГУ-ВШЭ

РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ:

Н. Е. ПОКРОВСКИЙ – д-р социол. наук, главный редактор; Д.В. ЕФРЕМЕНКО – д-р полит. наук, зам. главного редактора; А. Б. ГОФМАН - д-р социол. наук; В.Г. НИКОЛАЕВ – канд. социол. наук; О. А. СИМОНОВА - канд. социол. наук; Е.В. ЯКИМОВА – канд. филос. наук; О. Н. ЯНИЦКИЙ – д-р. филос. наук.

Социологический ежегодник, 2009: Сб. науч. тр. / РАН. ИНИОН. Центр социал. науч.-информ. исслед. Отд. социологии и социал. психологии; Кафедра общей социологии ГУ-ВШЭ; Ред. и сост. Н.Е. Покровский, Д.В. Ефременко. – М., 2009. – 22 а. л. – 414 с. (Сер.: Теория и история социологии).

ISBN 978-5-248-00516-1

В статьях, обзорах и рефератах анализируются проблемы социальной теории и эмпирических социологических исследований. Среди основных тем – тенденции и перспективы развития социологии как научной дисциплины, символический интеракционизм в начале XXI в., социология эмоций, экосоциология, социологические аспекты виртуальной реальности.

Для социологов и философов, преподавателей, аспирантов и студентов вузов.

Sociological Yearbook, 2009: Ed. by N. Pokrovsky, D. Efremenko. – Moscow: INION RAN, HSE 2009.

In the articles, reviews and abstracts submitted to your attention under analysis are issues of social theory and those of empirical sociological studies. The contributions discuss the tendencies and perspectives of the development of sociology as a scientific discipline, symbolic interactionism at the beginning of the 21st century, sociology of emotions, environmental sociology, sociological aspects of virtual reality.

ББК **© ИНИОН РАН, 2009**

ISBN **© Кафедра общей социологии ГУ-ВШЭ, 2009**

ОГЛАВЛЕНИЕ

СОЦИОЛОГИЯ ЗДЕСЬ И СЕЙЧАС. ПРЕДИСЛОВИЕ. (Н. Е. Покровский)

I. Социология в многообразии тенденций и перспектив

Статьи

А. Б. Гофман. Мода, наука, мировоззрение. О теоретической социологии в России и за ее пределами

А. Р. Морато. Консенсус и споры о культуре в нынешней социологии

В. А. Ядов. К вопросу об адаптивных стратегиях людей в кризисных условиях

О. Н. Яницкий. Теория урбанизации и информационного роста городов 1960-70-х гг. (личная ретроспекция)

Рефераты

А. Турен. Социология после социологии

В. Котеста. От нации-государства к глобальному обществу: изменяющаяся парадигма современной социологии

А. Кайе. Социология как антиутилитаризм

Г. Бонгертс. Социальная практика и поведение – размышления о повороте к практике в социальной теории

II. Символический интеракционизм в начале XXI века

Статьи и обзоры

О. А. Оберемко. Интеракционистская модель формирования идентичности: реконструкция

Е. В. Якимова. Завтрашний день символического интеракционизма

В. Г. Николаев. Значение наследия Ансельма Стросса и «укорененная теория» сегодня

Социологическая классика

Г. Блумер. Социологическая теория в промышленных отношениях

Рефераты

Дж. Баккер. Я как внутренний диалог: Мид, Блумер, Пирс и Уайли

Л. Атенс. Радикальный интеракционизм: раздвигая границы теории Мида

А. Деннис, П. Мартин. Символический интеракционизм и понятие власти

М. Линч, Д. Макконата. Гиперсимволический интеракционизм: прелюдия к обновленной теории символического взаимодействия или всего лишь старое вино?

Ф. Кротц. Теории действия и символический интеракционизм как основа научных исследований коммуникации

III. Социология эмоций

Статьи

О. А. Симонова. Социологическое исследование эмоций в современной американской социологии: концептуальные проблемы

Социологическая классика

Э. Вестермарк. Сущность мести

Рефераты

А. Ньюен, А. Цинк. Классификация эмоций: Онтогенетический подход

К. Теодозиус. Обнаружение эмоций в процессе управления эмоциями

Ш. Дж. Блэкмен. «Скрытая этнография»: Пересекая эмоциональные границы в качественных исследованиях жизни молодежи

Эмоции в социологической инфраструктуре трудноразрешимых социально-политических конфликтов (Сводный реферат)

IV. Виртуальные пространства и социальные сети

Статьи

Н. Е. Покровский. Настоящая – ненастоящая реальность

Рефераты

Т. Набет., К. Рода. Виртуальные социальные пространства: Подходы, практики, перспективы

Д. Балдассари, М. Диани. Интегративная сила гражданских сетей

Д. Старк, В. Паравел. PowerPoint в публичной сфере: Цифровые технологии и новая морфология демонстрации

Х. Кноблаух. Исполнение знания: Показ и знание в презентациях PowerPoint

V. Экосоциология

Статьи

О. Н. Яницкий. Экосоциология: к сравнительному анализу развития дисциплины в Европе и США в XX веке

Д. В. Ефременко. Экосоциальные исследования и анализ эколого-политических дискурсов

Рефераты

Й. Хубер. Экосоциология

Т. Лемке. Природа в социологии. Опыт определения позиции

К. Кремер. Окружающая среда и социальное неравенство

Глобальное потепление как социологическая проблема (Сводный реферат)

IN MEMORIAM: Андрей Григорьевич Здравомыслов (1928-2009)

СВЕДЕНИЯ ОБ АВТОРАХ

АННОТАЦИИ ВЫШЕДШИХ И ГОТОВЯЩИХСЯ К ПУБЛИКАЦИИ ИЗДАНИЙ ПО СОЦИОЛОГИИ

СОЦИОЛОГИЯ ЗДЕСЬ И СЕЙЧАС

Предисловие

Все науки лучше социологии, но прекраснее нет ни одной. Так можно перефразировать слова Аристотеля, сказанные им о древней философии и в каком-то смысле соотносимые с современной социологией. Действительно, в большинстве случаев социология не приносит своим служителям ни славы, ни почета, ни благополучия, но она дарит им нечто иное – веру в себя. Общество – мир, в котором мы все живем, – раскрывает свою неоднозначность и вместе с тем известную внутреннюю предопределенность, в первую очередь, именно перед социологами. А там, где есть видение предмета в его множественных смысловых перспективах, там подчас наступает момент истины, пусть даже и частичной. Но и этого оказывается достаточным для того, чтобы укрепиться в своем выборе профессии и науки.

Кто они, российские социологи, в наши дни? Отличить настоящего социолога от ныне многочисленных и самопровозглашенных не-социологов не столь уж и сложно. Социолог (независимо от первоначального образования) – это тот, кто признает бесконечную сложность общества на всех его уровнях и во всех его проявлениях и, как следствие, невозможность объяснять и решать социальные проблемы в виде шахматной задачки «двухходовки». При этом социолог доказывает, что ни одно социальное действие не затухает бесследно, но, напротив, его последствия концентрическими окружностями расходятся по всем азимутам. В этом смысле, «коснувшись цветка, ты потревожишь и звезду». И наконец, социолог не льнет к власти и «начальству», как бы странно это ни звучало. Социологу нужна свобода научных суждений и объективность диагноза. В противном случае социология может превратиться во что угодно, но только не в науку, связанную с великими традициями классики и современной теорией.

Эти достаточно очевидные принципы во многом еще остаются у нас чисто декларативными. Многие российские социологи признают все это на словах (по крайней мере, они открыто не отрицают этого), но, по сути, по-прежнему воспитывают в себе и других чисто идеологическое видение профессии. А именно подразумевают присутствие «высших» сил и интересов, будь то государство, экономическая и политическая целесообразность момента, «требования рынка», «русская идея» или нечто подобное из данного ряда. Как мне кажется, здесь идет речь не о злой воле тех или иных социологов, а о жгучей потребности в идеологической опоре, ибо собственно научная наполненность подобной социологии оказывается недостаточной или фрагментированной.

Все это имеет непосредственное отношение к преподаванию социологии как научной дисциплины.

Развитие социологического образования в России представляло и представляет собой интереснейший процесс. Это было и есть нечто большее, чем сугубо образовательный компонент российской научной культуры, связанный с внедрением относительно новой учебной дисциплины в достаточно крупных масштабах. Речь идет о принципиально ином, а именно о формировании огромного интеллектуального массива, непосредственно связанного не только с трансформационным видоизменением восприятия мира российским интеллектуальным сообществом в целом, но и о включении (через социологию) новых факторов общественного преобразования. В силу своего особого научно-фундаментального и вместе с тем прикладного характера социология более чем другие социальные, не говоря уже о чисто гуманитарных дисциплинах, привязана к этой преобразующей функции. Именно социология способствует, по меткому определению П. Бергера и Т. Лукмана, «социальноому конструированию реальности». Совершенно очевидно, что

социология осуществляет концентрированное продвижение вперед нашего комплексного понимания социального мира и тем самым создает этот мир в его различных формах и вариантах, показывает новые логические «связки», обладающие устойчивостью и повторяемостью. Эта конструирующая функция социологии обычно не столь очевидна для тех, кто непосредственно не занимается нашей наукой («как это можно создавать нечто из ничего?»). Но, тем не менее, факт остается фактом. В той или иной мере, так или иначе, социология сопричастна активному конструированию реальности.

Двадцатилетие бурного развития социологии в России существенно видоизменило и наше представление о самой социологии. Причем речь идет не только о неком одностороннем векторе отношений: «мы» постигаем социологию, созданную до нас и помимо нас (хотя и это имело и имеет место). Видимо, можно говорить и о том, что дисциплинарные рамки социологии, да впрочем, и ее внутреннее содержание на «выходе» из упомянутого десятилетия несколько иные по сравнению с этими же параметрами на «входе» в двадцатилетие.

Социология меняется на глазах, приобретая в чем-то иные очертания. Поэтому не удивительно, что довольно часто наши зарубежные коллеги (невзирая на нашу несколько кислую реакцию) восхищенно говорят о том, что нам в России выпало великое счастье жить в эпоху перемен, когда все меняется с калейдоскопической скоростью. Но ровно с такой же скоростью, добавим мы от себя, меняются и наши социологические представления об обществе, в котором мы живем. Более того, в течение последних двадцати лет постоянно меняется и внутренняя саморефлексия российского социологического сообщества: мнения о том, что такое социология, чем могут и должны заниматься социологи и каково их место в более широком контексте общественной жизни.

Более чем когда-либо и где-либо процесс экспансии социологического образования приобрел у нас очертания масштабного явления, заслуживающего самого пристального внимания. Поэтому разговор о преподавании социологии видится, прежде всего, не только как обсуждение технологий преподавания и «поддержания на плаву» системы социологического образования в целом и ее отдельных ее частей, но и как попытка осмыслить некие новые параметры и функции «социологического процесса».

Конец 1980-х – начало 1990-х годов войдут в историю российской социологии как эпоха Большой Растерянности и Больших Ожиданий. В одночасье было подорвано доверие к марксистским схемам, десятилетиями определявшим развитие обществознания в Советском Союзе. Причем, как это сейчас достаточно ясно, протест вызывал именно идеологизированный марксизм, превратившийся в прежние десятилетия в закоснелый канон, лишенный жизни. Что касается классического марксизма с его гениальной теорией капитализма, то только сейчас, в наши дни он «порастает» в наших учебных программах и научных публикациях в своем оригинальном свете. Как бы то ни было, в конце 1980-х годов на руинах советского марксизма стала стремительно возникать социология, которая, по логике развития событий, была призвана заполнить образовавшийся вакуум в структурах обществоведческого преподавания, а также в исследовательских стратегиях.

Здесь, однако, как сейчас это стало очевидным, заключалась одна опасность. Состояла она в том, что массовое внедрение социологии в преподавание не основывалось и не могло основываться по ряду объективных причин на коренной трансформации того научно-преподавательского сообщества, которое единственно и могло это преподавание осуществлять на десятках и десятках вузовских кафедр открытых по всей нашей стране. Иначе говоря, в большинстве случаев за преподавание социологии взялись те, кто

вышли совсем из другой «шинели», после упразднения марксизма-ленинизма они остались без работы, но хотели жить и при этом вовсе не намеревались менять свои прежние установки. С другой стороны, в социологию хлынул поток инженерных кадров – выпускников инженерных и естественнонаучных вузов, также потерявших перспективу в своей базовой специальности, но вдруг обретших «видение» социальной реальности при почти полном отсутствии гуманитарной окраски этого видения. Общество было и остается для многих из них лишь полем математического моделирования и инженерного манипулирования.

В этом смысле массовость социологии сыграла с ней злую шутку. Иногда кажется, что было бы гораздо лучше, если бы социология не превратилась в России в расхожий предмет преподавания, а осталась сугубо академической дисциплиной для узкого круга специалистов.

Однако вернемся к рубежу 1980–1990-х годов. Именно тогда и возникло *Большое Ожидание* в отношении будущего российской социологии. Суть его состояла в том, что немногочисленные тогда профессиональные социологи, прошедшие закалку советскими временами, и более широкие круги обществоведов надеялись на то, что объективно возникшая потребность в социологии решительно и необратимо объединит российское социологическое «поле» с международным и сделает российских социологов (в том числе и преподавателей социологии) частью мирового академического сообщества. Этот обнадеживающий взгляд на будущее, но несколько в своем варианте разделяли и наши зарубежные коллеги, полагая, что российским обществоведам недостает лишь света истины в виде учебников, методических материалов, знакомства с практикой преподавания на Западе и т.д. И как только этот свет прольется, думали они, все остальное свершится само собой.

Поначалу события, казалось, именно так и развивались. По всей стране стало стремительно множиться число социологических кафедр и факультетов, профессиональных социологических ассоциаций, журналов, издательств и пр. Социология стала не только весьма распространенной, но чуть ли и не самой модной наукой. Последнее означало то, что многие государственные, политические и экономические организации и институции (например банки и промышленные группы) стали считать необходимым иметь свои собственные социологические подразделения. Социологические данные (правда, весьма специфически препарированные) зазвучали по телевидению и в других средствах массовой информации. Социология стала непременной частью многочисленных отделов по кадровой работе, избирательных кампаний, маркетологических исследований, программ PR и рекламы.

Однако данный процесс, обозначивший себя на рубеже 1980–1990-х годов и особенно развившийся в середине 1990-х годов, обладал своей внутренней логикой, далеко не всегда совпадавшей с Большим Ожиданием. В чем же возникли эти несовпадения и обманутые надежды?

Прежде всего, экстенсивная экспансия социологии на «территории» российского интеллектуального сообщества оказалась отнюдь не столь линейной, как это первоначально предполагалось.

С одной стороны, далеко не все российские социологи, группы социологов и социологические центры захотели и по объективным обстоятельствам смогли легко и безболезненно влиться в систему международной социологии. Для этого, как минимум, требовались внутренний динамизм и дисциплина, умение энергично осваивать большие массивы новой информации и новой научной литературы, адаптироваться к новым методам преподавания и управления социологическими организациями, раннее доступным в России лишь немногим. Не следует упускать из виду и такую сугубо «техническую» проблему как

роковой барьер активного знания иностранных языков – своеобразная каинова печать, тяготеющая и до сих пор над всеми попытками прорубить большое окно в социологическую Европу и Америку. (Отсюда и затрудненность полноценного общения с коллегами на Западе, боязнь Интернета и другие негативные последствия, включая нередкие элементы ксенофобии в российской науке.)

С другой стороны, и западные социологи в своем большинстве, как мне видится, пребывали в плену утопических иллюзий, полагая, что реформирование российской социологии возможно чуть ли не *overnight* (впрочем, эта иллюзия была свойственна практически всем нашим западным контрпартнерам и в других сферах сотрудничества). Западные социологи недооценили сложность и «многослойность» российского интеллектуального сообщества, обладающего не только прогрессистским, но ретроградным вектором. Оставались без специального внимания и культурные различия («матрицы»), присущие российскому обществу, в частности своеобразные культурные дистанции между столицами и периферией, боязнь власти, инерция традиции и т.д. Причем в столицах и регионах «химические реакции» в области интеллектуального труда по объективным обстоятельствам по-прежнему протекают с различной интенсивностью и по несколько отличным схемам.

За последнее двадцатилетие социологические кафедры и факультеты региональных университетов, а равно и отдельные социологи получили весьма большие возможности для творческого роста. Более того, с середины 1990-х годов принадлежность к региональной социологической школе стала давать определенные и немалые преимущества в сравнении со школами столичными. Это касается финансирования всех форм академической деятельности за счет научных фондов, поездок на международные конференции, обмена студентами и др. Москва и Петербург во многом перестали быть социологическими

столицами в старом, советском смысле слова. Само по себе это было замечательно, ибо создавало сетевую структуру развития социологии по всей стране, когда любая региональная ячейка социологической структуры в перспективе выравнивалась в своих возможностях с традиционными, столичными. Однако эти возможности отнюдь не гарантировали развития тенденции в автоматическом режиме. Требовалась творческая воля со стороны самих социологов. Хотя можно приводить отдельные яркие примеры, свидетельствующие о появлении новых имен и новых программ в социологии, в целом региональные социологические центры раскрывали свои возможности далеко не всегда и далеко не везде. Причины? Их немало. Среди прочих – неразвитость рынка профессионального труда в российских регионах. Даже в большом университетском городе социолог практически «приписан» к своему университету или институту. По-прежнему существует система скрытых внеэкономических зависимостей. Проще говоря, это невозможность найти другое равноценное и, тем более, лучшее место работы в случае, если в этом возникает внутренняя необходимость. Даже в Москве и Петербурге социологическое сообщество достаточно немногочисленно и замкнуто. В малом же городе социологов просто наперечет. К тому же динамика географической мобильности среди социологов по-прежнему весьма невелика, быть может, даже в чем-то ниже, чем в советские времена, учитывая материальные сложности переездов и пр. Поэтому социолог в региональном университете, как представляется, вынужденно живет с оглядкой на соседа или начальство (хотя бы и с точки зрения научных публикаций или защиты диссертаций, не говоря уже о большем), а это, согласимся, ограничивает творческий рост, что бы по этому поводу ни говорили. В итоге российские социологи в регионах с большим трудом преодолевают некую герметичность своего положения. Номинальная и

потенциальная свобода их творчества и саморазвития в реальности свободой оказывается далеко не всегда.

В итоге сложилась весьма запутанная, но и столь же интересная картина, сама по себе заслуживающая пристального исследовательского внимания. *Великое Ожидание* оправдалось лишь частично. На «выходе» обнаружил себя весьма своеобразный исторический «продукт». Соотношение мыслимого (воображаемого) и сущего (реального) в развитии социологии в России схематично можно было бы представить следующим образом.

Экстенсивный линейный рост всех параметров социальных структур социологии в России (прежде всего образовательных структур и прикладных программ, а также социологических инфраструктур). Социологии «много» и «везде», что становится сильнейшим аргументом в пользу некритически оптимистической оценки происходящего в данной профессиональной сфере.

Единое поле российской и международной социологии, соответствующее общему глобализационному процессу, на сегодняшний день не сложилось, а глубинная смысловая интеграция в этой области носит довольно фрагментированный характер. Более того, сейчас все явственнее можно отмечать возвратную тенденцию, а именно стремление больших групп социологов, представляющих социологические центры (прежде всего образовательные), создать свою «российскую» социологию, опирающуюся на «свою особую традицию» и т.д.

Общая атомизация или фрагментация социологического поля в России, несмотря на внешние признаки консолидации. (Например, Российские конгрессы социологии периода 2000–2009 годов показали, что российская социология пока еще не сложилась в рамках интегрированного сообщества). По сути, каждый центр ведет свою линию и реализует свое понимание социологического образования, как, впрочем, и самой социологии. Это

выражается в отсутствии единых или даже близких учебных программ и учебных планов, в наличии на рынке учебной литературы массы несогласующихся по базовым принципам учебников социологии, в нежелании активно поддерживать общенациональные социологические ассоциации и др.

Социологическая культура в российском интеллектуальном сообществе формируется крайне медленно, что контрастирует с повсеместным присутствием социологии в ее различных номинальных ипостасях. Даже люди, профессионально занимающиеся социологией, нередко видят в ней некую туманную дисциплину, «обсуждающую» общество «вообще». В таком случае практически любое суждение об обществе (тем более глубокомысленное) воспринимается как «социологическое». Подобная *парасоциология*, подчас включающая в себя совершенно ненаучные компоненты (скажем, религиозно-идеологические), замещает или, скорее, вытесняет еще не оперившуюся научную социологию. Это еще больше отдаляет российское социологическое сообщество от мирового.

На этом фоне в российской социологии возник такой весьма опасный феномен, как бонапартизм. Каждое, сколь угодно малое звено в социологической структуре (кафедра, факультет или отдельный социолог) считает возможным устанавливать свои стандарты социологического образования (хотя формально, быть может, и делаются реверансы в сторону утвержденных Министерством образования стандартов). Бонапартизм в данном контексте означает позицию «я так вижу и все». Особая научная нескромность фактически стала нормой. Ложно понимаемая свобода научных исследований и преподавания, лишенная внутренней приверженности профессиональным стандартам, превратилась в господствующий фактор. На практике это означает, что для выражения своего Я в социологии вовсе не обязательно иметь большой опыт, публикации, признание со стороны российского и международного

профессионального сообщества. Наличие финансовых средств, определенных связей на местном или федеральном уровне и большой деловой энергии обеспечивают «успех» практически любому самопровозглашенному социологу.

Объективно на социологическом поле возникло жестокое столкновение нескольких факторов: а) тенденции плюрализации, б) отсутствие глубокой социологической культуры, в) невыраженность профессиональной корпоративности. Как правило, бонапартизм в социологии обосновывает игнорирование требований международной социологии и уход в свою «своеобычность». (Существенно реже можно столкнуться с бонапартизмом и в виде сектантского западничества, когда тот или иной специалист, прошедший огранку на Западе, нарочито и с сектантской исступленностью противопоставляет себя «неразвитому» окружению, особенно в условиях регионального университета.)

Указанные процессы, возможно, имеют естественный и переходный характер (но, возможно, и нет). Но в любом случае этот процесс требует аналитической оценки и последующей терапии. Исходной позицией для осуществления терапевтических мер можно считать, прежде всего, установление смысловых стандартов в трактовке социологии и, соответственно, социологического образования.

Все обсуждаемые проблемы российской социологии и ее преподавания, как в зеркале, отразились в издательской деятельности. Книжный рынок, в отличие от преподавательского «поля», обладает чертами большей конкретности, осязаемости. Книга – это в любом случае документ, который можно рассматривать с различных сторон.

Если достаточно методично посещать соответствующие книжные магазины, выставляющие книги по социологии, можно отметить две ведущие тенденции. Во-первых, это экстенсивный рост числа изданий. Учебной

литературы становится больше и больше. Во-вторых, наряду с ростом числа изданий обнаруживает себя и нарастание хаотичности этого процесса. Во всяком случае, рынок социологической литературы не обнаруживает склонности к саморегуляции, чего теоретически от него ожидали.

Каждый ВУЗ, каждая более или менее институализировавшая себя кафедра социологии стремится создать и быстрее напечатать свой собственный учебник социологии. В противном случае репутация кафедры будет страдать, мол, что за кафедра социологии, если у нее нет своего учебника. Учебники сплошь и рядом пишут авторы, познакомившиеся с социологией чуть ли не накануне. Их имена не фигурируют в анналах профессиональных сообществ и не известны специалистам. Весьма часто беря в руки очередной учебник социологии, профессиональные социологи недоуменно смотрят друг на друга: «Вы знаете, кто это?» – «Первый раз вижу это имя».

Для авторов теперь нет никаких ни внутренних, ни внешних сдерживающих механизмов. В большинстве случаев все зависит только от умения организовать свое время и природной продуктивности, порой не имеющей ничего общего с профессионализмом, а также от способности найти финансирование для публикации. Косвенным образом и издательства поощряют этот непрофессионализм, без разбора обращаясь к любым авторам лишь бы только они выдерживали временные рамки и хотя бы отчасти работали в поле социологии. Объективное экспертное рецензирование практически умерло как жанр научного творчества. Рецензии либо носят формальный и договорный характер, либо их вообще не заказывают. «Самопроизвольность» создания и «проталкивания» своей учебной продукции на рынок социологической литературы стала нормой.

С позиций читателей социологический книжный рынок также выглядит весьма хаотично. Студенты (и отчасти преподаватели) полностью

дезориентированы обилием изданий учебной литературы по социологии. Поэтому даже в ведущих столичных вузах на семинарских занятиях по социологии можно видеть самые экзотические учебники, абсолютно не соответствующие качественным стандартам. Книжные лавки (иной термин подчас не приходит в голову) не ведут никакой разъяснительной и просветительской работы, сбывая в больших количествах социологическую низкопробщину, лишь бы был оборот. В конце концов, и книготорговлю можно понять. В наших современных условиях она вовсе не предназначена для просветительства, а борется за свое экономическое выживание. Студенты же – главный потребитель учебной литературы – всеми доступными методами стремятся уклониться от приобретения рекомендуемых учебников (весьма не дешевых), предпочитая делать ксероксы отдельных глав, «скачивая» примитивные рефераты через Интернет, либо просто сдавать экзамены без чтения учебников.

В этой связи особого упоминания заслуживают Интернет-сайты по социологии. Число их растет. И многие стали полагать, что все проблемы распространения социологической информации могут и должны быть решены посредством Интернета. При этом упускались из внимания важные обстоятельства. Свобода открытия и наполнения Интернет-сайтов неизбежно влечет за собой и падение качества материалов, размещаемых на этих сайтах. Интернетизация имеет своей обратной стороной некую произвольность, необязательность, вторичность по части содержания. Другое обстоятельство состоит в том, что создание качественного Интернет – портала ничуть не менее трудоемкое и финансово затратное дело, чем, скажем, открытие издательства или запуск на орбиту профессионального журнала. Поэтому на сегодняшний день большинство социологических сайтов, не считая лучших, представляют собой какие-то гибридные формы, составленные из самых разноплановых

информационных блоков, рекламы, студенческого «стеба», социологической литературщины и пр. Эта гибридность, в каком-то смысле уже и неотделимая от Интернета как такового, становится серьезным препятствием на пути его полноценного использования в качестве учебного ресурса.

Другой «оргвопрос» тесно связан с борьбой вокруг министерского стандарта по социологии. Стандарт по преподаванию социологии превратился в некий мистический фантом нашего профессионального сообщества. Эти стандарты в их старых, новых и даже еще не родившихся вариантах априорно ругают все, кроме тех, кто их написал и одобрил. Обсуждение стандарта стало наиболее излюбленной темой дискуссий на любом собрании социологов вне зависимости от первоначальной темы. Ни в одной другой стране с развитым социологическим образованием такого не наблюдается и не о каких государственных стандартах речи не идет. Там эти стандарты целиком устанавливаются профессиональным сообществом в виде различного рода конкурсов студентов и аспирантов, выделения лучших учебных программ и учебников, приглашения на национальные социологические форумы и т.д. Все эти формы по внешнему ходу не имеют силы обязательных предписаний, но влияние профессиональной корпоративности таково, что ни один активно действующий социолог не может их проигнорировать.

Что касается России, то причина столь болезненного внимания к нашему госстандарту по социологии видится в том, что при отсутствии длительных традиций в преподавании социологии и единых для всего научного сообщества представлений о том, что такое социология (а также высокоразвитой социологической культуры), одни кафедры и факультеты во что бы то ни стало стремятся опереться на формальный стандарт (в данном случае министерский), видя в нем священную «Книгу Бытия», другие же давно переросли его требования и потому смотрят на него свысока.

Именно профессиональное социологическое сообщество, как в лице его организаций, так и в самом широком плане могло бы согласовать общие смысловые принципы преподавания социологии и сделать их, если угодно, «мягким стандартом», то есть формально не обязательным, но по умолчанию проводящим границу между профессиональной социологией, с одной стороны, и любыми формами *парасоциологии*, с другой. Увы, без того чтобы конструктивно размежеваться с *парасоциологией*, нам никогда не соединиться на базе науки.

В чем же состоит эта невидимая граница? В начале данной статьи уже обсуждалась основополагающая проблема признания огромной сложности социальных систем и независимости социологии от внешнего идеологизированного влияния в любых его формах. Это составляет необходимую предпосылку. Однако далее идут не менее важные, но более специальные критерии. В частности, **признание принципа социологического мышления (или социологического воображения, по Ч.Р. Миллсу), согласно которому социолог должен мыслить в категориях, анализирующих явления, устойчивые по своей структуре и повторяющиеся во времени.** В приземленной практике преподавания это означает постоянное тестирование любых явлений социальной реальности в ходе ответа на вопросы: *что* происходит? (выделение факта); *как часто* это происходит? (повторяемость); *как* это происходит? (механизм осуществления функции); *кому* это нужно? (задействованные интересы и группы); *что произойдет* в будущем? (развитие тенденции).

Как не странно, эти «детские» вопросы (кстати сказать, на них быстро отвечают именно старшие школьники в ходе довузовских форм социологического образования) обладают большой селективной силой. Для многих «взрослых» социологов неведомы такие, по видимости, простые

постановки социологического анализа. Это есть не что иное, как активизация социологического воображения и, соответственно, формирование социологического мышления и социологической культуры. Многие социологи по-прежнему не мыслят в категориях социологических тенденций, и потому любая дискуссия с их участием чуть ли не с порога перерастает в обсуждение частностей, отдельных примеров и субъективных оценок («*я так вижу, тем я и интересен*»). В итоге все сводится к некому нерасчлененному обмену мнениями в печати или на конференциях, в котором может быть немало ярких суждений, но собственно социологическое содержание в его сухом научном остатке отсутствует.

Текущий, 2009-й, год и предшествующий, 2008-й, были отмечены тяжким дыханием общеэкономического кризиса в России и остальном мире. Это сполна коснулось и социологии. Специалисты обсуждают в дискуссионной форме особенности этого процесса и его предполагаемую продолжительность. Однако все эти дискуссии с неизбежностью ставят вопрос о состоянии самого экспертного сообщества, в котором социология играет или должна играть роль одной из первых скрипок. Ведь социология в силу своей научной природы, объединяет все другие экспертные оценки ситуации, сводит их воедино и проецирует на жизнь общества и отдельного человека. Это наука о людях и для людей.

Что происходит в современной российской социологии? В какой мере она сама оказалась под воздействием волн кризиса?

За последние полгода, следуя синхронно ритмам кризиса, сократился спрос на социологический компонент в маркетинговых исследованиях, рекламе, программах связей с общественностью и управления персоналом. Эти и некоторые другие высоко коммерциализированные сегменты социологии отреагировали на кризис в первую очередь и наиболее очевидным образом. Но,

мы знаем, социология вовсе не сводится именно к этим областям исследований. Она несравненно шире и глубже в своей общей теории и многочисленных дисциплинарных направлениях. По подсчетам Международной социологической ассоциации их не менее 120. Что же происходит в отношениях российской социологии и кризисного социума сегодня?

Не касаясь деталей, можно констатировать, что российское общество и государство, находясь в условиях сильного экономического прессинга, заметно утратило интерес к социологическим данным и их анализу. И это очень тревожный симптом подобный тому, когда серьезно больной пациент отказывается от медицинской госпитализации, полагаясь на народные средства и «заговоры» шаманов. А ведь общество наше находится отнюдь не в лучшей, а подчас и кризисной своей форме – об этом свидетельствует его комплексный и специализированный социологический диагноз по основным жизненным показателям.

Социология не может себя насильно предлагать и, тем более, «продавать». И поэтому социологи с сожалением констатируют, что заметное дистанцирование общества и государства от научной экспертизы не может способствовать выходу на правильную дорогу. Этот путь в будущее не прокладывается в режиме ручного управления методом проб и ошибок и с опорой лишь на интуицию и предшествующий опыт. Здесь нужна наисовременнейшая социальная наука в своих лучших достижениях, притом, чем больше, тем лучше. Ведь не секрет, что в управленческих решениях любого уровня ровно столько разумности и обоснованности, сколько в них научного социального анализа. Иными словами, востребованность социологии – важнейший признак интеллекта и культуры во всех их проявлениях.

В этих условиях особенно важно сохранить научную чистоту и эффективность социологии, не разрешить ученым-социологам поколебаться в

своей приверженности принципам науки. А основания для нестойкости имеются.

Немалые группы социологов и представляемые ими научные и учебные институции, видя наступивший кризис, решили сменить роль аналитиков и ученых на роль общественных идеологов или своеобразных «проводников», которые точно знают, «как надо» выводить Россию из создавшегося положения. Под вывеской социологии, вместо углубленного и фундаментального фактического анализа текущего процесса, создаются фантастические картины геополитических раскладов в современном мире, «научно» оформляются мифы об особом историческом мессианстве, которое-де решит все проблемы настоящего и будущего, наука непосредственно сводится к политическим заклинаниям, дирижистским целеуказаниям и проповедям, в которых слова «надо» и «должно» вытесняют словосочетание «реальное положение дел». Сон социологического разума, сочетающийся с повышенным политическим активизмом, порождает многочисленные фантасмагории. Все это не имеет отношения к научной социологии и лишь использует имя этой науки для оформления какого-то иного вида деятельности.

Наряду с этим научная социология испытывает давление иного рода. Видя, что общество теряет интерес к современной социальной теории и социологическому анализу, многие социологи, притом весьма одаренные, молодые и хорошо образованные, словно «обиделись» на общество за отсутствие взаимности и ушли в себя. Российская действительность видится им вульгарной, неинтересной и не заслуживающей внимания настоящих ученых. Разочаровавшиеся социологи принялись конструировать причудливые замки абстрактной мысли, превращая свою науку в некую сугубо виртуальную сферу без окон и дверей – в «коробочку». Так возникает социология без общества, без людей и без дыхания современной истории, но с бесконечной схоластикой

расщепления категорий и конструированием новых миров на кончике иглы. При этом все затуманивается нарочитой усложненностью языка, ибо ясная речь отвергается как таковая. Одновременно в ход пошли уже некоторые достаточно устаревшие идеи социологии XX века, а равно и посмодернистский и деконструктивистский инструментарий, тоже порядком потускневший от времени, но получивший свое второе дыхание в российском кризисном социуме по причине отсутствия собственных, не эпигонских, теоретических новаций. Это ведет к отрицанию одной из самых фундаментальных истин: даже самая обобщенная социальная теория может считаться научной только тогда, когда она в каждый момент и в каждом своем логическом звене обнаруживает возможность быть проиллюстрированной и подтвержденной фактами, тенденциями, видением повседневно развивающейся реальности, эмпирическими исследованиями. И никак иначе. В противном случае социология превращается в сектантскую деятельность катакомбного типа, в чем-то притягательную для схоластически ориентированных умов, но начисто лишенную именно социологического компонента. Аксиома состоит в том, что социологии вне постоянного и каждодневного диалога с обществом быть не может. Формальные задачи в социологическом дискурсе ни при каких обстоятельств не могут заслонять целей анализа и интерпретации живого социального процесса.

В этих условиях особо важно сохранить установку на *научность* и *чувство реальности*. Социология может сохранить себя и вновь выйти в поле социального творчества только в качестве независимой экспертной науки, уважающей себя и вызывающей уважение других, опирающейся на традиции национальной культуры, но при этом живущей одной интеллектуальной жизнью с международной социологий Запада и Востока, Севера и Юга. Это

гарантирует ей востребованность в будущем в России и остальном мире. Там, где сообщества «встают с колен», там расцветает и социология. И наоборот.

Предлагаемый читателям «Социологический ежегодник» совершенно неслучайно заимствует название знаменитого периодического издания Эмиля Дюркгейма. Не претендуя на лавры великого классика, авторы данного издания ставят перед собой задачу в меру своих сил осуществлять *социологический теоретический анализ текущей реальности*. Для авторов предлагаемого издания социология существует «здесь и теперь», но одновременно она поднимается на высоту теоретического осмысления. Насколько выполнима эта задача? Это во многом зависит и от активности читательской аудитории ежегодника. Приглашаем к сотрудничеству.

Н.Е. Покровский, главный редактор

I. ОСНОВНЫЕ ТЕНДЕНЦИИ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ СОЦИОЛОГИИ КАК НАУЧНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

Статьи

А.Б. Гофман

МОДА, НАУКА, МИРОВОЗЗРЕНИЕ: О ТЕОРЕТИЧЕСКОЙ СОЦИОЛОГИИ В РОССИИ И ЗА ЕЕ ПРЕДЕЛАМИ[1]

О модах в современной теоретической социологии

Как известно, мода действует в науке, так же как и во многих других областях культуры. Это относится даже к естественным наукам, не говоря уже об общественных и гуманитарных. Данный факт хотя и не всегда очевиден, но в общем не вызывает сомнений. Другое дело – вопрос об отнесении тех или иных конкретных явлений науки к моде: что следует относить к моде, а что нет? Здесь, конечно, точки зрения гораздо более разнообразны и противоречивы. И это неудивительно, так как мода всегда и везде, в том числе и в одежде, идет рука об руку и переплетается с другими, внемодными, факторами. Ясно также, что приписывание модного характера тем или иным научным идеям или высказываниям чаще всего воспринимается как оскорбление и отвергается их

[1] В статье частично использованы материалы некоторых предыдущих работ автора. См.: Социология и гражданская религия в современной России // Социология и современная Россия / Под ред. А.Б. Гофмана. – М.: ГУ-ВШЭ, 2003. – С. 84–107; Теоретическая социология в России: Возможности и перспективы развития / Резник Ю.М., Тощенко Ж.Т., Гофман А.Б., Москвичев Л.Н., Щербина В.В., Перепелкин Л.С. // Личность. Культура. Общество. – М., 2007. – Т. 9, вып. 4. – С. 112–129; Социология как мировоззрение и российское общество сегодня: Доклад на III Всероссийском социологическом конгрессе. – Москва, 21–24 октября 2008 г.: Сессия 1. Проблемы теории в мировой и российской социологии. – Режим доступа: http://www.isras.ru/abstract_bank/1208174977.pdf

авторами или теми, кому эти идеи и высказывания почему-либо дороги. То же самое относится, скажем, к искусству и литературе. Заметим, что по существу заблуждаются и те, кто рассчитывает оскорбить кого-либо констатацией модности чего-либо, и те, кто оскорбляется подобной констатацией.

Как и в других областях культуры, присутствие и влияние моды в науке невозможно оценивать однозначно, негативно или позитивно. Мода в науке, как и в искусстве, может, хотя и не обязательно, играть вполне позитивную роль и стимулировать ее развитие. Многие выдающиеся явления в науке и в искусстве начинались как моды, становились модами или были в моде, но это не помешало им стать классическими и остаться в них на века. В моде при жизни их создателей были произведения Пушкина, теория относительности Эйнштейна, психоанализ Фрейда, философия Бергсона, кибернетика и т.д., не говоря уже о более «легких» жанрах с их собственной классикой. Сегодня никто уже не квалифицирует эти творения как «моды», хотя в свое время они наделялись модными значениями. В общем, будущее, когда оно становится прошлым и настоящим, обнаруживает, *что* было *только* модой, а *что* – еще и фундаментальным или даже выдающимся культурным творением, которое надолго остается в актуальном интеллектуальном обращении или к которому постоянно возвращаются.

Социология, на мой взгляд, по причинам, заслуживающим специального рассмотрения, относится к числу научных дисциплин, особенно подверженных влиянию моды. Это касается как социологии вообще, так и того, что находится «внутри» нее: теорий, понятий, методов, проблематики и т.д. Как и в любых других областях, в которых присутствует мода, мы обнаруживаем здесь весь набор атрибутивных ценностей моды, к которым относятся ценности

современности, универсальности, игры и демонстративности.[1] Модными значениями наделяются самые различные явления данной науки, как устойчивые, так и мимолетные, как «позитивные», так и «негативные» с точки зрения ее развития. Некоторые превращаются в более или менее устойчивые тенденции, другие быстро исчезают. Некоторые из них имеют глобальное распространение, другие ограничены социологическим пространством отдельных стран, в том числе России. Социология как таковая в прошлом бывала в моде, чего нельзя сказать о нынешнем времени. Тем не менее, *внутри* самой социологии мода, на мой взгляд, сегодня существует и присутствует весьма зримо и активно. Складывается даже впечатление, что чем меньше мода *на социологию,* тем больше мод *внутри социологии*. Остановлюсь на нескольких таких теоретико-социологических модах, выступающих либо раздельно, либо в различных комбинациях друг с другом.

1. Туманность, расплывчатость и противоречивость теоретических конструкций.

Это мода почти мирового масштаба. В последние годы невнятность и расплывчатость теоретических построений стали восприниматься как синонимы глубины и признаки хорошего вкуса в социологии. Можно сформулировать своего рода закон: *чем более туманна, невнятна и противоречива социологическая (или называющая себя таковой) теория, тем больше у нее шансов стать популярной в научном сообществе.*[2]

Отчасти такая тенденция объясняется различным престижем, приписываемым определенным занятиям и интеллектуальным ролям в

---

[1] Об атрибутивных ценностях моды см.: Гофман А.Б. Мода и люди: Новая теория моды и модного поведения. – 3-е изд. – СПб.: Питер, 2004. – С. 17–18, 21–31.

[2] Ранее мне приходилось уже высказываться об этом. См.: Gofman A. A vague but suggestive concept: The «total social fact» // Marcel Mauss: A centenary tribute / Ed. by W. James and N.J. Allen. – N.Y.; Oxford: Berghahn, 1998. – P. 63–65.

профессии социолога. Попробуем осуществить следующий мысленный эксперимент. Представим себе некую социологическую теорию, которая будет вполне объясняющей, непротиворечивой, ясной, убедительной и т.п., в общем, «хорошую» теорию. Что тогда делать другим специалистам? Очевидно, им остается лишь принять эту теорию и популяризировать ее или же подтверждать ее своими собственными исследованиями, в крайнем случае добавляя к ней еще кое-что. Ни в научном сообществе, ни у широкой публики такого рода занятия не пользуются большим уважением. Правда, можно попытаться опровергнуть эту теорию, что могло бы обеспечить некоторый успех, но все равно такой род занятий будет носить вторичный и не очень престижный характер.

А теперь представим себе другую теорию: состоящую из туманных, расплывчатых идей и намеков, многозначную, противоречивую, незавершенную и т.п. В этом случае у других аналитиков появляется чудесная возможность для самовыражения, для упражнения своих аналитических и интерпретативных способностей и даже, в процессе интерпретации данной теории, для продвижения своих собственных взглядов. Интерпретаций может быть много, они могут носить разнообразный и взаимоисключающий характер. Одни аналитики могут утверждать, что автор имел в виду одно, другие – другое. Разворачиваются оживленные дискуссии, и все, что называется, на виду и при деле. Дебатируемая теория в содержательном отношении может быть разной, «плохой» или «хорошей». Она может содержать выдающиеся, интересные и плодотворные идеи, она может играть в высшей степени стимулирующую роль, но ее успех во многом бывает связан именно с ее расплывчатостью, туманностью, многозначностью, незавершенностью, иными словами, теми ее чертами, которые дают простор для любых истолкований, выдвижения и продвижения любых идей, милых сердцу интерпретатора, пропагандиста или

критика подобной теории. Особенно значительным такой успех бывает в сочетании с эпатажем и политической ангажированностью.

Классическим примером последнего рода может служить судьба такой выдающейся теории, как марксизм. Известно, что значительная часть интерпретаций Маркса основана на его неоконченных трудах (включая «Капитал»), на фрагментарных рукописях, письмах, а иногда даже черновиках писем. Маркс не опубликовал никакого обобщающего труда, подобного шеститомному «Курсу позитивной философии» Огюста Конта или десятитомной «Системе синтетической философии» Герберта Спенсера, хотя планировал это сделать. Многие главные понятия теории Маркса чрезвычайно туманны и расплывчаты. Несмотря на все эти особенности его творчества, а точнее, благодаря им, марксизм стал одной из самых влиятельных социальных теорий XX века, а марксистская и марксологическая литература по масштабу сравнима разве что с библеистикой и богословской экзегетикой. На сегодняшний день существует огромное множество самых разнообразных интерпретаций Маркса, или марксизмов: близких друг другу и взаимоисключающих; вульгарных, тонких и изысканных; глубоких и поверхностных; более и менее радикальных в политическом отношении; стремящихся базироваться на его текстах или далеко отошедших от них. Значительное число экзегетов стремились и стремятся открыть «подлинного» Маркса. Другие, наоборот, решив, очевидно, что это бесполезно, исполняют своего рода «вариации на тему» Маркса, не обращая на его собственные тексты особого внимания. Нередко то, что сегодня называется марксистской теорией, означает по сути лишь то, что Маркс «мог бы» в принципе так думать и высказываться.

Во избежание неверного истолкования предыдущего, необходимо внести несколько уточнений. Отмеченная мода – отнюдь не то же самое, что сложность

и специальный характер научного языка как такового, который, разумеется, не может и не должен быть понятен кому угодно. Я не утверждаю, что чрезвычайная популярность теории Маркса вызвана *только* многозначностью, фрагментарностью и незавершенностью его творчества. Я хочу лишь подчеркнуть, что эти черты, наряду с другими, отчасти объясняют успех марксизма, а также возвращающуюся время от времени в большем или меньшем масштабе моду на него, возникшую еще при жизни автора. В связи с этим, сегодня многие социологические и политические идеи, не имеющие к Марксу никакого отношения, нередко приписываются именно ему. Нечто подобное мы наблюдаем и с веберианством: творчество Вебера, на мой взгляд, сходно в данном отношении с творчеством его выдающегося соотечественника. Тем более отмеченная мода присутствует во многих нынешних теориях «постмодернизма», придающего невнятности, туманности и расплывчатости теоретических построений, а также размыванию границ между научным и вненаучным познанием, программное и принципиальное значение.

У некоторых социологов-теоретиков прошлого и настоящего отмеченная туманность носит непреднамеренный характер. Но в последние годы, именно вследствие своей модности, она нередко является результатом специальных усилий и стараний теоретиков, сознательно стремящихся сделать свои конструкции как можно более невнятными и не поддающимися интерпретации.

2. *Мода на критику «позитивизма» в социологии и его громогласное опровержение.*

Эта мода тесно связана с предыдущей и носит достаточно устойчивый характер, иногда уходя в тень, но время от времени актуализируясь и возвращаясь в сферу теоретико-социологического знания.[1] При этом

[1] Об этой тенденции мне также приходилось ранее высказываться. См., в частности: Гофман А.Б. История социологии и история социальной мысли:

«позитивизм» давно уже превратился в своего рода Протея, принимающего самые разные обличья, так что идентифицировать его уже практически невозможно, и непонятно, о чем, собственно, идет речь, когда он решительно и беспрестанно отвергается. К настоящему времени мы встречаем множество самых разных «позитивизмов», нередко исключающих друг друга, иногда реальных, иногда придуманных их критиками. Единственное, что объединяет к настоящему времени различные версии «позитивизма», – это, пожалуй, то, что он стал бранным словом. Многочисленные ниспровергатели «позитивизма» сначала рисуют заведомо упрощенный, утрированный и отталкивающий образ этого нехорошего явления, а затем успешно доказывают его несостоятельность. При этом, оно в действительности не существует нигде, кроме как в истолкованиях самих ниспровергателей. Поколения решительных борцов с «позитивизмом» в социологической теории сменяют друг друга, последующие обвиняют в этом грехе предыдущие поколения самих борцов, но затем сами обвиняются в нем же, так что он никак не исчезает.

На мой взгляд, за критикой подобного мифического «позитивизма» часто скрываются, осознанно или неосознанно, с одной стороны, критика социологии и науки в целом, а с другой – стремление утвердиться в них же.

На это можно, конечно, возразить, что наука не стоит на месте, что изменяются эталоны научности, и старые рамки позитивизма мешают ее дальнейшему развитию. Именно этим и занимаются в последние годы сторонники «постмодернизма» или те, кто пытается внедрить его в социологию. Нередко такого рода критика может быть полезной и играть стимулирующую

Общее и особенное // Гофман А.Б. Классическое и современное: Этюды по истории и теории социологии. – М.: Наука, 2003. – С. 360–361; А.Б.Гофман: «Социальная реальность… – это сфера свободы»: Интервью Б. Докторова с А. Гофманом // Телескоп: Журнал социологических и маркетинговых исследований. – СПб, 2007. – № 2. – С. 2–3.

роль для развития социологического знания. Но в этих случаях речь чаще всего идет не о социологии, а о чем-то другом: о философии познания, социальной мысли, социальной метафизике, социальной эпистемологии и т.п. И не надо последние выдавать за первую; такое смешение препятствует развитию как социологии, так и других форм социального и гуманитарного знания. Очевидно, и на это можно возразить (что часто и делается), утверждая, что мы не знаем, где граница между ними, но это возражение представляется неубедительным. Знаем мы или не знаем, где *точно проходит эта граница*, но мы *точно знаем, что она существует*. Ее вполне можно провести на основе тех или иных критериев – другое дело, что занятие это опять-таки не для социологии. Иначе нам придется признать отсутствие различия между физикой и метафизикой и вообще между наукой и философией. Между тем, не только наука отделяет себя от философии, но и сама философия нередко выводит себя за пределы научного знания.

Возникает подозрение, что для борцов с «позитивизмом» он стал воплощением теоретической строгости, ясности, убедительности, доказательности и вообще научности. Иными словами, данная мода стала своего рода спутником или обратной стороной моды предыдущей.

3. *Мода на провозглашение или предсказание упадка, конца или смерти чего-либо: социальных явлений, институтов или процессов.*

В последние годы и десятилетия социологи-теоретики провозгласили множество подобных «концов». Среди них: «конец идеологии», «конец современности», «конец истории», «конец политики», «упадок публичной сферы», «падение публичного человека», «смерть класса» и т.д. В этом списке мы находим и объявления об упадке и конце «социального», «общества» и самой социологии. Можно даже говорить о формировании специфической *социологической эсхатологии* и *моде на нее*. Теоретики торжественно

декларируют и регулярно сообщают своим коллегам и широкой публике не только о том, что их родная дисциплина ни на что не способна, что она не справилась и не справляется со своей исторической миссией, но и о том, что ей вообще приходит конец.[1] При этом, авторы таких прогнозов, как правило, не спешат покидать свою погибающую науку, и их никак нельзя сравнить с крысами, покидающими тонущий корабль.

4. Мода на провозглашение чего-либо несуществующим.

Подобных мод в мировой и отечественной социологической теории немало. Они связаны с предыдущей модой, нередко вырастают из нее и переплетаются с ней. Это неудивительно, так как от декларации конца или исчезновения чего-либо до констатации его отсутствия вообще, вечного или нынешнего, – один шаг.

Так произошло с тем же понятием общества.[2] Тезис о том, что общество уже не существует или не существовало никогда, с разными обоснованиями и с разных позиций (методологического индивидуализма, глобализма, антитоталитаризма и т.д.) мы находим у самых разных теоретиков: Й. Элстера, И. Уоллерстайна, Дж. Урри, А. Турена, опубликовавшего когда-то книгу «Производство общества»[3], и др. В некоторых трудах доказывается, что современная социология «больше» не является изучением общества. Очевидно, что такие декларации базируются на нехитрой процедуре сужения понятия общества до масштабов нации-государства, чем социология, разумеется, никогда не ограничивалась. Более того, при своем зарождении и в ходе дальнейшего развития она решительно противопоставляла понятия государства

---

[1] Подробней об этом см. ниже.

[2] См. об этом: Гофман А.Б. Существует ли общество? От психологического редукционизма к эпифеноменализму в интерпретации социальной реальности // Социс. – М., 2005. – № 1. – С. 18–25.

[3] Touraine A. Production de la société. – P.: Seuil, l973.

и общества и рассматривала в качестве обществ явления самого разного масштаба и уровня, включая группы, в том числе малые, ассоциации, социальные отношения, взаимодействия и т.п.[1]

При этом, несмотря на отмеченные декларации, понятие общества продолжает широко использоваться, причем, что забавно, даже теми авторами, которые отрицают реальное существование этого явления.[2] По-видимому, последние, выдвигая тезисы вроде того, что «в современном *обществе* нужно отказаться от понятия *общества»,* просто не могут обойтись без данного понятия, хотя и призывают к этому других.

В конце 90-х годов наш уважаемый коллега и друг Александр Филиппов шокировал отечественных социологов, торжественно заявив, что «теоретической социологии в сегодняшней России нет».[3] Коллеги, естественно, удивились и взволновались, задавшись вопросом: «А чем же мы, собственно, до сих пор занимались?». Но автор тезиса тут же их успокоил, признав, что «теоретическая деятельность» в российской социологии все же есть. На мой взгляд, если так обстоят дела, то это не так уж и плохо. По крайней мере, это лучше, чем обратное: гораздо хуже было бы, если бы теоретическая социология

---

[1] На это, в частности, справедливо обратил внимание Ален Кайе. См.: Caillé A. Note sur l'idée de société // Caillé A. Théorie anti-utilitariste de l'action. – P.: Découverte, 2009. – P. 180–182.

[2] Так, упомянутый Йон Элстер в своей известной книге «Цемент общества» приходит к категоричному выводу: «Не существует никаких обществ; существуют только индивиды, взаимодействующие между собой». См.: Elster J. The cement of society: A study of social order. – Cambridge: Cambridge univ. press, 1990. – P. 248. Таким образом, получается, что книга посвящена *цементу того, что не существует.* Подробнее об этом см.: Гофман А.Б. Существует ли общество? – М., 2005.

[3] Филиппов А. Теоретическая социология // Теория общества: Фундаментальные проблемы / Под ред. А.Ф. Филиппова. – М.: Канон-пресс-Ц: Кучково поле, 1999. – С.7.

в стране существовала или даже процветала, а теоретической деятельности в социологии бы не было.

Я не думаю, что следует придавать столь важное концептуальное значение различению «теоретической деятельности» в социологии, которая в интерпретации Филиппова выглядит несколько суженной и обедненной,[1] и «теоретической социологией».[2] Но с другой стороны, такое различение и противопоставление оказались весьма эффективными с точки зрения привлечения внимания коллег к феномену отсутствия, а именно отсутствия того, чем, как они полагали, они занимались.

К этому же жанру относится и полное отрицание в российской социологии таких явлений, как модернизация, гражданское общество или средний класс в России, и, соответственно, уместности использования соответствующих понятий применительно к российскому обществу. Правда, нередко после громогласного объявления этого небытия дается небольшое уточнение, что все эти явления не существуют в том же смысле или в том же виде, что в «западных» обществах,[3] но эти тихие уточнения уже не слышны после предыдущих громких деклараций.

---

[1] С его точки зрения, ее «можно рассматривать либо как результат приложения усилий тех ученых, которые ориентированы преимущественно на эмпирию и теоретизируют, так сказать, *ad hoc*, либо – в редких случаях – как реализацию собственно теоретического интереса». См.: Филиппов А. Теоретическая социология. – Указ. соч. – С. 8. Остается неясным, почему «теоретическая деятельность», в отличие от «теоретической социологии», не может быть систематической и ориентированной на целенаправленную разработку теорий различного масштаба, а «теоретическая социология», наоборот, не может квалифицироваться как теоретизирование *ad hoc*.

[2] Она понимается в данном случае как устойчивая совокупность «взаимосвязанных коммуникаций определенного рода». См.: Филиппов А. Теоретическая социология. – Указ. соч. – С. 8.

[3] Уместно спросить в таком случае: а что, собственно, в России существует в том же смысле и виде?

5. Мода на самобичевание, обличения, жалобы, обвинения и упражнения в доказательстве того, что социология вообще и (или) российская социология в частности ничего или почти ничего не смогла, не может и никогда не сможет сделать.

Эта мода непосредственно связана с предыдущими двумя. В определенном смысле она представляет разновидность моды № 3, применительно к самой социологии. Самое любопытное и забавное в этой ситуации состоит в том, что такого рода мода существует не вне, а внутри самой социологии, и сами социологи со своего рода мазохистским удовольствием доказывают полную несостоятельность того, чем они занимаются. Правда, о самих себе конкретно они, конечно, речь не ведут; обычно, имеется в виду дисциплина как таковая и другие ее представители: сам обличитель автоматически оказывается как бы вне критикуемого объекта. Подобная тенденция носит достаточно распространенный характер; она наблюдается и в российской социологии.

Возьмем, например, статью другого моего бесконечно уважаемого друга, видного российского социолога Льва Гудкова, который, несомненно, внес и вносит значительный вклад в развитие как эмпирической, так и теоретической социологии. Статья называется «Есть ли основания у теоретической социологии в России?» и основана на его докладе на XVI симпозиуме «Пути России» (Москва, Интерцентр-МВШСЭН, 23–24 января 2009 г.)[1]

Как и Александр Филиппов, автор констатирует отсутствие «теоретических дискуссий в российской социологии». Но в отличие от Филиппова, он рассматривает это как признак того, что «нет теоретической работы в отечественной социологии (равно как и в других гуманитарных дисциплинах)».[2]

---

[1] Гудков Л. Есть ли основания у теоретической социологии в России? // Вестник общественного мнения: Данные. Анализ. Дискуссии. – М., 2009. – № 1. – С. 101–116.
[2] Там же. – С. 105.

Зато, опять-таки, в отличие от Филиппова, Гудков признает, что, по крайней мере, номинально теоретическая социология в России есть. Но уж лучше бы ее не было, настолько она скверная и никуда не годится. Теоретический анализ в данной статье служит выражением горечи, боли, обиды автора на и за социологию и общество. Это в буквальном смысле крик души российского социолога. Отсюда обличительный пафос, морализм, пессимизм и безысходность в констатациях и выводах, касающихся состояния социологической теории в России, да и в мире. Помимо прочего, автор обвиняет российскую теоретическую социологию в следующем: в отсутствии самостоятельного интереса к различным сторонам человеческого существования; в вульгарности представлений о российском обществе; в бедности ценностных оснований; в убогости представлений о человеке и обстоятельствах его существования; в слепоте и неспособности к пониманию своего национального и исторического прошлого и своеобразия своего культурного пространства; в «мелкотемье» и «ползучем эмпиризме» и т.д.[1]

Самое удивительное, что, потратив почти все пространство статьи на доказательство полной несостоятельности российской теоретической социологии и недостижимости ее «западного» идеализированного образца, автор завершает совершенно неожиданным выводом. Оказывается, сегодня ресурсы нынешней западной социологии тоже заканчиваются, и «она постепенно превращается в академическую резервацию, зону интеллектуального застоя и консерватизма».[2] Зато оценка перспектив российской социологии вдруг становится весьма радужной, причем основание этого внезапного оптимизма выглядит в высшей степени своеобразно: «…Именно в России, как и в других странах догоняющего развития, особенно

[1] Там же. – С. 104, 112 и др.
[2] Там же. – С. 116.

там, где барьеры на пути модернизации ведут к появлению обходных, параллельных или возвратных процессов, а значит, возникают совершенно новые социальные образования (шунты, заболачивание, тупики человеческого развития и т.п.), там возможности для теоретической работы социолога предельно благоприятны и широки».[1] В такой интерпретации реализация старого политического лозунга «Чем хуже, тем лучше» оказывается чрезвычайно полезной и актуальной для развития социологической теории. Точно так же можно было бы обосновывать благоприятнейшие и широчайшие перспективы развития диетологии в африканских странах, где наблюдается острая нехватка продуктов питания, и население голодает.

Хотя в статье, на мой взгляд, встречается ряд темных мест, явных и скрытых противоречий, которые не снимаются отдельными оговорками, с автором трудно не согласиться в том, что в отечественной социологии очень много мусора, причем, на мой взгляд, его даже не всегда можно назвать социологическим. Прав Гудков и в том, что необходима деэтатизация социальной науки, то есть отказ от вмешательства государства в собственно научную деятельность. Не вызывает сомнений и то, что нередко использование «западных» понятий и теорий российскими социологами совсем не означает их понимания и уместности в определенных социокультурных контекстах, что оно не дает прироста нового знания, будучи лишь признаком участия в интеллектуальной моде и чисто внешней демонстрацией профессионализма. Мне тоже нередко приходится сталкиваться с подобным явлением, когда социологи, в частности молодые, перечисляя некий «джентльменский набор», то есть список, состоящий из нескольких классических и современных известных имен зарубежных авторов, вырывая из их текстов какие-то фрагменты, совершенно не понимают, о чем речь, толкуют их произвольно,

[1] Там же.

пускают обширные клубы теоретического тумана (см. моду № 1) или же изрекают банальнейшие истины, без всякой содержательной необходимости апеллируя к славным именам.

Но методология анализа моего уважаемого коллеги, приводящего его к сверхнегативным оценкам состояния российской социологии, а заодно и российского общества, вызывает сомнения. Я имею в виду, прежде всего, способы сравнения и эталоны для этих оценок.

Вслед за И.С. Коном и В.А. Ядовым Гудков признает, хотя и вскользь, чрезвычайно кратко (эта краткость бросается в глаза, особенно на фоне пространных и развернутых обличений, возмущения, горьких и печальных констатаций), «некоторый прогресс» и «вполне очевидные позитивные изменения» по сравнению с предшествующим, советским периодом.[1] Но это сравнение, как можно понять из текста статьи, не имеет особого значения. Не имеет значения также и сравнение с зарубежным *реальным, а не идеализированным,* состоянием социальной науки и социального опыта. Автор против «прямого» заимствования понятий и теорий и их «механического» приложения к российской действительности, и это можно только приветствовать. Вопрос только в том, как определить, где «прямое» и «механическое», а где «непрямое» и «немеханическое»? Как и в советские времена, из лексикона которых взяты данные характеристики (оттуда же – и выражение «мелкотемье»), это остается неясным.

Гудков формулирует базовое теоретико-методологическое положение о том, что сравнивать нынешнее состояние социологии и, в частности, социологии теоретической, надо «с уровнем «должного», с тем пониманием теоретической работы, которое присутствует у И.С. Кона и Ю.А. Левады, с «идеальным» представлением о теории, пониманием, для чего она нужна, как

[1] Там же. – С. 106.

связана с «корректной, серьезной исследовательской работой».[1] Исходя из этого положения, он приходит к выводу, согласно которому «идет постоянное снижение интеллектуального уровня науки (разумеется, по отношению к **должному** и **ожидаемому**, а не к фактическому уровню советской и постсоветской науки)».[2] Значительная часть остальных обвинений российской социологии проистекает из этого положения и является его конкретизацией. Удивляет при этом пренебрежительное отношение автора к просветительской, переводческой, преподавательской деятельности в области социологии как таковой, независимо от ее качества. Судя по тексту, в его глазах это деятельность как минимум второго сорта и в общем не дающая плодотворных результатов. Между тем, понимание теоретической работы у Кона и Левады, на которую ссылается Гудков и высокий уровень которой не вызывает сомнений, неотделимо от просвещения и образования, чему они в большой мере посвятили свою жизнь. Конечно, плоды такого рода деятельности бывают видны не сразу, но то, что они существуют, неоспоримо.

Автор неявно рисует некий идеальный образ того, какой *должна быть* истинная социологическая теория, а затем с упоением демонстрирует, насколько реальная теория ему не соответствуют. Если по сравнению с советским периодом, как признает автор, уровень российской социологии все-таки вырос, то почему по отношению к «должному» и «ожидаемому» он постоянно снижается? Ведь в таком случае, даже по отношению к этому идеальному уровню он должен был бы вырасти. Наконец, и это главное, уместно задаться вопросом: кем формулируется этот «должный» уровень науки и кем он «ожидаем»? Может быть, дело как раз в завышенных и необоснованных ожиданиях аналитиков, ориентированных на идеальный

---

[1] Там же.
[2] Там же. – С. 113.

уровень? Очевидно, что если некие социологи сформулировали и ожидали этот идеальный высокий уровень науки (а заодно и общества), а реальность не оправдала их предсказаний и ожиданий, то это говорит лишь о качестве данных предсказаний и ожиданий. Нынешние же разочарования проистекают, прежде всего, отсюда: некоторые представления о «должном» (в познавательном и нравственном смыслах) и «ожидаемом» оказались «завышенными» или утопическими, в общем, ошибочными. И винить кого-то в том, что реальность не соответствует некоему утопическому идеалу – занятие не новое, но наивное.

Важное место в статье Льва Гудкова занимает обсуждение старого и вечно актуального вопроса о соотношении научного познания и внешних по отношению к нему ценностей. Полностью согласен с ним в том, что если для иллюстрации и критики политической ангажированности социальной науки кто-то выбирает именно тех социологов, ангажированность которых носит оппозиционный по отношению к нынешней власти характер, то ценностная нейтральность таких критиков вызывает, мягко говоря, сильные сомнения. Особенно в России, где критика оппозиции власти прямо или косвенно означает поддержку последней. Очевидно, что в российском обществе, как и в других авторитарных обществах, ангажированность провластная хорошо вознаграждается и гораздо более выгодна, чем противоположная, влекущая за собой разного рода наказания и неприятности для «ангажированных». Понимание этой старой и вечной истины не требует особого интеллекта, поэтому лизоблюды всех мастей в нашей стране всегда чувствовали и чувствуют себя отлично, о чем свидетельствует и классическая русская литература.

Тем не менее, решительное осуждение «постмодернистов» (к этой категории автор относит самые разные направления, в том числе и те, которые, собственно, к постмодернистам обычно не причисляются) за их общее

отстаивание принципа «свободы от ценностей» социального ученого мне представляется необоснованным.[1] При обсуждении данной проблемы автор, как и его оппоненты, опирается на сакральную фигуру Макса Вебера. Не могу согласиться с Львом Гудковым в оценке, точнее, недооценке его знаменитой лекции «Наука как призвание и профессия»[2]; ссылка на тысячестраничную интеллектуальную биографию Вебера, написанную Й. Радкау[3], не выглядит убедительной. Разумеется, в этой публичной лекции Вебер не представил методологические принципы своей социологии *целиком*; это невозможно, и в ней он не ставил перед собой такую задачу. Но это не значит, что там не содержатся некоторые принципиальные идеи, чрезвычайно важные для Вебера и ни в чем не расходящиеся с теми, которые изложены в других его трудах. Упоминаемое Гудковым веберовское различение практических оценочных суждений, с одной стороны, и теоретического отнесения к ценности, с другой, проводившееся под влиянием Риккерта, хорошо известно. Известно также, что немецкий социолог никогда и нигде (в том числе и в упомянутой лекции) не призывал к беспринципности, к отсутствию убеждений и не смешивал их с научной объективностью. Сам он активно занимался общественно-политической деятельностью и не воздерживался не только от теоретического «отнесения к ценности», но и от «практических оценок», постоянно высказываясь по различным актуальным политическим вопросам.

Суть позиции Вебера в данном вопросе, на мой взгляд, можно резюмировать следующим образом. Во-первых, теоретическое отнесение к ценности он никоим образом не отождествляет с политической

---

[1] Замечу, что как раз собственно постмодернисты выступают против этого принципа.

[2] Вебер М. Наука как призвание и профессия // Вебер М. Избранные произведения. – М.: Прогресс, 1990. – С. 707–735.

[3] Radkau J. Max Weber: Die Leidenschaft des Denkens. – München: Hanser, 2005.

ангажированностью. Во-вторых, и это, по-моему, особенно важно, он обосновывает не отказ социального ученого от «практических оценок» (политических, религиозных, нравственных и т.п.), а необходимость *отделения, пространственного и временно́го*, его деятельности от этих оценок. Смысл его высказываний, в том числе в «Науке как призвании и профессии», заключается в том, что ученый вполне может выступать и в роли политика или религиозного проповедника, но не там и не тогда, когда он занимается наукой или преподаванием в университете (между прочим, он не разделял последние два занятия), а в другое время и в другом месте. Вебер против смешения научной и «практической» деятельности. Нельзя подменять одну этику другой, выдавать этику политическую или религиозную за научную: подобная подмена не этична и вредна и для науки, с одной стороны, и для политики, религии и других «практических» областей – с другой. Именно в этом, как мне представляется, состоит пафос веберовских взглядов на соотношение науки и вненаучных, внепознавательных ценностей. В данном отношении, кстати, его позиция была близка позиции Дюркгейма.

В своей критике современной российской социологии Лев Гудков, как мне кажется, продолжает две традиции российской социальной мысли, причем как советской, так и досоветской. Это не значит, впрочем, что в России не было и противоположных традиций. Речь идет именно о том, что критик, осознанно или неосознанно, выбрал и продолжил те, которые ближе ему, по крайней мере, в настоящее время.

Первая – это традиция нравственного обличения и радикальной критики с позиций утопического идеала, в том числе в сфере социальной науки или под видом социальной науки. Как писал Николай Константинович Михайловский, выражая эту фундаментальную традицию российской мысли, социология

«должна начать с некоторой утопии»[1], то есть с того самого «должного» и «ожидаемого», о котором см. выше.

Вторая традиция, воспроизводимая Гудковым и тесно связанная с первой, – это высокая степень политической и нравственно-практической ангажированности.[2] Даже взгляды баденской школы неокантианства, касавшиеся методологических проблем научного познания и далекие от политики, в России оказывались втянутыми в политические баталии. Тот же Генрих Риккерт в предисловии к русскому изданию своей «Философии истории» жаловался на то, что его взгляды в России постоянно пытались связывать с политическими спорами и видеть в них какую-то политическую тенденцию.[3] Об этой же традиции Семен Людвигович Франк в знаменитом сборнике «Вехи» (1909) писал: «Теоретическая, научная истина, строгое и чистое знание ради знания, бескорыстное стремление к адекватному интеллектуальному отображению мира и овладению им никогда не могли укорениться в интеллигентском сознании. Вся история нашего умственного развития окрашена в яркий морально-утилитарный цвет».[4] Эта традиция была многократно усилена в советское время с его принципами партийности и классового подхода, когда «объективизм» считался гораздо более страшным теоретико-методологическим грехом или преступлением, чем «субъективизм».

В настоящее время, на мой взгляд, от этих двух традиций необходимо отказаться в пользу другой традиции, также присутствующей в российской культуре, хотя и не так ярко выраженной, как две предыдущие, а именно

---

[1] Михайловский Н.К. Записки профана // Михайловский Н.К. Соч. – СПб.: Русское богатство, 1896. – Т. 3. – С. 404.
[2] Подробней об этом см.: Гофман А.Б. Эмиль Дюркгейм в России: Рецепция дюркгеймовской социологии в российской социальной жизни. – М.: ГУ-ВШЭ, 2001. – С. 70 и дал.
[3] См.: Риккерт Г. Философия истории. – СПб.: Жуковский, 1908. – С. xiii–xiv.
[4] Франк С.Л. Этика нигилизма // Вехи. – М.: Новости, 1990. – С. 153.

традиции обоснования важного значения, самоценности и автономии науки в сфере социального и гуманитарного знания. Как писал Макс Вебер, причем отнюдь не на потребу широкой публике или исключительно для студенческой аудитории, а выражая свое глубокое убеждение, «в стенах аудитории («аудитория» в данном случае, как видно из контекста, выступает не только как место преподавания, но и как символ занятий наукой.– *А.Г.)* не имеет значения никакая добродетель, кроме одной: простой интеллектуальной честности».[1] Россия, можно сказать, выстрадала идею автономии научного знания, право на неангажированную социальную науку и возможность заниматься ею. Как бы это ни было сложно, эту идею, следует всячески развивать, культивировать, пропагандировать и практически применять.

Если судить с точки зрения «должного» и «ожидаемого», то в мире, даже в самых «передовых» социологических странах, вряд ли найдется реальная социология, соответствующая подразумеваемому идеально-утопическому образу.[2] Все дело, конечно, в критериях, эталонах, точках отсчета, в том, с кем или с чем сравнивать: с идеальным образом социологии, с ее прежним состоянием в собственной стране, с реальным или идеализированным состоянием в других странах.

На одном международном конгрессе мне довелось слушать выступление одного из ведущих греческих социологов о состоянии социологии в его стране. При всем уважении к стране, давшей миру идею демократии, из его рассказа у

---

[1] Вебер М. Наука как призвание и профессия. – Указ. соч. – С. 734.

[2] В частности, мнение о том, что в европейских или американских университетах разработка теорий, преподавание и исследовательская работа «более или менее соединены в одно целое» (См.: Гудков Л. Есть ли основания у теоретической социологии в России? Указ. соч. – С. 111), мне представляется не соответствующим действительности. Конечно, разрыв между этими сферами в российской социологии слишком велик, но в определенной степени он неизбежен и нормален.

меня сложилось впечатление, что в сравнении с теперешними и прошлыми достижениями российской социологии успехи греческих социологов выглядят довольно скромно. Но надо было видеть, с какой гордостью и с каким достоинством он о них рассказывал! Думаю, это объясняется, в частности, тем, что он имел в виду не «должное», а реальное состояние социальной науки в своей стране и в мире, и его «ожидаемое» было не так далеко от реальности.

Полагаю, что в сравнении с греческой социологией достижения российской весьма значительны. И не только в сравнении с греческой, но и со многими другими. Когда мы, зачастую вполне обоснованно, выражаем недовольство состоянием нашей социологии в целом, и теоретической в частности, то, конечно же, явно или неявно сравниваем ее с некоторыми так называемыми «западными» странами с развитой традицией социологических исследований – такими, как Франция, США, Германия или Польша. В таком случае положение выглядит несколько хуже. Я имею в виду не только сложившиеся теории и результаты исследований, но и этический аспект развития науки, в частности, клиентелизм, куначество, плагиат, существование рынка «диссертационных услуг» и т.п. Это отражает общее состояние нашей научной социологической этики, моральный и интеллектуальный климат в научном сообществе. Но несмотря на это, даже в сравнении с ведущими социологическими державами мира положение не столь катастрофическое, как это выглядит в некоторых аналитических трудах.

В высшей степени актуальными остаются слова Юрия Александровича Левады, сказанные им сорок лет назад: «Завышение ожиданий – факт довольно закономерный, он создает некоторое напряжение, способствующее развитию

науки, хотя иногда и порождает преждевременные разочарования. Слишком большие ожидания часто бывают неуместны»[1].

Нам необходимо отказаться от завышенных ожиданий, утопизма и снобизма в оценках; такой подход по меньшей мере не социологичен. И тогда придется признать: несмотря на то, что состояние российской социологии в целом, и теоретической в частности, разумеется, далеко от идеального и впадать в эйфорию нет оснований, оно не столь плачевно и безнадежно, как это выглядит с позиций определенной моды и завышенных ожиданий. Я мог бы привести достаточно обширный перечень достижений постсоветской российской социологии, но не стану этого делать из-за отсутствия места и опасения не отметить что-либо достойное упоминания в этом перечне. Думаю, непредвзятый читатель и сам вполне сможет это сделать. Несмотря на ряд проблем и серьезных изъянов, российской социологии есть чем гордиться. Это относится и к ее прошлому, досоветскому и советскому, и к настоящему. Полагаю, что ее реальные достижения заслуживают того, чтобы мы их больше пропагандировали за пределами страны. Кое-что в этом отношении делается, но слишком мало. Серьезные труды российских социологов необходимо больше публиковать в разных странах, переводя их на иностранные языки, распространяя их там и не дожидаясь, пока кто-то это сделает для нас. Здесь можно было бы шире использовать современные информационные технологии. Было бы полезно начать издание англоязычного журнала, представляющего современную российскую социологию.

Перечислю еще несколько мод, имеющих более или менее широкое распространение в российской и (или) мировой социологии.

---

[1] Левада Ю.А. Лекции по социологии // Левада Ю.А. Лекции по социологии; Семенов Ю.Н. Киноискусство и массовая аудитория. – М.: Вече, 2008. – С. 13.

6. Мода на всеохватность и хроническая претензия на радикальный и тотальный пересмотр теоретических оснований всего и вся.[1]

7. Мода на эпатаж, радикализм и претенциозность[2] *теоретических суждений.* Она пересекается и отчасти совпадает с вышеперечисленными модами № 1–6. С ними же связана модность в социологии таких фигур, как Жорж Батай, Жан Бодрийяр и т.п.

8. Мода на утилитаризм. Эта мода последних 15–20 лет носит главным образом российский характер. Я имею в виду не философский утилитаризм, лежащий в основании некоторых социологических теорий, например теории рационального выбора, а своего рода детскую болезнь идеологии утилитаризма в российской социальной науке. Она состоит, в частности, во всяческом подчеркивании и пропаганде полезных свойств предлагаемых или проводимых исследований, позиций, учебных программ, курсов и т.д., которые непосредственно обращены к практике и незамедлительно дадут практический эффект, если только их принять и поддержать тем или иным, в первую очередь финансовым, образом. К реальной полезности эта мода имеет весьма отдаленное отношение.

---

[1] Это относится главным образом к так называемым постмодернистским теориям, но не только. Характерны в данном отношении заголовки некоторых книг известного и модного социолога Брюно Латура: «Мы никогда не были модерными» и «Сменить общество / Заняться социологией вновь». См.: Latour B. Nous n'avons jamais été modernes: Essai d'anthropologie symétrique. – P.: Découverte, 1997; Latour B. Changer de société / Refaire de la sociologie. – P.: Découverte, 2006.

[2] Александр Филиппов в указанной выше статье утверждает, что теоретическая социология в России может возникнуть только как «ряд претенциозных теорий». См.: Филиппов А. Теоретическая социология // Теория общества: Фундаментальные проблемы / Под ред. А.Ф. Филиппова. – М.: Канон-пресс-Ц: Кучково поле, 1999. – С. 34. Судя по всему, это утверждение не осталось не услышанным, и за прошедшие десять лет претенциозность в некоторых работах российских теоретиков появилась. К сожалению, она далеко не всегда сочетается с другими достоинствами научной теории.

9. Мода на консерватизм в самых разных версиях. Это также преимущественно российская мода последних лет.

10. Мода на критику либерализма. К реальному либерализму это не имеет отношения, но либерализм и либералов ругают на каждом шагу, обвиняя их во всех смертных грехах. Эта мода вышла далеко за пределы социальной науки. Один известный российский литератор даже большевизм объявил разновидностью либерализма, хотя, разумеется, ничего общего между ними нет, и для большевиков более лютого врага, чем либералы, никогда не было.

О некоторых проблемах и псевдопроблемах теоретических исследований в социологии

Позволю себе остановиться на нескольких старых и вечно юных проблемах, имеющих значение для современной теоретической социологии или, по крайней мере, для той сферы, которую нередко обозначают этим термином.

Первоначально уточню, что в социальных науках термин «теория» используется в двух значениях: «нестрогом» и «строгом». Соответственно, в них имеют хождение два вида теорий, «мягкие» и «жесткие». К «мягким» относятся те, которые содержат любую развернутую рефлексию о социальных явлениях. К этому жанру относятся, например, такие классические произведения, как «Теория нравственных чувств» (1759) Адама Смита, «Теория праздного класса» (1899) и «Теория делового предпринимательства» (1904) Торстейна Веблена или «Теория коммуникативного действия» (1981) Юргена Хабермаса[1]. «Жесткая» теория представляет собой выводимую из определенных

[1] Смит А. Теория нравственных чувств. – М.: Республика, 1997; Veblen T. The theory of the leisure class: An economic study of institutions. – N.Y.: Macmillan, 1899; Veblen T. The theory of business enterprise. – N.Y.: Scribner's sons, 1904; Habermas J. Theorie des kommunikativen Handelns. – Frankfurt a. M.: Suhrkamp, 1981.

исходных допущений совокупность понятий и утверждений, логически связанных между собой и в принципе поддающуюся интерпретации, проверке и опровержению, в том числе эмпирическими данными. Вообще говоря, оба вида теорий выполняют примерно одни и те же функции, состоящие в том, чтобы описать, объяснить, интерпретировать, предсказать явления социального мира. При этом важно иметь в виду, что далеко не всегда процесс конструирования теории заключается в простом применении определенных, заранее принятых правил ее конструирования; чаще, наоборот, эти правила выводятся *post festum*, уже после проведенных теоретических исследований методологами в качестве своего рода «уроков» для будущих теоретиков.

Проблема соотношения теории или, шире, теоретических высказываний и обобщений, с одной стороны, и эмпирического исследования, с другой, так или иначе, обсуждается в социологии постоянно, но даже если она специально не обсуждается, исследователи с ней постоянно сталкиваются. Многие аналитики постоянно констатируют ситуацию разрыва между данными сферами.[1] Как эта проблема выглядит сегодня? Можно понять недовольство эмпириков сверхабстрактными схоластическими построениями, которые не поддаются не только операционализации, но и интерпретации. С другой стороны, эмпирики, приступая к исследованию, нередко ограничиваются весьма поверхностными, неотрефлексированными допущениями или обыденными суждениями, проистекающими из самых разных источников. В некоторых случаях декларируется приверженность некоей теории или даже «парадигме». Приступая к исследованию какой-то проблемы, некоторые эмпирики говорят: «Мы *будем опираться* на «активистскую» парадигму или

[1] Это относится к социологии разных стран, не только к российской. См., например: Cuin C.-H. Ce que (ne) font (pas) les sociologues: Petit essai d'épistémologie critique. – Genève: Droz, 2000; Кюэн Ш.-А. В каком состоянии находится социология? // Социс. – М., 2006. – № 8. – С. 13–19.

«функционалистскую» парадигму и т.д.». Делается это без всяких обоснований, привлекаемые теории или «парадигмы» реально не играют в исследовании никакой роли, и без них вполне можно было бы обойтись. Иногда, при обсуждении исходных представлений об объекте, допущений и гипотез приходится слышать: «Какая разница, какие слова здесь использовать, это ведь только слова, не в этом дело!». Но в том-то и дело, что дело как раз в этом, да простят мне невольный каламбур. За словами в данном случае стоят определенные теоретические или иные представления, значения, смыслы, которые необходимо обсуждать с самого начала. Уместно вспомнить в этой связи выражение Эжена Ионеско: «Важны только слова, все остальное – болтовня».

Теория зачастую не рассматривается как часть процесса исследования на всех этапах. Иногда теория сводится к тому, что берется несколько дефиниций из словарей и говорится, что параметры *«x»* и *«y»* что-то характеризуют и определяются так-то. Понятие «исследование» зачастую отождествляется с понятием «эмпирическое исследование», а теория воспринимается как нечто готовое. В результате теории воспринимаются как нечто вроде галстуков, висящих в шкафу; считается, что когда социолог приступает к исследованию, то он подбирает себе подходящий к случаю теоретический «галстук» и использует его для целей определенного «исследования». При этом теория рассматривается как нечто, находящееся *вне исследования*: первая и последнее в таком истолковании выступают как разные вещи. Если речь идет о какой-то более или менее серьезной теоретической разработке, то сразу начинаются разговоры на тему о том, «можно ли это операционализировать?» или «как это операционализировать?». Таким образом, вопрос о том, *что* операционализировать, вытесняется вопросом *«как* операционализировать».

Если оказывается или кажется, что операционализация здесь и сейчас невозможна, то и говорить тогда не о чем: значит, теория не годится.

На мой взгляд, теоретическая часть исследования начинается в первый день исследовательского проекта и заканчивается в последний. При этом на разных этапах исследования она играет хотя и различную, но одинаково важную роль. Использование теории в исследовании совсем не сводится к ее *выбору*, как это часто бывает. Теория – это деятельность, процесс; она в значительной мере выступает как синоним *теоретизирования*.[1] Она не находится за пределами исследования, это неотъемлемая часть исследовательского процесса; она не дается нам в готовом виде и так или иначе должна составлять элемент изучения конкретного объекта на всех его этапах. Применяя теорию в эмпирическом исследовании как некий довесок к нему, разрабатывая ее наспех, кое-как, мы в результате часто оказываемся в плену тех же идеологем и предрассудков, которые были у нас до исследования и которые в результате делают его в лучшем случае бесполезным. Просто «принятая», готовая, не отрефлексированная теория понимается как догма, которую уже нельзя изменить, теряется критичность в интерпретации данных. Очевидно, что если исходные допущения при постановке проблемы были проблематичными и сомнительными, то все исследование в общем теряет смысл, и результаты его мало чего стоят. Именно поэтому основания анализа должны уточняться на каждом этапе исследования. При этом следует иметь в виду, что если какая-то теоретическая конструкция не поддается в данный момент операционализации, то это не значит, что она вообще не годится и нужно от нее отказаться.

Постоянная озабоченность тем, можно ли и как операционализировать определенные понятия и теоретические представления, нередко сковывает

[1] В данном случае я отвлекаюсь от различия между теорией и эмпирическим обобщением.

теоретическое исследование и препятствует приращению социологического знания. Не случайно социологи в поисках теории в последние годы так часто обращаются за пределы своей дисциплины. Это происходит, в частности, из-за того, что социологи-теоретики просто боятся теоретизировать, постоянно опасаясь упреков в нестрогости их теоретических построений и невозможности их операционализировать.

Важное место в понятийном словаре современной теоретической социологии, в том числе российской, сегодня занимает понятие *парадигмы*. В свое время Джордж Ритцер опубликовал книгу под названием «Социология – мультипарадигмальная наука».[1] Вслед за Ритцером наши российские коллеги иногда рассматривают социологию как «полипарадигмальную» науку, а соответствующую теоретическую позицию квалифицируют как «полипарадигмальный подход». Очевидно, что такая позиция направлена против догматизма. Она особенно актуальна и полезна для нашей страны, где на протяжении многих лет господствовало одно «единственно правильное учение», а теперь существует немало желающих утвердить другое «единственно правильное»; впрочем, за разной символикой здесь скрывается одно и то же символизируемое содержание, имеющее одни и те же печальные для страны последствия, причем не только теоретические.

Тем не менее, я полагаю, что Ритцер и те, кто развивает такую же позицию, не правы, потому что по определению парадигм не может быть много, особенно если речь идет об их синхронном сосуществовании. Парадигм в каждый данный момент может быть одна – две, но если их много, то это значит, что *их нет вообще*. Если мы констатируем ситуацию «полипарадигмальности», то это может означать некий теоретический хаос и отсутствие «нормальной» науки в куновском смысле, а ежедневная ломка и постоянный пересмотр теоретических

[1] Ritzer G. Sociology: A multiple paradigm science. – Boston: Allyn & Bacon, 1980.

оснований не имеют ничего общего с научными революциями. Скорее подобную ситуацию можно сравнить с мелкими бунтами и мятежами. Отсюда неспособность теории выполнять те функции, ради которых она существует.

Термин «парадигма» существует давно. В русской социальной мысли он существовал уже в начале XX в., хотя тогда его использовали в мужском роде, «парадигм», – как и во французском языке. Затем о нем подзабыли, но благодаря знаменитой работе Томаса Куна (1963)[1] он вновь приобрел популярность. Вполне естественно и нормально, что он стал использоваться не только в социологии науки, но и в истории социологии и в общей социологической теории и т.д. Первоначально его использование было вполне плодотворным. А потом началась неразбериха. Сегодня термином «парадигма» в социологии нередко злоупотребляют. Его эвристическое значение было утрачено, так как он стал использоваться как синоним понятий «направление», «теоретическая ориентация» или «школа».

Иногда тот или иной российский исследователь декларирует, что в своем исследовании он будет опираться на «полипарадигмальный подход». Откровенно говоря, я плохо представляю себе, как это возможно. В лучшем случае такую декларацию можно интерпретировать как стремление рассмотреть свой объект с разных точек зрения. Но тогда все равно остается вопрос, требующий ответа: какую из них, собственно, выбирает автор исследования и какую следует принять реципиенту его научных результатов?

Парадигма – это не всякая теория или теоретическая модель, а такая, которая носит более или менее общепризнанный характер и задает способ постановки исследовательских задач и их решений: именно так трактует ее Кун. Иначе парадигма превращается либо только в модное слово, в ненужную этикетку, либо заменяет собой понятие «школа» или близкие ему. Школ,

[1] Кун Т. Структура научных революций. – М.: Прогресс, 1975.

направлений, течений, ориентаций в социологии, как и в любой науке при нормальном, спонтанном ее развитии, без внешних бюрократических, идеологических и прочих принудительных воздействий, бывает, может и должно быть много или мало, в зависимости от различных обстоятельств. Но парадигм, повторяю, много быть не может, особенно в синхронном аспекте.

Итак, теория того или иного масштаба должна стать неотъемлемой составной частью любого социологического исследования. Но мы вновь вынуждены обратиться к вопросу о том, что, собственно, считать социологической теорией. С одной стороны, как уже отмечалось, под видом теорий нередко выступают некие ходячие соображения *ad hoc,* сопровождающие эмпирические исследования, или же некие теоретические довески или «парадигмы», искусственно привязываемые к исследованию и играющие в нем главным образом ритуальную или декоративную роль. С другой стороны, такое положение отчасти объясняется содержанием самих современных теорий, разрабатываемых под рубрикой социологических. Дело в том, что эти теории слишком часто сводятся к сверхабстрактным теоретико-методологическим построениям и дискуссиям, которые можно отнести, главным образом, к таким дисциплинам, как социальная философия, социальная метафизика, социальная эпистемология и т.п., о чем уже говорилось (см. выше о моде № 2). За социологическую теорию выдается теория теории, или теория относительно теории или теорий. Это означает, по крайней мере, выдавать часть за целое или даже за другое целое.

Предметная социологическая теория имеет дело хотя и с конструируемым, но объектом социальной реальности, а не объектом теоретической реальности. Не надо забывать, что социология, не только эмпирическая, но вообще социология – наука эмпирическая, отличная от таких дисциплин, как

философия, логика или математика.[1] Соответственно, удельный вес предметных теорий и соответствующего типа теоретизирования в ней заведомо должен быть очень значительным, более значительным, чем теперь, а их роль никак не может сводиться к текущему обслуживанию эмпирических исследований *ad hoc,* с одной стороны, и к социальным метатеориям – с другой.

В качестве примера социально-метафизической проблемы, постоянно обсуждаемой в качестве социологической, можно привести приобретшую хронический характер дискуссию о холизме и индивидуализме.[2]

Обе эти позиции базируются на определенных допущениях, которые в принципе не доказуемы и не опровержимы. Социология, даже на теоретическом уровне, занимается изучением *общества* в его различных воплощениях (будь то социальные нормы, ценности, институты, группы, в том числе малые, действия, отношения, взаимодействия, социальные агенты, акторы и т.д.), а не *природы общества.*[3] Мы можем трактовать общество так или иначе, исходя из тех или иных метатеоретических допущений. В частности, мы можем исходить и в

---

[1] См., в частности: Левада Ю.А. Лекции по социологии // Левада Ю.А. Лекции по социологии; Семенов Ю.Н. Киноискусство и массовая аудитория. – М.: Вече, 2008. – С. 18 и дал.

[2] Характерно, что в своей работе 1986 года Раймон Будон, отстаивая принципы методологического индивидуализма, совершенно справедливо выводил их за рамки социологии и относил к сфере теории познания. См.: Boudon R. Individualisme et holisme dans les sciences sociales // Sur l'individualisme: Théories et méthodes / Sous la dir. de P. Birnbaum, J. Leca. – P.: Presses de la Fondation nationale des sciences politiques, 1986. – P. 46. Тем не менее, эта точка зрения, а вместе с ней и проблематика холизма-индивидуализма продолжают восприниматься как собственно социологические, по-прежнему находясь как бы «внутри» социологии и постоянно проникая в нее. Тем самым социологи вольно или невольно отвлекаются от обсуждения и решения действительно важных проблем.

[3] Подробней об этом см.: Гофман А.Б. Существует ли общество? От психологического редукционизма к эпифеноменализму в интерпретации социальной реальности // Социс. – М., 2005. – № 1. – С. 22–23.

каком-то смысле неизбежно исходим из допущения, что общество – это реальная, действенная и активная сущность, и использовать ее, а также ее различные концептуальные формы и воплощения, в качестве описывающей, объясняющей и предсказывающей категории.

Если не брать крайние формы социального реализма и холизма, а также организмическую метафору (сыгравшую, кстати, в целом плодотворную роль в развитии социологического знания), то в своих умеренных проявлениях эта точка зрения основана на признании эмерджентного характера свойств социального целого. Логика таких умеренных холистов, как Маркс, Вильгельм Вундт или Дюркгейм,[1] хорошо известна и в упрощенном и кратком виде сводится к следующим постулатам: 1) Индивиды взаимодействуют между собой; 2) Из этого взаимодействия возникает общество (социальные институты, нормы, ценности, категории познания, группы, ассоциации и т.п.) как определенный синтез индивидуальных сознаний и поведений (то есть то, что на языке современного методологического индивидуализма называется эффектом агрегирования); 3) Этот синтез, раз возникнув, уже не сводится к породившей его межиндивидуальной основе, обретает известную автономию и в определенной мере живет своей собственной жизнью в форме коллективных представлений, социальных норм, институтов, течений и т.п.; 4) В качестве автономной реальности общество в свою очередь оказывает влияние на индивидов, которые его не изобретают регулярно, не производят каждый раз заново, а застают в значительной мере в «готовом» виде и действуют в этой, не ими созданной реальности (последнюю методологический индивидуалист предпочтет называть не «обществом», а «социальным контекстом», «социальной ситуацией» и т.п. индивидуальных поведений).

---

[1] Вопреки некоторым сегодняшним поверхностным интерпретациям, Дюркгейм был именно умеренным холистом, в отличие, скажем, от Людвига Гумпловича или Отмара Шпанна.

Методологический индивидуализм делает акцент на постулатах № 1 и № 2, холизм – на постулатах № 3 и № 4. Индивидуализм сосредоточивает внимание на вопросе о том, *как возникают общество, коллективные установки и действия,* постоянно напоминая, что все они исходят от индивидуальных сознаний и поведений, а потому при их объяснении они должны сводиться к этим сознаниям и поведениям. При этом предполагают или верят, что такая редукция всегда обладает достаточной объяснительной силой, а индивидуальные акторы, в конечном счете, лучше исследователей, внешних наблюдателей, понимают, что с ними происходит. Холизм, наоборот, скорее сосредоточен на вопросе об *источниках индивидуальных мотиваций и поведений,* рассматривая в качестве реальных, активных и объясняющих сущностей социальные тотальности различного уровня. Если для индивидуалиста в качестве более или менее сформированной, известной и объясняющей реальности выступают индивиды, то для холиста в качестве таковой выступают общества.

Таким образом, каждый из этих двух подходов подчеркивает одну из сторон взаимодействия между обществом и индивидами и очевидным образом дополняют друг друга. И у нас нет никаких оснований полагать, что индивидуальные участники социальных процессов заведомо лучше, чем исследователи, понимают, что с ними происходит, и что если социолог сведет свое объяснение к мотивам индивидуальных акторов, то оно будет удовлетворительным.

В связи с предыдущим необходимо подчеркнуть, что одни и те же постулаты, объяснения и зависимости в социологии вполне могут интерпретироваться как в понятиях индивидуализма, так и в понятиях холизма. И эти интерпретации могут никак не влиять на само содержание отмеченных постулатов, объяснений и зависимостей.

Поскольку социологи, и теоретики и эмпирики, исследуют не столько «природу», «сущность» общества, сколько *общество*, то они так или иначе полагают последнее в качестве определенной реальности. Это значит, что в повседневной исследовательской практике они не предаются рефлексии на темы о том, «реально ли общество?», «в каком смысле оно реально?», «возможно ли общество?», «как возможно общество?» и т.п. Эти вопросы, конечно, обсуждаются, но, как правило, либо в свободное от исследований время, либо специалистами-метатеоретиками, либо, наконец, тогда, когда сами социологи уходят в сферу метатеории, на время или навсегда. Иначе, если бы исследователи непрерывно рефлексировали на подобные темы, то они просто не могли бы работать. Возникал бы известный «эффект сороконожки», которая не могла бы передвигаться, если бы постоянно размышляла о том, как возможно ее движение.

Точно так же физики исходят из предположения о том или веры в то, что природа существует и представляет собой особого рода реальность. Если бы они постоянно размышляли и дискутировали о том, «существует ли природа?», «в каком смысле существует природа?» или «как возможна природа?», то им пришлось бы бросить свои занятия. Я не считаю, что подобные кантовские вопросы не следует рассматривать, но, опять-таки, это особый жанр, и заниматься им всерьез могут и должны современные коллеги Канта, то есть философы, эпистемологи и метатеоретики. Главное, не смешивать этот жанр, очень нужный для социологии, с самой социологией, и не выдавать его за последнюю. Подобное смешение, как уже отмечалось выше, вредно и для философии и метатеории, с одной стороны, и для социологии - с другой. Опасность такого смешения состоит, в частности, в том, что и социологи, и публика постепенно начинают думать, что всякого рода метатеории и паратеории, выступающие от имени социологии, – это и есть собственно

социологическая теория, что в свою очередь ведет к большим разочарованиям и неверию в то, что такого рода конструкции могут служить средством получения нового знания и приносить какую-то пользу науке и практике.

Распространение социально-метафизических построений вполне может идти рука об руку с упадком теоретического познания социальных процессов, что мы нередко сегодня и наблюдаем.[1] Развитие предметных теорий различного масштаба, включая уровень общей теории, остается в высшей степени актуальным. Разумеется, современная социология не стремится к открытию и изучению «неизменных естественных законов», об открытии и изучении которых мечтал Конт, и это очень хорошо. Она вообще стремится избегать слова «закон», предпочитая ему такие термины, как «закономерность» («регулярность»), «зависимость», «модель», «тип» и т.п. Видимо, то же самое происходит и в современной физике. Если же слово «закон» в серьезной социологии и используется, то с разного рода оговорками и уточнениями: подчеркивается вероятностный характер действия законов, ограниченность их действия определенными пространственными и временными рамками, их связь с определенными условиями («если…, то»: «если имеют место такие-то условия и факторы, то будут иметь место и такие-то последствия») и т.п. Тем не менее, всякая наука, и социология в частности, обязательно имеет дело с номологическими высказываниями; если их нет, то нет и науки. Номологический характер и универсализм социологического знания – условие *sine qua non* его существования.[2]

---

[1] Об упадке общей теории и недостаточности теоретического познания макросоциальных явлений во французской социологии см.: Кюэн Ш.-А. В каком состоянии находится социология? // Социс. – М., 2006. – № 8. – С. 13–19.

[2] Это еще раз в последние годы обосновал Джеффри Александер. См.: Александер Дж. Общая теория в состоянии постпозитивизма: «Эпистемологическая дилемма» и поиск присутствующего разума //

Напротив, контекстуализм и абсолютизация социокультурного релятивизма, идея несопоставимости и несоизмеримости различных социальных контекстов и культур, несостоятельны.[1] Они вообще не состоятельны, а тем более применительно к науке, в частности, социальной. В связи с этим, идея «индигенизации» социологии, иногда выдвигаемая в последние годы, выглядит по меньшей мере наивной. Ее сторонники вдохновляются стремлением к созданию оригинальных и самобытных теорий, и такое стремление можно только приветствовать. Но распространенное убеждение, что самобытно только то, что «не-западно» или «анти-западно», можно рассматривать как теоретическое и идеологическое недоразумение.

Это не значит, что в социологии не существует национальных школ и традиций. Но такие школы формируются не путем противопоставления своей национальной социологии мифическим «западным», «восточным» или «южным», а во взаимодействии, взаимопроникновении и взаимообмене с различными направлениями мировой социологической мысли. И при этом более или менее общезначимые методы, выводы, результаты в них присутствуют обязательно. Иначе россияне начнут создавать свою российскую социологию, поляки – свою, греки – свою и т.д. Это будет означать конец социологии как науки, а вместе с ней – социальной и культурной антропологии (откуда отчасти проистекают утрированные представления о культурном релятивизме и контекстуализме социально-научного знания) и других наук о человеке и обществе. То же самое произойдет с футболом и оперным искусством, если каждая страна, вместо того, чтобы развивать и совершенствовать

Социология: 4 М (методология, методы, математические модели). – М., 2004. – № 18. – С. 167–204; № 19. – С. 176–200.

[1] Отмеченный контекстуализм в значительной мере стимулируется «постмодернистской социологией» с ее акцентом на локальном, специфическом, своеобразном в противовес так называемым «великим нарративам».

соответствующие сферы, делая их конкурентоспособными, начнет создавать свой собственный футбол и свое собственное, ни на что не похожее, оперное искусство.

К самоликвидации социологии, по существу, ведет и модная в последние годы полная редукция научного социологического знания к обыденному или к влиянию властных структур и институтов, как политических, так и внутринаучных.[1] У сторонников данных позиций идеи саморазвития и автономии научного знания и поисков истины предстают чем-то вроде «ложного сознания», фантома, который, вслед за Марксом, они очередной раз хотят «разоблачить». Эта редукция исходит из неявного предположения о том, что научное знание не обладает ни автономией, ни самоценностью, ни собственной логикой развития, что источники и факторы этого развития следует искать исключительно или преимущественно во вненаучных сферах. Такого рода интерпретации, безусловно, искажают картину развития социальных наук. Разумеется, их следует отличать от исследований влияний факторов власти, как и других «внешних» факторов, на науку: подобные исследования, несомненно, необходимы и могут быть в высшей степени плодотворными. Но названный редукционизм и исследование воздействия на науку «внешних» факторов – это совершенно разные вещи.

Одно из проявлений тенденции к всеохватности, о которой шла речь выше, – это непомерно большой удельный вес книг, посвященных социологии вообще или социологии в целом. В данном случае я имею в виду теоретическую социологию в России. Наша страна с полным основанием может гордиться тем, что первая в мире книга, озаглавленная «Социология», вышла в России. Это была книга видного русского социолога Евгения Валентиновича Де-Роберти,

[1] Последняя тенденция обнаруживается, в частности, в трудах Мишеля Фуко и Пьера Бурдье.

опубликованная в 1880 году в Санкт-Петербурге.[1] Но большой поток книг с таким или близкими заголовками, наблюдаемый в российской социологии сегодня, на мой взгляд, уже не может служить предметом гордости. Конечно, это можно рассматривать как нормальный результат стремления удовлетворить спрос на учебники и учебные пособия. Но, к сожалению, относительно большое количество названий и тиражей, а также толщина книг, написанных в данном жанре, пока не сопровождается высоким качеством. Кроме того, такое положение может свидетельствовать о том, что российские социологи слишком много занимаются социологией в общем и социологией в целом и слишком мало – отдельными областями и проблемами этой науки. Разумеется, речь не может идти о каком-то нормативном регулировании тематики книжной продукции. Просто, я полагаю, что это определенный симптом, над которым, может быть, следует задуматься. В отличие от некоторых моих коллег, обеспокоенных «мелкотемьем» (см. выше), меня больше тревожит тенденция к тому, чтобы одним махом решить все или почти все проблемы социологии как таковой.

Сегодня за поисками теоретических идей социологи часто обращаются к другим социальным и гуманитарным дисциплинам. Отчасти это вызвано той боязнью теоретической рефлексии внутри социологии, о которой упоминалось выше. В принципе такого рода заимствования всегда имеют место в социальной науке, и для любой науки это явление «нормальное» и часто плодотворное. Но важно *что именно* и *в каком объеме* заимствуется. К сожалению, в сегодняшней

---

[1] Де-Роберти Е.В. Социология: Основная задача ее и методологические особенности, место в ряду наук, разделение и связь с биологиею и психологиею. – СПб: Тип. Стасюлевича, 1880. В связи с этим, бытующее в историко-социологической литературе мнение о том, что первой книгой с таким названием является «Социология» Георга Зиммеля (Simmel G. Soziologie: Untersuchungen über die Formen der Vergesellschaftung. – B.: Duncker & Humblot, 1908), является ошибочным.

теоретической социологии эти заимствования далеко не всегда плодотворны. Иногда они вообще дискредитируют социологическое и, шире, научное знание. Я имею в виду увлечение разного рода «постмодернистскими» конструкциями и авангардной литературной критикой, порождение теоретического тумана под видом теоретической сложности, подмену социологической теории разного рода теориями схоластическими и даже мистическими, в том числе теми, которые, называя себя социологическими и находясь «внутри» социологического знания, усиленно доказывают несостоятельность социологии и социологических теорий как таковых.[1] Вместе с тем, связь российской социологии с серьезной исторической наукой, социальной и культурной антропологией представляется недостаточной.

На мой взгляд, в современной теоретической социологии имеет место недооценка кумулятивного характера научного знания. Познавательная цель науки состоит, прежде всего, не в постоянном свержении и обновлении базовых теоретических оснований, не в «перманентной революции» в постижении истины, а в получении и приращении нового знания относительно различных сфер социальной реальности, в их описании, объяснении и предсказании. Сегодня же эта цель в большой мере вытесняется легковесным стремлением разом пересмотреть базовые основания теории и предложить совершенно новые. Но настоящие научные революции не совершаются ежедневно. В современной социологической теории слишком много революционеров, и это мешает ее развитию. К истинно научному творчеству их деятельность имеет отношение далеко не всегда. У многих социологов, по справедливому утверждению Шарля-Анри Кюэна, «…Концептуальное производство носит настолько *инфляционистский* характер, что чтение и понимание нового текста

[1] О подобной тенденции уже более четверти века назад писал Джонатан Тернер. См.: Тернер Дж. Структура социологической теории. – М.: Прогресс, 1985. – С. 36–37. К сожалению, она сохраняется до сих пор.

часто составляют весьма трудное упражнение и требуют акробатических способностей в области лингвистического перевода, добровольной амнезии относительно множества предшествующих означаемых (классических или недавних) и, одновременно, непосредственного обучения новым терминам. Цена этого была бы приемлемой, если бы она была пропорциональна полученным эпистемологическим, теоретическим или когнитивным выигрышам. Но часто средняя продолжительность жизни этих концептов не превышает продолжительности чтения статьи или книги, в которых они появились. Что касается нудных упражнений в области перевода, то они тем более бесполезны, что касаются обычно давно известных, даже тривиальных, означаемых».[1] Описанная ситуация тесно связана с описанной выше модой № 1.

Конечно, повторюсь, социологическое знание не стоит на месте, оно развивается и изменяется. Тем не менее, нельзя под видом изменения научной дисциплины, самоутверждаться в ней посредством ее разрушения. Социологическая теория, развиваясь и обновляясь, должна сохранять верность своим базовым основаниям, позволяющим ей считаться социологической. Не увлекаясь беспрерывными пересмотрами этих оснований и громогласными их ниспровержениями, которые исчезают так же быстро, как появляются, она должна заниматься получением нового научного знания о социальных явлениях, приращением и развитием этого знания, его культивированием, распространением и применением. Задача теоретической социологии – не эпатировать коллег и публику, а активно участвовать в этих процессах. Такой подход, может быть, выглядит не так увлекательно, как разного рода модные теоретические игры, зато гораздо более серьезен и плодотворен в долгосрочной перспективе.

---

[1] Cuin C.-H. Ce que (ne) font (pas) les sociologues: Petit essai d'épistémologie critique. – Genève: Droz, 2000. – P. 72.

Социология как мировоззрение в современной России

В отличие от советской эпохи, когда под видом социологии зачастую выступала специфическая политическая идеология, теперь, наоборот, социология, полностью сохраняя приверженность идее автономии, ценности и самоценности научного знания, может и должна стать своего рода идеологией, объединяющей разнообразные социальные силы и тенденции современной России. Сегодня представление о социологии в массовом сознании связано почти исключительно со всякого рода опросами, измерениями рейтингов и политтехнологиями. Она воспринимается, прежде всего, как орудие манипулирования сознанием людей в интересах политической и деловой элиты. Постепенно в обществе формируется мнение, что иной роль социологии не может и не должна быть. Отсюда, в частности, и снижение престижа этой науки. Задача социологического сообщества в том, чтобы изменить это положение. Необходимо радикально изменить взгляд на социологию как на дисциплину сугубо утилитарную и техническую, поскольку это фактически не так. Помимо развития прикладных и познавательных сторон и функций социологии, следует всячески развивать и пропагандировать её как мировоззрение, существенно влияющее на сознание и самосознание российского общества, как научную дисциплину, обосновывающую, проясняющую и формирующую его гражданскую религию.[1] Остановимся лишь на трёх чертах или идеях, характерных для этого мировоззрения и непосредственно касающихся нашей темы.

1. Идея общества. Категория «общество», ключевая для социологии и, казалось бы, даже сверхбанальная для самого общества, тем не менее, в

[1] Подробней об этом см. в нашей статье: Гофман А.Б. Социология и гражданская религия в современной России // Социология и современная Россия / Под ред. А.Б.Гофмана. – М.: ГУ-ВШЭ, 2003. – С. 84–107.

современной России нуждается в обосновании, возрождении и постоянном прояснении. Это тем более актуально, что и в некоторых зарубежных социологических теориях эта категория ставится под вопрос (см. об этом выше, о моде № 4). Речь идёт и об универсальных принципах и механизмах общества (социальности и т.п.), и о специфических видах социальности (в частности «гражданского общества»), и о таком уникальном образовании, как российское общество, и об обществах более частного масштаба. Это относится не только собственно к научному, но и символическому и ценностному значению понятия общества. В настоящее время эта идея в России либо вообще исчезла, либо находится на периферии общественного внимания. И это не удивительно, учитывая, что в стране на протяжении многих лет в социальной псевдонауке, выступавшей под именем марксизма-ленинизма, основным субъектом социально-исторического действия провозглашалось не общество, а классы. Само же общество трактовалось в социал-дарвинистском духе как арена беспощадной борьбы между классами, борьбы с врагами: внутренними и внешними, тайными и явными. В результате общество, даже российское, не говоря уже о более широких и глобальных, сверхнациональных и сверхгосударственных образованиях, а также более мелких социальных образованиях, стало восприниматься как своего рода иллюзия или фикция, используемая исключительно для достижения каких-то геополитических или военно-стратегических целей. При этом в классовых интерпретациях истории рядом сосуществовали две взаимоисключающие концепции. В одних случаях подлинными распорядителями исторического процесса объявлялись господствующие классы, навязывающие свою волю остальным классам и слоям; в других, наоборот, объявлялось, что подлинные творцы истории – народные массы. Таким образом, если в первых концепциях от роли полноправных субъектов истории отлучались низшие классы, то в последних,

наоборот, высшие. Общество же как целостный субъект социально-исторического действия рассматривалось как либо своего рода эпифеномен, либо как сущность, объясняемая, прежде всего, борьбой классов как подлинных субъектов истории.

Правда, с 1960-х – 1970-х годов в СССР разрабатывались и внедрялись тезисы об «общенародном государстве», о советском народе как «новой исторической общности» людей и о «морально-политическом единстве» этой новой общности. Однако искусственный характер этих идеологических конструкций, продолжавшаяся борьба с «чуждыми» элементами и, наконец, распад Советского Союза, довольно быстро разрушили эти слабые ростки идеологии единого общества. К тому же «российское общество» и «советское общество» – понятия хотя и близкие, но не тождественные. В целом же в условиях постоянных репрессий, беспрерывных разоблачений, борьбы с реальными и мнимыми врагами, внутренними и внешними, в СССР сложилась ситуация своего рода «институционализированной паранойи», сформировавшая соответствующий тип личности и сознания. Для этого типа общество всегда является ареной борьбы с некими «темными» силами, которые либо рвутся к власти, либо уже захватили её: само же по себе оно не составляет особой сущности и реально действующего субъекта.

Неудивительно, что и сегодня этот тип параноидального сознания в России продолжает существовать и влиять на восприятие социальной действительности. В результате в обществе циркулирует множество всякого рода мифов и фантазмов относительно того, что есть общество вообще и российское общество в частности. В некоторых околонаучных и околохудожественных концепциях возрождается и повторяется старый миф расово-антропологической школы, согласно которому главные субъекты исторического процесса – уже не классы, а «этносы» и «нации», понимаемые не

как социокультурные, а как природные, то есть расово-антропологические образования, наделяемые некими изначально фиксированными и вечными наборами признаков. Нельзя забывать, что именно торжество подобных взглядов в Германии в своё время обернулось для страны национальной трагедией; лишь искоренение их позволило ей выйти на путь успешного развития. Сегодня же собственные этнические стереотипы, предрассудки и ничем не обуздываемая фантазия некоторых российских теоретиков «этноса» позволяет им смело рисовать «национальные картины мира», лихо приписывать тем или иным народам некие черты, нисколько не заботясь о том, чтобы эти «картины» имели хоть какое-то отношение к реальности. Подобные фантазии можно было бы оставить на совести этих мифотворцев, не придавая им особого значения или же рассматривая их лишь как объект для изучения серьезной науки, если бы не та реальная и потенциальная опасность для России, которую они в себе содержат. Как и старые теории расово-антропологической школы, они выступают в качестве обоснования идеологии межнациональной ненависти и ксенофобии, способствуют обострению этнических и национальных проблем внутри страны и её международной изоляции.

Научное и гражданское призвание подлинной, серьёзной социологии в России состоит, в частности, в исследовании и демонстрации того, что главные субъекты социально-исторического действия – не этносы, не нации, отождествляемые с этносами, а общества, то есть индивиды и группы, объединённые многообразными экономическими, политическими, культурными связями и интересами, общей историей, языком, общими традициями, ценностями, целями и волевыми усилиями. Единство и самотождественность любого общества – это не только и не столько *начальный пункт*, сколько *результат* его исторического развития. Познавая российское общество и его основания, пропагандируя истинное знание о нём, социология может

эффективно способствовать реальному формированию общества граждан, которое можно было бы уважать, которому можно было бы верить, которое можно было бы любить.

Весьма полезным в этой связи мог бы оказаться опыт французской социологии периода Третьей республики (с учетом, разумеется, всех особенностей, отличающих нынешнюю Россию и тогдашнюю Францию). Франция в то время, как и современная Россия, испытывала состояние ценностно-нормативного и институционального кризиса. Не случайно в то время и в том месте появляется понятие аномии.[1] На рубеже XIX–XX веков Франция была охвачена тревожными и апокалиптическими настроениями. Само существование страны ставилось в это время под вопрос. И здесь важную роль в преодолении кризиса французского общества сыграла социология Дюркгейма и его школы. Дюркгейм видел истоки кризиса, прежде всего, в ценностно-нормативном вакууме: «…Прежние боги стареют или умирают, а новые не родились».[2] Чрезвычайно важная роль социологии в его понимании была связана, прежде всего, с её объектом – обществом, в котором он видел реальный объект всех религиозных культов и которое в его интерпретации выступает не просто как специфическая реальность наряду с другими, а как высшая сакральная и трансцендентная сущность, достойная почитания и поклонения; он говорит о нём с пылом и страстью пророка. «Социологизация» Бога в его концепции сопровождается обожествлением общества: как когда-то верно

---

[1] Вопрос о значении этого понятия, его теоретической ценности и применимости к современному российскому обществу заслуживает специального рассмотрения. Отчасти я касаюсь его в работе: Гофман А.Б. От какого наследства мы не отказываемся? Социокультурные традиции и инновации в России на рубеже XX–XXI веков // Традиции и инновации в современной России: Социологический анализ взаимодействия и динамики / Под ред. А.Б. Гофмана. – М.: РОССПЭН, 2008. – С. 38, 59.

[2] Durkheim E. Les formes élémentaires de la vie religieuse. – P.: Alcan, 1912. – P. 610–611.

заметил Толкотт Парсонс, реальное значение дюркгеймовского труда «Элементарные формы религиозной жизни» состоит не в том, что «религия есть социальное явление», а в том, что «общество есть религиозное явление».[1] Именно общество, по Дюркгейму, в современных условиях выступает как высшая сущность, санкционирующая моральные нормы и ценности, как моральный авторитет, на который опирается выполнение морального долга. В этом качестве общество оказывается сущностью столь же сакральной и значимой, что и Бог: «Нужно выбирать между Богом и обществом. Я не стану рассматривать здесь доводы в пользу одного или другого решения, которые тесно связаны между собой. Добавлю, что для меня этот выбор не столь уж важен, ибо в божестве я вижу лишь общество, преображенное и осмысленное символически».[2]

Все эти идеи нашли выражение в том, что во Франции Третьей республики социология оказалась теснейшим образом связанной с проблемами морали и воспитания; это дало основание в своё время говорить о «морально-воспитательном прагматизме» французской социологии этого времени.[3] Социология выступала, прежде всего, как научное обоснование морали, в том числе гражданской, и как орудие воспитания подрастающего поколения. Собственно социологические проблемы, как правило, дискутировались с учётом тех моральных и педагогических последствий, которые могут возникнуть в процессе их решения. Социология стала обязательным предметом преподавания в средней школе. В небольших по объёму курсах социологии, преподаваемых лицеистам, принципы морали тесно увязывались с идеей общества. В

---

[1] Parsons T. The structure of social action. – N.Y.: McGraw-Hill, 1937. – P. 427.
[2] Дюркгейм Э. Определение морального факта // Дюркгейм Э. Социология: Ее предмет, метод, предназначение. – М.: Терра–Книжный клуб, 2008. – С. 264.
[3] См.: Гофман А.Б. Дюркгеймовская социологическая школа // Гофман А.Б. Классическое и современное: Этюды по истории и теории социологии. – М.: Наука, 2003. – С. 466.

университетах преподавание социологии также соединялось с нравственно-педагогической тематикой. В программах подготовки студентов философских факультетов социология фигурировала вместе с этикой. Характерны в этом отношении названия кафедр, которые возглавлял Дюркгейм: в Бордоском университете это была кафедра «педагогики и социальной науки», а в Сорбонне – кафедра «науки о воспитании и социологии». Хотя вклад социологии в социальную идеологию Франции того времени не стоит преувеличивать, несомненно, он был весьма значительным, и без него кризис в стране носил бы гораздо более острый характер.

На этом фоне состояние преподавания социологии в сегодняшней России выглядит особенно удручающим. В средней школе социология, а вместе с ней идея общества, почти отсутствуют. В высшей школе социология теперь вычеркнута из перечня обязательных учебных дисциплин, а это, учитывая её колоссальное мировоззренческое и нравственное значение, – драматическая ошибка с весьма серьёзными последствиями. Не показывая значения общества как фундаментальной основы священных ценностей, объединяющих людей, погружая подрастающее поколение в атмосферу беспрерывных межгрупповых конфликтов, скандалов, обличений, разоблачений (зачастую вполне обоснованных, но не имеющих никакого практического эффекта, так как репутация не имеет значения), мы рискуем вырастить поколение людей разочарованных, циничных, лишённых представления о гражданских правах и обязанностях.

2. Идея социальной солидарности. Социология – основная наука, обосновывающая реальность и необходимость социальной солидарности, взаимозависимости отдельных индивидов, социальных групп, категорий, регионов и т.д. В этом утверждении нет никакого прекраснодушного или утопического вúдения действительности. Собственно, социология и родилась

исторически как научное средство преодоления эгоизма: индивидуального, классового, национального, – и вместе с тем утверждения солидарности между индивидами, социальными группами и обществами. Есть все основания полагать, что социальная солидарность относится к числу наиболее достоверно установленных социологией общих фактов социальной жизни. Во всяком случае, важно осознать, что это не менее «естественный», «нормальный» и распространённый феномен, чем социальный конфликт. Слишком очевидная реальность последнего зачастую скрывает и от специалистов, и от публики не менее фундаментальную реальность солидарности и согласия в обществе. Отчасти подобная аберрация связана с тем, что общественное внимание гораздо больше сосредоточено на социальных конфликтах, чем на солидарности, что выражается, помимо прочего, и в том, что число исследований первых в социологии неизмеримо больше, чем последней.[1] И это вполне объяснимо, так как конфликты обычно тесно связаны с разного рода проблемами, требующими решения и активного вмешательства. Что же касается солидарности и согласия, то зачем их, собственно, исследовать, если с ними и так всё хорошо: ведь «от добра добра не ищут»? В результате, однако, и в исследовательском, и в обыденном сознании образуется перекос, имеющий весьма серьёзные мировоззренческие последствия.

В силу ряда более или менее известных причин, сегодня в России сформировался социальный тип человека, в глазах которого вражда – явление нормальное и естественное, вечное и неизбежное, тогда как согласие – своего рода патология, отклонение от нормы. Торжество принципа «Человек человеку волк» в сознании довольно быстро приводит к его реализации в практике, что

---

[1] См. немногочисленные примеры теоретического изучения социального согласия в российской социологии: Акулич М.М. Социология согласия. – Тюмень: Изд-во Тюменского университета, 2002; Эфиров С.А. Социальное согласие: Утопия или шанс? – М.: Изд-во Ин-та социологии РАН, 2002.

мы сегодня постоянно и наблюдаем.[1] Между тем, ещё раз следует подчеркнуть, подлинная социальная наука, признавая и изучая всякого рода конфликты, в целом совсем не считает их фактором доминирующим в сравнении с солидарностью. В известном смысле солидарность – условие *sine qua non* социальной жизни; в конце концов, прежде чем конфликтовать, люди так или иначе объединяются. «Ни одно общество – отмечал Парсонс – не может поддерживать стабильность, имея в виду потенциально возможные конфликты и кризисы, если интересы его граждан не определяются солидарностью, внутренней лояльностью и взаимными обязательствами».[2]

Конечно, существует теоретическая традиция, идущая от марксизма и некоторых вариантов социального дарвинизма и обосновывающая конфликтную модель социального развития. Но даже в этих теориях конфликт иногда рассматривается как средство достижения солидарности, и последняя занимает в них определённое место: и в качестве внутригруппового, внутриклассового явления, и в качестве первобытного и будущего состояния

---

[1] В исследовании «старого» ВЦИОМа (ныне – Левада-центр) на вопрос: «Согласны ли Вы с тем, что большинство людей готовы помочь другим людям, или Вы считаете, что они больше всего заботятся о себе самих?» 70% респондентов ответили: «Большинство думает только о себе» и лишь 13% готовы признать некоторую долю альтруизма в окружающих людях. (См.: Гудков Л. Отношение к правовым институтам в России // Мониторинг общественного мнения: Экономические и социальные перемены. – М., 2000. – № 3. – С. 39). В 1999 г. 74% опрошенных указали, что они могут вполне доверять лишь одному–двум близким людям. См.: Левада Ю. Человек лукавый: Двоемыслие по-российски // Левада Ю. От мнений к пониманию: Социологические очерки, 1993–2000. – М.: Моск. шк. полит. исслед., 2000. – С. 527. Десять лет спустя ситуация в данном отношении явно не изменилась к лучшему. Помимо роста недоверия наблюдается тенденция к усилению двоемыслия и лицемерия, характерных для советского времени.

[2] Парсонс Т. Понятие общества: Компоненты и их взаимоотношения // Теоретическая социология: Антология / Под ред. С.П. Баньковской. – М.: КДУ, 2002. – Ч. 2. – С. 17.

всеобщей гармонии (в марксистской утопии) и т.д. Главное же в том, что такого рода представления, во-первых, далеко не бесспорны в своих общетеоретических притязаниях, во-вторых, составляют лишь одну и отнюдь не доминирующую теоретическую тенденцию в социологии.

Существует и другая базовая тенденция, которая в значительной мере, явно и неявно, пронизывает всё социологическое мировоззрение. С этой точки зрения, и теоретически и фактически неверно признавать социальную и групповую вражду «нормальной», то есть непрерывной и повсеместной. Кооперация, взаимообмен и сплочённость – во всяком случае, не менее фундаментальные и универсальные явления социальной жизни, чем конфликт. То же самое относится к конкуренции, которая отнюдь не тождественна последнему. Да и сам конфликт, эффективно, мирно и вовремя разрешаемый, нередко играет социально функциональную роль, выступая как симптом социальных проблем и средство восстановления социального равновесия и согласия. Социальная солидарность в любом случае – исходный и первичный социальный факт; в значительной мере это синоним общественного состояния, внутри и на фоне которого могут разворачиваться социальные конфликты.

Необходимо иметь также в виду эффект так называемого «самосбывающегося пророчества», о котором уже упоминалось: провозглашение социальной вражды «нормальным», повсеместным и неизбежным явлением, будучи фактически неверным, в то же время может служить и служит средством её обоснования, оправдания и практического внедрения. И наоборот, признание солидарности нормой социальной жизни влечёт за собой активный поиск путей её осуществления и может реально способствовать этому осуществлению.

Итак, социальная солидарность – это факт: российское общество, как и любое другое, поскольку оно существует и продолжает существовать,

базируется не только на принуждении, не только на экономической взаимозависимости, интересе и договорных отношениях, но и на более или менее высокой степени солидарности. Но необходимо ещё, чтобы реальное единство было *осознано*, а это, как уже отмечалось, дело совсем не простое и само собой не возникающее. Нужна длительная и упорная работа по формированию *чувства* социальной солидарности, объединяющего реально взаимосвязанных индивидов и группы. И в этом процессе опять-таки важнейшая роль принадлежит социологии. Именно эта наука проясняет солидарность как факт, а отсюда – и солидарность как долг. Социология призвана показать, что поскольку в качестве членов общества мы связаны между собой бесчисленными узами, поскольку мы *реально обязаны* друг другу (не случайна этимологическая связь этого слова со словом «обвязаны»), постольку мы *обязаны быть обязанными друг другу.* Без понимания реальности и священности социальных связей, заключённых в идее солидарности, выполнение моральных и гражданских обязанностей становится проблематичным, выступая как чисто принудительная, навязываемая извне процедура.

В связи с изложенным, политика толерантности, которую сейчас стремятся осуществлять различные, в том числе властные, институты российского общества, представляется, по меньшей мере, недостаточной. Толерантность – лишь один из аспектов, или крайняя точка шкалы «нормальных» взаимоотношений в обществе. Хорошо, если представители различных групп и слоев терпят друг друга, но этого явно недостаточно. Толерантность, чтобы быть реальной и эффективной, должна быть включена в более широкую гамму связей и отношений, охватываемых социальной солидарностью; этот континуум солидарных связей должен включать в себя и любовь и симпатию и т.п. Без

такого континуума, как и без ощущения общей идентичности, толерантность всегда будет существованием на грани конфликта и вражды.

Солидарность – одно из главных понятий социологии. Мы находим его и у Огюста Конта, и у Эмиля Дюркгейма, и у многих других классиков. В данной связи уместно вновь сослаться на исторический опыт Третьей республики во Франции. «Солидаризм» для неё стал одним из основных идеологических символов и ценностных принципов. Произошло это в значительной мере благодаря усилиям социологов, особенно таких, как Дюркгейм, сделавший социальную солидарность основной идеей своей социологии, и его последователи, в частности, Селестен Бугле. По словам последнего, солидаризм в Третьей республике стал чем-то вроде официальной философии.[1] Идея солидарности находила обоснование у экономистов (Шарль Жид), у юристов (Леон Дюги), философов, моралистов, политических деятелей. Своего рода манифестом солидаризма стала многократно переиздававшаяся книга известного политического деятеля, лауреата Нобелевской премии мира 1920 года, Леона Буржуа «Солидарность» (1897), в которой он обосновывал необходимость морально-политического единства французского общества, опираясь и на научные, и на этические аргументы.[2] В целом идеология солидаризма во Франции того времени явилась существенным вкладом в снижение социальной напряжённости и сохранение республиканского режима в стране. Она, в конечном счёте, смогла успешно противостоять, с одной стороны, реакционным монархистам, клерикалам и националистам, с другой – леворадикальному коммунистическому движению.

В истории российской социологии идея социальной солидарности занимает центральное место. Мы находим её в трудах П.Л. Лаврова, Л.И. Мечникова,

---

[1] Bouglé C. Le solidarisme. – 2-ème éd. – P.: Alcan, 1924. – P.7.
[2] См.: Bourgeois L. Solidarité. – 7-ème éd. (rev. et augm.) – P.: Colin, 1912.

Н.Д. Ножина, Н.К. Михайловского, Я.А. Новикова, П.А. Кропоткина, М.М. Ковалевского и других мыслителей и ученых.[1] Но и «солидаризм» как идеология также имеет корни в российской, прежде всего, в эмигрантской мысли XX века, в частности, в трудах С.А. Левицкого, Р.Н. Редлиха и других теоретиков. Эта идейная традиция также может и должна быть продолжена и использована в современной России.

3. Рационализм – ещё одно достоинство социологического мировоззрения, которого нам часто не хватает и которое чрезвычайно необходимо в России. Нашу страну можно упрекнуть в чём угодно, но только не в избытке рационализма; избытка этого у нас никогда не было. Не было мощных традиций картезианского рационализма и сциентизма, как во Франции; панлогизма, как в Германии; утилитаризма, как в Великобритании; прагматизма, как в США или специфического прагматизма, как в Китае. В этих странах, возможно, рационального начала могло бы быть и поменьше. В России же оно, разумеется, всегда также присутствовало, но его удельный вес всегда был сравнительно невелик; напротив, влияние иррационалистических тенденций в культуре было и остается весьма значительным. Из зарубежных теорий именно иррационалистические пользовались в стране наибольшим успехом и влиянием. Это относится и к марксизму, в котором была воспринята не его позитивистско-научная, а романтико-утопическая и мессианистская сторона.[2] Научное познание человека и общества, как правило, занимало подчинённое положение

---

[1] Подробнее об этом см.: Гофман А.Б. Эмиль Дюркгейм в России: Рецепция дюркгеймовской социологии в российской социальной жизни. – М.: ГУ-ВШЭ, 2001. – С. 19–25.

[2] См. об этом убедительный и ставший классическим анализ Николая Бердяева, который можно считать также подлинно социологическим: Бердяев Н.А. Истоки и смысл русского коммунизма. – М.: Наука, 1990. – (Репринтное воспроизведение парижского издания: Berdiaeff N. Istoki i smysl russkogo kommunizma. – P: YMCA-press, 1955).

по отношению к таким жанрам, как беллетристика, литературная критика и публицистика. Именно писатели, а не учёные, считались в России «инженерами человеческих душ».[1] В сочетании со множеством социальных мифов и сказок, постоянно воспроизводящихся на российском социокультурном и политическом пространстве (о светлом будущем, светлом прошлом, о кознях многочисленных внутренних и внешних врагов, о разного рода чудесах и т.п.) это составляет мощный слой иррационализма, затрудняющий понимание социальных процессов и порождающий огромный разрыв между идеалом и действительностью. Конечно, со сказками бывает жить интереснее, но плата за них в нашей стране всегда была и остаётся слишком высокой. Необходимо, напротив, побольше рациональности, рассудочности, реализма, утилитарности, трезвости, позволяющих смотреть прямо в лицо суровой действительности.

Несомненно, социология призвана практически усовершенствовать общество и его институты. Вместе с тем, она может и должна, с одной стороны, приблизить идеал к действительности, очистив его от множества фантазмов и сделав его более рациональным и реалистичным; с другой – наоборот, наполнить реальность подлинно священными ценностями, привить людям уважение к другим, к обществу и его институтам. Только тогда у нас будет общество не «государственников», а *граждан*, отвечающих за самих себя, за своё общество и за своё государство. Таким образом, социологическое просвещение в России окажется также и существенной частью проповеди гражданской религии. Ведь гражданское общество можно построить только при условии признания священности тех ценностей и институтов, на которых оно базируется.

---

[1] См. об этом: Гофман А.Б. Эмиль Дюркгейм в России. – Указ. соч. – С. 48–55, 70–75.

В заключение и во избежание возможных недоразумений необходимо подчеркнуть, что, разумеется, главные проблемы современного российского общества сосредоточены и могут быть решены, главным образом, не в сфере идей, а в сфере социальных институтов. Я имею в виду, в частности, такие хорошо известные хронические болезни российского общества, как монополизм и отсутствие конкуренции в экономике, политике и других областях; бюрократический произвол, коррупция и неэффективное управление; отсутствие реальных инноваций, под видом которых иногда выступают лишь новая символика или традиционное бюрократическое прожектерство; архаическая структура экспорта; разрыв между словом, мыслью и делом на всех уровнях и т.д. Все это требует изменения и обновления институтов российского общества, ориентированных на долгосрочную перспективу. Данная задача сегодня остается столь же актуальной, как и двадцать лет назад. Все это требует основательной рефлексии в социологической теории. Но сами эти трансформации в свою очередь могут произойти только при наличии определенной рациональной идеологии, коллективной воли и социальной солидарности. И в данном отношении вклад социологической теории также может и должен быть очень значительным, гораздо более значительным, чем сегодня.

А. Родригес Морато

КОНСЕНСУС И СПОРЫ О КУЛЬТУРЕ В НЫНЕШНЕЙ СОЦИОЛОГИИ

Социология всегда изучала существование и социальную конфигурацию индивидов, динамику того, как они взаимодействуют и организуются, то, как их упорядочивают социальная игра и порождаемые ею конфликты. Но люди, прежде всего, культурные существа. Они символически самовыражаются, действуют и коммуницируют, развивают идентичность, знают вещи, социальные и природные, понимают их значение, оценивают их, судят о них; короче говоря, люди живут, погрузившись в символический мир, и только благодаря этому они существуют как индивиды и взаимодействуют с другими людьми и с миром. Разумеется, дело обстоит так, и, следовательно, социальная динамика, изучаемая социологией, – всегда также и культурная динамика. Поэтому социология, подходя к своему предмету, не могла обойти вниманием его культурную сторону. Другое дело – *что именно* из нашего репертуара изучаемых социальных предметов социология анализирует и *как* она это делает, в какой степени она признает и учитывает символические аспекты социальной игры, какую значимость придает и сколько внимания уделяет чисто символическим продуктам, которые люди производят с все возрастающей интенсивностью. В этом отношении социологии удавалось лишь вскользь затрагивать в своем анализе культурный аспект, и подчас она делала это, просто его предполагая. Формируясь как научная дисциплина, социология не проявляла интереса к концептуализации и операционализации культурного референта и этим разительно отличалась от родственной ей антропологии. Долгое время она уделяла очень мало внимания культурному творчеству. Однако нет никаких сомнений в том, что теперь ситуация в этом смысле полностью изменилась. На протяжении более сорока лет интерес к культуре в

социологии неуклонно рос. Сегодня можно сказать, что культура и интерес к ее изучению оказались в самом центре нашей дисциплины.

Вместе с тем пути и выражения постепенной тематизации культуры в социологии были очень разными. Они формировались в значительной мере независимо друг от друга, в большом числе специальных субдисциплинарных контекстов: некоторые тесно связаны со специализированным культурным производством, например, религией, искусством, наукой и правом; другие − с такими контекстами, как коммуникация, образование, досуг и потребление; третьи имеют более общий характер, как в случае социологической теории, стоящей в одном ряду с социологией организаций, экономики, политики, социальных движений и молодежи. Такая разнородность до сих пор препятствовала выработке ясно сформулированной и когерентной перспективы для социологического анализа культуры. Тем не менее, социологическая работа над культурными темами в последние годы нарастала и становилась все более зрелой, а институциональное сближение, найденное ею на некоторых форумах, привело и к сближению перспектив, изначально очень далеких друг от друга. Сегодня это сближение открывает возможность для достижения существенного уровня консенсуса, создавая в то же время арену для серьезных споров в данной области.

По ходу дела я попытаюсь показать, хотя бы в общих чертах, процесс социологической тематизации культуры, происходивший в последние десятилетия. Таким обзором я надеюсь, прежде всего, дать некоторые ключи к объяснению этого в высшей степени важного изменения в дисциплине. В то же время я постараюсь детализировать некоторые основные зоны консенсуса и спора, возникшие в данной области за последние несколько лет. Наконец, сосредоточившись на дискуссионном вопросе о том, какой именно подход следует принять социологическим исследованиям культуры, я опишу некоторые

из главных вызовов, с которыми, на мой взгляд, сталкивается сегодня наша дисциплина.

История разногласий: Ступор социологии перед лицом культуры

В работах классиков-основоположников социологии понятие культуры как таковое не эксплицируется. Дюркгейм и Вебер почти не пользуются этим термином. Вместе с тем оба они, как известно, на самом деле очень много работают с культурной тематикой. То же самое касается и Маркса. Специализированный культурный референт фигурирует в какой-то степени в марксовом анализе общества его времени. Что касается работы Вебера, то в ней данный референт приобретает огромную структурную значимость[1]. Но еще важнее для них инклюзивный референт – референт культуры как символического измерения социальной реальности. В силу всеобъемлющего характера их теоретических амбиций, все трое должны найти в своих построениях место для дихотомии идеального и материального, глубоко укорененной в западной философии. Следовательно, им приходится оставлять место для культуры, предусмотрев для нее некоторую важную роль в социальной динамике. Поскольку главным предметом их исследований является процесс развития современного мира, то культурное измерение социальной реальности – которое есть язык, на котором это изменение описывается, – с необходимостью должно быть одним из основных элементов в их работе. Сознание и идеология у Маркса, традиция и изменения в ценностях, динамика харизмы и рационализация у Вебера, священное, аномия и коллективные представления у Дюркгейма – все это идеи, содержавшиеся в работах классиков-основоположников о культурном изменении. В этом смысле

[1] Rodríguez Morató A. La transcendencia teórica de la sociología de la música: El caso de Max Weber // Papers: Revista de la sociología. – Barcelona, 1988. – N 29. – P. 9–61.

культурный анализ у отцов-основателей социологии, особенно у Дюркгейма и Вебера, очень важен, невзирая на то, что ни каждый в отдельности, ни вместе взятые они не предлагают нам связной, эксплицитной концептуализации культуры.

Позднее, при переходе к нынешней фазе развития социологии, анализ символического измерения социальной реальности отошел на задний план. Нет сомнения в том, что отсутствие согласованности и ясности в культурном анализе основоположников внесло сюда свою лепту, но были и другие решающие факторы, обусловившие эту ситуацию и последовавший за ней долгий период ступора. Одна из причин состоит в том, что исследовательская программа, представленная социологами-классиками, претерпела серьезные усечения с исторической ее стороны, когда эта программа была адаптирована к структурам академическо-профессионального развития, которые установились в США после войны и позднее стали господствующими[1]. Когда исторические темы были маргинализированы и обесценены, наиболее явные образцы культуралистского анализа классиков-основоположников, относившиеся к примитивным обществам и к предыстории современного общества, потеряли почти все свое влияние на современное развитие социологии. Есть, однако, и вторая причина, еще более важная. Решительно подчеркивая историческое своеобразие своего общества, основоположники социологии были склонны преувеличивать рационалистический (и в том смысле, в каком они в то время этот термин понимали, внекультурный) характер современности[2]. Как писал

---

[1] Wagner P. Science and society lost: On the failure to establish sociology in Europe during the «classical» period // Discourses on society: The shaping of the social science disciplines / Ed. by P. Wagner, B. Wittrock, R. Whitley. – Dordrecht: Kluwer, 1991. – P. 219–245.

[2] Dobbin F.R. Cultural models of organization: The social construction of rational organizing principles // The sociology of culture: Emerging theoretical perspectives / Ed. by D. Crane. – Oxford: Blackwell, 1994. – P. 118.

Джеффри Александер, «втянутые в развертывающиеся кризисы модерна, классические основоположники дисциплины считали, что эпохальные исторические преобразования выхолостили мир смысла. Капитализм, индустриализация, секуляризация, рационализация, аномия и эгоизм – эти ключевые процессы, по их разумению, создали растерянных и подавленных индивидов, пошатнули возможности осмысленного телоса, уничтожили упорядочивающую силу сакрального и профанного»[1].

Самая влиятельная послевоенная социологическая схема соотнесения, содержащаяся в работах Толкотта Парсонса, несмотря на декларирование ее синтетической позиции, лишь усугубила последствия утраты классических референтов, относящихся к культуре, особенно наследия Макса Вебера[2]. Хотя Парсонс в своей функционалистской модели отводит культуре место одной из подсистем – титул весьма респектабельный, – верно также и то, что абстрактное качество этой категоризации, основанной на ценностях, а не на символах[3], и определенно не на ее производителях, сделало его идею культуры совершенно бесплодной. Александер, бывший неофункционалист, и сам критиковал это: «Хотя Парсонс теоретизировал, что “ценности” должны быть центральными для действий и институтов…, …он не объяснил природу самих ценностей». Далее он пришел к выводу: «Вместо приверженности герменевтической реконструкции кодов и нарративов он и его коллеги-функционалисты наблюдали действие извне и *дедуцировали* существование направляющих оценок, пользуясь категориальными рамками, предположительно

---

[1] Alexander J. Sociologia cultural: Formas de classification en las sociedades complejas. – Barcelona: Anthropos, 2000. – P. 33.
[2] Tenbruck F.H. The cultural foundations of society // Social structure and culture / Ed. by H. Haferkamp. – B.: De Gruyter, 1989. – P. 27.
[3] Alexander J. Analytic debates: Understanding the relative autonomy of culture // Culture and society: Contemporary debates / Ed. by J. Alexander, S. Seidman. – Cambridge: Cambridge univ. press, 1990. – P. 5.

порождаемыми функциональной необходимостью»[1]. Ключ к пониманию специфической неспособности Парсонса придать аналитический смысл своей идее культуры мы находим у Тенбрука, который указал на ее антропологические истоки (через Клакхона, его гарвардского коллегу) и подчеркнул ее явную неприменимость к современному обществу, вытекающую из ее сущностной статичности и неисторичности, ибо она была разработана в отношении примитивных обществ[2].

Следовательно, в течение 20 лет, в 1950-е – 1960-е годы, сцепление разных факторов вызвало ступор социологии, в которой Америка задавала тон, в отношении культуры: с одной стороны имелось неадекватное, ущербное наследие классиков-основоположников, с другой – неприемлемая концептуализация Парсонса. Вдобавок к тому, это произошло в интеллектуальной атмосфере ослабления социальных ограничений, или, если воспользоваться тогдашним выражением, «конца идеологии». Тем не менее, наибольшее влияние на эту потерю ориентации оказали, по всей видимости, факторы, вытекавшие из особой ситуации в американских академических кругах: совокупный эффект продвижения проекта профессионализации социологии, потребовавшего от нее практической фокусировки внимания и ограничившего ее сферу действия; соответствующее преобладание комбинации структурного функционализма и инструментального позитивизма[3]; проистекавшая отсюда маргинализация социологических перспектив с культуралистским уклоном (таких, как символический интеракционизм), и, наконец, то, что антропологии был отдан исключительный суверенитет над культурным анализом общества в рамках своего рода соломонова соглашения,

---

[1] Alexander J. Sociologia cultural. – Op. cit. – P. 34.
[2] Tenbruck F.H. The cultural foundations of society. – Op. cit. – P. 28.
[3] Bryant C. Positivism in social theory and research. – L.: Macmillan, 1985.

распределившего роли между ней и социологией и призванного обеспечить гармоничное сосуществование этих двух дисциплин.

Бум шестидесятых

Как он возник? Было сочетание нескольких факторов. Прежде всего, возникла новая восприимчивость в дисциплине в целом, особенно в США. «Большая теория» и абстрактный эмпиризм утратили в это время свое влияние, произошел микросоциологический и «качественный» поворот: возрождается символический интеракционизм на основе учений Эверетта Хьюза, получают развитие производная от него драма Эрвинга Гоффмана, этнометодология, продвигаемая Гарольдом Гарфинкелем, и феноменологическая социология Альфреда Шюца. Каждый из этих социологов вновь вводит интерес к смыслу (заключенному в действии, во взаимодействии, в идентичности) и пытается операционализировать его исследования. Подъем этих новых и обновленных тенденций обусловлен сменой поколений внутри и вне академического мира социологии, который, в конце концов, отдает предпочтение культуралистской сенсибилизации социологического сообщества. Это изменение сопровождает растущая политизация, повышающая влияние марксизма. В этом отношении важным фактором оказывается эволюция западного марксизма в сторону эстетических интересов[1].

В это же время начинается развитие теории и эмпирических исследований в важнейших специализированных культурных областях. В области

[1] Согласно широко известному тезису Перри Андерсона, выдвинутому в книге «На путях исторического материализма» (1983), этот дрейф был обусловлен колебаниями в рабочем движении после Первой мировой войны. Важнейшими его выразителями стали Лукач, Франкфуртская школа и Гальвано делла Вольпе. См.: Anderson P. In the tracks of historical materialism. – L.: Verso, 1983. (Рус. перевод: Андерсон П. Рассуждения о западном марксизме: На путях исторического материализма. – М.: Интер-Версо, 1991.)

образования появляются первые работы Бурдье, а вслед за ними, в 1970-е годы, – работы Бернстайна. В области знания и науки появляется важная работа Бергера и Лукмана (1966)[1], набирает силу мертоновская программа. Но самым значительным оказывается изменение, имевшее место в исследованиях искусства, прежде всего благодаря его радикализму. Можно сказать, что, по сути, именно здесь дисциплина обретает по-настоящему новые основания, ибо прежде эти исследования находились в руках гуманитариев (Гольдмана, Франкастеля, Адорно), пусть и под предположительно социологическим флагом. Дюмазедье, Бурдье и Мулен во Франции, Беккер и позднее Питерсон в США – вот некоторые из многих, кто взялся теперь за эти темы, используя подлинно социологические – эмпирические и аналитические – параметры. Это изменение было показательным также и потому, что в нем обнаружились некоторые из основных структурных ключей к тогдашнему общему всплеску социологической работы в культурных областях.

Один из главных ключей – возросший спрос на знание в этом порыве. В этой связи можно сказать, что одна из фундаментальных движущих сил, стимулировавших новые исследования, вытекала из спроса, возникшего внутри самой культурной области, находившейся в те годы на подъеме. Это произошло главным образом в Европе (сказанное относится к руководимому Бурдье исследованию фотографии, к работе о культурных практиках, реализованной Дюмазедье – и соединившейся с воинственными интонациями в ассоциации *Peuple et Culture,* – а также в целом ко всем исследованиям, инициированным зарождавшимися культурными администрациями)[2].

---

[1] Berger P.L., Luckmann T. The social construction of reality: A treatise in the sociology of knowledge. – Garden City (NY): Anchor, 1966.

[2] Важный прецедент логики развития этого типа уже был создан в 1940-е – 1950-е годы в США исследованиями коммуникации, которые проводил по заказу радиокомпаний Пол Лазарсфельд в Колумбийском университете.

Второй структурный ключ, выявленный изменением в социологических исследованиях искусства, относится к академическому контексту, в котором, начиная с этого времени, такие исследования проводились. Эти исследования практически всегда утверждаются в противовес важным тенденциям дисциплинарного развития, не являющимся в строгом смысле социологическими. В случае социологических исследований искусства они в наибольшей степени противопоставляли себя *культурным исследованиям* (традиции, возникшей в то время из недр литературоведения в Британии), ставшим, как нам известно, могущественной альтернативной моделью культурного анализа. В случае социологии знания эту роль стали играть так называемые *исследования науки*.

Вывод следующий: тематизация культуры, начавшаяся в социологии в 1960-е годы и продолжавшаяся все следующее десятилетие, очень важна, но она происходила очень фрагментарно и отрывочно – в рамках независимых специализаций. Эти специализации были связаны с прочно установившимися институциональными секторами и противопоставлялись могущественным конкурирующим дисциплинам: в случае искусства – истории искусства и культурным исследованиям; в случае науки – истории и философии науки; в случае коммуникации – коммуникативистике. Следовательно, в целом мы не находим здесь значимого продвижения к всеобъемлющему ясному видению. Очень сильны тенденции к дезинтеграции.

Решающий период: 1970-е – 1980-е годы

В эти годы специализированные социологии культуры достигают интеллектуальной зрелости, благодаря чему создаются проработанные амбициозные модели, проецирующиеся на всю дисциплину. Социология искусства достигает своей зрелости, и примерами такого рода развития в этой

сфере являются теория символического производства Пьера Бурдье и модель миров искусства Беккера. В социологии науки в эти десятилетия формулируются и достигают пика влияния сильная программа Барнса и Блура и акторно-сетевая теория, − обе аналогичного характера. Одновременно институционально созревает и среда: организуются значимые конференции (серия американских конференций на тему «Социальные науки и искусства», важная конференция «Социология искусства», проведенная в Марселе в 1986 г.), оформляются ключевые академические структуры (как, например, секция культуры в Американской социологической ассоциации, учрежденная тоже в 1986 г.). Подвижки такого рода сопровождаются попытками собрать воедино общую перспективу социологии культуры, которая позволила бы вырваться из узких субдисциплинарных ограничений. Это касается «производства культуры» – подхода, начало которому различными конференциями и публикациями в 1970-е годы положил Ричард Питерсон, – и дисциплинарного проекта, затеянного Пьером Бурдье в его Центре социологии образования и культуры. Эта эволюция, между тем, предполагает некоторую академическую замкнутость социологических исследований культуры.

В это же самое время скрытый культурный поворот происходил и в социологии в целом. К неоинституционализму в социологии организаций и новой экономической социологии культурного стиля добавляются различные культуралистские нововведения в политической социологии, социологии социальных движений и многих других областях. В эти же годы происходит нечто, имеющее далеко идущие последствия: возрождение социологической теории, на этот раз на основе культурной точки зрения. Эта тенденция отчетливо наблюдается в США и Германии (секции культуры в их ассоциациях развивают программы обмена, оказывающиеся решающими в этом отношении)

и несколько иначе − в Великобритании, где появляется и достигает блестящего успеха журнал «Theory, culture & society».

Подспудным основанием для этих изменений в дисциплине служит полная трансформация, делающая культуру новым социальным центром притяжения[1]. Новые профессиональные средние классы распространяют постматериалистические ценности[2]. С рождением движений идентичности – этнических, территориальных, гендерных – и культурно ориентированной субполитики претерпевает процесс окультуривания и политика. Постфордистская перестройка экономики после кризиса 1970-х годов тоже осуществляется от имени культуры[3]. Базируясь на эстетической рефлексивности, которую задает в качестве новой социальной модели экспрессивный индивидуализм новых средних классов, эта перестройка означает интенсивную эстетизацию потребления и, в конечном счете, ведет к изменениям в производственных процессах, выдвигающим на передний план роль дизайна и утверждающим новую «креативную» модель управления работой[4]. Коммуникации при этом становятся все более медиатизированными, и быстро возрастает их значимость[5].

Двусмысленный апофеоз социологии культуры, начиная с 1990-х годов

---

[1] Rodríguez Morató A. The culture society: A new place for the arts in the twenty-first century // J. of arts management, law & society. – Philadelphia, 2003. – Vol. 32, N 4. – P. 245–256.

[2] Inglehart R. The silent revolution: Changing values and political styles among Western publics. – Princeton: Princeton univ. press, 1977; Inglehart R. Culture shift in advanced industrial societies. – Princeton: Princeton univ. press, 1990.

[3] Lash S., Urry J. Economies of signs and spaces. – L.: Sage, 1994.

[4] Boltanski L., Chiapello E. Le nouvel esprit du capitalisme. – P.: Gallimard, 1999.

[5] Martín-Barbero J. De los medios a las mediaciones: Comunicatión, cultura y hegemonía. – Barcelona: Gili, 1987; Thompson J.B. The media and modernity: A social theory of the media. – Cambridge: Polity, 1997; Castells M. Communication power. – Oxford: Oxford univ. press, 2009.

Исследовательские программы в специализированных социологиях культуры множатся и включают теперь такие новые темы, как глобализация искусства, коллективная память, гибридизация и т.д.[1]. Одновременно, однако, теряет силу эпистемологический консенсус, достигнутый в некоторых областях на предыдущих стадиях. Так, например, в социологии искусства на сегодняшний день в значительной степени ослабли антигуманитарные методологические стандарты, широко принятые в ней в 1980-е годы. Предпринимавшиеся в последние десятилетия попытки артикулировать социологию культуры (Бурдье, Питерсон) кажутся теперь исчерпанными или безуспешными, а в более ограниченных областях (искусство, наука) отдается предпочтение междисциплинарности.

В то же время культурный поворот завоевывает все более прочные позиции в американской социологии. Секция культуры в Американской социологической ассоциации становится второй по величине. Предложена амбициозная программа культурной социологии (Александер), нацеленная на превращение всей социологии в культурный анализ. В Британии в это время развивается влиятельная постмодернистская социология с сильным акцентом на культуру (Урри, Лэш, Фезерстоун, Лури). Интерес к культуре как никогда заметен в дисциплине в целом, многие влиятельные фигуры помещают его в центр своего анализа (Бауман, Бек, Латур, Кастельс, Александер, Коллинз). В 2007 г. в качестве второго журнала Британской социологической ассоциации начинает издаваться журнал «Cultural sociology».

Итак, мы видим много признаков культурализации нашей дисциплины. Тем не менее, результатом всего этого остается до сих пор лишь неуклонная фрагментация взглядов на культуру в социологии.

---

[1] Peterson R., Anand N. Production of culture perspective // Annual rev. of sociology. – Palo Alto (CA). – Vol. 30. – P. 311–334.

Имеется ли, несмотря на все это, хотя бы какой-то консенсус?

Начнем с того, что есть эмпирический консенсус по поводу растущего веса культуры в сегодняшнем обществе. Об этом свидетельствует реальная эволюция социологических исследований специализированной культуры, особенно в сферах искусства, науки и коммуникации. Исчерпывающим доказательством этого служит растущее число изучаемых тем и подсекторов: это новые науки и научно-техническое развитие, новые сферы искусства, новые медиа и экспоненциальный рост формирующихся вокруг них социальных областей, непрерывно расширяющаяся область наследия и еще быстрее растущий мир Интернета. Растущая экономическая и стратегическая ценность, а также еще большая политическая значимость этих видов деятельности являются аспектами, которые подчеркивают все экономисты, географы и социологи, изучающие данные темы[1].

Для социологов искусства, науки и коммуникации растущий вес специализированной культурной сферы является единодушно признанным фактом, также как и растущее взаимопереплетение различных типов и секторов культурной деятельности и их все возрастающее пересечение с другими институциональными контекстами и повседневной жизнью. В социологии искусства выражением этого консенсуса стал международный конгресс «Общество культуры». Взяв за основу эти идеи, конгресс, проходивший в 2000 г. в Барселоне, собрал большое число социологов со всего мира и многих

---

[1] Castells M. Communication power. – Op. cit.; Nowotny H. Re-thinking science: Knowledge and the public in an age of uncertainty. – Cambridge: Polity, 2001; Scott A. Social economy of the metropolis: Cognitive-cultural capitalism and the global resurgence of cities. – Oxford: Oxford univ. press, 2009; Florida R. The rise of the creative class: And how it’s transforming work, leisure, community and everyday life. – N.Y.: Basic books, 2003. (Рус. перевод: Флорида Р. Креативный класс: Люди, которые меняют будущее. – М.: Классика–XXI, 2005.)

ведущих специалистов в этой области. Свидетельством его успеха стало общее принятие указанного подхода.

Эти идеи были приняты и социологами с более обобщенным подходом к культуре, хотя в каких-то случаях неохотно. Некоторые из этих социологов, например британские постмодернисты, сделали данные позиции своей отправной точкой, о чем ранее уже говорилось. Для них эти позиции, а также то, что им сопутствует или может быть из них выведено, являются фундаментальным эвристическим ключом к толкованию сегодняшнего мира. В других случаях это принятие эксплицитное, но прохладное. Джеффри Александер, например, в недавнем интервью «Европейскому журналу социальной теории» согласился с тем, что «интеллектуальные работники, в том числе социологи культуры, движутся от экономики вещей к экономике знаков… (и этим) несомненно, во многом социально объясняется культурный поворот (в социологии)»[1]. Между тем, далее он сказал: «Я не согласен с тем, что (культурная социология) является отраженным образом постсовременной или постиндустриальной теории, не согласен именно с тем, что до 1920 или 1950 г. или даже в XIX в. мы якобы жили в мире материальности». Роджер Фридланд и Джон Мор, в свою очередь, во введении к книге, которую они опубликовали несколько лет назад по материалам конференций «Культурный поворот», проводимых ими с 1997 по 2003 г. в Санта-Барбаре, писали: «Отчего произошел поворот к культуре в американской социологии? Несомненно, он может быть отражением нового политико-экономического порядка, в котором образ и идентичность имеют все большее значение… Это значит, что мир становится в большей степени культурным, и мы должны его переустраивать и по-новому концептуализировать, чтобы идти в ногу с происходящими в этом мире

[1] Cordero R., Carballo F., Ossandón J. Performing cultural sociology. A conversation with Jeffrey Alexander // European j. of social theory. – L., 2008. – Vol. 11, N 4. – P. 511.

изменениями». Однако почти сразу после этого они, как и Александер, уточняют: «Этого объяснения недостаточно. Хотя культурный характер социального мира становится все более очевидным, это не значит, что культура до этих событий была сколько-нибудь менее важна для социологического объяснения»[1]. Таким образом, идею о новом центральном месте культуры разделяют, хотя и по-разному ее интерпретируют, самые разные люди, а другие − со смешанными чувствами ее принимают.

Как бы там ни было, общее признание того, что интерес к культуре и новая значимость, которая придается ей в социологии, связаны с новой центральностью, обретаемой культурой в обществе, конституирует значимый эмпирический консенсус, так как установление общей точки отсчета для всех практиков социологического анализа культуры реально унифицирует область этой аналитической практики. При движении именно от этой точки становятся возможны конфронтация, а также, в долгосрочной перспективе, укрепление согласий и продвижение к продуманной перспективе для социологического анализа культуры. В качестве научного консенсуса, однако, это согласие все еще остается несколько поверхностным, поскольку само по себе не порождает единой перспективы для исследований. Фактически, для кого-то идея центральности культуры служит главным ключом к анализу, для других это объяснительный фактор, имеющий лишь относительную важность, а для третьих − не более чем малозначительный контекстуальный элемент. К тому же, как ранее уже говорилось, это согласие таит в себе ряд противоречий.

Консенсус – основа для диалога и развития дисциплины. Спор возникает из консенсуса. Отсутствие общей фокусировки и базиса общих допущений в социологических исследованиях культуры долго препятствовало

---

[1] Matters of culture: Cultural sociology in practice / Ed. by R. Friedland, J. Mohr. – Cambridge: Cambridge univ. press, 2004. – P. 3–4.

возникновению дебатов. Но, как я ранее уже отметил, в последнее время вместе с институциональным сближением на ряде форумов в этой области был достигнут некоторый уровень зрелости, и это положило начало дискуссиям. Одна из наиболее важных дискуссий была инициирована Джеффри Александером; она касается наиболее подходящего дисциплинарного фокуса для обсуждаемого типа исследований.

Около десяти лет назад – сначала в бюллетене секции культуры Американской социологической ассоциации, а затем, после некоторой доработки, в канадском журнале «Sociologie et sociétés»[1], на этот раз в соавторстве с коллегой Филипом Смитом, – Александер опубликовал статью-манифест «Культурная социология или социология культуры? К сильной программе», в которой дал полемический диагноз ситуации в социологических исследованиях культуры и представил собственную позицию. Он предположил, что главным ошибочным расколом в области социологического анализа культуры – ложным разграничением, на котором, по его мнению, можно сфокусировать основную критику и споры, – была линия, проведенная между тем, что он назвал социологией культуры, и тем, что он категоризировал как культурную социологию. Александер встал на сторону культурной социологии и охарактеризовал эту позицию, с общей точки зрения, как перспективу анализа, в которой индивиды и определение институтов понимаются как складывающиеся в значительной степени на аффективных и символических основаниях. Основополагающей была идея о том, что культура обладает полной автономией. Согласно этой идее, указанные основания воздействуют на социальную реальность, влияя на ее структуру исходя из собственной неподатливой культурной логики. Таким образом, влияние культуры, хотя и не

[1] Alexander J., Smith P. Sociologie culturelle ou sociologie de la culture ? Un programme fort pour donner à la sociologie son second souffle // Sociologie et societés. – Montréal, 1998. – Vol. 30, N 1. – P. 107–116.

рассматривается как исключительное, по сути, мыслится как совершенно независимое. Культура, по Александеру, действует как независимая переменная, поскольку конституирует особую реальность со своими собственными законами. Из этой онтологической посылки вытекал, в конечном счете, важный методологический королларий: социологический анализ культуры должен требовать, чтобы наиболее общие социальные отношения были заключены в скобки, дабы он мог сосредоточить внимание на социальном тексте, или культурных структурах как таковых. Социология культуры, напротив, характеризовалась тем, что делала культуру зависимой переменной. В этом случае культура должна была аналитически объясняться через посредство других – «жестких» – переменных социальной структуры. Ее формирующее влияние на социальную реальность представлялось лишь относительным и косвенным: считалось, что она никоим образом не вносит вклад в производство социальных отношений, а в лучшем случае только в их воспроизводство.[1]

Такова антитеза, представленная в статье Александера. Но можно ли сказать, что она убедительна? Действительно ли это основная ошибочная линия водораздела в области социологических исследований культуры? Я бы сказал, что в том, как Александер формулирует альтернативу между культурной социологией и социологией культуры, на самом деле содержится значительная доля мистификации. Эта оппозиция, как она определяется у Александера на основе идеи автономии культуры, в значительной степени искажает реальность обсуждаемой области. Прежде всего, это происходит потому, что само рисуемое противостоящее пространство – то есть пространство социологии культуры – вовсе не является столь уж ужасно согласованным. Александер обсуждает целую серию программ, попадающих, по его мнению, в это пространство, и называет эти программы слабыми. В этой связи он рассматривает более или

[1] Alexander J., Smith P. Cultural sociology or sociology of culture? – Op. cit. – P. 98.

менее детально три случая: британские культурные исследования, Бурдье и Фуко. Всё это авторы с общим подходом к культуре (исключение составляет Бурдье, но Александер обсуждает его именно в этом ключе). Между тем, пользуясь ярлыком «социология культуры», Александер ясно и эксплицитно говорит и о других, гораздо более близких к нему (и гораздо более многочисленных) коллегах: об американских социологах, практикующих социологию культуры, ориентированную на специализированную культуру, или принимающих институциональный подход (Александер упоминает перспективу производства культуры и неоинституционализм, а в недавнем интервью, на которое я ссылался, включает сюда также интеракционистскую перспективу). На самом деле все эти социологи располагаются на полюсе, противоположном тому типу обобщающей социологии культуры, за который ратует Александер.

Вдобавок к тому оппозиция, существующая, как заявляет Александер, между одной социологией, видящей культуру как всего лишь зависимую переменную, и другой, рассматривающей ее как независимую переменную, является вымышленной и фиктивной, поскольку вряд ли сегодня хоть кто-то отстаивает первую точку зрения. Например, Ричард Питерсон, видный поборник подхода «производства культуры», в интервью, опубликованном недавно в журнале «Cultural sociology»[1], отмечал, что обе исследовательские стратегии должны дополнять друг друга. И он не единственный, кто дистанцирует себя от указанной идеи. В широком кругу социологов, занятых социологией искусства, которых Александер, видимо, несколько поспешно причисляет к области, названной социологией культуры, очевидна тенденция (преобладающих ныне подходов) к отмежеванию от идеи социальной детерминации культуры. Относительно того, что мы могли бы назвать

[1] Santoro M. Producing cultural sociology: An interview with Richard A. Peterson // Cultural sociology. – L., 2008. – Vol. 2, N 1. – P. 33–55.

постбурдьевистским поворотом, можно на самом деле сказать, что нынешняя социология культуры и искусства уже не сосредотачивается всецело на социальной детерминации или производстве культурного объекта, но уделяет также все больше внимания культурному производству социальной реальности.

Этот факт очень важен еще и потому, что очерчивает зарождающийся теоретический консенсус среди большинства социологов, занимающихся социологическим анализом культуры как со специализированной, так и с общей точки зрения. Это − консенсус по поводу сложности символической игры и ее релевантности для социальной динамики. Фактически в этой связи социологи культуры, использующие специализированные перспективы, хотя большинство из них и не принимает идею Александера о том, что культура является независимой сферой реальности со своими собственными законами, признают сложность текстуальной конфигурации и значимость его анализа. Сегодня многие занимаются им, используя другие, ничуть не менее сложные стратегии. По поводу американского академического мира Роджер Фридланд и Джон Мор в уже упоминавшейся ранее книге говорят, что «сегодня… различия между теми, кто изучает социологию культуры, и теми, кто делает культурно-социологические исследования, стерлись и на риторическом, и на практическом уровне»[1]. Хотя это утверждение является преувеличением, оно точно указывает на тот консенсус, о котором я только что говорил.

Вымышленная оппозиция, которую конструирует Александер, прячет от глаз более определенный – хотя и менее опасный – раскол между узким и более генерализованным видением социологии культуры. Этот раскол Александер предпочитает игнорировать – вероятно, потому что его описание положения дел лучше работает на его риторическую стратегию продвижения собственной

[1] Matters of culture: Cultural sociology in practice / Ed. by R. Friedland, J. Mohr. – Cambridge: Cambridge univ. press, 2004. – P. 55.

позиции. Его стратегия по существу выводит нас за пределы социологии культуры как специальности. Он и сам открыто это признает: «Я стремлюсь к тому, чтобы культурная социология не была специальностью, а изменила саму манеру делания социологии»[1].

Но эта стратегия непризнания разницы между специализированной и общей фокусировками социологии культуры означает, что Александер вынужден не замечать фундаментального факта культурной реальности: существования институционализированной и специализированной сферы культуры – независимой области, являющейся историческим конструктом и обладающей автономией, основанной на специфических ценностях. Это фундаментальная структурная черта современного культурного порядка, находящегося сегодня в состоянии трансформации, и принципиально важно принимать ее во внимание. В этой связи думается, что если бы стратегия Александера триумфально победила и культурная социология растворилась в общей социологии, то понимание современной культурной динамики было бы всерьез ослаблено. Следовательно, хотя подход Александера и может быть очень многообещающим как конкретная исследовательская программа, он не кажется нам самой подходящей моделью для общей конфигурации социологического подхода к культуре.

Но если подход, предлагаемый Александером, на эту роль не годится, то какой же дисциплинарный подход к социологическому анализу культуры будет наилучшим? Наша главная задача – это, несомненно, приращение нашего знания о культурной динамике в современном обществе. Чтобы эту задачу выполнить, нам надо отталкиваться от действительной конфигурации культурной реальности, а не обходить ее стороной. В силу этого замкнутая

---

[1] Cordero R., Carballo F., Ossandón J. Performing cultural sociology: A conversation with Jeffrey Alexander // European j. of social theory. – L., 2008. – Vol. 11, N 4. – P. 513.

область, созданная старой социологией искусства, тоже выглядит сегодня для нас непригодной. Ее ограниченность с эмпирической и аналитической точек зрения очевидна. Постмодернистская перспектива символической экономии, в принципе нацеленная на точную связку с культурным объектом, который формируется в обществе сегодня, с одной стороны, слишком аморфна (она не показывает структурное преобладание специализированной культуры), а с другой – характеризуется сильным уклоном в эпистемологию. Перспектива социологии культуры, если очистить ее от недопонимания относительно ее предполагаемого материалистического детерминизма, в действительности подходит нам больше всего. Эта перспектива не должна быть сфокусирована в каком-то одном направлении. Она может и должна принять двоякую ориентацию: с одной стороны – специализированную, сосредоточенную на культурной сфере, при признании ее специфичности и институционального преобладания; с другой стороны – общую, фокусирующуюся, как хочет того Александер, на любой сфере действия и любой институциональной области. Задачей при этом будет, разумеется, связывание этих двух ориентаций.

И, наконец, есть еще одна задача, которую, хотя мы и не можем здесь подробно ее обсудить, по крайней мере, стоит иметь в виду: задача влияния на общество. Мы согласны с тем, что культура во всех ее вариантах обретает все больший вес в социальной динамике. Но социология культуры пока еще мало – и определенно недостаточно – присутствует в публичной сфере. Конечно, какие-то из ее проявлений и ориентаций там присутствуют – как, например, работы о расизме, идентичностях и коллективной памяти, – однако, совершенно несоразмерно. *Социология, ориентированная на разработку политики* (policy-oriented sociology) нужна во многих областях (в противовес, например, темам культурной политики), и при этом нужно, чтобы она была связана с более академической социологией. Это реальная задача на будущее.

Пер. с англ. В.Г. Николаева

В.А. Ядов

К ВОПРОСУ ОБ АДАПТИВНЫХ СТРАТЕГИЯХ ЛЮДЕЙ В КРИЗИСНЫХ УСЛОВИЯХ

Моя исходная предпосылка – утверждение Маркса и современных сторонников деятельностного подхода, согласно которому люди сами творят свою историю, не будучи свободными от «цепей» прошлого. Если так, то в центре нашего внимания оказываются социальные агенты разного уровня. Социальные структуры, институты будут на втором плане, на первом – те, кто их изменяет.

Кризисная ситуация обесценивает накопленный капитал знаний и практик. Необходимы нестандартные действия. Решающее значение приобретают персональные и социальные ресурсы агентов. Персональный ресурс – это интеллект, волевые качества, знания, навыки, способности. Социальный капитал как компонент персонального (и группового) ресурса есть сети взаимосвязей. Его исключительная значимость коренится в национальной традиции и сегодня многократно умножается вследствие утраты доверия к социальным институтам, группам и всем тем, кого мы не относим к «своим». Свои – те, кому мы доверяем. Социальный капитал в таком понимании объемлет и доступ к материальным, властным, прочим ресурсам.

Следующий вопрос: *как используется ресурс его владельцем?* Вспомним, что в 1930-е годы – годы Великой депрессии и ее преодоления – в американской социологии ведущее место занимали чикагские социологи-качественники, в отличие от пришедшего позже с общественной стабилизацией господства гарвардской школы. Между тем, как мы знаем, Роберт Мертон, следуя Парсонсу, обозначил типы адаптационного поведения в логически безупречном квадранте: отношение к цели деятельности и к способу ее достижения. Кроме конформного типа, который в теории Парсонса демонстрировал норму

адаптационного поведения (по язвительному замечанию Э.Гидденса, личность у Парсонса есть «обструганный болван»), в квадранте Мертона были выделены стратегии инноватора, ритуалиста, эскаписта и бунтаря. Я стал прикидывать, приложима ли классификация «ревизиониста» Мертона к российским реалиям наших дней. По смыслу названий типажей приложима, но с формально-логической точки зрения – нет. Нет – потому, что непригоден критерий отношения к цели деятельности. Интегрирующая общество цель движения России в будущее (*generalized value* у Парсонса) отсутствует. Нет общенационального консенсуса в главном – следовать ли в сторону Запада или идти своим, не вполне ясно, каким именно путем[1].

Я решил применить классификацию по образцу Мертона, внеся коррекцию относительно цели деятельности. Вопрос о том, с какой целью надлежит использовать свой ресурс, социальные субъекты решают, я думаю, путем выбора из трех вариантов: а) приспособиться к данным обстоятельствам, б) подождать, авось обойдется и, наконец, в) использовать кризисную ситуацию в свою пользу. Использовать ее в свою пользу можно двояко: а) выпросить помощь у властей – в виде повышения пенсий и зарплат или в виде безвозвратного кредита, отсрочек платежей и т.п. для корпоративных акторов; б) мобилизовать собственные ресурсы, использовать кризисную ситуацию для рывка вперед. Средства достижения цели – либо законные, либо «по понятиям».

Получилось пять типажей, названия которым придумывать нет надобности. Они есть в бессмертном произведении Ильфа и Петрова. Остап Бендер и его

---

[1] Я думаю, что можно говорить не столько об особом пути, сколько о *национальном стиле* развития обществ в глобальном пространстве. Вектор социальных изменений задан миросистемой. См.: Ядов В.А. Современная теоретическая социология как концептуальная база исследования российских трансформаций: Курс лекций. – СПб.: Интерсоцис, 2006. – С. 79–90.

спутники демонстрируют нам отечественные способы жизнедеятельности в кризисном обществе недолгого периода НЭПа.

Адаптационные образцы по-российски

Паттерн	Цель	Законным путем	По понятиям
Адам Козлевич	Приспособиться	Да	Нет
Шура – сын лейтенанта Шмидта	Приспособиться	Нет	Да
Великий комбинатор	Воспользоваться ситуацией НЭПа	Да	Нет
Подпольный миллионер Корейко	Воспользоваться ситуацией НЭПа	Нет	Да

Подобно тому, как в период Великой депрессии чикагская парадигма обнаружила свою высокую эвристичность, так и сейчас в России незаменимый вклад в описание и понимание российских реалий вносят «качественники». Достаточно упомянуть недавно опубликованную книгу Виктории Семеновой, в которой описаны образцы жизненных биографий россиян советского и постсоветских поколений[1].

Между тем, как мы знаем, качественная методология не позволяет установить распространенность в кризисном социуме разнообразных образцов

[1] Семенова В. Социальная динамика поколений: Проблема и реальность. – М.: РОССПЭН, 2009.

приспособительного и приспосабливающего «под себя» поведения граждан. Именно это важно знать для оценки социальной ситуации и ориентировочного прогноза изменений в будущем. Выход из кризиса экономисты установят по кривым подъема-спада рыночных индексов. Ответственность за динамику показателей состояния умов и практик граждан ложится на социологов. Используя предложенную типологию, я бы сказал, что выход в стабильное, то есть предсказуемое, развитие обозначится доминированием типов законопослушного трудяги Козлевича и чтящих Уголовный кодекс предприимчивых и оборотистых. Бендер Кодекс чтил, нравственные нормы его не волновали. Когда подавляющее большинство наших предпринимателей освоит моральный кодекс ответственного бизнесмена, можно будет сказать, что страна преодолела не только экономический кризис, но, что не менее важно, кризис в правосознании и нравственности. Немало лет пройдет, пока социологи смогут радостно сообщить, что кривые состояния умов и практик граждан устойчиво пошли вверх.

О.Н. Яницкий

ТЕОРИЯ УРБАНИЗАЦИИ И ИНФОРМАЦИОННОГО РОСТА ГОРОДОВ 1960–1970-Х ГГ. (ЛИЧНАЯ РЕТРОСПЕКЦИЯ)

Ретроспектива: Идеологический, научный и человеческий контекст

1960–1970-е годы – время становления социологии города в СССР как самостоятельной социологической дисциплины, в чем я принимал непосредственное участие[1]. Данная статья не претендует на подробный обзор этого процесса – у нее другая задача: оглянуться и посмотреть, насколько моим ближайшим коллегам и мне почти сорок лет назад удалось выявить сущность урбанизации и спрогнозировать, хотя бы в самых общих чертах, последующую динамику этого процесса.

Рассматриваемый период во многих отношениях был «переходным». Эпоха идеологических обвинений ученых и политиков в левом или правом уклоне с последующими «оргвыводами» закончилась. Начался новый этап «открытия» и осмысления трудов К. Маркса, особенно его ранних социально-философских работ. Произошел резкий поворот к изучению личности, динамики групповой деятельности, массовых социальных процессов. Возрождалась социальная психология, генетика, интенсивно развивались кибернетика и прикладные научно-технические дисциплины. Новый этап индустриализации и урбанизации

---

[1] См. например: Коган Л.Б. Урбанизация–общение–микрорайон // Архитектура СССР. – М., 1967. – № 4. – С. 39–44; Социологические исследования города / Отв. ред. О.Н. Яницкий. – М.: Научный совет АН СССР по проблемам конкретных социальных исследований, 1969; Баранов А.В. Социально-демографические проблемы города. – Л.: Наука, 1972; Якушов А.И. Преодоление существенных различий между городом и деревней. – М.: Высшая школа, 1979; Межевич М.Н. Социальное развитие и город. – Л: Наука, 1979 и др. Началось также систематическое освоение работ иностранных авторов. См., например: Социологические проблемы польского города / Под ред. В.М. Леонтьева. – М.: Прогресс, 1966; Яницкий О.Н. Урбанизация и социальные противоречия капитализма: Критика американской буржуазной социологии. – М.: Наука, 1975.

СССР, начавшееся массовое жилищное строительство остро поставили вопрос о реальных потребностях городского населения, динамике его численности и социальной структуре, о формах самоорганизации [1][1].

Произошло и важное, на мой взгляд, идейно-теоретическое размежевание поколений в гуманитарных науках. Если старшее поколение, а это были преимущественно философы из академической среды, вело бесконечные дискуссии о соотношении исторического материализма и конкретных социальных исследований, то младшее, пришедшее в формирующуюся социологическую науку из научно-технической интеллигенции или из той ее гуманитарной части, которая избегала этих бесплодных словопрений, было нацелено на анализ текущих социальных процессов. Размежевание стимулировалось также открывшимся, хотя и ограниченным, доступом к западной социологической литературе, начавшимися международными контактами и т.п. Старшее поколение пыталось «руководить» этими контактами, но вследствие страха «замарать мундир», неосведомленности в конкретных областях социологического знания и просто по незнанию иностранных языков, подобный контроль носил преимущественно внешний характер. Вообще, контроль за доступом к иностранным источникам был в те годы уже далеко не тотальным. Знаю по собственному опыту: с содержанием западной социологической литературы, которая была глубоко запрятана в спецхранах, можно было легко ознакомиться, читая в открытом доступе градостроительную или иную западную литературу социально-прикладного характера.

Более опасной для нас, молодых, была другая часть старшего поколения, воспитанная на «Кратком курсе истории ВКП(б)» и кондовом марксизме-ленинизме. Эти люди, затвердившие когда-то азы этого сталинского текста,

[1] Здесь и далее см.: Примечания.

боялись тех, кто мог бы, по их мнению, подложить «бомбу» под идеологическую платформу их социального статуса и директивного стиля руководства наукой. Это был очень мощный слой чиновничества от науки, которому ни Запад, ни данные эмпирической социологии были не указ, если они не согласовались с его пониманием социализма и коммунизма. Эти люди так и остались с 1930-х гг. «приводными ремнями» буквы и духа сиюминутных решений вышестоящих инстанций (райкома, горкома, обкома КПСС и т.д.), и горе тому, кто проявлял идейно-политическую самостоятельность. Это разделение старших на «терпимых» и «нетерпимых» пронизывало систему сверху донизу, от Политбюро ЦК КПСС до обкомов и горкомов КПСС. Если в Международном отделе ЦК можно было разговаривать и спорить, надеяться на практическую реализацию твоих идей (что иногда и случалось), то в Отделе науки ЦК КПСС любые «отклонения от генеральной линии партии» жестоко пресекались. Партийные секретари на местах, ответственные за промышленность и город (что по сути было одно и то же, поскольку индустриальные центры страны были «архипелагами» ведомственных жилищ, коммуникаций и служб), были гораздо более здравомыслящими и дальновидными, чем секретари по идеологии. Этот же директивный подход господствовал и в градостроительной науке: от социолога требовалось «обосновать» уже готовый проект или планировочное решение.

В начале 1960-х гг. я, тогда градостроитель, искавший научный инструментарий для «оптимизации» сетей обслуживания в больших городах, принял участие во всероссийском исследовании бюджетов времени трудящихся (в составе коллектива сибирских социологов). Все шло очень интересно и гладко, пока я не вышел за рамки дозволенного: захотел не только применить полученные данные для чисто прикладных градостроительных расчетов, а использовать их для изучения городского образа жизни в СССР (тогда я был

уже знаком с работами Р. Парка, Л. Вирта и других теоретиков Чикагской школы). Из Госкомстата РСФСР, курировавшего исследование, пришел короткий приказ: «архитекторов от исследования отстранить». Тем не менее, *время* – одновременно как общий знаменатель структуры различных видов жизнедеятельности городского сообщества, их локализации в пространстве и как показатель эффективности человеческих коммуникаций в нем – уже тогда привлекло мое внимание. Оглядываясь назад, я вижу очевидную недостаточность структурно-функционального подхода к проблемам высокой сложности жизни городского организма. Но с приходом «рынка» проблема времени как показателя эффективности всепроникающих, подвижных трансакций и их конфликта с трансакциями закрытыми, корпоративными, опять становится актуальной.

Урбанизация или «сближение города и деревни»?

Положение новой программы КПСС, ориентировавшей общественные науки на выработку практических форм сглаживания различий между городом и деревней, фактически закрывало любые попытки изучения урбанизации как исторического процесса, в котором города играют ведущую роль. Это была не только идеологическая установка, но также максима культуры и социально-инженерного мышления. Послевоенный этап индустриализации означал новый приток сельской и провинциальной культуры в большие города. Миллионы лимитчиков вновь окрестьянивали городскую культуру, снижали уровень ее урбанизированности. Соседство и микрорайон как его социально-инженерное воплощение были той «точкой», где коммунистическая идея сближения города и деревни, социальный порядок централизованного государства и культура его рядовых граждан сошлись в непротиворечивом единстве. Поэтому сказать публично, что не ЦК КПСС и Госплан, а урбанизация выступает той

исторической силой, которая, в конечном счете, является предпосылкой и двигателем общественного прогресса, что *производство знаний и информации* служит его условием и перспективой, было далеко не просто.

Тем не менее, в 1969 г. мы утверждали: «Урбанизация может быть понята как всемирно-исторический процесс развития концентрации, интенсификации общения, как процесс интеграции все более разнообразных форм практической жизнедеятельности. Урбанизация выступает как момент, как результат и вместе с тем как предпосылка прогресса общения, прогресса всей жизнедеятельности общества, развития его творческого потенциала… Научно-техническая революция означает превращение «производства знаний в основную, определяющую форму практики… Становится все важнее двуединая задача подъема общества, ориентирующегося и опирающегося на уровень развития его передовых центров, и вместе с тем – развития этих центров через подъем всего общества»[1]. Еще раньше, в 1964 г., Л. Коган и В. Локтев указали на «значимость наиболее мощных центров производства информации», в первую очередь крупнейших городов, рост способности «всего общества развивать эти центры и ассимилировать их результаты»[2].

«Возрастающее значение производства информации в обществе проявляется разнообразным образом: расширяются масштабы производства информации и его удельный вес во всей человеческой жизнедеятельности,

---

[1] Ахиезер А.С., Коган Л.Б., Яницкий О.Н. Урбанизация, общество и научно-техническая революция // Вопросы философии. – М., 1969. – № 2. – С. 43–53. Это была первая в советской социологии статья по теории урбанизации, вызвавшая бурную дискуссию на редколлегии журнала. Статью поддержали члены редколлегии Б.А. Грушин, Ю.А. Замошкин, В.А. Лекторский и И.Т. Фролов, тогда главный редактор журнала. А.А. Зиновьев был категорически против. Тем не менее, статья была опубликована и переведена на многие европейские языки.

[2] Коган Л.Б., Локтев В.И. Некоторые социологические аспекты моделирования городов // Вопросы философии. – М., 1964. – № 9. – С. 135–138.

повышается удельный вес производства научных знаний в общей массе производимой информации, углубляется ее творческий характер, нарастает процесс замещения наиболее рутинных аспектов производства знаний функциями различных механизмов, все важнее становится роль производства информации в повседневном поведении личности, например при рационализации мотивов, возрастает социальный престиж производства информации и т.д. Мы имеем в виду не только специальную информацию, используемую в той или иной области профессиональной деятельности (например, научную, техническую, деловую), но и информацию *общекультурного* характера, проявляющуюся в психологических контактах, эмоциях, настроениях, вкусах и т.д. … крупнейшие городские центры характеризует специфическая социально-профессиональная структура занятости, «сдвинутая» в сторону высококвалифицированного труда в сферах управления, науки и культуры, то есть по преимуществу или целиком информационной деятельности. Центры этих городов являются средоточием труда по потреблению, переработке и трансляции информации», в них сосредоточиваются организации социального управления производством и обществом в целом: плановые, финансовые, административные, научные и проектные, которые в свою очередь порождают «второй круг» информационных служб – библиотеки, патентные бюро, типографии, а также печать, радио и телевидение. Делался вывод, что «социально-информационный комплекс город должен стать предметом детального исследования социологии»[1].

Основываясь тогда на очень ограниченном эмпирическом материале, мы все же предполагали, что: 1) в основе урбанизационного процесса и

[1] Ахиезер А.С., Коган Л.Б., Яницкий О.Н. Урбанизация, общество и научно-техническая революция. – Указ. соч. – С. 47.

формирования социально-информационной структуры города будет лежать деятельность индивидов и малых групп. Подчеркивалось, что развитие неформальных групп создает необходимую психологическую среду для личности и в то же время является организующим началом в поведении горожанина, каналом контроля городской жизни со стороны общества; 2) в ходе интенсификации их деятельности изменится функциональная и пространственная структура их связей (тогда понятие «сеть» еще не употреблялось); 3) успех и эффективность человеческой деятельности будет зависеть от их способности своевременно реагировать на быстротекущие изменения социальной среды – поэтому мобильность может трактоваться как особое состояние (готовность) к новым контактам, к переменам социальной группы, занятий, пространственной локализации и т.д.; 4) повышение разнообразия и информационной емкости контактов приведут к тому, что значение соседских контактов будет снижаться; 5) развитие средств связи и коммуникации приведет к вытеснению ряда рутинных стереотипных передвижений, позволяя увеличить объем и эффективность наиболее существенных для развития личности видов общения; 6) произойдет взаимопроникновение семейной и внесемейной сфер жизни горожан. «Эта тенденция усиливается развитием средств массовой коммуникации, особенно телевидения», что скажется на повышении значимости индивидуального жилья, которое «станет (наряду с центральными городскими учреждениями) “полюсом” деятельности в сфере досуга»; 7) наконец, возникает сложная проблема освоения городской культуры личностью, опасность того, что этот процесс будет односторонним, поверхностным, эклектичным, что будут усвоены только внешние атрибуты этой культуры в ущерб ее содержанию[1].

---

[1] Здесь, кроме нашей тройственной статьи, я основывался на работах американского ученого Р. Мейера. См.: Meier R.L. The communication theory of

Дело было не только в новизне исследований урбанизации как социального и модернизационного феномена. Мы, исходя из основного тезиса К. Маркса об истории как всемирно-историческом процессе, стали (может быть, неожиданно для себя) «западниками». С начала 1930-х гг. урбанизация в официозной советской литературе трактовалась как буржуазный феномен, которого не может быть при социализме. Опубликовав ряд статей в научной и официальной печати, мы тем самым встали на точку зрения, указывающую на сходство процессов развития социалистических и капиталистических стран; тогда ее именовали теорией конвергенции, а в официальном марксизме – ревизионизмом и отступничеством [2].

Городская среда в информационном обществе

Почему меня увлек именно информационный аспект урбанизации? Поскольку я занимался «оптимизацией» сетей обслуживания, для меня сети, связи, их материальное и информационное наполнение были привычными вопросами. За потребностью в товарах и услугах всегда стояла скрепляющая их информация. Произошедшая демократизация жизни и массовость городских процессов, большая их «открытость» ориентировали на их эмпирическое исследование. Знакомство с социологической теорией города западных стран стимулировало мое стремление к их апробации на отечественном материале. Утверждение советских социологов, что современная эпоха «обнажает информационную структуру общества»[1], действовало в том же направлении. Наконец, для меня как «сетевика» было интересным попытаться использовать

---

urban growth. – Cambridge (MA): MIT, 1965; Meier R.L. Metropolis as a transaction-maximizing system // Daedalus. – Cambridge (MA), 1968. – Vol. 97, N 4. – P. 1301–1304.

[1] См., например, Левада Ю.А. Сознание и управление в общественных процессах // Вопросы философии. – М., 1966. – № 5. – С. 63.

марксову теорию обмена и общения как некоторый универсальный инструмент для анализа процессов социальной коммуникации в городах. Более того, это было необходимо, потому что с конца 1950-х гг. я включился в интенсивные исследования функционирования системы обслуживания городов. Тогда в среде градостроителей они именовались «обследованиями», но, по сути, мы эмпирически изучали поведение массового пользователя этой системы (кто, когда и где ею пользуется, частота посещения ее отдельных учреждений, связь между отдельными видами потребительской деятельности, их доступность в городском пространстве и т.д.). Причем в отличие от современного «чисто социологического» анализа поведения горожан мы все время работали в междисциплинарном «коридоре» или – иначе – многомерном пространстве, детерминируемом сложным комплексом санитарно-гигиенических и технических требований[1] [3].

Конечно, 35 лет назад еще не было понятия «информационное общество» – речь велась о научно-технической революции (НТР). Однако, в конечном счете, не термины, а сущность стоящих за ними процессов имеют значение. Вот какие гипотезы были тогда выдвинуты мною на основе анализа трудов К. Маркса и Ф. Энгельса, советских и западных социологов и урбанистов, а также моего собственного включенного наблюдения в процессы социальной жизни советских городов второй половины 1950-х – середины 1970-х гг.[2].

---

[1] Многотомный СНиП (Строительные нормы и правила) представлял собою свод требований нескольких десятков наук, обеспечивающих, прежде всего, здоровье и безопасность городского населения. Сколько бы социологи не говорили, что горожанину так удобнее, если норма освещенности помещений или игровых площадок при этом не выдерживалась, наши рекомендации отвергались. Симптоматично, что сегодня СНиП фактически отменен.

[2] Яницкий О.Н. Город как информационная система // Социологические исследования города. – М.: ССА: Институт конкретных социальных исследований, 1969 – С. 166–187; Яницкий О.Н. Социально-информационные процессы в обществе и урбанизация // Урбанизация, НТР и рабочий класс / Отв.

Во-первых, это *нестабильность* городских систем вследствие постоянной переориентации деятельности их институтов на все более широкие цели – региона, нации, мирового рынка. Городские системы развиваются под знаком постоянного взаимодействия и конфликта локальных (территориальных) и глобальных (отраслевых) сил.

Во-вторых, производство знаний как продукта и результата всеобщего труда носит по своей природе *кумулятивный и экстерриториальный характер,* то есть развивается в направлении сосредоточения и является атрибутом человеческой культуры в целом. Значит, концентрация знаний и информации в городах не является сугубо городским феноменом (подтверждением тому служит открытый С. Бредфордом закон рассеяния публикаций, который в свою очередь есть частный случай закона Ципфа).

В-третьих, это означает, что знание, освобождаясь от личностного способа передачи, становится все более мобильным. Меняется и его характер: тогда мне представлялось, что культура эпохи НТР высоко «алгоритмизирована», что она – хранилище рациональных программ, принципов и общих закономерностей человеческой жизнедеятельности (мною не была учтена противоположная тенденция: конструирование знания и информации в манипулятивных целях). Изменяется и структура коммуникативных систем общества в целом: иерархический (ступенчатый) способ передачи информации все более вытесняется «референтным», то есть обращением всех реципиентов к равноудаленному источнику информации. Среда конкретного города, став элементом культурной среды общества, потеряла свой конечный характер, стала динамичным компонентом развивающейся системы. Это еще один довод в

ред. О.Н. Яницкий. – М.: Наука, 1972. – С. 38–75; Yanitsky O. Socio-informational aspects of urbanization: Paper presented at the VII th World congress of sociology (Varna, Bulgaria, 14–19 September 1970). – Moscow: Soviet sociological association, 1970.

пользу усиления экстерриториальности коммуникативных систем города. Иными словами, город не только «концентрирует» – он используется информационном производством как необходимая для его развития «среда обитания».

Теперь – о гипотезах относительно городской среды как таковой. Я полагал, что названные выше процессы приведут к значительному расширению сферы и увеличению социальной роли среды воспроизводства *личности*, а следовательно, и роли города. Главный тезис состоял в том, что локализованная в городах человеческая деятельность является *экстерриториальной по* своему характеру. Это универсальное общение по поводу универсальных целей. Далее, я полагал, что фундаментальным признаком городской среды является ее нарастающее разнообразие. Как теперь видно, мои представления о том, что разнообразие активно взаимодействующих личностей, их культур, представлений, ориентаций и т.д. есть одновременно и генератор инноваций, диалог, механизм кристаллизации общего, общепринятого, общепонятного, в конечном счете превращающегося в привычное, были в тенденции верными, но практически, как показала социальная динамика последующих лет, сильно упрощенными. В частности, я видел, что сети общения разделяются на открытые (общедоступные), ограниченно доступные и сугубо закрытые. И чем сильнее была эта дифференциация, тем активнее жители компенсировали ее за счет личных связей и знакомств. Но я не видел, что такие сети конструируются для целенаправленной манипуляции людьми.

Принципиально важным моментом было предположение о неизбежном переходе от «стабилизирующей» к «развивающейся» рутинизации общения, так как ускоряющееся развитие общества требует ускоренного «*опривычивания*» новых знаний и информации, вводимых в него наукой. Изменив угол зрения, я предположил, что роль городской среды, образующихся в ней групп и

сообществ, заключается в *посредничестве* между потоками специальной и общекультурной информации. Далее, ситуация будет развиваться в направлении *уплотнения* информационного потока на основе познания все более общих, фундаментальных принципов движения общества и природы. Вместе с тем, уже тогда, в 1972 г., я предполагал, что «городская среда выполняет своеобразную функцию *канала массовых коммуникаций*, общения людей как неспециалистов, кристаллизуя и распространяя нормы и стереотипы повседневной жизни», причем наиболее эффективные и рациональные. Другая сторона социально-информационной среды города виделась в функции *адаптации* сельских мигрантов к образу жизни горожан, их приобщению к высшим достижениям культуры, к специфическим формам и стереотипам урбанизма как городского образа жизни. Опираясь на работы науковедов, я предположил, что одним из наиболее эффективных «контейнеров» хранения и транспортировки информации являются сами горожане. Критерием общения становится информационная емкость контакта, в основе которого «лежит более общий принцип информационного поведения индивида – стремление к *минимизации затрат времени*». Отсюда логически вытекал принцип *активно-избирательного общения* индивидов в городской среде[1]. Наконец, свидетельством возрастающей мобильности современных (напомню, речь шла о 1970-х годах) информационных систем, их экстерриториальности явилось распространение «незримых коллективов» в науке (Е. Мирская).

[1] Яницкий О.Н. Социально-информационные процессы в обществе и урбанизация // Урбанизация, НТР и рабочий класс / Отв. ред. О.Н. Яницкий. – М.: Наука, 1972. – С. 70–73.

К. Маркс, капиталистическая урбанизация, постгородской образ жизни

Анализируя в 1970-е – 1980-е годы работы К. Маркса и Ф. Энгельса, а также доступную западную литературу по проблемам капиталистической урбанизации, тогда никто не мог и помыслить, что все «блага» первоначального капиталистического накопления мы будем вынуждены испробовать на собственной шкуре. Но сейчас речь не о нас, а о том, что российские социологи рано исключили методологию марксистского анализа из своего теоретического инструментария. Берусь утверждать, что практически все основные противоречия капиталистической урбанизации XX и даже начала XXI столетий были *в общей форме* предсказаны К. Марксом и Ф. Энгельсом. Приведу лишь несколько ключевых позиций – более подробный анализ их концепции капиталистической урбанизации был дан мною в специальном исследовании 1983-го года[1].

Именно развитие и распространение вширь капитала и наемного труда, по мысли Маркса, становится вместо земли той почвой, на которой базируется общество[2]. Таким образом, «в то время как капитал, с одной стороны, должен стремиться к тому, чтобы *сломать все локальные границы общения*, то есть обмена, завоевать всю Землю в качестве своего рынка, он, с другой стороны, стремится к тому, чтобы уничтожить пространство при помощи времени, то есть свести к минимуму то время, которое необходимо для продвижения товаров от одного места к другому. Чем более развит капитал, чем вследствие этого обширнее рынок, на котором он обращается, который образует пространственную сферу обращения капитала, тем сильнее он в то же время стремится к еще большему пространственному расширению рынка и к еще

[1] Яницкий О.Н. Методология К. Маркса в анализе проблем капиталистической урбанизации // Вопросы философии. – М, 1983. – № 3. – С. 3–17.
[2] Маркс К., Энгельс Ф. Соч. – Т. 46, ч. 1. – С. 228.

большему уничтожению пространства посредством времени» (курсив мой. – *О.Я.*)[1]. То есть, по мысли Маркса, географическое пространство включается в процесс производства в своей социально-экономической форме – времени обращения.

Именно капитализм, развитие его производительных сил привели к возрастанию автономии индивида, индивидуализации его деятельности и, следовательно, появлению возможности его включения в различные каналы социального общения. Ни в одну из прежних эпох, вплоть до образования «гражданского общества», производительные силы не принимали «формы безразличной к *общению индивидов как индивидов*, потому что само их общение было еще ограниченным», только теперь они получают «возможность вступить в связь друг с другом *как индивиды*». Но в той же работе подчеркивается, что труд рабочего является «отрицательной формой самодеятельности», потому что «деньги делают всякую форму общения и само общение чем-то случайным для индивидов». Именно в «деньгах коренится то явление, что всякое общение до сих пор было только общением индивидов при определенных условиях, а *не общением индивидов как индивидов*» (курсив мой. – *О.Я.*)[2]. Более того, как указывал Маркс в «Капитале», конфликт нового производства и старого разделения труда «с его окостеневшими специальностями… уничтожает всякой покой, устойчивость, обеспеченность жизненного положения рабочего, постоянно угрожает выбить у него из рук и жизненные средства…». И далее Маркс перечисляет реальные последствия этой угрозы, которые присущи российским городам сегодня, через 140 лет после написания этих строк: захват земель в центрах городов банковскими и другими рыночными структурами, поляризация бедных и богатых районов, вытеснение мигрантов в трущобы,

---

[1] Маркс К., Энгельс Ф. Соч. – Т. 46, ч. 2. – С. 32.
[2] Маркс К., Энгельс Ф. Фейербах: Новая публикация первой главы «Немецкой идеологии». – М.: Политиздат, 1966. – С. 92–93.

формирование специфически «рабочих» кварталов в промышленных зонах, скученность, появление «импровизированных жилищ» (палаточных лагерей, заселение подвалов амбаров и т.п.), жизнь в условиях, унизительных для взрослых и гибельных для детей. Не разнообразие, а нестабильность, необеспеченность жизненных условий являются отличительными признаками жизненного уклада городского пролетариата. И при этом – наличие пустующих жилищ в центрах городов и бегство богатых в предместья[1].

Опираясь на анализ работ социологов США, Канады и Западной Европы, еще в 1974 г. мне удалось показать, что: 1) территориальная подвижность трудящихся масс отнюдь не синоним их социальной мобильности – существует потолок их социального продвижения, детерминируемый их происхождением и классовым положением; 2) скорость протекания инноваций в различных социальных слоях неодинакова – образование и продвижение индивидов подчинены корпоративным интересам; 3) как и сто лет назад, воспроизводство духовных потенций остается, в сущности, частным делом; 4) богатые препятствуют переселению в пригороды «нежелательных» социальных групп – бедных и цветных. Для этого используются все средства: размеры и стоимость участков искусственно завышаются, процветает деятельность по формированию «белых» общин и т.п.[2]. Все это сегодня цветет пышным цветом у нас в России: например, в Подмосковье уже строится «параллельная страна для VIP-персон»[3].

Итог

---

[1] Маркс К., Энгельс Ф. Соч. – Т. 23. – С. 498, 675–678.
[2] Яницкий О.Н. «Единый постгородской образ жизни» – модель и реальность // Вопросы философии. – М., 1974. – № 10. – С. 94–105.
[3] Мартовалиева Ю. Пятна для белых: Новая карта Подмосковья, где строится параллельная страна для VIP-персон // Новая газета. – М., 2006. – № 83. – С. 2–3.

Каков же итог этого экскурса в собственный прогноз 40-летней давности? Как представляется, мои гипотезы в отношении тенденций развития урбанизации под воздействием социально-информационных процессов, в общем, подтвердились. Приведу лишь два свидетельства современных западных социологов. Как пишет М. Кастельс, сегодня происходит фундаментальная трансформация работы: индивидуализация труда в трудовом процессе. Далее, говорит он, приходит конец различиям между визуальными и печатными средствами медиа, общедоступной и высокой культурой, развлечениями и информацией, образованием и пропагандой. Поэтому современный «…информационный город является не формой, но процессом, который характеризуется структурным доминированием пространства потоков». Возникает явление социальной асимметрии современных мегаполисов: «они связаны с глобальными сетями и глобальными сегментами их собственных стран, в то время как внутри страны они исключают (из глобальных сетей) местные популяции, которые являются либо функционально ненужными, либо социально подрывными… Именно эта отличительная черта глобальной “включенности” и локальной “исключенности”, физической и социальной, делает мегаполисы новой городской формой. Функциональные и социальные иерархии мегаполисов пространственно размыты и перемешаны, организованны в укрепленных лагерях и испещрены нежелательными “заплатами” в самых неожиданных местах. Мегаполисы – это полные разрывов констелляции пространственных фрагментов, функциональных кусков и социальных сегментов»[1].

Как пишет другой авторитетный социолог, З. Бауман, «последняя четверть XX столетия, весьма вероятно, войдет в историю под названием “Великой

[1] Кастельс М. Информационная эпоха: Экономика, общество и культура. – М.: ГУ-ВШЭ, 2000. – С. 225, 352, 374, 379.

войны за независимость от пространства”. В ходе этой войны происходило последовательное и неумолимое освобождение центров принятия решений (а также расчетов, на основе которых эти центры принимают свои решения) от территориальных ограничений, связанных с привязкой к определенной местности» [1]. Так как «состав акционеров не определяется пространством», всякая компания обладает свободой передвижения; «тот, кто обладает свободой “бежать” из данной местности, абсолютно свободен от последствий своего бегства. [В результате] возникает новая асимметрия между экстерриториальной природой власти и по-прежнему территориальной “жизнью в целом”, которую власть, снявшаяся с якоря и способная перемещаться мгновенно и без предупреждения, может свободно использовать, а затем оставить наедине с последствиями этого использования… Теперь в расчетах “эффективности” инвестиций можно уже не учитывать затраты на борьбу с последствиями»[2].

Тем не менее, два серьезных критических замечания в собственный адрес я должен сделать. Первое – это следование методологии естественноисторического процесса, акцент на развитии информационных систем как новой производительной силы, недостаточное внимание к их конструирующей (манипулятивной) роли в качестве политического и социального инструмента в формировании ценностной и социальной структуры общества. Все тогда представлялось мне слишком гладким. Второе – это известный «прогрессизм», отсутствие анализа теневой стороны грядущих перемен, тех рисков и опасностей, которые они сегодня порождают. То есть перемещение земных болезней и конфликтов в виртуальный мир. Но это уже тема другого исследования.

---

[1] Бауман З. Глобализация: Последствия для человека и общества. – М.: Весь мир, 2004. – С. 18.
[2] Там же. – С. 19–21.

Переоценка и перспектива

С моей точки зрения, понимание урбанизации как процесса, который развивает демократию и формирует городскую культуру, сегодня уже не адекватно реальности. Как назвать и определить суть современной фазы урбанизации, разворачивающейся на пространстве европейской культуры, – трудный теоретический вопрос. Представляется, что методологически надо исходить из следующих позиций.

Во-первых, это изменение самого типа европейского общества: переход от общества «недостатка» (society of scarcity) к обществу расточительства (squandering / wasting society) или потребительскому обществу. Эксплуатация «ресурсной периферии», к которой пока относится и Россия, неконтролируемое развитие новых технологий, основанное на эксплуатации интеллектуальных ресурсов этой периферии, обостряющийся конфликт цивилизаций приводят к формированию на евроатлантическом пространстве *общества всеобщей неопределенности и риска*. Старые культурные центры быстро деградируют, новые центры – технопарки, центры ресурсной индустрии, туризма и сервиса – временно процветают. В целом городская среда становится все более рискогенной, опасной для жизни и здоровья.

Во-вторых, эти изменения влекут за собой изменение социально-пространственной структуры общества. Для предыдущего этапа характерны территориальная концентрация и пространственная дифференциация труда и населения в крупнейших городах, для современного – деконцентрация и де-территориализация. У предыдущего этапа был четкий вектор процесса: деревня–город, у современного такого вектора нет, есть множество направлений – в города, пригороды, межстрановая и даже межконтинентальная миграция. А главное: накопление социального потенциала, как и его деградация, могут происходить *без пространственного перемещения его носителя*. Концентрация

масс на ограниченном пространстве порождала их непосредственное взаимодействие и конфликт, на почве которых возникали классовые и профессиональные общности и социальные движения. Сегодня структурными элементами социальных систем являются индивид, корпорация и сеть. Поэтому массовые движения структурно превратились в сеть глокальных ячеек. А территориальная концентрация (городские общности) имеет значение лишь для поддержания здоровой и безопасной среды непосредственного обитания.

В-третьих, всепроникающий рынок освободил культуру, науку и образование от роли двигателя городской кульуры и законодателя базовых прав и свобод общества. Знание, культурные ценности и информация стали просто «товаром». Более того, скоропортящимся товаром становятся и все человеческие общности, если они не обслуживают интересы капризного рынка. Наконец, терпит поражение активистская социология, утверждавшая, что городские социальные движения (при определенных условиях) есть мотор поступательного движения общества вообще и пересмотра его базовых ценностей в частности (А. Турен). Если нет морального фильтра, то навязывание человеку все новых потребностей может происходить бесконечно долго. Как сказал К. Эрроу, Нобелевский лауреат по экономике, «рынок не совместим ни с чем. Ни с демократией, ни с авторитарным строем – ни с какой формой правления… Если угодно, рынок вообще вытесняет общество как каркас человеческих отношений»[1].

Этот рынок отнюдь не является естественным регулятором общественной жизни, как утверждали теоретики либерализма. Сегодня господствует «силовой рынок», то есть силовой захват природных, социальных и интеллектуальных ресурсов. Следовательно, и современная урбанизация развивается по тем же

[1] Цит. по: Кустарев А. Рецензия на книгу Е. Ясина «Приживется ли демократия в России?» // Pro et contra. – М., 2005. – № 2. – С. 109.

канонам. Их суть – игра на понижение культуры, когда происходит не производство нового, а захват и перераспределение уже ранее созданного. В производстве и банковской сфере – рейдерство, силовая приватизация, в науке и литературе – тиражирование и массовый плагиат, в искусстве – бесконечные перелицовки классиков, ее понижение до уровня попсы и китча. Я не отрицаю существования высокой науки и элитарного искусства. Но они производятся элитой и для сохранения ее господства. Для остальных существует индустрия товаров массового потребления и массовой культуры как главный сегмент потребительского рынка.

В-четвертых, возникновение кентавра «рыночно-информационного общества» привело к формированию ключевых для развития общества организаций и сетей (прежде всего финансового капитала, но также научных, культурных, сервиса и других) *вне и поверх* старых городских структур. Почти все уникальное, что ранее концентрировалось в крупнейших городах, – библиотеки, выставки, театры, центры информации и обучения, – перемещается по всему миру или доступно дистанционно. Мир посткнижной – в широком смысле – культуры стремительно расширяется. Но одновременно проблема доступности ценностей этого мира культуры из территориальной трансформировалась в экономическую, ценовую. Идеология Просвещения уходит в прошлое. Элитарная и массовая культуры разделены социальными и силовыми барьерами, и с каждым днем эти барьеры становятся все выше. Для рассматриваемого евроатлантического ареала, включая Россию, это означает разделение и пространственное разобщение богатого (управляющего и творческого) меньшинства, *живущего во времени*, и бедного исполнительского большинства, *живущего в пространстве,* то есть накрепко привязанного к нему, причем все большая часть этого большинства вытесняется

роботизированной техникой. И это разобщение может происходить как в пределах одного офиса или здания, так и всего мира.

В-пятых, продолжающийся рост городского населения в данном регионе сам по себе представляет серьезную проблему. Дело в том, что сегодня США и многие европейские индустриально развитые страны могут позволить себе содержать более одной трети своего населения. Эти люди не просто временно безработные. Они – не селяне и не горожане, не сквоттеры и не обманутые дольщики, они носители культуры «общечеловеческого дна». Это люди, которые не нужны обществу ни в какой роли, то есть они превращаются в отходы навсегда. З. Бауман называет их париями современного общества или «человеческими отходами» (wasted people)[1].

Наконец, в-шестых, если в XIX–XX вв. шел процесс поглощения евроатлантической цивилизацией других цивилизаций, то сегодня мы наблюдаем столкновение исламской, китайской и европейской цивилизаций на всем пространстве городской европейской культуры. Причем инвазия этих культур в европейскую происходит сегодня на «клеточном» уровне. Есть некоторая аналогия между развитием методологии естественных и общественных наук: для понимания сути происходящего надо исследовать микропроцессы. Отсюда – необходимость отказа от ряда постулатов и стереотипов американской, европейской, да и российской социологии, абсолютизировавших господство европейской культуры («город как плавильный котел культур», ассимиляция, аккомодация и адаптация мигрантов как принцип национальной и городской политики, идеология толерантности и мультикультурализма). Вместо механизмов ассимиляции мигрантов, переработки «сырого» человеческого материала работает механизм селекции уже готового. Сегодня идет борьба супергосударственных образований,

[1] Bauman Z. Wasted lives: Modernity and its outcasts. – Cambridge: Polity, 2004.

транснациональных корпораций, их идеологий и культур за доминирование в мире. Доминирование сегодня означает контроль над ресурсами. Поэтому европейские города все чаще функционируют не как плавильные котлы, а как социальные и этнические фильтры, необходимые для доминирования этих надгосударственных сил.

Примечания

1. К сожалению, до сих пор мало кто понимает, что советская социология города родилась именно как ответ на вызов начавшегося массового индустриального гражданского строительства и, в первую очередь, массового жилища и сетей его обслуживания. С самого начала это была тройственная задача: политическая – начать практическую реализацию программы КПСС по строительству первой фазы коммунистического общества, то есть создать новую институциональную базу, а именно свод норм и правил (СНиП); социальная – максимально удовлетворять действительно растущие потребности городского населения и технико-экономическая – сделать все это максимально быстро, экономично и технологично.

Тем самым на плечи научных коллективов ведомственных архитектурно-градостроительных институтов, разрабатывавших типы массового жилища и сетей обслуживания, легла задача огромной государственной важности. И ответственности, потому что каждая социальная (гигиеническая, техническая) норма, каждое социально-градостроительное решение и, прежде всего, его базовая модульная единица – микрорайон – стоили миллиарды рублей, поскольку тиражировались в десятках тысяч экземпляров. К тому же гигантская инерционность индустриального домостроения не позволяла быстро вносить поправки в однажды утвержденный типовой проект дома или схему обслуживающих учреждений. Эта жесткая встроенность городского социолога в

идеологию, социальную политику и индустриальную практику резко ограничивала коридор его творческих возможностей, отличая его от исследователей общественного мнения или социальной структуры.

2. Мы попытались закрепить свою точку зрения на процесс урбанизации и формирования советских городов, подготовив к изданию коллективную монографию по социологии города. Она уже готовилась к печати, когда (в нарушение всех правил) была получена на нее резко отрицательная рецензия. Как я предполагаю, она носила заказной характер, поскольку была написана Г.А. Градовым, тогда директором Института, в котором я работал ранее. Мы, коллектив авторов, подали в суд и выиграли процесс, но книга так и не была издана. Дело в том, что Градов, ярый сторонник принципа максимального обобществления быта[1], конечно, не мог допустить, чтобы такой «либеральный» труд был опубликован. Позже он неоднократно публично пытался обвинить меня и моих коллег в «ревизионизме», что, в конечном счете, заставило меня уйти из возглавляемого им Института общественных зданий (и сферы социально-градостроительных исследований вообще) и перейти в только что сформированный тогда Институт международного рабочего движения, идеологически гораздо более либерально ориентированный. Научная и культурная среда этого Института позволила мне продолжить изучение урбанизации как всемирно-исторического процесса, что, в конечном счете, и привело меня к изучению социально-информационных процессов городского роста.

3. В сталинскую эпоху архитектор, облеченный доверием высшей власти, мог диктовать свою волю городу и его жителю. Парадоксально, но с началом

[1] См.: Градов Г.А. Город и быт. – М.: Стройиздат, 1961.

массового жилищного строительства, ситуация для горожан в этом смысле мало изменилась: теперь «диктатором» была строительная индустрия. Раньше модулем организации городской жизни были дома-палаццо «а ля вилла Фарнезина», теперь ее любая форма должна была уложиться в пространство, кратное 3х6 метрам. Городская жизнь становилась все сложнее и разнообразнее, а от ученых-градостроителей и работающих с ними социологов требовали все большего ее пространственного упрощения и унификации. Поэтому, как только этот процесс был запущен, социолог, работавший в данной области, оказался противопоставленным господствующей идеологии, централизованным методам планирования и индустрии гражданского строительства. Развитию интеллекта и культуры противостояла машина экстенсивного роста городов, который понимался как добавление еще одного, двух и т.д. микрорайонов к уже построенным.

Рефераты

ТУРЕН А. СОЦИОЛОГИЯ ПОСЛЕ СОЦИОЛОГИИ.

TOURAINE A. Sociology after sociology // European j. of social theory. – Brighton, 2007. – Vol. 10, N 2. – P. 184–193.

Выдающийся французский социолог Ален Турен в своей статье обсуждает проблемы и перспективы развития современной социологии. Классическая социология была ориентирована на исследование общества в целом. Общество рассматривалось как набор взаимозависимых механизмов, обеспечивающих интеграцию или комбинацию противоположных элементов: индивидуализма акторов и интернализации институциональных норм, служащих коллективной интеграции (с. 184). Эта диссоциация объективного порядка и субъективных ценностей играет определяющую роль для эпохи модерна. Но сама идея общества возникла задолго до наступления этой эпохи. Долгое время господствовало убеждение в том, что земным наместником Бога является абсолютный монарх, выступающий средоточием любой легитимности, отцом и правителем народа, источником правосудия. Формирование политической власти и государства было сердцевиной политической философии от Макиавелли до Гоббса и от Жана Бодена до Боссюэ; позднее эта традиция прервалась, отчасти возродившись в трудах Карла Шмитта, которого Турен называет «сравнительно маргинальным мыслителем» (с. 184).

Социология выходит на авансцену в тот момент, когда с началом эпохи модерна концепт рационального действия суверена замещает оппозиция «сил разума и порядка», внутренней и внешней жизни, морали и экономики. Идея общества, таким образом, обозначает средство сохранения дистанции между актором и системой. Дистанция эта реальна, но ограничена и контролируема институциональными механизмами. Можно было бы охарактеризовать классическую социологию как поиск третьего пути между императивами

рационального экономического управления, с одной стороны, и требованиями моральной совести, – с другой. Это обобщенное определение социологии, разумеется, не учитывает глубокие различия между школами социальной мысли. Однако объединяющим для различных направлений социологии является поиск возможных комбинаций между актором и системой, которые всегда разделены, если не противоположны друг другу, но при этом не могут преодолеть взаимозависимость без опустошительных последствий для индивидуальной и коллективной жизни.

Разрыв с интеллектуальной традицией Просвещения породил совокупность идей и исследований, которые создали современную социологию. Еще до Дюркгейма концепция классического «субъекта» критиковалась Ницше и Фрейдом, а рационалистические представления о социальной организации и прогрессе были поколеблены Марксом. Классическая социология относится к великим идейным движениям, бросившим в конце XIX века вызов рационализму Просвещения. Получив мощный импульс в Германии, Франции и Соединенных Штатах, она распространилась повсюду, где идея общества как нации-государства вступала в свои права. Так было, например, в Латинской Америке, где контовский позитивизм стал идеологией нового среднего класса в его противостоянии олигархии и католической церкви. Тем не менее, только после второй мировой войны в лоне латиноамериканской социологической мысли были созданы действительно значимые и оригинальные работы.

По контрасту, там, где государство полностью контролировало процесс модернизации и последовательно отказывалось признать автономию гражданского общества, социология занимала маргинальное положение. Одновременно ее позиции оставались крайне слабыми в колониальных странах, а также в тех регионах, где сохранялись традиционалистские формы политического господства. Однако и сама классическая социология, оставаясь

чуждой для значительной части мира, в своих исследованиях эту часть мира игнорировала, мало интересуясь традиционными культурами и локальными сообществами. Но даже при анализе цивилизованного мира эта социология стремилась защитить разум и прогресс от посягательств со стороны «второсортных», невежественных и манипулируемых групп, к каковым относили пролетариат как низший эшелон наемных работников, а также женщин, рассматривавшихся в качестве рабынь своих эмоций и традиций.

Основной причиной упадка классической социологии стал подъем мощных социальных движений, борьбы за освобождение, равенство и гражданские права, в результате которого утрачивали силу жесткие оппозиции между имущими и неимущими и между мужчинами и женщинами. Наметился крупный сдвиг в социологической мысли, обусловленный не только масштабными социальными и экономическими изменениями, но также и тем, что новое поколение социологов оказалось способно к критическому осмыслению марксизма и психоанализа. Решающим для развития социологии стал переход от рассмотрения социальной жизни в преимущественно экономических категориях к ее анализу в контексте культуры, а также сосредоточение внимания исследователей на личности, индивиде, в ущерб институтам и их функциям.

Историческим фоном для этих перемен стали движения в США за гражданские права и против войны во Вьетнаме, и студенческие волнения мая 1968 г. во Франции. Классическая социология была просто не в состоянии предложить адекватное объяснение этих явлений. Не случайно в это время резко снизилась популярность идей Т. Парсонса, который еще в первой половине 1960-х годов считался непререкаемым авторитетом социологической мысли.

Социология столкнулась с необходимостью смены перспективы исследования. Теперь в центре внимания оказались культурный актор, его саморепрезентации и потребности, которые во все возрастающей степени определяют социальную жизнь. При этом экономическая глобализация отделяет социальную жизнь от любой формы «общества» и нации-государства (к которым, правда, более нельзя относить Соединенные Штаты, превратившиеся в империю). «Общество» перестает быть продуктом экономической организации. Турен добавляет, что эти изменения, когда на смену установки на покорение природы приходит установка на самоконструирование, могут рассматриваться как вытеснение мускулинной модели социального действия феминистской моделью (с. 187).

Сущность новой, постклассической социологии, по мнению Турена, не может более трактоваться как попытка сочетания инструментальной рациональности с моральным индивидуализмом. Прежняя симметрия исчезает, а внимание социологов переключается на исследование социального пространства индивидуальных и коллективных субъектов, которые стремятся при помощи коллективного действия, государственной политики или институциональных механизмов обеспечить свои потребности и свободу творчества. Это то самое пространство, которое прежде рассматривалось в качестве антисоциального, но которое теперь занято новыми институтами, ставящими перед собой задачи, прямо противоположные задачам институтов прежних, ориентированных на укрепление общества в целом даже ценой подавления индивидов или социальных групп.

Новый горизонт социологических исследований в эпоху глобализации не ограничивается географическими пределами «развитого мира». Но при этом нельзя говорить о том, что отныне мы живем в мире равенства возможностей. Для социологии теперь важно понять, как в современных условиях

индивидуализм наиболее богатых стран совмещается с попытками агрессивной защиты традиций или тех культурных проектов, которым угрожает глобализация. Социологический анализ этих противоречий оказывается возможным при условии, что никто не претендует на эталонность – полное отождествление себя с модерном, но каждый признает, что его путь модернизации является лишь одним из многих возможных. По сути, однако, любой индивид, любая социальная или культурная группа оказываются сегодня перед внутренним конфликтом вовлеченности в процессы глобализации и отстаивания собственной культурной идентичности. Согласно Турену, здесь возникает необходимость взаимной увязки трех элементов:

1) признания глобального характера экономических процессов, которые, не будучи абсолютно универсальными, формируют общие рамочные условия деятельности;

2) утверждения значимости культурных ориентаций, которое вновь отсылает нас к универсалистским ценностям;

3) признания права каждого сформировать свою собственную комбинацию первых двух элементов (с. 188).

Турен указывает на опасность крайних взглядов, представляющих мир разделенным между либеральным Западом и коммунитаристским и даже теократическим Исламом. Хотя социологи и не должны исходить из политических мотиваций, их долг, тем не менее, показать, что идея Хантингтона о столкновении цивилизаций, изначально далекая от реальности, может стать ужасной реальностью.

Именно в этом пункте становится возможной встреча социологий вчерашнего и сегодняшнего дня. В наше время социология обретает второе дыхание, осознавая, что очаг истории не погас, что мы живем в тепле общества ультрамодерна, а не в леденящем холоде постмодерна. Повсюду, во всех

областях социальной жизни мы наблюдаем возвращение актора. Сегодня разоблачения наиболее агрессивного коммунитаризма недостаточно для смягчения форм борьбы за признание культурных прав. Первый долг социолога состоит в отказе от дискурса, маскирующего защиту былых привилегий и отрицающего право другого быть другим, но при этом равным.

Но означает ли это, что социология может быть «перекована» в идеологию? Можем ли мы рассуждать в категориях добра и зла, высказывая ценностно нагруженные суждения? Турен отмечает, что социологи исследуют ценностно мотивированные действия, но объясняют их, абстрагируясь от собственных убеждений. Сегодня от социолога требуется равная непредубежденность как в исследовании поведения тех, кто не приемлет коммунитаризм, защищая свою свободу, так и тех, кто отстаивает свои культурные права от бесконтрольного воздействия сил рынка.

Поиск актора обеспечивает единство современной социологии. Важнейшая роль принадлежит исследователям, стремящимся увидеть рождение новых социальных, политических и культурных движений. Их дополняют усилия тех, кто стремится выявить новых акторов, исследовать сопротивление системам господства, описать новые области институционализации или реализации социальных и культурных прав. Все эти области исследования взаимозависимы, они не служат отражением прежнего деления социальной реальности на институты – семью, производство, религию, политику и т.д., – которые по отдельности изучались прежними поколениями социологов. Современная социология должна поставить в центр своих исследований поведение женщин – не потому, что эта тема долгое время игнорировалась, но потому, что феминистские исследования играют ключевую роль в социальном анализе неравенства, а также с точки зрения различия между социальным действием и более глубокими ориентациями социальной жизни. В общем же плане новый

горизонт социологических исследований должен включать в себя, с одной стороны, изучение культурных акторов и их борьбы с безличными силами рынка, и изучение сообществ, с другой стороны.

Для современных исследований общества чрезвычайно важным является понятие индивидуализма. Социология сегодня стремится изучать по преимуществу индивидуалистское поведение, неважно, в силу специфических особенностей самого актора или ввиду его оппозиции коллективной логике действий, обусловленной экономическими, этническими или религиозными мотивами. Однако необходимо принимать во внимание принципиально новый смысл индивидуализма, связанный с тем, что на уровне общества невозможно достичь сочетания культурной идентичности и вовлеченности в глобальную экономику. Это возможно осуществить только на индивидуальном уровне.

Одной из главных тем социологии становится пересмотр понятия института, который ранее определялся с точки зрения его роли в интеграции социальной системы, вклада в закрепление социальных норм и ценностей. Сегодня же институты в большей степени рассматриваются в качестве инструментов защиты индивидов от диктата норм. Наше общество все в меньшей степени является обществом подданных и все в большей – обществом добровольцев.

Эти общие идеи диктуют необходимость переориентации социальной политики государства. Повсеместно мы наблюдаем, что представления о государстве всеобщего благосостояния, преобразовавшем нашу жизнь за последние полвека, практически исчерпаны. Но преимуществ менее контролируемой государством экономики недостаточно, чтобы заставить нас забыть о росте неравенства и социального исключения. В связи с этим возникает потребность в более глубоком осмыслении социологами новых тенденций, в их более активном участии в модернизации социальной политики.

Социология в определенном смысле оказывается перед необходимостью вернуться назад, к анализу социальных связей. При этом речь идет вовсе не о реакции на аномию и десоциализацию, признаки которых становятся все более явными. Напротив, теперь задача состоит в реконструкции социальных связей на основе исследования индивидуальных потребностей актора, включенного в процессы социальной интеграции. Поэтому есть все основания говорить об изменении парадигмы социологии, одним из проявлений которого становится деструкция таких понятий как общество или социальная система. Как подчеркивает автор, медлительность в признании этой смены парадигмы мешает нам понять сущность нынешнего кризиса социологической мысли и социальной политики. Непризнание парадигмального сдвига оставляет нас в русле неолиберального мышления и политики, которые «более ясно определяют то, что они отвергают, чем то, что они предлагают» (с. 192).

Современную социологию легче объяснить через ее будущее, чем через ее прошлое. Она конструирует и изобретает сама себя, непрерывно самотрансформируется, и это обстоятельство является более значимым, чем сосуществование нескольких школ социологической мысли на протяжении нескольких поколений. Однако существование de facto новой социологии не сопровождается – пока не сопровождается – достаточной саморефлексией. Конструкция новой социологии одновременно является процессом дифференциации и интеграции, происходящим в глобализированном и в то же время фрагментированном мире. Но это тот процесс, в котором почти каждый из нас сегодня принимает деятельное участие.

Д.В. Ефременко

КОТЕСТА В. ОТ НАЦИИ-ГОСУДАРСТВА К ГЛОБАЛЬНОМУ ОБЩЕСТВУ: ИЗМЕНЯЮЩАЯСЯ ПАРАДИГМА СОВРЕМЕННОЙ СОЦИОЛОГИИ.

COTESTA V. From nation-state to global society: The changing paradigm of contemporary sociology // International rev. of sociology. – Oxford, 2008. – Vol. 18, N 1. – P. 19–30.

Профессор Римского университета Витторио Котеста анализирует парадигму нации-государства в современной социологии, опираясь на критику этой парадигмы Н. Элиасом. Рассматривая социологию как часть культурной программы модерна, автор отмечает, что в этом качестве она сопровождает рождение и развитие нации-государства. В XX веке нация становится одной из центральных категорий социологии и других наук об обществе. Элиас объяснял эту важную перемену тем, что в социальных науках на смену «школе Гераклита», в центре внимания которой были движение и изменения, пришли мыслители «элейской школы», интерес которых обращен к статике и длительности. Если теоретики XIX века были ориентированы на осмысление феномена прогресса, то для мыслителей следующего столетия характерно разочарование в прогрессе и стремление теоретически обосновать превосходство какой-либо одной нации[1].

В. Котеста отмечает, что в этом различении Элиаса фактически не находится места Дюркгейму, Зиммелю, М. Веберу и другим социологам, расцвет творчества которых пришелся на рубеж двух веков. Впрочем, у Дюркгейма и Зиммеля переход от разработки универсальной теории общества к усилению националистических настроений был достаточно заметен – он пришелся как раз на годы первой мировой войны. Случай М. Вебера более

[1] Elias N. Über den Prozess der Zivilisation. – Frankfurt a. M.: Suhrkamp, 1969. – S. 69.

сложен, поскольку в его идее групповой харизмы прослеживаются следы предрассудков того класса, к которому Вебер принадлежал. Однако главной целью критического анализа Элиаса была социология Т. Парсонса. Элиас порицал Парсонса за редукцию социальной теории к абстрактной комбинации переменных, позволяющей описывать любое общество в любую эпоху, и за стремление дать социологическое обоснование новой лидирующей роли американского общества. Котеста полагает, что критический подход Элиаса, в основе которого лежит убеждение в принципиальном единстве социологической теории и – шире – всех социальных наук, занимает важное место в ряду других попыток преодолеть парадигму государства-нации.

В числе таких попыток Котеста, прежде всего, указывает на цивилизационную парадигму. Еще в 1930-е годы А. Тойнби убедительно показал, что базовой единицей исторического исследования не обязательно должны быть нация и национальное государство. Основной категорией для Тойнби является цивилизация, то есть общество, ориентированное на традицию или на инновацию. В настоящее время этот подход развивает С. Хантингтон, который рассматривает современную стадию истории человечества через призму конфликта цивилизаций, стремясь попутно обосновать доминирование США в современном мире. Согласно Хангтингтону, на эпистемологическом уровне цивилизация является элементарной аналитической единицей соответствующей парадигмы. Как отмечает автор статьи, цивилизационную парадигму в версии Тойнби и – особенно – в версии Хантингтона едва ли можно рассматривать как решительный разрыв с парадигмой государства-нации. По сути дела, обе эти парадигмы относятся к одной и той же концептуальной семье, поскольку культурные и этнические характеристики необходимы для описания той или иной цивилизации (с. 22).

Парадигма мировой экономики возникла на рубеже XIX и XX веков благодаря вкладу немецкой экономической школы мирового хозяйства (Weltwirtschaft) и социологии Дюркгейма (при опосредующей роли М. Мосса). Позднее мощный импульс этому направлению был придан трудами Ф. Броделя, который в своем классическом исследовании о Средиземноморье в эпоху Филиппа II[1] утверждал, что исторический анализ не может ограничиваться политической системой и государством, но должен принимать во внимание такие аспекты жизни общества как экономика, культура, технология и т.д. Подход Броделя может быть назван *экологией цивилизации*, поскольку он обращен к пространственно-временному измерению взаимодействия между социальной организацией и окружающей средой. Не меньшее значение имеет анализ Броделем структур – рынка, экономических и культурных обменов, институтов, государства, религии и техники.

Этот подход был использован И. Валлерстайном для построения теории мировой экономической системы, которая показывает динамику долгосрочных изменений капиталистического общества. Их итогом стало превращение капитализма из европейского в глобальный феномен. Котеста, однако, считает, что широкое применение мир-системного анализа сопряжено с трудностями, а в самой теории Валлерстайна присутствует сильная теологическая компонента, основанная на вере в возможность постижения физической и социальной рациональности мира. Одна из наиболее сложных проблем в данном случае – сформулировать закономерности развития мировой экономической системы таким образом, чтобы не упустить из виду действия конкретных социальных акторов.

---

[1] Бродель Ф. Средиземное море и средиземноморский мир в эпоху Филиппа II: В 3 ч. – М.: Языки славянской культуры, 2002.

Парадигма власти, к обзору которой переходит Котеста, имеет давнюю традицию; ее теоретическое обоснование и моральная легитимация связаны с именами Макиавелли, Гоббса и Локка, а в конце XIX столетия благодаря усилиям Ницше «власть» как аналитическая единица стала использоваться для разоблачения буржуазных институтов и моральных принципов. В XX в. наиболее значимые попытки использовать эту категорию для объяснения современного мира были предприняты К. Шмиттом, М. Фуко и А. Негри. Исследование структуры европейского права дало основание Шмитту рассматривать *jus publicum europaeum* в качестве базиса глобального правового регулирования. Большое значение также имеют выводы Шмитта относительно характерного для капитализма XX века переворота в отношениях между экономикой и политикой, когда последняя начинает играть ведущую роль. Совсем другой подход предлагает Фуко. Через призму категории «власть» он рассматривает отношения между людьми, выявляя их конфликтный потенциал. Наконец, «Империя» А. Негри (написанная в соавторстве с М. Хардтом)[1] представляет собой впечатляющую теоретическую конструкцию, в которой происходит переосмысление механизмов глобального господства. По мнению автора, независимо от того, вдохновляются ли создатели этих подходов ностальгическими и консервативными идеями, или же склоняются к революционной утопии, критический потенциал парадигмы власти является многообещающим. Но серьезные ограничения здесь могут быть связаны со стремлением редуцировать социальные отношения к отношениям власти.

Универсальная сравнительная социология является направлением исследований, в рамках которого также возможны попытки преодолеть парадигму нации-государства. Еще М. Вебер, стремясь выявить специфические условия формирования европейского капитализма, предпринял масштабное

[1] Негри А., Хардт М. Империя. – М.: Праксис, 2004.

сравнительное исследование мировых религий и их влияния на формы человеческого существования. Аналогичные усилия Парсонса были направлены на апологетику западного, прежде всего, американского общества. В идейном климате периода второй мировой войны аналитическая модель Парсонса постулировала объективное «превосходство» Запада над всеми другими типами социальной организации. Восприятие этой модели вдохновило политику модернизации в развивающихся странах, долгосрочные последствия которой оказались преимущественно негативными из-за того, что институты и политические стратегии западного общества привносились в другую социальную среду.

Компаративистский подход был серьезно пересмотрен рядом американских социологов, непосредственно работавших с Парсонсом или разделявших основные положения его теории. В частности, С. Эйзенштадт разработал новый подход к анализу модернизации, в основе которого лежит идея плюрализма модернизаций. Он различает «программу модерна» и варианты ее осуществления в иных социальных, экономических, культурных и политических контекстах, существенно отличающихся от исходного контекста (Европа и США), в котором эта программа возникла. Итогом становится признание многообразия вариантов модернизации, а основой их различения – религия, представления о мире, система ценностей и социальный контекст.[1] В последние годы Эйзенштадт еще более расширил горизонт своей теории, трансформировав ее в концепцию множественного модерна в эпоху глобализации.

Еще один продолжатель традиции Парсонса, Н. Смелзер, выдвинул идею глобальной социологии. Как отмечает автор, усилия Смелзера дать определение

[1] См., напр.: Eisenstadt S.N. Comparative civilizations and multiple modernities: In 2 vol. – Leiden: Brill, 2003.

новой аналитической единицы социологического исследования порождают одновременно надежду и разочарование. Надежда связана со стремлением Смелзера преодолеть парадигму нации-государства, а разочарование – с тем, что в качестве альтернативной единицы анализа Смелзер предлагает отношения между нациями. Указывая на революционные изменения в таких областях как экономический рост, демократия, экологические проблемы, солидарность и идентичность, Смелзер подчеркивает необходимость обновления метода сравнительной социологии. Раньше внимание американских и европейских социологов было сконцентрировано на проблемах их собственных обществ, а развитие незападных обществ рассматривалось ими как прохождение все того же пути с теми или иными вариациями. Теперь же появляется потребность в сравнении наций как «зависимых единиц, включенных в некую общую систему»[1] – всемирное общество. При этом требуется самокритично отнестись к прежним подходам и отказаться от устоявшихся оценок незападных обществ как «неполноценных», «отсталых» или «запоздавших в развитии».

Котеста считает, что новые подходы, разрабатываемые представителями этого направления социологии, имеют большое методологическое значение. В то же время он отмечает, что реальных достижений у парадигмы сравнительной социологии пока нет. По его мнению, существование системных отношений между частями мира требует лучшего обоснования, в рамках которого должна признаваться глобальная взаимозависимость не только между нациями, но и между другими акторами. Причем отношения между ними должны рассматриваться не только как взаимосвязи внутри некоторого ансамбля, но и как отношения между дискретными элементами, формирующими транснациональные, транскультурные, трансрелигиозные и иные связи (с. 26).

---

[1] Smelser N.J. Problematics of sociology: The Georg Simmel lectures, 1995. – Berkeley: Univ. of California press, 1997. – P. 98.

Автор полагает, что для успешного развития социологической парадигмы глобального общества требуется смена поколений интеллектуальной элиты, когда идейный ландшафт перестанут определять мыслители, сформировавшиеся в эпоху «холодной войны» и противостояния сверхдержав. Новое поколение интеллектуалов должно не просто ориентироваться на глобальные ценности, но обладать мощным креативным потенциалом, готовностью к непредвзятому диалогу и чувством справедливости, не позволяющим использовать этот потенциал ради отстаивания привилегированного положения «своего» общества.

К числу наиболее важных компонентов будущей парадигмы Котеста относит пространственно-временное измерение отношений между социальными акторами. Хотя такие отношения всегда разворачиваются в пространстве и во времени, социология до сих пор уделяла этому измерению недостаточно внимания. Если мы рассматриваем пространственно-временное измерение как атрибут данного момента («здесь и теперь»), мы можем получить уверенное знание о социальной реальности, четко ограниченное этими пространственными и временными рамками. Если же мы стремимся к максимальному расширению пространственного и временного горизонта, то в этом случае становится возможным разработать теории, позволяющие понять и интерпретировать системы отношений социальных акторов в глобальном масштабе. Пространство при таком понимании целесообразно рассматривать в тесной связи со временем, поскольку, в конечном счете, речь идет о скорости коммуникации между акторами.

Для формирования новой социологической парадигмы большое значение имеет многомерный анализ социальных сетей и систем отношений между акторами. В то же время важно избежать онтологизации категорий «сеть» и «система», которые являются лишь компонентами теории, позволяющей понять

социальную реальность. Описание сетей и систем требует плюрализма измерений, каждое из которых обладает некоторым специфическим кодом. Проблема также состоит в том, какой из ансамблей социальных отношений соответствует характеристикам сети, а какой – системы. Более тесные отношения взаимозависимости чаще всего соответствуют представлениям о системе, а менее тесные – представлениям о сети, хотя здесь также возможны различные вариации и переходные формы.

Существенным аспектом новой парадигмы социологии должно быть выявление уровня конфликтности и / или кооперативности социальных отношений. Системная конвергенция и структурный конфликт могут сменять друг друга или разворачиваться одновременно. Например, модернизация стиля жизни может происходить в условиях усиления политического консерватизма. Кроме того, возможны конфликты между акторами одной и той же сети социальных отношений. Рассмотрение общества в качестве глобальной сети будет способствовать теоретическому осмыслению таких ситуаций, когда пространственно удаленные друг от друга акторы находятся в кооперативных отношениях, но одновременно конфликтуют с другими акторами, даже если они относятся к одному и тому же государству-нации.

Котеста обращает внимание на то, что необходимой предпосылкой конструирования новой теории является признание социального и культурного разнообразия глобального общества, расходящееся с ориентацией на культурную гомогенность, характерную для теоретиков нации-государства. По сути дела, требуется решить задачу объяснения одновременности процессов унификации и дифференциации в глобальном обществе (с. 26). В практическом плане такая исследовательская работа может быть ориентирована на комплексный анализ структуры глобального общества и на социальную саморефлексию, требующую обращения к истории философской мысли.

Д.В. Ефременко

КАЙЕ А. СОЦИОЛОГИЯ КАК АНТИУТИЛИТАРИЗМ.

CAILLÉ A. Sociology as anti-utilitarianism // European j. of social theory. – L., 2007. – Vol. 10, N 2. – P. 277–286.

Ален Кайе, профессор Университета Париж-Х в Нантере и издатель журнала *La revue de MAUSS*, начинает свою статью с замечания о том, что современная социология, как никакая другая научная дисциплина, производит впечатление крайней гетерогенности. Во всяком случае, ни в одной другой области социальной мысли нет столь сильного разрыва между одинаково возможными и приемлемыми определениями объекта или метода исследования. За этим обескураживающим разрывом стоят две различные традиции описания предметной области социологии. Одна из них, генералистская, восходит к французскому позитивизму (от А. Сен-Симона к М. Моссу через О. Конта и Э. Дюркгейма), от которого эта интенция перешла к функционализму, культурализму и структурализму. Приверженцы генералистской традиции склонны рассматривать социологию как науку об обществе в целом, которая включает в себя историю, антропологию, отчасти – экономику и политическую философию. Генералисты ориентируются на системную перспективу, стремясь (насколько это возможно) рассматривать общество в его целостности. Представители другой традиции, партикуляристской, отдают предпочтение конкретным историческим событиям и контингентным феноменам. Опорой для них служит огромный массив данных сравнительной исторической социологии. Однако, замечает Кайе, каждая из этих двух традиций сможет раскрыть свой потенциал лишь в том случае, если продемонстрирует готовность принять во внимание основные достижения другой.

На протяжении последних трех десятилетий наблюдается явное преобладание партикуляристской традиции. В какой-то степени это связано с тем, что представители других социальных наук решительно отстаивают собственную идентичность, из-за чего социологам приходится ограничивать свои амбиции. Но здесь возникает вопрос о том, в чем же состоит отличие социологического исследования от исторического, философского или экономического. Связано ли это отличие со спецификой собственного объекта исследования или же с тем, что социологи на свой лад изучают объекты других дисциплин? Этот вопрос не только не разрешен, но, по мнению автора, даже не поставлен должным образом.

То обстоятельство, что существуют специализированные социологии труда, организаций, спорта, досуга, права, управления, войны, науки и т.д., позволяет говорить о множественности объектов социологического исследования. Но как эти социологии соотносятся друг с другом и что между ними общего? В каком смысле все они могут считаться социологией, если не существует общей социологии в той или иной форме? Ведь как заметил еще Зиммель, определение специализированного направления социологического исследования по его эмпирическому объекту или по специфическому контенту является иллюзорным.

По сути дела, основная тенденция последних 30 лет состояла в сдвиге от макросоциологической перспективы к перспективе микросоциологической. Наиболее значительный вклад в этом направлении был сделан символическим интеракционизмом и его новейшими модификациями. Значительную роль сыграл также частичный переход от поиска универсальных закономерностей в рамках сравнительной исторической социологии к конструктивистско-деконструкционистскому подходу, ориентированному на выявление степени контингентности существующих институтов. В результате социологическое

знание достигло такого уровня гетерогенности, при котором у многих заинтересованных наблюдателей может появиться ощущение безнадежности попыток преодолеть это состояние фрагментации. Как писал в свое время Р. Арон, только одна вещь вызывает всеобщее согласие социологов – это их принципиальная неспособность прийти к согласию о том, что же такое социология. Впрочем, полагает Кайе, социологи все же могут достичь согласия относительно того, что социологией являться не может. В связи с этим автор обращается к истории классической социологии.

Одним из наиболее важных факторов становления классической социологии явился интерес ее отцов-основателей к политической экономии и, прежде всего, к утилитаризму. Утилитаристская идея *homo oeconomicus* была для них своеобразным центром притяжения-отталкивания. Однако даже негативистское восприятие идеи *homo oeconomicus* оставалось на первых порах бесплодным, поскольку противники утилитаризма не предлагали собственного объяснения сущности социального действия. Социология стала наполняться позитивным содержанием лишь в тот момент, когда социологи сосредоточили свое внимание на отношениях, которые находятся за пределами политической экономии. При этом они руководствовались амбивалентными побуждениями. С одной стороны, социологи классического периода стремились превзойти по степени объективности представителей экономической науки. С другой стороны, в своем анализе субъекта социального действия – не важно, индивидуального или коллективного – они пытались раскрыть присущие ему особенности, выявить его креативный потенциал и свободу выбора, которые мало интересовали сторонников идеи *homo oeconomicus*. Магистральным направлением решения этих задач стала *историзация* - рассмотрение субъекта социального действия в контексте исторических фактов. На место homo oeconomicus должен был прийти «конкретный человек», подлежащий

эмпирическому социальному исследованию. Но что должно было служить базовой категорией подобного исследования? Группы? Классы? Расы? Народы? Нации? Каждый из классиков социологической мысли предлагал свой вариант ответа на этот вопрос. И все же было нечто, что их объединяло: все они, включая Маркса, в той или иной форме приходили к признанию религии в качестве важнейшего фактора социального действия. Но вслед за этим выявлялись глубочайшие расхождения в интерпретации и даже в определении сущности религиозного влияния на социальные отношения.

Не пытаясь разрешить эту сфинксову загадку социологической мысли, автор подчеркивает: на глубочайшем уровне анализа социология обнаруживает, что отношение между социальными субъектами должно конституироваться как таковое, что оно не сводится к утилитарным, инструментальным, функциональным или экономическим составляющим и что обрести свою форму и работоспособность это отношение может только благодаря символизации (и ритуализации). В интерпретации М. Мосса данное отношение обнаруживает себя в контексте дара (gift dimension), благодаря чему подчеркивается момент необусловленности, без которого отношение между социальными субъектами неизбежно свелось бы к акту обмена или контракту. Иначе говоря, в таком отношении должны присутствовать и утилитаристская компонента, и то, что возвышает взаимодействие социальных субъектов над инструментальным уровнем - антиутилитаристская необусловленность.

Принципиальный теоретический и метатеоретический вызов, на который должна ответить социология в стремлении обрести собственную идентичность и относительное единство, заключается в прояснении оснований социологической теории действия, дополняющей стандартную экономическую парадигму и одновременно противостоящей этой парадигме. Что может связывать веберовскую теорию действия, функциональную сетку AGIL

Парсонса[1], концепцию габитуса Бурдье, теории Лумана или Хабермаса и т.д.? По убеждению автора, основой интеграции этих столь различных социологических концепций могла бы стать теория действия Мосса, которая, правда, все еще остается имплицитной. Эта теория показывает, как в каждом социальном действии одновременно сочетаются свобода и обязательства, интерес к самому себе и интерес к другим. Теория Мосса постулирует приоритет интереса субъекта социального действия к самоконституированию (признанию) по отношению к его инструментальным интересам. Иначе говоря, антиутилитарное измерение находится на более высокой иерархической позиции по сравнению с утилитарным измерением. Моссианская парадигма индивидуального действия может быть с легкостью трансформирована в парадигму коллективного действия, в рамках которой координация обеспечивается интересом и/или солидарностью, обязанностью и/или свободой креативного поведения. При этом моссианская парадигма оставляет достаточно простора для эмпирического исследования, не ограничивая его будущие выводы чрезмерно жесткими теоретическими рамками.

Что касается общего подхода, который мог бы быть принят сторонниками различных течений социологической мысли, то Кайе называет следующие императивы:

1. описание реальности;
2. ее объяснение при помощи принципа причинности, выявление объективных причин;
3. понимание и интерпретация субъективных значений действия;

---

[1] AGIL – сокращенное название предложенных Т. Парсонсом четырех критериев, соответствие которым обеспечивает эффективность и функциональность системы: адаптация (adaptation), достижение цели (goa1 attainment), интеграция (integration) и латентность (latency). – *Прим. реф*.

4. оценка реальности, выявление предпочтительного направления развития.

Первые три принципа едва ли вызовут серьезные разногласия, тогда как четвертый, по всей видимости, будет оспариваться многими представителями социологического сообщества. Однако автор, вслед за Э. Гоулднером, считает, что последний принцип имеет важнейшее методологическое значение, поскольку он открывает социологию для аксиологической рефлексии и конвергенции с философской и экономической традициями.

А. Кайе подчеркивает, что социология должна осознавать и свое положение новичка среди социальных наук. У социологии нет никаких гарантий, что ее релевантность не связана с историческим периодом ее появления, то есть с эпохой революционного перехода от традиционных обществ к экономическому, политическому, техническому и научному модерну. Но теперь, в эпоху глобализации, вновь нарождающиеся социальные отношения, вероятно, будут иметь мало общего с тем порядком вещей, который ранее анализировали Дюркгейм или Парсонс. Первичные общества, то есть малые социальные общности, основанные на единых для их членов знании, символизме и обязанности делать, получать и давать ответные дары, были объектом исследовательского интереса антропологов. Интерес классической социологии фокусировался на модальностях и импликациях вторичного общества – крупной социальной общности, связанной в единое целое правовыми отношениями. Традиционалистские вторичные общества (*Ancien Régime*) были основаны на религиозном праве. Пришедшие им на смену общества модерна базируются на системе отношений, распределенных между экономическими законами рынка, юридическим правом государства, научными законами и универсальным моральным правом. В эпоху глобализации мы наблюдаем появление третичного общества, основной модальностью которого

является виртуальность, то есть свойство *дереализации* всего того, что считалось реальным в прежних обществах. Однако этот третичный и виртуальный мир не сможет выжить, если не будет способен к дальнейшему строительству социальных отношений как таковых (во всей бесконечности их вариаций), к воспроизводству антиутилитаристского измерения социального бытия.

Кайе полагает, что фрагментация социологии как дисциплины не очень болезненна с метатеоретической точки зрения, но с точки зрения исследовательской и преподавательской практики она, несомненно, играет негативную роль. Такое положение приводит к замыканию в узких рамках отдельных школ социологической мысли, специализированных социологий и локально преобладающих исследовательских методологий. А дебаты, которые все же разворачиваются между различными социологическими школами и традициями, чаще всего редуцируются к спорам об их элементарных основаниях. При этом междисциплинарные дискуссии с философами, экономистами, историками и политологами оказываются и вовсе маргинальными.

В связи с этим автор считает необходимой попытку вернуться к более ранним проектам обретения социологией своего единства, один из которых был связан с учениями Зиммеля и Вебера, а другой – Дюркгейма и Мосса. Вслед за Зиммелем он предлагает признать, что социология вовсе не имеет собственного объекта или, по крайней мере, согласиться с Вебером, полагающим, что ее объектами являются вариации исторических форм. Он также считает нужным принять во внимание позицию Дюркгейма и Мосса, которые видели в общей социологии не что иное, как социальную науку, рассматриваемую с точки зрения принципиального единства ее составляющих. Правда, явной слабостью проекта Дюркгейма было стремление оставить за социологией последнее слово

в обобщении данных других наук. Там, где философия претендует на спекулятивный синтез, дюркгеймовская социология предлагает синтез позитивный и эмпирический. А это вызывает отторжение у представителей других социальных дисциплин.

Тем не менее, Кайе считает, что вдохнуть жизнь в интеллектуальные дебаты и преодолеть подобие слепоты, сопровождающей интеллектуальное разделение труда по дисциплинарному принципу, можно лишь в случае признания права на жизнь и институционализации общей социальной науки, которая могла бы развиваться вместе со специализированными направлениями социального знания. Общая социальная наука не может быть сведена только к социологии или к какой-либо иной дисциплине. Ее задачей должно стать создание рамочных условий для кооперации между теми экономистами, социологами, историками, политологами и философами, которые полагают, что элементы общности между их дисциплинами значительно важнее, чем специфические особенности этих отраслей знания.

Д.В. Ефременко

БОНГЕРТС Г. СОЦИАЛЬНАЯ ПРАКТИКА И ПОВЕДЕНИЕ: РАЗМЫШЛЕНИЯ О ПОВОРОТЕ К ПРАКТИКЕ В СОЦИАЛЬНОЙ ТЕОРИИ.

BONGAERTS G. Soziale Praxis und Verhalten – Überlegungen zum practice turn in social theory // Ztschr. für Soziologie. – Stuttgart, 2007. – Jg 36, H. 4. – S. 246–260.

Грегор Бонгертс (Институт социологии, университет Дуйсбург-Эссен, ФРГ) критически оценивает дискурс о «повороте к практике» в социальной теории. О степени новизны концепции «поворота» следует, на его взгляд, судить только после методологического сравнения подходов к понятию практики (как конститутивному признаку теории) в классической и в

претендующей на альтернативность современной социологии. Рассматривая достоинства и недостатки различных трактовок понятия практики, автор стремится выявить плодотворные интуиции систематической теории, способные уловить актуальные изменения научного взгляда на социальную практику.

Социологическая теория, по сей день, занята поисками универсальных парадигматических ориентиров, попытками синтезировать оппозиции коллективизма/индивидуализма. Но выясняется, что простой эклектический путь систематизации ни к чему не приводит. В разных вариантах указанные оппозиционные установки неизменно воспроизводятся и развиваются параллельно друг другу. Так, к «субъективистской» теории действия, по мнению автора, тяготеют защитники теории рационального выбора – Дж. Коулмен и Х. Эссер. К сторонникам «золотой середины» он относит Э. Гидденса и П. Бурдье, а также «чистых» эклектистов (У. Шиманк). Для преодоления дихотомии позиций используются и стратегии заимствования идейного потенциала других дисциплин (А. Гёбель): философии, лингвистики, биологии. В последние два десятилетия перспективу интеграции социологической теории связывают с категориальным обновлением, переосмыслением категорий пространства, тела, медиа и культуры.

Сегодня эту дискуссию продолжают сторонники методологического «поворота к практике» – Т. Шацки и К. Кнорр-Цетина, А. Реквитц и др. Начало ей положила публикация материалов конференции под общим заглавием «Делание культуры» в 2004 г.[1] Общим истоком многих обоснований социальной практики и отказа от традиционной социологической теории признаются поздние работы Виттгенштейна. Автор задается вопросом, имеет ли

[1] Doing culture: Neue Positionen zum Verhältnis von Kultur und sozialer Praxis / Hrsg. von K.H. Hörning, J. Reuter. – Bielefeld: Transcript, 2004.

место в различных толкованиях понятия практики действительное сходство элементов, говорящих о стремлении к конвергенции и общности теоретического видения? Он считает необходимым «протестировать» под этим углом зрения ряд известных теорий. О «повороте к практике» можно говорить, утверждает Бонгертс, лишь в том случае, если удастся показать, что накоплены теоретические обобщения и прогнозы, к которым нельзя прийти с помощью методологии классических теорий структуры и действия.

Для подтверждения своей мысли автор соотносит концептуальные положения «поворота к практике» с трактовкой понятия практики в теориях действия А. Шюца и М. Вебера, с одной стороны, и в структурных теориях Э. Дюркгейма, Т. Парсонса и Н. Лумана – с другой. Вслед за этим он намерен рассмотреть обновленное толкование практики с точки зрения теории социальной практики П. Бурдье, где методологически заложено различение понятий теории и практики.

В свою очередь, критическое переосмысление проекта Бурдье позволяет, по мнению автора, выдвинуть в центр научного внимания не только «практику» как фундаментальную категорию социальной деятельности, но и понятие поведения, освобожденное от бихевиористских коннотаций. Для Бонгертса важно проследить путь движения к идее «поворота», поскольку ему представляется проблематичным синопсис, принцип извлечения деталей, сводящих воедино разноречивые теоретические основания, благодаря чему «вспыхивает» мысль о «повороте». Речь, ведь, в этом случае должна вестись не просто об изменении словаря описания, но о новой «социальной онтологии» (с. 248).

По наблюдениям автора, в текстах о «повороте к практике» чаще всего встречаются отсылки к методу анализа значений Виттгенштейна, и, прежде всего, «языковой игре». Тем самым эти авторы указывают на размежевание со

всеми теми теориями, которые понимают социальные явления как репрезентацию деятельности (то есть проекты, планы, идеи, правила, навыки), и не приписывают деятельности исполнения (Tätigkeit im Vollzug) никакой социальной релевантности.

Эту деятельность исполнения идеологи «поворота» выдвигают на передний план рассмотрения. Она диктует свой порядок социальных изменений и потому не может быть схвачена так называемыми статическими понятиями. Его (порядок) можно уловить только в относительном микросоциальном согласовании никогда не совпадающих ситуаций. Согласование происходит автоматически, на базе имплицитных знаний, которыми располагают акторы, помимо прочего, через телесную социализацию. Эти знания, снабжающие акторов креативным потенциалом, не могут быть отнесены ни к разряду сознательных действий, ни к разновидностям технического следования правилам. Вопрос о форме и модальности их усвоения остается всегда открытым. Говоря об использовании подобного рода знаний, сторонники концепции «поворота» чаще всего выделяют рутины (Routinen), но не оценивают степень их осознанности. Между тем именно многообразные возможности усвоения имплицитного знания отражают социальные различия релевантности действий.

Будучи телесно закрепленным, такое знание фундаментально материализуется. Социальная практика материалистична в двух смыслах: во-первых, потому, что она запечатлена в телесной деятельности, которая попадает в поле зрения при определении социальных событий; во-вторых, потому, что телесная деятельность включает в себя связь с предметами физического мира. Эта связь охватывает широкий круг культурных артефактов, в том числе и технику. Отношение к знанию и культурной предметности делает социальные

практики (Tätigkeiten) исполнения заведомо культурными практиками (в широком смысле понятия культуры, как у К. Гирца и в cultural studies).

Но для понимания культуры, защищаемого большинством, это означает, что культуру можно понимать не как обособленное единство символической системы, но только *in actu* (в действии). В зависимости от предпочтений, и следуя отчасти идеям Латура, продукты культуры можно считать своеобразными социальными акторами (актантами) и, соответственно, говорить об «интеробъективности» вместо «интерсубъективности». Менее экспонированной представляется релевантность культуры в своей внутренней функции воспроизводства социальных практик исполнения.

Социальная практика всегда обсуждается как контекст практик и потому не описывается как единичный акт (unit act), в соответствии с его целью или проектом. Это, конечно, не означает, что интеракция является осью социальной практики. В широком понимании, когда под практикой имеют в виду не единичные (singuläre) феномены, предполагается, что контекст должен быть организован как поле коммуникативных практик. Сюда включаются и коммуникации «человек-машина», «человек-технологии», поскольку технологии обладают социальной релевантностью. Критерием социальной релевантности могли бы служить регулятивные функции технологии в социальной практике исполнения. Однако отсутствует, критерий, по которому технологию можно представить как социально регулятивную (с. 250).

Все так называемые классические категории, рассматриваются как конституируемые (а не конституирующие) социальной практикой. Действие, представляется таким же результатом практики как институты и структуры. По замечанию Шацкого, понятие практики у «теоретиков практики» различается, прежде всего, экстенсионально. И когда появляется парадоксальный взгляд на практику, вроде симметричной антропологии Б. Латура, то со всей остротой

ставится вопрос о модусе деятельности, чтобы прояснить понятие практики. Здесь также возникает вопрос о четком размежевании с «классическими теориями действия», которые принимают за основной модус деятельности либо финалистские, интенциональные, либо механические, детерминирующие нормы и структуры действия. Реквитц замечает, что суммирование признаков социальных изменений, на которые обращают внимание социологи в последние десятилетия, содержательно и, следовательно, теоретически не дает существенных приращений. Он пишет в своей работе «Трансформация культурных теорий»: «Необходимы уточнение и основательная рефлексия отношений между телесными поведенческими привычками и ментальным порядком знаний и, следовательно, сам концепт «практик» и культурных артефактов / текстов. Вопрос отношения выражений, логической зависимости и каузальной конституции между (телесным) образцами поведения и ментальными образцами смысла требует основательного и, одновременно, радикального обсуждения, которое освободило бы социальную теорию от наивных допущений картезианского дуализма тела и духа» (с. 250).[1] Автор статьи стремится доказать, что подобный критический радикализм неоправдан, и ради этого предпринимает аналитические извлечения из традиционных концептуализаций социального действия.

Пример классического варианта теории действия дают исследования Шюца, который, в известном смысле, сокращал социальное действие до социально распределенного и получаемого через обучение, но индивидуально усваиваемого запаса знаний. Действие оказывалось у него субъективистски скроенным, что затрудняло обоснование объективности смысла интерсубъективных событий. Тем не менее, означает ли это, вопрошает Богертс,

[1] Reckwitz A. Die Transformation der Kulturtheorien zur Entwicklung eines Theorieprogramms. – Weilerswist: Velbrück, 2000.

что под действием Шюц понимал только осознанно интенциональное поведение? Не следует забывать, что он исходил из различия между планируемым и фактическим действием, прилагая феноменологическую теорию сознания времени к теории действия Вебера. Осмысление препятствий (или сопротивления), которые вызывает дистанция между проектом действия и его осуществлением приводит Шюца к истолкованию действия как воздействия. Мир повседневности представляется ему миром материальных (телесных и языковых) взаимовлияний, побуждаемых жизненными ожиданиями индивидов.

Это дает повод автору говорить, что понимание практики у Шюца не столь однозначно и ограниченно, как кажется. Во-первых, его внимание привлекает именно деятельность исполнения (Tatigkeit in Vollzug). Во-вторых, поступки влекут за собой телесные воздействия, меняющие состояние. В-третьих, социальные отношения Щюц рассматривает сквозь призму типичных, более или менее осознанных рутинных действий, которые делают возможными, в конце концов, языковые системы объяснения и институциональный социальный порядок. В-четвертых, именно рутинные действия (редко сознательно планируемые) представляются ему первичным модусом действия. Безусловно, Шюц не выделяет роль вещных объектов, как это делают теоретики «практического поворота», но, утверждает автор, аналитические средства его теории позволяют исследовать такие объекты. Даже если считать Шюца исключением среди классиков, вопрос об идентифицикации теории действия, от которой теория «поворота» сумела бы себя отличить, остается открытым.

Автор оспаривает также утверждение Реквитца о полном перевороте в веберовской теории действия, производимом якобы теорией практики. Последняя, на самом деле, обсуждает явления, в чем-то подобные традиционным действиям, о которых говорил Вебер, следуя определенному пониманию социального. Нельзя мыслить действия как случайное скопление

интенционально дискретных поступков. Социальные действия представляют собой, в целом, рутинизированное, и при этом обусловленное социальной структурой, воспроизводство типичных практик. «Обусловленное» в новейшем толковании практики подразумевает не простое повторение привычек, но и отступление от них, деятельную креативность. Но что мешает говорить, замечает Бонгертс, о продуктивном эффекте действий, оставаясь в веберовских понятийных рамках?

Далее автор переводит взгляд на методологические установки коллективистской социальной теории Дюркгейма и показывает, что и здесь контраст с теорией практики незначителен. Дюркгейм делает основной упор на производном характере социальных процессов от макросоциальных структур. Однако его установка на рассмотрение «социального *как* вещи» не допускает онтологических высказываний о социально-структурной детерминации. Социальные процессы продуцируются и репродуцируются микросоциально, на доступном наблюдению уровне практик исполнения. Речь идет только о целостных социальных формах, понимаемых как нормы. Общество как идея, согласно Дюркгейму, регулярно обновляется именно через воссоздание ритуального поведения (с. 253). У него нет оформленной теории действия, но есть ее исследовательская перспектива. К сожалению, он лишь мимоходом отделяет «практики» от идеи единого социального мира, двигаясь, таким образом, в сторону современной терминологии. Можно, впрочем, сказать и наоборот, что современная теория практики использует архаическую терминологию, введенную в обиход Дюркгеймом.

В этом месте Бонгертс вновь подчеркивает стремление сторонников «поворота к практике» отмежеваться от прежних влиятельных социальных теорий, посредством переопределения, в первую очередь, факта «телесной укорененности социального» (с. 253). Она акцентирует тем самым

нарастающую неосознанность социального смысла, так же, как усиление значения ритуальных, рутинных практик в контексте тех же практик, что и деятельность исполнения. Ради этого ее сторонники настаивают на более решительном включении в предметную область социологии вне-человеческого материального мира.

Автор считает, что такого рода тонкие различения, невозможно адекватно показать без привлечения выше охарактеризованных трактовок социального действия. Проще всего эту связь можно было бы вывести из аналитической модели действия Т. Парсонса, дающей объяснение функционированию органическо-материальной динамической системы, (социализированной, индивидуальной и бессознательной). Парсонс видит в системах действия не интенциональные проекты реализации, а символический, и соответственно, практически разделяемый запас знаний. Действия, ориентированные на исполнение, стоят у него на первом плане. Быть может это, соглашается автор с критикой Парсонса сторонниками «поворота», является недочетом его теории, но полагает он, в ней заложен немалый ресурс для преодоления данного ограничения.

Затем Бонгертс оценивает перспективность идеи «поворота к практике» с точки зрения системной теории Лумана и делает вывод о том, что последнюю следует классифицировать как разновидность теории структурирования, а не теории социальной практики. И, наконец, переходит к анализу суждений главного инициатора социологической проблематизации практики – П. Бурдье. В его интерпретации практики автор черпает наиболее убедительные, как ему кажется, аргументы для дискуссии со сторонниками концепции «практического поворота».

Принципиальную основу теории Бурдье составляет, во-первых, конститутивная дистанция двух видов социальных практик – теоретической

практики ученых и повседневной практики обывателей. Они различаются не сами по себе, не содержательно, а по своему отношению к объекту, по методологическому решению. Но именно этот ключевой момент оставили, видимо, без внимания Шацки, Реквитц и др., постоянно задающие вопрос о том, что же является практикой: обозначение специфического модуса поведения или обозначение для деятельности исполнения, или есть нечто другое?

Во-вторых, краеугольным камнем осмысления проблематики практики у Бурдье является концепт габитуса, габитусного поведения. Протагонисты «поворота» часто на него ссылаются, но при этом критикуют сильные структурные допущения, заключенные в нем. Разумеется, габитус наилучшим образом отвечает их критерию определения практики – подходить к ней не как к исходно осознанной деятельности, а как к бессознательно раскрывающемуся в деятельности запасу генерирующего знания, закрепленному в формах восприятия и телесном поведении акторов. Сам Бурдье видит в габитусе более или менее креативный генератор бесчисленного множества социальных практик. Кажущаяся – и только кажущаяся – запланированной координация способов действия объясняется подобием габитусов друг другу.

По сути, в теории социальной практики Бурдье представлены все признаки социальных процессов, дающих основание указывать на теоретический «поворот» – креативный автоматизм, повторение, контекст, тело, – но рассмотренные в систематической форме, они делают разговор о новой парадигме надуманным. Исследования, нацеленные на поиск доказательств парадигмальных изменений, не обеспечивают систематического разграничения своих понятий с понятийным каркасом классических теорий и занимаются вместо этого лишь разработкой нового словаря. Концепция габитуса обещает, по мнению автора, гораздо больше возможностей (чем установка на

инновационный поворот) для выявления области феноменов, которую не удается обнаружить интенционалистским теориям действия.

Учитывая, что теоретики «поворота» уделяют самое пристальное внимание габитусным измерениям, автор предлагает одну из стратегий определения вышеуказанной области феноменов. Если сравнить концепцию габитуса Бурдье с трактовкой «хабитуализации» Бергером и Лукманом, то есть с «классической» интерпретацией социально-научной теории, можно яснее понять, что вообще означает телесность социально-релевантного знания (неявного знания или телесных навыков). С этой целью Бонгертс уточняет значения понятий рутины (Rutine) и привычки (Gewohnheit). Их различение необходимо автору, чтобы извлечь все следствия габитусных диспозиций, их возможности и ограничения. Ему важно охарактеризовать роль социально релевантной, но конститутивно не осознанной деятельности в социальной практике. Наиболее подходящим для ее описания термином он считает «поведение» (Verhalten), но не в бихевиористском смысле, а в значении английского слова «conduct». В этом значении данный термин используется Мидом, а также Шюцем, который описывал с его помощью все так называемые автоматические действия – привычные, традиционные, аффективные… Хотя автора, ввиду полемики с представителями теории практического поворота, интересуют не эти действия, а общность в трактовках действия социологической теорией действия с теориями социального поведения, ему важно привлечь внимание к объективным условиям организации габитусного поведения, не рефлексирующего по поводу порядка знания. По его мнению, это может помочь открыть новую область феноменов для социальной теории, без громких призывов к ее парадигмальному повороту, а просто в ходе расширения и непритязательной разработки наличного социально-теоретического репертуара.

Л.В. Гирко

II. СИМВОЛИЧЕСКИЙ ИНТЕРАКЦИОНИЗМ В НАЧАЛЕ XXI ВЕКА

Статьи и обзоры

О.А. Оберемко

ИНТЕРАКЦИОНИСТСКАЯ МОДЕЛЬ ФОРМИРОВАНИЯ ИДЕНТИЧНОСТИ: РЕКОНСТРУКЦИЯ*

Общие теоретические основания и ключевые понятия

В настоящем тексте изложена концепция пространственно-деятельной идентификации. Отношения между понятиями пространства и деятельности толкуются здесь таким же образом, как в интерпретативной (понимающей) парадигме, представленной, в частности, социальным бихевиоризмом (Дж. Г. Мид), символическим интеракционизмом (Г. Блумер), феноменологической социологией знания (П. Бергер и Т. Лукман), толкуются базовые понятия интеракции и знания. Идентичность понимается как результат самоопределения индивида и связывается со складывающимися в ходе социальных взаимодействий представлениями о «территории свободы», то есть с интерактивным определением индивидуальным субъектом области участия в социальной деятельности и степени вовлеченности в нее. В качестве аксиом принимаются следующие положения, сформулированные Г. Блумером:

> «Человеческие существа живут в мире значимых объектов, а не в среде, состоящей из стимулов и самоконституирующихся сущностей. Этот мир имеет социальное происхождение, ибо значения возникают в процессе

---

* Текст представляет собой переработанную версию статьи: Оберемко О.А. Пространственно-деятельная идентичность как представление о «территории свободы» // Социологический журнал. – М., 2008. – № 3. – С. 62–82.

социального взаимодействия»[1]

«Мы знаем объекты (things) по их смыслам»; «смыслы порождаются в ходе социального взаимодействия»; «смыслы изменяются в ходе социального взаимодействия»[2].

В отличие от *нормативной* (структурно-функционалистской) парадигмы социального (взаимо)действия, где «участники социального взаимодействия разделяют общую систему символов и значений, относящихся к социокультурной системе ценностей, которая обладает принудительной силой», положения Г. Блумера выражают теоретическую позицию *понимающей* парадигмы. Представители последней исходят «из отсутствия заранее заданной интерсубъективной общезначимой системы символов», полагая при этом, что «действующие лица не просто обладают статусами с четко установленными правилами и ролевыми ожиданиями, а ставят смысл и значение каждой социальной роли в зависимость от личной оценки ситуации»[3].

С понимающей парадигмой согласуется определение идентичности (как регулятивного когнитивного образования), сформулированное Г. Тэджфелом. Под социальной идентичностью индивида он предложил понимать его «знание о своей принадлежности к определенным социальным группам и эмоциональную и ценностную значимость этой принадлежности»[4]. Всякий субъект из своей индивидуальной перспективы категоризирует социальное

---

[1] Blumer H. Sociological implications of the thought of G.H. Mead // American j. of sociology. – Chicago, 1966. – Vol. 71, N 5. – P. 540. (Перевод по: Ионин Л.Г. Понимающая социология: Историко-критический анализ. – М.: Наука, 1979. – С. 74).

[2] Blumer H. Symbolic interactionism. – Englewood Cliffs: Prentice-Hall, 1969. – P. 2.

[3] Абельс Х. Интеракция, идентификация, презентация: Введение в интерпретативную социологию. – СПб.: Алетейа, 1999. – С. 45–46.

[4] Tajfel H. La catégorisation sociale // Introduction à la psychologie sociale / Dir. par S. Moscovici. – P.: Larousse, 1972. – Vol. 1. – P. 292.

пространство и в зависимости от своей *групповой принадлежности* определяет в нем свое место. Процесс категоризации «представляет собой проявление адаптивной функции человеческой психики, структурирующей бесконечное многообразие стимулов окружающей среды в более упорядоченную совокупность отдельных категорий. В процесс категоризации включаются другие люди и сам субъект»[1]. Результатом определения индивидом своего места в социальном пространстве и является его социальная идентичность.

То, что в приведенном определении Г. Тэджфела лишь подразумевается, что знание о своей групповой принадлежности есть результат взаимодействия и признания со стороны других, объясняется просто: автор фокусировал внимание на процессах (само)категоризации в перспективе отдельного индивида. Возможно, именно поэтому Г. Тэджфел упоминает лишь эмоциональную и ценностную значимость идентичности как установочного образования, что соответствует эмоциональному и когнитивному компонентам установки. В данной же статье, как и в концепции диспозиционной регуляции социального поведения личности В.А. Ядова, внимание фокусируется на деятельном компоненте диспозиций личности, толкуемой как «продукт “столкновения” потребностей и ситуаций (условий), в которых соответствующие потребности могут быть удовлетворены»[2].

Идентичность как представление о «территории свободы»

Концепция пространственно-деятельной позитивной идентификации сконструирована с опорой на «школьную» книгу Зигмунта Баумана «Мыслить

---

[1] Данилова Е.Н., Косэла К. О методологии исследования: Общий подход и используемые методики // Россияне и поляки на рубеже столетий: Опыт сравнительного исследования социальных идентификаций (1998–2002 гг.) / Сост. Е.Н. Данилова, В.А. Ядов. – СПб.: РХГА, 2006. – С. 16.

[2] Ядов В.А. Личность как объект и субъект социальных отношений // Социология и современность. – М.: Наука, 1977. – Т. 1. – С. 384.

социологически», вернее на первую ее главу, которая называется «Свобода и зависимость»[1]. Именно в этой главе концентрированно представлена всеобщая интеракционистская диалектика отношений между свободой и зависимостью человека в обществе, между *I* и *me*, *self* и другими, деятельностью и структурой и т.п.

Может возникнуть вопрос, стоит ли в качестве основы для теоретических построений брать не столько научный, сколько научно-популярный текст с отчетливой дидактической направленностью, роднящей его с жанром учебного пособия. В пользу такого выбора можно привести ряд аргументов. Во-первых, в книге представлен систематический (монографический) взгляд на повседневность с позиции взаимодействующих индивидов. Кроме того, в периоды глубоких социальных трансформаций разрыв между передним краем науки и глубоким тылом[2] сокращается так, что востребованная монография становится похожей на учебник, то есть содержит дидактический элемент ради приобщения к добытому знанию как неискушенных неофитов, так и опытных исследователей и комментаторов. Такая работа напоминает внутреннюю колонизацию уже завоеванных территорий. «Именно так и возможны попытки понять что-либо: каждый шаг вперед на пути осмысления с необходимостью предполагает возврат к предшествующим этапам нашего продвижения»[3].

Во-вторых, в этом источнике эксплицировано базовое допущение, лежащее в основе мидовской философии действия, но часто упускаемое из виду комментаторами – допущение о *свободе индивида действовать*. Это допущение может показаться сугубо ценностным суждением; на самом деле в социальном

---

[1] Бауман З. Свобода и зависимость // Бауман З. Мыслить социологически. – М.: Аспект Пресс, 1996. – Гл. 1. – С. 26–42.
[2] Батыгин Г.С. Производство научного знания // Человек. Сообщество. Управление. – Краснодар, 2003. – № 2–3. – С. 9–39.
[3] Бауман З. Мыслить социологически. – Указ. соч. – С. 25.

бихевиоризме Мида оно встроено в онтологию социальности[1]. Без этой свободы одинаково невозможно ни становление личности, ни формирование социальной ткани. В современном контексте эта мысль выражается в озабоченности развитием гражданского общества. Поскольку абсолютное отсутствие свободы помыслить затруднительно[2], для целей настоящей работы корректнее сформулировать это допущение так: чем меньше у индивида «пространства свободы», тем меньше у него возможностей для позитивного социального действия[3], а значит и для участия в воспроизводстве социальной ткани.

Конечно, по канонам пускаться в теоретические построения следовало бы с опорой на первоисточники. Основным источником могла бы послужить главная книга Дж. Г. Мида[4], однако она вышла посмертно и «состоит из записей лекций Мида, по ходу которых он сам многократно перестраивал свою теорию, и поэтому в ней не так просто разобраться. <…> Книга написана сложным языком, подобно его философским статьям, которые были порой непонятны даже для

---

[1] Абельс Х. Интеракция, идентификация, презентация: Введение в интерпретативную социологию. – СПб.: Алетейа, 1999. – С. 13.

[2] М.А. Шабанова также неоднократно указывает, что в отличие от философии, оперирующей предельными состояниями свободы/несвободы, социологию интересует относительная несвобода. См.: Шабанова М.А. Современный трансформационный процесс в контексте свободы: Синтез макро- и микроподходов // Россия, которую мы обретаем / Отв. ред. Т.И. Заславская, З.И. Калугина. – Новосибирск: Наука, 2003. – С. 110–126.

[3] Х. Йоас напоминает, что, согласно Миду, принятие роли другого обеспечивает познание не только других людей, но и познание вещного мира посредством «принятия на себя роли предмета». При этом «не только конституция предметов, но и возрастающая глубина их постижения связаны… с развитием идентичности [*self. – О.О.*]. Ее нарушение создает угрозу свободе обращения с предметами». См.: Йоас Х. Джордж Мид и символический интеракционизм // История социологии в Западной Европе и США. – М.: ИНФРА-М, 1999. – С. 350, 352. Таким образом, отсутствие свободы препятствует развитию не только навыков социального поведения, но и навыков манипулирования предметами.

[4] Mead G.H. Mind, self and society. – Chicago: Chicago univ. press, 1936.

его учеников»[1]. Поэтому анализ проблемы Я, где «как бы резюмируется *все содержание* [курсив мой. – *О.О.*] социальной психологии Мида», может представляться «скорее не теорией, а наброском, приблизительным очерком теории, оставляющим простор для множества истолкований»[2].

Текст З. Баумана позволяет эксплицировать базовые условия процесса идентификации в виде системы тезисов, как нам представляется, пригодных для использования при анализе эмпирических данных.

Свобода: Определение и постановка проблемы

Размышляя во «Введении» о специфике предмета социологии и о случайности границ между научными дисциплинами, З. Бауман пишет: «то, что мы на самом деле знаем,– это не мир сам по себе, а то, что мы с ним *делаем*». Нет в человеческом мире естественных, данных от природы границ между пространством социологии и пространствами других наук; границы порождаются разделением труда между учеными[3]. Эту же пространственно-деятельную логику З. Бауман использует в интерпретации повседневности. Глава 1 «Свобода и зависимость» начинается со следующего замечания:

> «Одна из наиболее сложных загадок человеческого существования, которую пытается разрешить социология», состоит в переживании того, что «мы одновременно и свободны, и несвободны»[4].

---

[1] Абельс Х. Интеракция, идентификация, презентация. – Указ. соч. – С. 15.
[2] Ионин Л.Г. Понимающая социология: Историко-критический анализ. – М.: Наука, 1979. – С. 71.
[3] Бауман З. Мыслить социологически. – М.: Аспект Пресс, 1996. – С. 11.
[4] Там же. – С. 26.

Поскольку в книге раскрывается социологическое мышление, естественно ожидать, что проблема свободы/несвободы ставится именно в социологическом, а не, скажем, философском ключе.

Индивидуальную свободу З. Бауман определяет как способность выбирать для себя линию поведения из возможных альтернатив: «свобода означает способность решать и выбирать»[1]. Взятую в кавычки фразу можно было бы понять так, что речь идет о свободе производить мыслительные операции, однако Бауман добавляет: «одно дело – самостоятельно выбрать себе цель и иметь искреннее намерение ее достичь, и совсем другое дело – суметь воплотить задуманное и достичь поставленной цели»[2].

Если в оппозиции «самостоятельно выбрать – воплотить задуманное» сосредоточиться на *I*, на *моей* способности держать данное самому себе слово, то разрешение загадки свободы/несвободы следует искать не в социологической плоскости, а в этической. Если видеть противопоставление слова и дела, то Я по-настоящему свободен там, где мое дело со словом не расходится, где, как пишет З. Бауман, *I am able to act on my words*.

Мы останемся в социологическом поле, если введем следующее различение: принять решение, сделать выбор можно самому, а вот чтобы «суметь воплотить задуманное и достичь поставленной цели», нам приходится ориентировать свои действия на других. Так мы подошли к первому тезису:

---

[1] Там же.

[2] Bauman Z. Thinking sociologically. – Oxford; Cambridge (MA): Basil Blackwell, 1990. – P. 21. М.А. Шабанова, различая социетальную и индивидуальную свободу, сходным образом дает *социологическое* определение индивидуальной свободы на *микроуровне*: «возможность субъекта самому выбирать и беспрепятственно реализовывать жизненно важные цели и ценности». См.: Шабанова М.А. Современный трансформационный процесс в контексте свободы. – Указ. соч. – С. 110.

Тезис 1 – о причинах несвободы: несвобода индивида происходит из противоречия между частной постановкой целей и общественным характером их достижения.

Здесь, правда, нужно иметь в виду, что цели и желания не появляются ниоткуда. Они актуализируются из элементов жизненного опыта (пусть в виде творческой комбинации, например, «хочу черевички, что носит царица» или «а у Вас есть такой же, но без крыльев?») в определенный момент взаимодействия со значимыми другими *в соответствии с моей (I) оценкой* текущей ситуации[1].

В этом видится суть «сложнейшей загадки» одновременной свободы и несвободы: в самостоятельной постановке целей мы ощущаем себя свободными, а когда добиться поставленных целей самостоятельно не можем, переживаем несвободу. Очевидно, что речь не идет о политико-правовом понимании (не)свободы. Проблема не в отсутствии прав, а в том, что *вольно,* невзирая на особенности ситуации и присутствие других, эффективно действовать не получается. За скобками у социолога остается и

[1] Для обсуждаемых сюжетов неважно, насколько, с объективной (или интерсубъективной) точки зрения, я верно оценил ситуацию и генерировал из элементов прошлого опыта «разумное» желание, в выполнении которого я реально могу добиться успеха. При неверной оценке ситуации и/или неверной стратегии достижения меня ждет неудача во взаимодействии, и тогда мне придется либо скорректировать желание, либо изменить способ его удовлетворения, либо, отказавшись от своей свободы (в социологическом смысле), свести к минимуму свою деятельность во внешнем мире и выбрать описанный И. Берлином вариант «отступления во внутреннюю цитадель». См.: Берлин И. Два понимания свободы // Берлин И. Философия свободы: Европа. – М.: НЛО, 2001. – С. 140–147. Это отступление взрослого индивида можно в терминологии Мида описать как попятное движение от коллективной игры (*game*) к индивидуальной игре (*play*); первую от второй отличает необходимость координировать взаимодействия с автономными агентами во внешнем мире.

увлекательнейший философский поиск доказательств «наличия-отсутствия конечных причин наших желаний»[1].

Моя группа – территория свободы

Развивая пространственно-деятельную логику, Бауман указывает на то, что повседневная жизнь индивида протекает *в границах существующего для него мира*. Эти границы не устанавливаются субъективным произволом отдельного индивида, а определяются горизонтами повседневных взаимодействий с членами группы.

> *Тезис 2 – о пространстве своей группы как территории свободы*: моя группа «фиксирует территорию, в пределах которой я могу правильно пользоваться свободой действий»[2].

Этот вывод (тезис) у Баумана имеет следующие основания:

> «Может оказаться…, что, если я, скажем, британец и мой *родной* язык – английский, то *уютнее* всего я чувствую себя *дома*, среди людей, говорящих по-английски… В другом месте… я не могу *свободно* общаться, не понимаю смысла того, что делают другие люди, и я не знаю, что мне самому делать, чтобы выразить свое намерение и достичь желаемого результата. Я чувствую себя *растерянным*… не только при посещении других стран. Подобно этому выходец из рабочей семьи может чувствовать себя *неловко* среди богатых соседей из среднего

---

[1] Шабанова М.А. Современный трансформационный процесс в контексте свободы. – Указ. соч. – С. 110.
[2] Бауман З. Мыслить социологически. – Указ. соч. – С. 30.

класса» (*курсив мой. – О.О.*)[1].

К этому пассажу сделаем несколько замечаний, релевантных для дальнейших рассуждений. Во-первых, речь здесь идет о делении социального пространства на свое и чужое; это деление предполагает *идентификацию* с определенной группой, признание *своего членства* в группе.

Во-вторых, речь идет не о политическом понимании свободы, не об осознании (не)ущемленности своих интересов и т.п. Речь идет о переживаниях, ощущениях уюта и неловкости, причины которых могут и не осмысляться.

В-третьих, *уют*[2] связан с ощущением родного дома и свободным общением – пониманием того, что говорят и делают окружающие, как выразить собственное намерение и достичь желаемого результата. Соответственно *неловкость* связана с растерянностью, с неспособностью свободно общаться, понимать смысл слов и поступков окружающих, но главное для нас – с неспособностью адекватно экстернализировать собственные намерения в достижении цели. Здесь важна не свобода мыслить, говорить, общаться, а свобода действовать и достигать. Свободное владение языком лишь предпосылка для свободы действовать.

В-четвертых, «группа» для Баумана – родовое понятие. Им он обозначает общности любого масштаба и основания, которые не обязательно сводятся к микросреде. В приведенной цитате «группой» обозначается и класс (рабочие, средний класс), и нация-государство (посещение других стран), и языковая общность, которая может быть шире нации-государства (мир английского языка) и вообще «перпендикулярной» государственным границам. При таком

---

[1] Там же. – С. 29.

[2] «Уют» совсем необязательно понимать в «мещанском», «мелкобуржуазном» смысле как место, где «тепло и сухо»; уюта (покоя) ищут и в буре.

употреблении очевидно, что группа, рассматриваемая *изнутри*, не обязательно гомогенна.

Далее Бауман предлагает краткий список того, чем я обязан группе своей (социологически понимаемой) свободой действовать:

- умение отличать *цели*, которые в группе считаются достойными, чтобы их перед собой ставить, от недостойных целей;
- умение отличать приемлемые *средства* достижения поставленных целей от неприемлемых способов действия;
- умение применять *критерии значимости*, чтобы среди предметов и людей отбирать то, что соответствует и не соответствует достигаемой цели;
- умение пользоваться «*картой мира*», которая позволяет мне строить реализуемые *жизненные планы*, выбирать достижимые в моей группе цели[1].

Несмотря на то, что список сформулирован в терминах *умений*, речь идет все-таки о *когнитивном* багаже. Именно он формируется группой. Как именно *действовать*, какие именно списочные цели, средства и союзников *выбрать*, в конечном счете, относится к сфере ответственности не группы, а субъекта – *I*. К этому мы вернемся в ключевом для символического интеракционизма тезисе 7.

Отсутствие в этом списке *ценностей* может навести на мысль, что речь идет о свободе максимизирующей выгоду бестии, действующей исключительно целерационально. Это не так. Речь идет о целях и жизненных планах, достижение которых *представляется* индивиду «обязательным условием правильной, успешной, хорошей жизни»[2], то есть имеет отчетливое ценностное измерение:

«Группа, сделавшая меня свободным человеком и продолжающая охранять

---

[1] Бауман З. Мыслить социологически. – Указ. соч. – С. 31.
[2] Там же.

область моей свободы, *взяла на себя контроль* над моей жизнью (над моими желаниями, целями, а также действиями, которые мне следует предпринимать, и действиями, от которых следует воздержаться, и т.п.)». «Именно в этой группе я наиболее полно могу осуществить свою свободу (…выбрать способ действия, приемлемый для других и вполне соответствующий ситуации)… Научив меня своим способам и приемам, моя группа позволяет мне *на практике действовать свободно*» (*курсив мой. – О.О.*)[1].

Выше мы упоминали Г. Тэджфела, который под социальной идентичностью индивида понимал «*знание* [*курсив мой. – О.О.*] о своей принадлежности к определенным социальным группам и эмоциональную и ценностную значимость этой принадлежности»[2]. Теперь мы можем дополнить это определение деятельным компонентом: знание о принадлежности к группе непременно включает *практическое знание* приемлемых способов действия и *готовность* им следовать – *деятельно* идентифицироваться с ними. Ценностная значимость группового членства проявляется в разделяемых представлениях о правильной, успешной, хорошей жизни. О том, как формируются у индивидов «правильные» представления – следующий тезис:

Тезис 3 – о происхождении свободы из постоянной социализации: ощущение свободы происходит из постоянного повседневного деятельного у*своен*ия знаний о принятых в своей группе карте мира, целях, ценностях, способах действия, жизненных планах.

---

[1] Там же. – С. 30, 29.
[2] Tajfel H. La catégorisation sociale // Introduction à la psychologie sociale / Dir. par S. Moscovici. – P.: Larousse, 1972. – Vol. 1. – P. 292.

Обратим внимание, как Бауман трактует *социализацию* индивида.

> «Полагаю, наше обсуждение до сих пор создавало верное впечатление о том, что процесс социализации не ограничивается детским опытом. Фактически он никогда не прекращается, длится всю жизнь, постоянно приводя в сложное взаимодействие свободу и зависимость»[1].

Речь идет не только о первичной социализации – об усвоении элементарных социальных навыков в детстве внутри узкой группы значимых других. Ощущения *уюта* и *неловкости* сопровождают нас и в ходе всех последующих социализаций. Если смыслы объектов порождаются и изменяются в ходе постоянного взаимодействия (Г. Блумер), тогда то же самое происходит и с идентичностями взаимодействующих индивидов, являющихся объектами для себя и других.

Сформулированное Бауманом положение о подконтрольности группе моей свободы легко переводится на «старорежимный» язык: ощущение «правильной, успешной, хорошей жизни» невозможно в отрыве от коллектива. С точки зрения развиваемой здесь концепции, разница между советской и баумановской (интеракционистской) трактовками заключена в области практики: в социальной эффективности взаимодействия между индивидом и коллективом. Социально эффективное взаимодействие порождает ощущение уюта, достаточное для того, чтобы индивиды могли *свободно* действовать в пространстве своей группы. Неадекватное социализирующее воздействие приводит, причем одновременно, к пере- и недосоциализации. Терминологически описания эффективных и неэффективных моделей могут быть абсолютно одинаковы: в обоих случаях

[1] Бауман З. Мыслить социологически. – Указ. соч. – С. 40.

только в обмен на зависимость от группы индивид получает ощущение уюта-свободы. И свобода вроде та же самая, только во втором случае – «без крыльев».

Собственно «крылья» вырастают там, где к реальности социального взаимодействия наряду со всеми прочими применим тезис о *самостоянии индивида* (тезис 7).

Ограничения свободы внутри пространства уюта

Индивидуальные старания и действия даже максимально социализированного индивида встречают в обществе *объективные* ограничения. Из текста Баумана реконструируется следующий список ограничений:

1) ограниченность ресурсов, необходимых для достижения целей,

2) предопределенность собственными действиями, которые удалось совершить в соответствии со свободно сделанным выбором в прошлом (в частности, прошлые заслуги, приобретенные навыки и т.п. или их отсутствие),

3) действия других людей, направленные на достижение свободно выбранных ими целей,

4) необходимость соблюдать авторитетно установленные институциональные правила[1].

Первые два ограничения касаются ресурсов. В логике противопоставления к ресурсам первого рода можно отнести все, что оказывается в распоряжении индивида независимо от его прошлых персональных усилий, то есть то, что не относится к ресурсам второго рода. Ресурсы, находящиеся в распоряжении индивида, суть средства для того, чтобы успешно совладать с последними двумя ограничениями: с ограничением третьего рода индивиды сталкиваются в процессе горизонтальных конкурентных взаимодействий; ограничения

[1] Там же. – С. 27–29.

четвертого рода актуализируются при взаимодействии по вертикальной линии господства–подчинения. Этим двум видам ограничений – по горизонтали и вертикали – мы отведем два следующих тезиса. Количество ресурсов и их конфигурация имеют значение только в контекстах конкуренции и властных отношений, поэтому ресурсам отдельный тезис не отводится.

Приводя пример того, что мы называем отношениями конкуренции, профессор Бауман принимает позицию абитуриента колледжа. Ему известен конкурс – 20 человек на место, и он предполагает, что претенденты, как и он сам, прилежно обучились у своей группы тем совместно выработанным, конвенционально принятым (или сконструированным) «способам и приемам», которые считаются приемлемыми для достижения поставленной цели. Резонно полагать, что остальные 19 претендентов, свободно решивших держать экзамены, более или менее разумно распорядились предоставленной им свободой и наращивали свою компетентность для прохождения вступительных испытаний[1]. От лица абитуриента профессор замечает:

> «Я узнал, что моего решения и доброй воли еще недостаточно, если у меня нет средств для того, чтобы обеспечить осуществление своего решения»[2].
>
> «Для того чтобы действовать свободно, кроме свободной воли мне нужны еще и ресурсы»[3].

Этот пример абитуриента демонстрирует, что свобода внутри *своей* группы не есть *воля*, не знающая ограничений.

---

[1] Там же. – С. 27.
[2] Там же. – С. 28.
[3] Там же. – С. 27–28.

Тезис 4 – об ограничении свободы (по горизонтали) конкуренцией: для реализации свободно принятых решений *в своем пространстве приходится конкурировать за необходимые для достижения избранной цели ресурсы.*

Оказывается, что даже в своей группе нет гарантий реализации свободно принятого решения. Социализированные в одной культуре люди стремятся к сходным целям, «но не все могут достичь их, поскольку количество того, что мы все желаем, ограничено, то есть меньше, чем людей, претендующих на него»[1]. Необходимость вовлекаться в конкуренцию и добиваться успеха есть неотъемлемая часть свободы.

Наряду с конкурентными (горизонтальными) отношениями, свободу внутри своей группы ограничивают властные (вертикальные) отношения. Оказывается,

> «что результаты моих усилий и их [то есть конкурентов] усилий зависят от других людей – тех, кто решает, сколько мест предоставить, кто оценивает навыки и усилия абитуриентов. Именно они устанавливают правила игры, в то же время являясь судьями… именно их свобода, как оказывается, устанавливает пределы моей свободы… Их свобода выбора привносит элемент неопределенности в мою ситуацию»[2].

Отсюда следующий тезис:

Тезис 5 – об ограничении свободы (по вертикали) авторитетами и

---

[1] Там же. – С. 27.
[2] Там же.

правилами: для реализации свободно принятых решений *в своем пространстве приходится учитывать иерархии и авторитетно устанавливаемые правила*.

В целом, после сложения ограничений по горизонтали и по вертикали, моя свобода предполагает:

> «способность правильно понимать ситуацию и, следовательно, точно ориентироваться относительно действий и намерений других людей, влияющих на результаты моих усилий»[1].

Эту способность нельзя выработать без признания индивидом легитимности принятых в группе ограничивающих свободу действия правил координирования вертикальных и горизонтальных взаимодействий. Отказ соблюдать правила означает *деятельный*, пусть частичный или временный, отказ от групповой идентификации из-за того, что она оставляет мало свободы для избранной линии поведения.

Признание группой – условие моей свободы

Однако для свободы есть еще одно решающее условие. З. Бауман пишет:

> «Может оказаться, что свобода действий в соответствии с моими желаниями зависит не от того, что я *делаю*, и даже не от того, что я *имею*, а от того, что я *есть*. Например, мне могут запретить войти в какой-нибудь клуб, не принять на работу из-за каких-то моих качеств, скажем, расы, пола, возраста или национальности. Ни одно из этих качеств не

[1] Там же. – С. 29–30.

зависит ни от моей воли, ни от моих действий, и никакая свобода не позволит мне изменить их»[1].

Не вступая в дискуссию о том, насколько действенны в глобализирующемся мире примордиалистские критерии для членства в привилегированных группах, укажем, что в любом случае от *признания* индивида группой в качестве своего во многом зависит, насколько знания, другие ресурсы и достижения обеспечат ему свободу действия. Отсюда принципиально важный тезис:

Тезис 6 – об ограничении свободы (не)признанием членства: в пространстве группы уютно тем, чье членство признано.

О самостоянии индивида

Центральное понятие в символическом интеракционизме – межиндивидуальное взаимодействие. Социализация индивидов и становление социальных структур – это двуединый процесс. «Совокупность процессов взаимодействия… конституирует общество и социального индивида», весь запас практического знания индивидуальным Я «способов действия, символических содержаний зависит от разнообразия и широты… взаимодействий, в которых Я участвует. Структура… Я… отражает единство и структуру социального процесса»[2]. Отсюда следует, что социализация – не пассивный процесс, причем с самого начала становления личности индивида.

«Ребенок как личность формируется во взаимодействии со средой.

---

[1] Там же. – С. 28.
[2] Ионин Л.Г. Понимающая социология: Историко-критический анализ. – М.: Наука, 1979. – С. 68, 69.

Активность и инициатива характерны для обеих сторон этого взаимодействия»[1].

С еще бóльшим основанием можно ожидать инициативы и деятельной активности от взрослой, сформировавшейся личности. Инициатива свидетельствует об относительной автономности. На какие ресурсы может опираться становящаяся личность, чтобы сохранять относительную автономность от могущественного общества? Ответ на этот вопрос мы также находим у Мида в теории внутренней структуры личности: она, по Миду, состоит из *Me* – «интернализованной структуры групповой деятельности»[2]– и *I* – по определению автономного от общества «внутреннего стержня личности, с позиций которого рассматриваются, оцениваются, накапливаются и, в конечном счете [ultimately], оформляются внешние социальные требования и ожидания» (перевод дается в нашей редакции. – *О.О.*)[3]. *I* отвечает на требования и ожидания, однако «каков будет этот ответ, *I* не знает, и не знает никто другой… Реакция на ситуацию, какой она является в непосредственном опыте, не очевидна, и именно эта реакция конституирует *I*»[4]. Действующее *I* не поддается непосредственной рефлексии, в отличие от *Me*, в котором аккумулированы оценивающие реакции на прошлые действия *I*. Здесь отчасти применима самоироничная формула: «Откуда мне знать, что я думаю (делаю), вот скажу (сделаю), тогда узнаю».

Таким образом, ускользающий от непосредственного осознания, эмерджентный момент процесса производства личности (и общества) является ресурсом для автономии (свободы) личности. В тот момент, когда другие грубо

---

[1] Бауман З. Мыслить социологически. – Указ. соч. – С. 33.
[2] Ионин Л.Г. Понимающая социология. – Указ. соч. – С. 71.
[3] Бауман З. Мыслить социологически. – Указ. соч. – С. 33.
[4] Mead G.H. Mind, self and society. – Chicago: Chicago univ. press, 1936. – P. 50.

игнорируют эту автономию, прекращается деятельное становление личности, а вместе с ним и производство общества:

> «Одно из первых открытий, которые должен сделать для себя ребенок, это то, что “другие” различаются между собой. Они редко видят друг друга в глаза и отдают команды, не согласующиеся между собой, а потому и не выполнимые одновременно… В числе первых навыков… следует назвать навыки отбора и отсева; такие навыки нельзя усвоить, не развив способности отвергать и выдерживать нажим… сопротивляться хотя бы части внешних сил… В конечном счете именно “I” делает выбор и тем самым становится… “полноправным” автором предпринимаемого действия»[1].

Повторим, что с еще бóльшим основанием деятельной активности можно ожидать от взрослого. В терминах феноменологической социологии знания, деятельная идентификация имеет место тогда, когда мы *с напряженным вниманием* относимся к пространству своей группы и тем самым делаем ее *мир* реальным[2]. Мы делаем этот мир реальным для себя и тем самым демонстрируем его реальность другим. Одновременно напряженное внимание к миру делает реальным и самого актора. Я переживает себя как реальное в реальном мире – вместе с реальным миром. Наиболее реальным воспринимается то, что, как я полагаю, контролирует мое поведение, на что я считаю нужным ориентировать свои действия.

Из мидовской схемы можно вывести, что если социальное окружение будет слишком жестко контролировать спонтанные, поисковые действия, источником

---

[1] Бауман З. Мыслить социологически. – Указ. соч. – С. 33–34.
[2] Бергер П., Лукман Т. Социальное конструирование реальности. – М.: Медиум, 1995. – С. 40–41.

которых является автономное *I*, то социальное *Me* не сможет развиваться. Личность и окружение будут постепенно утрачивать реальность друг друга и для себя, и друг для друга.

> *Тезис 7 – об относительной самостоятельности индивида от социального окружения*: без относительной автономии индивида производство личности и общества было бы невозможно.

Эта формулировка может показаться слишком сильной и ценностно нагруженной. В конце концов, история знает немало обществ и отдельных их сегментов, где автономность личности и спонтанность действий принудительно ограничиваются, но, несмотря на все ограничения, личностное, человеческое начало пробивает себе дорогу... Следуя этой логике, можно было бы дать и более мягкую формулировку. Однако в этом случае мы бы оказались в сфере политико-этического дискурса заботы о правах личности. У Мида же этот тезис относится к области онтологии:

> «Благодаря активности ребенка при освоении *ролей в индивидуальной игре* (*role playing*), отделение *I* от *Me* (то есть эмерджентное возникновение у личности (*self*) способности представлять себе, осмысливать и контролировать требования значимых других) выполняет важнейшую задачу. Принимая в игре роли других, например отца или матери, и экспериментируя с их поведением (включая их поступки по отношению к нему самому), ребенок учится искусству смотреть на действие как на *принятую* роль, как на нечто такое, что можно делать, а можно и не делать; действие подразумевает делание, выполнение того, что требует ситуация, и это требование может измениться с изменением ситуации.

Тот, кто выполняет действие, на самом деле не я – не *I*. По мере того, как дети подрастают и накапливают знание о разных ролях, они начинают участвовать в *коллективных играх* (*games*), в которых, в отличие от индивидуальной игры (*play*), есть элемент кооперации и координации с другими исполнителями ролей. Здесь ребенок набирается опыта в искусстве, самом главном для по-настоящему самостоятельной личности (*self*) – в искусстве выбирать линию поведения в ответ на действие других, а также поощрять или принуждать других действовать в соответствии со своими желаниями»[1].

Подчеркнем, что обращение к детству в данном случае подчинено задаче показать генезис, механизм конституирования *и* взрослой личности, *и* «взрослого» общества.

Что мотивирует быть членом группы?

Принадлежность к группе требует от индивида напряженной социализации, но и после всех хлопот и усилий даже в своей группе свобода ограничивается. Сформулированная Бауманом загадка человеческого существования осталась неразрешенной.

Формула «свобода как осознанная необходимость» и вывод об утрате собственной реальности при отсутствии социальных связей представляются слишком (раз)умными, теоретичными основаниями для спонтанного *I*. Поэтому остается вопрос: что может мотивировать индивидов искать свободу в групповой определенности, когда теоретичные основания еще не познаны, а если познаны, то не приняты, не стали личностным знанием, с которым индивид

[1] Bauman Z. Thinking sociologically. – Oxford; Cambridge (MA): Basil Blackwell, 1990. – P. 28.

готов идентифицироваться. Проще говоря, почему мы ищем себе хомут? Положим, процесс первичной социализации происходит в группах, которые мы не выбираем:

> «Та самая группа, которая играет… важную роль в моей свободе, не является предметом моего свободного выбора. Я – член этой группы уже в силу своего рождения в ней. Территория моего свободного действия как таковая тоже не есть предмет моего свободного выбора»[1].

Но зачем взрослый человек в ходе вторичных социализаций мучительно ищет, к какой группе ему прилепиться, если загадка все равно не получает разгадки? В анализируемой главе можно найти ответ и на этот вопрос:

> «…сам факт, что я так хорошо приспособился к действиям в группе, к которой принадлежу, ограничивает мою свободу действий в огромном, плохо размеченном, зачастую отталкивающем и пугающем пространстве за пределами группы»[2].

Плохо размеченное, а потому пугающее пространство отражает наше незнание о нем. Страх неведомого, *сконструированное* группой незнание внушает ощущение неуютности и (до поры до времени) ограждает от соблазна искать свободу от внутригрупповых ограничений на чужой территории[3]. Теперь

---

[1] Бауман З. Мыслить социологически. – Указ. соч. – С. 30.
[2] Там же. – С. 29.
[3] Иногда незнание организованно культивируют с обратной целью – чтобы мотивировать преодолевать страх неведомого перед завоеванием новых пространств; страх преодолевается посредством внушения того, что познавать попросту нечего, что чужая территория (например, в культурном смысле) является целиной, которая только и ждет своего обустройства (или устроителя).

тезис 2 *о пространстве своей группы как территории свободы* можно дополнить еще одним тезисом:

> *Тезис 8 – о границах территории свободы*: свобода действовать на своей территории происходит из несвободы за ее пределами.

Однако важно иметь в виду, что граница обеспечивает свободу как в позитивном, так и в негативном смысле[1]. В негативном смысле обеспечивается *свобода от* неизвестного и непредсказуемого, а в позитивном – *свобода для* действия, правда, на ограниченной территории с ограниченными ресурсами и ограничивающими правилами. Когда эти ограничения известны заранее и не только интернализованы, но и приняты *для себя*, тогда можно сказать, что актор с ними *идентифицируется*[2]. Актуализируется как бы обратная сторона медали: то, что для постороннего является институциональными ограничениями, оборачивается для инсайдера преимуществами[3].

Эффекты несвободы

Отсутствие свободы, разумеется, есть субъективно переживаемый и оцениваемый результат социальных взаимодействий и не преодоленных (или непреодолимых) противодействий, в том числе со стороны институциональных

---

[1] Берлин И. Два понимания свободы // Берлин И. Философия свободы: Европа. – М.: НЛО, 2001. – С. 122–185.

[2] Для интерпретации эмпирических данных важно не отождествлять интернализацию и идентификацию. «Оборотни в погонах» (и домашних тапочках) интернализуют нормы, *знают*, что их действия нормам не соответствуют. Нарушение показывает разыдентификацию с интернализованными (узнанными) нормами.

[3] О пользе хабитуализации, «предшествующей любой институционализации», см.: Бергер П., Лукман Т. Социальное конструирование реальности. – М.: Медиум, 1995. – С. 89 и сл.

акторов. Поскольку границы социально конструируются, и в этом конструировании участвуют относительно автономные индивиды, границы всегда подвижны. В одной ситуации группы и институты могут трактоваться как принадлежащие *своей* территории – в этом случае можно говорить об их легитимности, о признании, принятии, с большим или меньшим удовольствием, их регулирующего влияния. В другой ситуации те же группы и институты могут восприниматься как положенные *вне своей* территории – тогда их попытки оказывать регулирующее влияние воспринимаются, как минимум, с недоумением, непониманием, рождающим ощущение неуюта, неловкости.

Тезис 9 – об эффектах несвободы: препятствия для позитивной, деятельной идентификации с территорией (частью социального пространства) приводят

- либо к сжиманию территории свободы (актуального действия) и переопределению собственной идентичности;
- либо к поиску новых, превращенных выходов для активности в прежних границах;
- либо к поиску новых территорий и пересмотру границ между своим и чужим пространствами.

В условиях несвободы для позитивного действия вместе с территорией свободы, подобно шагреневой коже, сжимается и идентичность. Согласно общенациональным опросам 1992–2002 гг., «именно первичные группы (близкий круг общения, включая семью, друзей и товарищей по работе) составляют устойчивый комплекс групповых идентификаций» россиян, «главными ресурсами выживания остаются персональные сети общения: круг

знакомых, вызывающих доверие»[1]. Речь, разумеется, идет не о формально закрепленных политических и экономических свободах. Последние, спору нет, расширились и открыли необходимые для мотивирования экономической активности каналы социальной мобильности.

Уход с территории происходит тогда, когда она полагается завоеванной настолько превосходящими силами «противника», несущего ощущение неуюта и неловкости, что эффективная борьба с ним не представляется возможной. Территорию оставляют, когда она перестает быть или так и не становится своей. Все эти эффекты несвободы отражены в обширной литературе о социальной идентичности, социальной категоризации и отчуждении.

Сборка концепции из тезисов

Теперь соберем из сформулированных тезисов *концепцию позитивной деятельной идентификации*. Содержательно 8 тезисов можно сгруппировать в 5 топиков.

Первый тезис поставим особняком, так как речь в нем идет о *социологической* постановке проблемы человеческой свободы как «загадки человеческого существования»:

> *Несвобода происходит из противоречия между частной постановкой целей и общественным характером их достижения.*

---

[1] Данилова Е.Н., Ядов В.А. Неустойчивая социальная идентичность становится нормой // Социальная идентичность: Способы концептуализации и измерения: Материалы всероссийского семинара / Под ред. О.А. Оберемко и Л.Н. Ожиговой. – Краснодар: КубГУ, 2004. – С. 8, 9.

Это *социологическое определение* несвободы задает общую рамку для дальнейших построений, касающихся идентификации – процесса производства личности и общества, – и уточняет условия человеческой свободы.

Тезисы	Топики
2, 8	*1. Деление пространства на свое и чужое, определение границ*
3–5	*2. Принятие пространства своей группы:* картины мира, ограничений конкуренции и правил
6	*3. Признание (принятие) индивидуального членства другими*
7	*4. Значимость автономности индивида в производстве социальности*
9	*5. Эффекты несвободы*

Тезисы 2 и 8 конкретизируют условия человеческой свободы: деление социального мира на свое и чужое пространства – пространства уюта и неловкости. Дорефлексивная способность различать свое и чужое – фундамент для дальнейшего самоопределения посредством самоидентификации и идентификации со стороны других.

Тезисы 3–5 устанавливают условия, при выполнении которых пространство действительно, деятельно может стать своим для индивида (и группы). Эти условия связаны с социализацией – деятельным принятием на себя обязательств, предполагающим деятельное отождествление себя с «территорией». Без отождествления пространство будет отчужденным от индивида, а индивид – от пространства.

Тезис 6 снова напоминает о двустороннем характере идентификации. Чтобы признание состоялось, в разных контекстах мне приходится, как пишет Бауман, быть и/или иметь и/или делать. Эту формулировку в терминах качеств

индивида можно перевести в термины правил и требований, которым должен удовлетворять индивид. В этом случае тезис 6 можно рассматривать как спецификацию пятого тезиса о *принятии правил*.

Даже если речь идет о несоответствии индивида групповым требованиям на уровне «быть» (пол, возраст, раса и т.п.), можно говорить о принятии своего исключения из узкой группы, как это происходит с любыми меньшинствами. Принятие своего исключения из узкой группы компенсируется включением в более широкую группу, которое (интер)субъективно иногда дорогого стоит. Например, не все русские неграждане Эстонии торопятся выехать и стать полноправными гражданами России; тем самым они *деятельно* соглашаются с, возможно, временным поражением в гражданских правах.

Тезис 7 – своего рода утешительный приз, который индивид получает (правда, не всегда) в обмен на принятие обязательств. Напомним, что речь идет не о моральной значимости, а об онтологическом значении автономности индивида для производства «социальной ткани».

Наконец, тезис 9 указывает, какие последствия возникают для группы (общества), если индивиды не находят возможности реализовать свою готовность деятельно отождествить себя с определенным социальным пространством.

В зависимости от предмета и объекта исследования, одни из предложенных тезисов при анализе данных могут оказываться в фокусе внимания, а другие оставаться за скобками.

Пространственно-деятельная идентификация: Определение

Из сказанного можно вывести: идентификация – это не просто то, что мы знаем о себе, своей группе и своем (вместе с группой) месте в мире. Идентификация – это то, что мы, преодолевая скудость ресурсов и

сопротивление правил, авторитетов и конкурентов, *делаем* в пространстве, которое мы вместе со своей группой *считаем своим*. Собственно именно потому и *делаем*. Делание удостоверяет нашу свободу. Сказанное является лишь перифразой приводившейся выше цитаты о границах между научными дисциплинами: «то, что мы на самом деле знаем, – это не мир сам по себе, а то, что мы с ним *делаем*».

Теперь можно сформулировать пространственно-деятельное определение идентификации, опираясь на трактовку Г. Тэджфела, согласно которой социальная идентичность есть знание индивида о своей принадлежности к группе.

> *Идентификация индивида – повседневное, взаимно ориентированное принятие принадлежности к группе, ее границ, правил и иерархий, проявляющееся в деятельной свободе и обусловливающее ее.*

Иными словами, идентификация – это интерактивное отождествление с определенным интерактивно же сформированным представлением о *своем* социальном пространстве, в котором только и можно чувствовать себя свободно в социологическом смысле. Операция отождествления принципиально важна, поскольку знаниями, представлениями о социальных пространствах с их межгрупповыми границами, принятыми правилами, иерархиями и т.п. можно обладать и без отождествления себя с ними. Не со всяким знакомым миром (пространством) я готов отождествляться. *Чужой мир* может быть и *знакомым*, но если деятельно его осваивать я не собираюсь, то тем самым я деятельно, фактически от него отчуждаюсь.

В то же время нежелание деятельно участвовать в некогда своем мире, равно как и в мире, к которому меня приписывают против моей воли, означает

разыдентификацию с ним. Итогом разыдентификации является, например, описанный советский феномен двоемыслия. Универсальную социологическую концептуализацию деятельной разыдентификации актора мы находим в типологии отклоняющегося поведения Р. Мертона.

Область применения концепции

В различных эмпирических контекстах при решении прикладных задач понятийное поле свободы/несвободы может формулироваться как в узких терминах внутренней мотивации, предполагаемой актором пользы и/или ценности того или иного возможного действия, так и в терминах внешних, структурных возможностей. «Территория свободы» трактуется при этом не в политическом и еще менее в философском смысле, а увязывается с текущей оценкой акторами привлекательности определенных видов активности.

В частности, понятийное поле свободы/несвободы релевантно при анализе ситуаций, характеризующихся дефицитом участия и проблематичной действенностью простых стимулов, кажущихся в силу своей простоты универсальными. Последнее обстоятельство может возникать по разным причинам – от слабой управляемости институциональной среды до нерутинности желаемой активности. В то же время факт наличия или отсутствия деятельной позитивной идентификации можно интерпретировать в терминах социального контроля со стороны соответствующих групп, общностей, институтов.

В теоретическом контексте понятие свободы предохраняет от неадекватного применения детерминистских и эссенциалистских моделей к динамичным общественным процессам. Если обратиться к историческому контексту социального бихевиоризма, то свою теорию Дж. Г. Мид развивал в полемике с наиболее влиятельными в то время психологическими теориями

бихевиоризма и фрейдизма, придавая «большое значение духовной активности как детерминанте поведения»[1]. Кроме того, как указывалось выше, для интеракционистского теоретизирования тезис о свободе индивида является не моральной максимой, а утверждением об онтологии социальности.

Тот же посыл характерен и для концепции диспозиционной регуляции социального поведения личности В.А. Ядова: «Не будет преувеличением, если мы скажем, что существо проблемы социальных отношений и личности в современном обществе – это вопрос о том, как именно социальные отношения воздействуют на личность и, с другой, как она преобразует свою социальную среду. В одном отношении личность выступает в качестве продукта социальных и культурных условий, но в другом она же является создателем своих собственных условий существования, то есть социальным субъектом»[2].

Всякая модель имеет свой «радиус действия». Если исходить из иерархии мотивирующих факторов «принуждение – социальные нормы – индивидуальные интересы» (не только в узко экономическом смысле)[3], то в ситуации принуждения для идентичности как детерминанты действия остается мало места.

Мотивирующий фактор	Идентичность как опосредующая детерминанта действия
индивидуальные интересы	личностная идентичность
социальные нормы	групповая идентичность

[1] Абельс Х. Интеракция, идентификация, презентация: Введение в интерпретативную социологию. – СПб.: Алетейа, 1999. – С. 13.
[2] Ядов В.А. Личность как объект и субъект социальных отношений // Социология и современность. – М.: Наука, 1977. – Т. 1. – С. 381.
[3] Радаев В.В. Экономическая социология. – М.: ГУ-ВШЭ, 2005. – С. 95–100.

Принуждение	идентичность отсутствует

В действиях, мотивированных социальными нормами, актуализируется групповое измерение идентичности, а в ситуациях, где преобладает индивидуальный выбор, – личностное измерение.

Сформулированное определение идентификации совместимо с самым широким спектром социальных теорий (функционалистской и конфликтологической парадигмами, неоинституционализмом, исследованиями культуры), в рамки которых, начиная с 1960-х гг., активно инкорпорировалась интеракционистская диалектика производства социальности и социальных акторов. Наряду с исследованиями идентификации Г. Файн выделил пять направлений эмпирических исследований, в которых вклад интеракционизма стал наиболее заметным: теорию социальной координации, социологию эмоций, социальный конструктивизм, макроинтеракционизм и прикладную социологию социальных реформ (социальной политики)[1]. Парадигма взаимодействия более адекватна для исследования изменяющихся обществ (сегментов общества), при изучении же стабильного социума часто можно пренебречь «гуманистическим коэффициентом» и использовать структурные модели.

В исследованиях социальной идентификации методом массового опроса за отправную точку берутся когнитивный (чаще) и эмоциональный (реже) компоненты идентичности (как установочного образования), по которым категориям респондентов при интерпретации вменяются гипотетические поведенческие и оценочные стратегии.

Возможность использовать надежные данные (материалы развернутых интервью и наблюдений) о субъективно значимом социальном поведении

[1] Fine G.A. The sad demise, mysterious disappearance, and glorious triumph of symbolic interactionism // Annual sociological rev. – Palo Alto (CA), 1993. – Vol. 19. – P. 61.

(например, о поведении предпринимателей-благотворителей в малом городе[1] или крестьян, взявших кредиты в рамках Приоритетного национального проекта «Развитие АПК»[2] позволяет идти в противоположном направлении: реконструировать когнитивный компонент из описания социального поведения и тем самым с большей надежностью и систематичностью реконструировать перспективу актуального действия социальных групп (категорий) относительно интересующих социальных объектов. В частности объяснять ситуации, аналогичные известному парадоксу Р. Лапьера, когда когнитивные компоненты социальных установок, фиксируемые в высказываниях людей, входят в видимое противоречие с их поведением[3].

---

[1] Оберемко О.А. Локальная идентичность благотворителя как представление о «территории свободы» // Социальная реальность. – М., 2007. – № 3. – С. 106–116.

[2] Оберемко О.А. Зоны актуальной ответственности: Типология ЛПХ, участвующих в ПНП «Развитие АПК» // Человек. Сообщество. Управление. – Краснодар, 2007. – № 2. – С. 40–57.

[3] LaPiere R.T. Attitudes versus actions // Social forces. – Chapel Hill (NC), 1934. – Vol. 13, N 2. – P. 230–237.

Е.В. Якимова

ЗАВТРАШНИЙ ДЕНЬ СИМВОЛИЧЕСКОГО ИНТЕРАКЦИОНИЗМА

Статьи, представленные в настоящем реферативном обзоре, объединяет тема ближайших перспектив развития символического интеракционизма (СИ) в направлении, адекватном его исторической и интеллектуальной традиции. Инициатором обсуждения этой темы выступил Д.Э. Вэйл (университет Уилламет, Орегон, США) (4), предложивший в 2006 г. включить в состав ежегодных сессий Общества по изучению символического взаимодействия (SSSI) особую секцию под названием «Исследование интеракций». Это организационное нововведение, по замыслу Вэйла, должно было стать трибуной для тех социальных аналитиков из разных стран, которые «хорошо знают историю СИ, отдают себе отчет в его эвристических и методологических преимуществах», но лишены возможности высказаться в рамках официальных заседаний SSSI вследствие «типичной для академических кругов дисциплинарной и политической разобщенности» (4, с. 3). Четыре статьи (1–3, 5), опубликованные в сборнике «Studies in symbolic interaction» в 2008 г., явились первым итогом неформального обмена мнениями в рамках новой секции SSSI, поставившей перед своими участниками «туманную и в некотором роде устрашающую задачу: высказаться по поводу общего направления, которому должен следовать в своем развитии современный СИ» (там же). Несмотря на то, что результаты этих дискуссий вряд ли могут считаться исчерпывающими на фоне многочисленных течений и ответвлений современных исследований в русле СИ, замечает Вэйл, выступавших объединило четко обозначенное намерение наследовать традициям СИ, в первую очередь – трактовке собственной парадигмы как подлежащей непрерывному развитию наравне с прочими объектами социальной реальности.

Главной помехой адекватному развитию СИ в наши дни Филип Ванини (университет Роял Роудс, Канада) (5) считает дисциплинарную амнезию. Автор имеет в виду «забвение междисциплинарных принципов и глобальной (интернациональной) релевантности интеракционизма как аналитической перспективы, а также пренебрежение потенциалом СИ, который мог бы способствовать его росту в международном и междисциплинарном аспектах» (5, с. 6). Амнезия подобного рода характерна для современного (международного) социального знания в целом, и для американской социологии, узурпировавшей права на СИ, в особенности. Другими словами, проблема забвения исторических корней применительно к традиции СИ имеет двоякое содержание: во-первых, это необоснованные претензии американской социологии на эксклюзивное владение СИ, причем как исключительно социологической концепцией и практикой; во-вторых, «нераскрученность СИ как бренда» в рамках международного сообщества социальных ученых самой разной теоретической и концептуальной ориентации.

Ванини присоединяется к предложенной Д. Мэйнсом классификации современных социальных исследователей, так или иначе причастных духу СИ[1]. Это промоутеры, или активные адепты, в основном группирующиеся вокруг SSSI и журнала «Symbolic interaction»; пользователи, склонные к эклектическому применению отдельных принципов СИ, но не признающие данную традицию в целом; бессознательные интеракционисты, которые, напротив, используют эту исследовательскую перспективу во всей ее полноте, но не подозревают об этом. Себя автор относит к категории промоутеров, с той разницей, что, не являясь ни социологом, ни американцем, он считает себя вправе открыто заявить о своем неприятии характерных для SSSI «сугубо

[1] См.: Maines D. The failure of consciousness: A view of interactionism in sociology. – N.Y.: Aldine, 2001.

американских» рассуждений о прошлом, настоящем и будущем СИ, сфокусированных на его исключительной принадлежности к традиции американской же магистральной социологии. С чисто дисциплинарных позиций подобные рассуждения упускают из виду самую суть СИ, а именно его междисциплинарную природу, базирующуюся на интерсубъективной культурной коммуникации, – природу, которая позволила этой аналитической перспективе найти применение в целом ряде социальных наук. Геополитический же аспект самоидентификации СИ состоит в том, что его нынешнее содержание «есть глобальный результат целого спектра интеллектуальных усилий, включая эволюционное учение, американский прагматизм, немецкий идеализм и формализм Зиммеля, европейскую континентальную феноменологию и экзистенциализм, польскую социальную экологию, функциональную психологию и даже греческую философию» (5, с. 5–6).

Иллюстрируя «географию дисциплинарной амнезии» современного СИ, автор приводит выдержки из личной переписки и бесед с 11 учеными из разных стран. Анализ высказанных мнений позволяет констатировать, что современные интерпретации СИ в большинстве своем продиктованы социально-политической и культурной спецификой национальных контекстов их формирования. Так, в Австралии, где во главу угла социальных исследований принято ставить конечный результат, СИ носит сугубо прикладной характер, а соображения «верности традиции» совершенно не принимаются в расчет. В Новой Зеландии преобладают бессознательные интеракционисты; в Италии, где официальный СИ не в моде, его принципы применяются «по умолчанию». Несмотря на географическую близость Канады к США как оплоту интеракционизма, постулаты СИ здесь мирно уживаются с прочими вариантами качественных социальных исследований, в особенности в работах

феминистской ориентации. Британский интеракционизм никогда не был оформлен в качестве научной школы; на гребне «культурного поворота» в современном обществознании в работах британских аналитиков элементы Чикагской школы соседствуют с этнометодологией, социальной драматургией Гоффмана, отечественной социальной антропологией и новейшими исследованиями в жанре cultural studies. Поэтому британцы предпочитают называться просто «интеракционистами», тем самым отделяя себя от северо-американской (чисто социологической) традиции. В Германии теории и методы СИ ассоциируются с национальной интерпретативной традицией (понимающая социология, Дильтей, Зиммель, Шютц); в Польше, где авторитет Ф. Знанецкого, казалось бы, должен поддерживать высокий престиж СИ, применение последнего эпизодично. Во Франции интерес к СИ наметился в 90-е годы прошлого века, однако и тут прикладной аспект возобладал над теоретическим, причем на первый план выступают именно те методы СИ, которые близки национальной практике этнографических и полевых исследований. Популярность СИ в Израиле обусловлена, прежде всего, тесными связями его ученых с коллегами из университетов США.

В целом, резюмирует свои наблюдения Ванини, современный СИ «за пределами Чикагской стены» отстаивает право «быть увиденным», он стремится к признанию в качестве самостоятельного способа социального познания, отличного от прочих методов качественных социальных исследований. В США до сих пор не замечают эту тенденцию, равно как и «высокий уровень транснациональной взаимозависимости» исследований в духе СИ во всем мире (5, с. 11). Между тем, именно об этом говорили многие корреспонденты автора, подчеркивая, что плюрализм мнений вполне отвечает традиции СИ как «в высшей мере гетерогенной аналитической перспективы» (там же). К сожалению, практика взаимовыгодного международного

сотрудничества в рамках СИ сегодня является скорее исключением, чем правилом. Предпосылками для разрешения сложившейся ситуации Ванини считает следующие шаги. Во-первых, это отказ национальных партий СИ от претензий на теоретическую чистоту и следование традиции в пользу открытого признания плюрализма СИ (в теории и на практике). Этот шаг, по мнению автора, отвечает самому духу СИ, для которого, согласно К. Пламмеру, «эмпирический мир существует как бесконечный процесс обсуждения и интерпретации в ходе совместных действий непрекращающегося потока вновь и вновь возникающих значений»[1]. Если не существует чистой эмпирической реальности, поддерживает его Ванини, то вряд ли возможна и одна-единственная призма для ее анализа. Таким образом, первый шаг к самоидентификации СИ сегодня – это отказ от поисков общей платформы в пользу «осознанного аналитического эклектизма». Поэтому непрекращающийся диалог современного СИ с его историческими истоками (которым так увлекаются в SSSI) необходим главным образом для реализации его творческого потенциала в качестве аналитической перспективы социального знания, которую Ванини предлагает обозначить как «изучение символического взаимодействия». Второй шаг в этом направлении – это «раскрутка СИ как международного бренда» в прямом (коммерческом) смысле этого выражения. СИ должен получить признание в качестве одного из способов качественного социального анализа, обладающего своим лицом. С этой целью Ванини намечает развернутую программу организационных мероприятий (в том числе в рамках SSSI), нацеленных на популяризацию СИ в академических и культурных кругах во всем мире.

---

[1] Plummer K. Herbert Blumer and the life history tradition // Symbolic interaction. – Oxford, 1990. – Vol. 13, N 2. – P. 125–144.

В отличие от Филиппа Ванини, Роберт Прус (университет Ватерлоо, Канада) связывает будущее СИ с развитием исключительно социологической традиции, конкретнее – «интеракционизма Чикагской школы <…> в его формулировке Г. Блумером» (2, с. 19). Прус уверен, что эта ветвь СИ наиболее последовательна в своем стремлении к аутентичному осмыслению и интерпретации жизненного опыта социальных групп в терминах самого этого опыта и потому именно ей принадлежит право создания «плюралистической и гуманистической социальной науки будущего, которая выдержит проверку временем» (там же). В интеракционизме Чикагской школы (ЧИ) автор выделяет три концептуально-методологические составляющие, обусловившие его преимущество по сравнению с позитивизмом, структурализмом, а также методологией качественных исследований в рамках прочих несциентистских парадигм социального знания. Это: 1) *прагматизм*, выражающийся в преимущественном внимании к а) действиям (активности) в социальных контекстах, включая лингвистические средства познания, создания и интерпретации смыслов, и б) процессуальной природе социальных сообществ; 2) *этнографический метод* изучения повседневного опыта социальных групп по мере проживания этого опыта; 3) продуцирование *понятий,* которые не только служат репрезентацией жизненного мира конкретных сообществ, но обладают также свойством «трансконтекстуальности».

Обращаясь к истории СИ, Прус акцентирует заслуги Г. Блумера в развитии идей Чикагской школы. Блумер «соединил философский прагматизм Мида с этнографическим пафосом Парка и Кули», выступал последовательным критиком позитивизма в социологии и психологии, обосновал первостепенную важность для социального анализа всей полноты данных о повседневной жизни социальных групп в самых разных ее проявлениях и обстоятельствах. Он доказал необходимость научного (неспекулятивного) подхода к изучению,

интерпретации и концептуализации ключевых элементов повседневной жизни – подхода, предполагающего самое близкое знакомство со всеми нюансами коллективного опыта и глубокое уважение к объекту исследования. Блумер сформулировал положение о том, что смыслосозидающая деятельность социальной группы – это не внешний по отношению к ней продукт социальных структур, независимых переменных или психологических диспозиций, а «постоянно возобновляющийся, интерпретативно опосредованный и формосозидающий процесс, правомочный сам по себе» (2, с. 22). Тем самым объект СИ был обозначен как отличный от мира природы, изучаемого естествознанием, во-первых, и как несводимый к игре абстрактных социальных факторов либо внутренних субъективных тенденций, во-вторых. ЧИ, резюмирует свои выводы Прус, «побуждает аналитиков к изучению и осмыслению всех сфер значимой активности членов социальных сообществ», включающей «все способы объединения и взаимообмена, все сферы социальной организации, все контексты и обстоятельства, все случаи изменения или сохранения стабильности» (2, с. 23).

Фокус ЧИ – это способы включения людей в самые разные сферы социальных действий и знания в качестве субъектов смыслосозидания и обмена этими смыслами. «Вместо редуцирования общественной жизни к материальным условиям или к идеальным устремлениям, СИ обращает самое пристальное внимание на тот факт, что реальность существует, принимает ту или иную форму и подлежит осмыслению в рамках непрерывно возникающих характеристик групповой жизни» (2, с. 24).

Являясь убежденным сторонником ЧИ, Прус уверен, что фундаментом плюралистической и гуманистической социальной науки будущего могут стать только базовые принципы блумеровской версии интеракционизма: аутентичность, агентность, концептуальность. Под аутентичностью

социального исследования здесь подразумевается релевантность методов сбора эмпирических данных и их интерпретации тому социальному контексту, который эти данные призваны охарактеризовать. В соответствии с установками Блумера, аутентичность социального анализа достигается благодаря самому близкому знакомству исследователя со своим предметом, а также посредством репрезентации «того, что есть» (а не того, что может или должно быть) в данном социальном контексте, причем в терминах самого этого контекста. Аутентичность исследования и его результатов предполагает настойчивое овладение методологическим искусством «уважительной этнографии», а также плюралистическую позицию аналитика в отношении всех точек зрения и обстоятельств, имеющих место в рамках изучаемого сообщества. Кроме того, необходим навык генерирования процессуально-ориентированных понятий в ходе сравнительного анализа этих позиций и действий, при воздержании от личных симпатий и моральных суждений.

Перспектива создания аутентичной социальной науки становится более реальной, замечает Прус, если аналитик признает первостепенную роль «человеческой способности к действию» (агентность), то есть такого простого и очевидного факта, что «люди сознательно и целенаправленно включаются в поток текущих событий» (2, с. 28). Пристальное внимание к социальному действию и взаимодействию служит надежной преградой бездоказательным спекуляциям в духе структурализма и функционализма, полагает автор. Действие должно осмысляться как то, что «находится в процессе своего осуществления» и для чего характерны возникновение, рефлексия и адаптация. С точки зрения ЧИ, агентность – это не проявление свободной воли или субъективной креативности, она есть отражение способности человека к осознанным целеполагающим действиям, которая приобретается посредством его языковых связей с другими членами сообщества; «агентность вводится в

действие благодаря интерсубъективности и служит отражением групповой концептуализации того, что имеет место» (2, с. 28). Другими словами, поясняет свою мысль Прус, это социально генерируемый процесс: как смыслосозидающая деятельность, агентность в союзе с поведенческими ее проявлениями включает в себя самые разные объекты (других, вещи, чувство Я, цели, правила, процедуры, моральные нормы), и потому «оценка агентности имеет фундаментальное значение для изучения общественной жизни» (там же).

Изучение агентности в рамках аутентичной теории и методологии предполагает еще одно качество социального исследования – концептуальность, то есть выработку и оперирование понятиями, которые были бы адекватны процессуальной природе социальной реальности и коллективного опыта. Этому требованию отвечают «трансситуационные – трансконтекстуальные и трансисторические – понятия», которые «выходят за рамки тех или иных конкретных случаев [жизненного опыта группы], а также способствуют глубокому и тщательному осмыслению схожих случаев в разных контекстах» (2, с. 31). Такого рода концептуальность не только облегчает задачу теоретического сравнения элементов и типов жизненного опыта социальных сообществ, но и позволяет «схватить» его процессуальную природу. Прус предлагает обозначить такие понятие термином «общие (родовые) социальные процессы» (generic social processes – GSP) и приводит их подробную систематизацию (в частности, понятия, описывающие приобщение к жизненному миру социального сообщества, вовлечение в социальные действия, эмоциональные переживания, моральные оценки, формирование ассоциаций с другими, лингвистические обмены). Применение GSP, пишет в заключение своей статьи Р. Прус, позволит не только сопоставлять этнографические данные в рамках СИ, но и начать диалог с социальными исследователями,

применяющими иные методологические варианты качественного социального анализа.

Кэти Чармаз (университет Сонома в Калифорнии, США) также считает интеракционизм Блумера отправной точкой социальной (точнее, социологической) науки XXI века (1). Однако она предпочитает рассматривать теоретическое наследие Блумера «в тандеме» с укоренной теорией (УТ) А. Стросса и Б. Глейзера, характеризуя этот синтез (СИ/УТ) как то самое нерасторжимое единство теории и метода, на котором в свое время настаивал Блумер. Вслед за Д. Мэйнсом, Чармаз считает традицию СИ ядром социологии как научной дисциплины, при том, что последняя до сих пор не вполне усвоила эту истину. Это «ядро», тем не менее, нуждается в своего рода реанимации и даже «в существенном обновлении с учетом эпистемологических сдвигов, имевших место в обществознании на протяжении последних 40 лет» (1, с. 56). Автор имеет в виду постмодернистское развенчание идеала объективного научного знания и универсальных выводов. С ее точки зрения, поворот в сторону релятивизма не был неожиданностью для адептов СИ, которые, следуя Блумеру, видели в своей исследовательской традиции «методологическую практику», единство теории и метода, где «теоретизирование квалифицируется как активный процесс, продуцируемый посредством взаимодействия его участников» (1, с. 57). «Еще в 60-е годы прошлого века, – замечает Чармаз, – многие из нас, практикуя объективистскую науку, были готовы подписаться под релятивистской эпистемологией» (1, с. 56). Эта готовность была обусловлена теоретическими предпосылками к «релятивистскому повороту», которые, как считает Чармаз, содержались в идеях Г. Блумера. Эти идеи позволяли трактовать знание как «обусловленное местом, временем и обстоятельствами» своего возникновения, теоретические выводы – как «укорененные в исторических, экономических и культурных условиях их формирования» в

контексте жизненного мира и потому «скорее вариативные, чем универсальные», а сам процесс теоретизирования – как символическое взаимодействие его субъектов и объектов.

Как и Р. Прус, Чармаз обращает самое пристальнее внимание на методологические требования, сформулированные Блумером (близкое знакомство с объектом изучения в ходе включенного наблюдения, уважение его жизненного мира, оперирование преимущественно «сенсибилизирующими» понятиями, которые скорее «указывают, куда надо смотреть», чем объясняют или описывают объект). Соблюдение этих требований облегчает задачу вхождения СИ/УТ в мир современного эпистемологического релятивизма, подчеркивает автор статьи, поскольку предполагает предельную конкретизацию анализа, плюрализм позиций, открытость новому и нетривиальному в теории и практике.

Вместе с тем Чармаз не считает адекватным методом социального исследования «новейшую моду на нарративный анализ». Такой анализ оставляет вне поля зрения то, что *не было* сказано, что подверглось сокрытию или умолчанию. Однако, знание того, что *не было* сделано или артикулировано, предоставляет социальному аналитику не меньше данных для размышления, чем то, что стало содержанием нарратива. Применительно к проблеме неизбежного привнесения исследователем собственных теоретических предпочтений и наработанных стереотипов в жизненный мир изучаемой им социальной общности, Чармаз разделяет позицию «теоретического агностицизма», сформулированную К. Хенвуд и Н. Пидженом в рамках УТ[1]. С этой точки зрения, исследователь не может начать свое знакомство с

[1] См.: Henwood K.L., Pidgeon N.F. Grounded theory in psychological research // Qualitative research in psychology: Expanding perspectives in methodology and design / Ed. by P.M. Camic, J.E. Rhodes, L. Yardley. – Wash.: APA, 2003. – P. 131–155.

социальным сообществом «с чистого листа». Но он может и должен признать одинаково полезными/бесполезными все имеющиеся в его распоряжении теоретические принципы и гипотезы. В терминах теоретического агностицизма, подчеркивает Чармаз, блумеровская идея «сенсибилизирующих понятий» приобретает новое звучание: «концепции, с которыми мы приступаем к исследованию, могут положить начало другим теоретическим направлениям, которые окажутся более подходящими и убедительными; кроме того, мы можем реализовать самый широкий спектр сенсибилизирующих понятий, подвергнув их самой тщательной проверке» (1, с. 56).

Кэрол Рэмбо и Тиффани Гриер (университет Мемфиса, США) представляют экологически-инвайронменталистскую версию СИ, авторами которой являются Э. Уэйгерт и С. Готтчак[1] (3). В отличие от прочих участников инициированной Д. Вэйлом дискуссии о судьбах СИ, которые придерживались сугубо академического стиля изложения, Рэмбо и Гриер избрали несколько неожиданный способ презентации проблемы. Они обращаются к стилистике культового фильма «Матрица» и заявляют, что нынешние адепты СИ, подобно героям этой ленты, не отдают себе отчета в том, что «Матрица владеет ими» (3, с. 45). Они «выбрали голубую таблетку» и обрекли себя на жизнь в мире иллюзий, оставаясь «рабами Матрицы» и не подозревая о своем рабстве. В данном случае всесильной Матрицей оказывается социальная реальность XXI века, обезображенная приближающимся экологическим коллапсом. Приводя данные Института Земли, мнения ученых с мировым именем, опубликованные в СМИ, Интернете и специализированных изданиях, и иллюстрируя все это ссылками на видеоряд из документального фильма «The end of suburbia»

[1] См.: Weigert A.J. Self, interaction, and natural environment: Refocusing our eyesight. – Albany: State univ. of New York press, 1997; Gottschalk S. The greening identity: Three environmental paths // Studies in symbolic interaction. - Oxford, 2001. – Vol. 24. – P. 245–271.

(«Конец одного пригорода») канадца Б. Цвикера, Рэмбо и Гриер рисуют устрашающую картину «конца света». Это падение нефте- и газодобычи, истощение природных ресурсов, эрозия почвы, повышение уровня мирового океана, гибель планктона, падение урожая зерновых, глобальное потепление, рост народонаселения, загрязнение окружающей среды, исчезновение редких видов животных и растений. Подобные необратимые изменения окружающей среды влекут за собой хаос в среде социальной – сверхпотребление, войны за доступ к природным ресурсам, дезорганизацию социальных институтов, систем здравоохранения, социального обеспечения, образования и т.д.

Тотальный распад планетарного масштаба обрисован в статье как увиденный глазами двух дам, погружающихся в киберпространство Матрицы, – блондинки в костюме черной кошки (судя по фотографии, профессора социологии университета Мемфиса Кэрол Рэмбо) и брюнетки в черных же кожаных доспехах (видимо, Тиффани Гриер). Созерцая ужасную картину, дамы задаются вопросом: «Возможна ли социальная деконструкция хаоса, в каковом на самом деле пребывает человечество?» (3, с. 40). Другими словами, подвластна ли Матрица социальному анализу и развенчанию силами СИ?

Для ответа на этот вопрос авторы предприняли контент-анализ публикаций в «Sociological abstracts» (1990–2005)[1], с тем чтобы выявить степень корреляции СИ с понятиями, характеризующими ключевые аспекты грядущего экологического коллапса. Хотя этот анализ выборочен и заведомо неполон, пишут Рэмбо и Гриер, полученные данные вполне можно считать предварительным наброском картины «СИ и проблемы окружающей среды». Результаты за 15 лет оказались обескураживающими: 10 корреляций СИ с темой «терроризм», 5 – с «природной средой», 4 с «консьюмеризмом», 1 с «природными катастрофами», 1 с «загрязнением окружающей среды», 1 с

[1] Mode of access: http://www.csa.com/

«природопользованием», и «ни одной − с истощением природных ресурсов, уменьшением водных и пищевых запасов, распространением пестицидов, токсинов, ядерных отходов, загрязнением воздуха и падением нефтедобычи» (3, с. 42).

Эмпирическая картина тематических интересов современного СИ оказалась в странном противоречии с темой, избранной Н. Дензином в его обращении к собранию SSSI в Монреале в 2006 г. Дензин уподобил СИ «штормовому убежищу», или «зонту», способному спасти современников от потока социально-политических и экологических вопросов. В этой связи авторы вспоминают положение Г. Блумера о том, что социальные группы постоянно сталкиваются с неожиданными ситуациями, для которых не годятся прежние правила и существующие формы. Сказанное означает, полагают Рэмбо и Гриер, что «социальное взаимодействие в состоянии выработать уникальные методы и понятия, специально предназначенные для того, чтобы вызволить общественное сознание из цепких объятий Матрицы» (3, с. 43). Следовательно, решение этой задачи не может быть отдано на откуп естествознанию, решающее слово – за социальными аналитиками и рядовыми участниками социального взаимодействия.

Освобождение от оков Матрицы, подчеркивают авторы статьи, возможно только на путях развития экологического самосознания людей XXI века, формирования их «экологической идентичности», преодоления пропасти между человеческим и природным, порожденной культурой. Человечество должно освободиться от «дихотомии сознания», покончив со своим отчуждением от естественной среды обитания. Теоретической предпосылкой к этому Рэмбо и Гриер считают понятия «природный (инвайронментальный) другой» (Э. Уэйгерт) и «обобщенный природный (инвайронментальный) другой» (С. Готтчак), которые являются развитием идей Дж. Г. Мида применительно к

новым социальным условиям. Эти понятия смогут изменить «словарь современного человека», его понимание своих отношений с окружающей средой, акцентируют те аспекты его поведения, о которых «он не задумывался прежде, но которые на самом деле являются вредоносными, жестокими, расточительными и попросту самоубийственными» (3, с. 44). Согласно Уэйгерту, символическая интеракция должна быть дополнена «трансверсальным» (перекрещивающимся, пересекающимся) взаимодействием, которое положит конец антропоцентричному Я модерна. Его место займет экоцентричное Мы, «воссоединяющее атомизированного человека с его сообществом и с его естественным окружением» (там же). Перспектива экоцентричного Мы, ориентированная на естественную среду обитания, будет способствовать «деконструкции нездорового, потребительского мировоззрения» и «активизирует диалог между социальными группами, которые сегодня ощущают себя загнанными в тупик» (3, с. 44).

Таким образом, заключают Рэмбо и Гриер, главная задача СИ будущего – его «озеленение», то есть преодоление мировоззренческого антропо- и социоцентризма, культивирование уважения к окружающей среде. Для реализации этого глобального проекта социальным аналитикам надо сделать первый шаг – «выбрать красную таблетку» и «увидеть, насколько глубока кроличья нора».

1. Charmaz K. A future for symbolic interactionism // Studies in symbolic interaction. – Oxford, 2008. – Vol. 32. – P. 51–59.

2. Prus R. Authenticity, activity, and conceptuality: Generating a pluralist, humanist, and enduring social science // Ibid. – P. 19–36.

3. Rambo C., Grier T. The future of symbolic interaction, peaking, and collapsing the matrix // Ibid. – P. 37–49.

4. Vail D.A. On the future of symbolic interactionism // Ibid. – P. 3–4.

5. Vannini P. The geography of disciplinary amnesia: Eleven scholars reflect on the international state of symbolic interactionism // Ibid. – P. 5–18.

В.Г. Николаев

ЗНАЧЕНИЕ НАСЛЕДИЯ АНСЕЛЬМА СТРОССА И «УКОРЕНЕННАЯ ТЕОРИЯ» СЕГОДНЯ

Американский социолог Ансельм Стросс, (1916–1996) – символический интеракционист, яркий представитель «второй Чикагской школы», один из основоположников (наряду с Б. Глезером и Дж. Корбин) так называемой «укорененной теории» (*grounded theory*). Формирование его социологических воззрений происходило в 1940-е годы в Чикагском университете. Он учился у Э. Бёрджесса, Г. Блумера и Э.Ч. Хьюза и принадлежит к тому же поколению чикагских социологов, что и Г.С. Беккер и Э. Гоффман. Он преподавал в колледже Лоренса, Индианском, Чикагском, Калифорнийском университетах (Сан-Франциско), читал лекции в Кембридже, Манчестере, Франкфурте, Констанце, Париже (по приглашению П. Бурдье). Наиболее известны его труды в областях символического интеракционизма, социальной психологии, методологии качественных исследований, социологии работы, медицинской социологии и социологии города (1, с. 162).

С 2005 г. Обществом для изучения символического взаимодействия организуются коллоквиумы памяти А. Стросса. В последнем томе «Studies in symbolic interaction» опубликованы материалы второго коллоквиума, состоявшегося в 2007 г. в Калифорнийском университете в Сан-Франциско. В них обсуждается текущее состояние укорененной теории и значимость наследия Стросса для ее дальнейшего развития. Как и многие другие течения в социологии, укорененная теория за 40 лет диверсифицировалась и ныне существует во множестве вариантов; разные линии ее развития обсуждаются в реферируемых материалах. Половина статей сфокусирована на обсуждении общих проблем и принципов укорененной теории, половина – на частных вопросах применения этой «методологии» в медицинской социологии.

Статья Кэти Чармаз (университет Сонома, Калифорния, США), разрабатывающей «конструктивистскую» версию укорененной теории, посвящена значимости наследия Стросса для этой ее версии (5). Автор противопоставляет ее «позитивистской» версии Б. Глезера, превратившейся в «анализ переменных». В отличие от Глезера, Стросс был наследником чикагской прагматистской традиции с ее акцентом на действии, взаимодействии, процессуальности, конструировании социальных структур и связи исследовательских усилий с изучаемой реальностью: его социология «укоренена в прагматизме, подпитывается эмпиризмом и развивается через взаимодействие. Действие всегда происходит в контексте. Социальная жизнь состоит из процессов. Стабильные социальные структуры создаются повседневными действиями, переговорами, интерпретациями; они не просто существуют. Действия ведут к реконструированию значения; в свою очередь, значение и символ придают действию форму. Прагматизм пропитывал само существование Ансельма» (5, с. 127). Сначала автор рассматривает значимость книги Глезера и Стросса «Открытие укорененной теории» (1967)[1], затем суть конструктивистской укорененной теории и ее импликации.

По мнению Чармаз, книга «Открытие укорененной теории» вызвала «качественную революцию» в социологии, оказавшись более успешной по сравнению с другими программами качественных исследований (А. Сикурел, Г. Гарфинкель и др.). В социологических исследованиях в момент появления этой книги почти безраздельно преобладала квантификация, преподносимая как единственно «научный» метод, и основной проблемой методологии был сбор данных; чикагская этнографическая традиция к этому времени утратила свою былую значимость. Глезер и Стросс оживили интерес к качественному

[1] Glaser B.G., Strauss A.L. The discovery of grounded theory: Strategies for qualitative research. – Chicago: Aldine, 1967.

исследованию, предложив методологию построения «укорененных теорий» и обосновав ее в опоре на символический интеракционизм Чикагской школы. Этнографические исследования с использованием индуктивной процедуры, сравнения, проверки гипотез и концептуального анализа были и раньше, но Стросс и Глезер сформулировали принципы их проведения и критерии для оценки их обоснованности. В методологическом плане акцент был перенесен со сбора данных на их анализ и построение теории; теоретизирование было истолковано «как возникающее из систематического анализа качественных данных о мире, а не как вотчина кабинетных элит» (5, с. 130).

В ранних формах стратегия построения укорененной теории обладала некоторой двойственностью. С одной стороны, ставилась позитивистская по духу задача развития из эмпирически укорененных содержательных теорий формальной теории; позитивистские интенции реализовал в наибольшей степени Глезер. С другой стороны, чикагские корни Стросса тесно связывают укорененную теорию с прагматизмом, символическим интеракционизмом и социальным конструкционизмом. Именно эта связь, считает Чармаз, делает эту методологию жизнеспособной и плодотворной, а наследие Стросса (в том числе ранние и поздние теоретические работы) – значимым для поддержания ее «революционного характера» (5, с. 132). Однако прагматистские посылки (о действии, процессуальном характере социальной жизни, множественности перспектив и т.д.) предполагают «фундаментальные эпистемологические и онтологические отличия» опирающейся на них конструктивистской версии укорененной теории от позитивистской ее версии. Любопытство, открытость, теоретическая сложность, опора на сравнение, присущие подходу Стросса, – необходимые компоненты конструктивистской укорененной теории (КУТ).

Суть КУТ Чармаз определяет следующим образом: она «начинается с индуктивного исследования, принимает сравнительную логику, провоцирует

абдуктивное рассуждение и подчеркивает *взаимодействие* на протяжении всего процесса исследования», «отвязывает метод от позитивистских корней, переносит его в интерпретативное исследование и сохраняет и усиливает его прагматистское наследие» (5, с. 132–133). Основные принципы укорененной теории, сформулированные в трудах основоположников, Чармаз сохраняет. Она не видит причин отказываться от них «только потому, что они впервые появились под знаменами позитивизма» (5, с. 135). КУТ, как и другие варианты укорененной теории, нацелена на вычленение «паттернов в данных». Вместе с тем подчеркивается, что «методологические стратегии [КУТ] состоят из эвристических средств, а не строгих правил»; на передний план выдвигаются «релятивистская эпистемология и акцент на рефлексивности», призванные сделать метод более гибким и инновативным и тем самым расширить рамки познания эмпирического мира (5, с. 133). Отсюда выводится своеобразие КУТ.

Исходя из относительности мира, взглядов на него, действий в нем и теорий о нем, КУТ видит реальности как «множественные и многослойные» и нацелена на «интерпретативное понимание и ситуированное знание». Она ищет скорее вариации и различия, чем общие черты. Изучаемый феномен и исследование рассматриваются в «историческом, культурном, социальном, ситуационном и интеракционном размещении» (5, с. 133). Видя эти контексты как «более крупные социальные структуры», Чармаз отвергает радикальный конструкционизм, сводящий реальность к индивидуальным и субъективным реальностям. Отличие КУТ в сборе данных состоит в поиске «насыщенных данных» (в классической укорененной теории сбор данных ограничивался «исходной» и «теоретической» выборками); исследователь стремится «*войти* в изучаемый феномен и увидеть его изнутри» (5, с. 133). Если в классической укорененной теории центральным вопросом был вопрос «почему», то в КУТ приоритет отдается вопросам «что» и «как»; предполагается, что ответ на эти

вопросы принесет и ответ на вопрос «почему»; предполагается также, что эта переориентация обезопасит исследование от привнесения в него «обыденных понятий», которым грешат позитивистские версии укорененной теории. Еще один момент, отмечаемый Чармаз, – это наивность содержавшейся в ранних версиях укорененной теории веры в то, что исследователи могут избавиться от влияния уже имеющихся теорий и ранее прочитанной литературы. Здесь предлагаются установка «теоретического агностицизма» (5, с. 136) и проверка любых предшествующих теорий, чужих и своих, в процессе исследования.

Прагматистски ориентированную КУТ Чармаз характеризует так: она исходит из активности актора и исследователя в построении теории, видит реальность как релятивистскую и открытую, исходит из множественности реальностей, взглядов и точек зрения, исследует действие и значение как формирующие друг друга, принимает в расчет конструирование категорий исследователем, связывает факты и ценности, видит истину как условную, исходит из конструирования данных через взаимодействие исследуемых и исследователей, ищет общие паттерны и вариации, уделяет внимание языку, считает представление данных проблематичным, релятивистским, частичным и ситуационным, исходит из того, что ценности, приоритеты, позиции и действия наблюдателя воздействуют на его взгляды (5, с. 136). Среди наиболее важных импликаций КУТ для дальнейшего развития укорененных теорий и качественных исследований выделяются ориентация на «интерпретативное исследование и теоретизирование», необходимость осознания «связей между методами, процессом и содержанием исследования», нацеленность на поиск «множественных реальностей, текучести социальной жизни, выстраивания действия и значимости языка и значений». КУТ – «эмерджентный» метод, а не предписательный; каждый исследователь должен творчески искать свои пути внедрения прагматистских принципов и логики в исследование (5, с. 137).

В статье «Пол/гендер и раса/этничность в наследии Ансельма Стросса» (7) Адель Кларк (Калифорнийский университет, Сан-Франциско, США) рассматривает представленность этой тематики в наследии Стросса и возможности его совмещения с феминистским теоретизированием. Основная идея статьи следующая: «В работах и практиках Ансельма Стросса не было ни явного анализа гендера, ни эксплицитно феминистских подходов. Он был во многом мужчиной и социологом своего научного поколения и всю жизнь верил в возможность и ценность формальной социологической теории, не зависящей от идентичности или культуры. Но при всем при том его угол зрения на социальную жизнь был во многих отношениях достаточно широк, чтобы оставить место <…> для феминистских прочтений его работы. Некоторые понятия, им предложенные, определенно здравы и достаточно гибки, чтобы быть перенесенными в феминистские перспективы» (7, с. 171). Если у самого Стросса указанные проблемы «были неявно конститутивными элементами некоторых ситуаций, которые он изучал, методов и аналитических стратегий, которые он развивал, и теорий, которые он генерировал», то у его учеников появились «эксплицитно феминистские и/или антирасистские» разработки его идей, перекликающиеся с феминистским фукианством (7, с. 162).

Кларк рассматривает три области деятельности Стросса, значимые с точки зрения проблематики гендера и этничности: 1) укорененную теорию, 2) социологию работы, включая медицинскую социологию, 3) командный подход к исследовательским проектам и стиль преподавания. Хотя интерес к развитию формальной теории не позволял Строссу развить более глубокий гендерный анализ – в силу свойственного эпохе подозрительного отношения к любым видам ангажированности (гендерной, расовой, классовой и т.д.) в социальной науке, – его работа в этих трех областях обнаруживает высокую чувствительность к вопросам гендера, этничности и т.п.

Как и Чармаз, Кларк оценивает книгу «Открытие укорененной теории» как «радикальную интервенцию во все более сциентистскую дисциплину» (7, с. 163), призванную «легитимировать качественное исследование перед лицом гегемонии количественного подхода в американских социальных науках» (7, с. 164). Классической укорененной теории в силу исторического контекста был свойствен «дефицит рефлексивности, недостаточное признание активного и чреватого участия самих исследователей в исследовании, в том числе связей между формулировкой проблемы и сбором данных» (7, с. 164). Освобождение от этого контекста позволяет увидеть укорененную теорию как «*имплицитно* феминистскую». Обосновывая этот тезис, Кларк приводит следующие черты укорененной теории: 1) укорененность в символическом интеракционизме и прагматизме, подчеркивающих действительные переживания и практики, 2) использование мидовского понятия перспективы, требующего понимания изучаемых явлений с частных, ситуативных и множественных точек зрения изучаемых людей, 3) «материалистический социальный конструкционизм»[1], 4) «вынесение на передний план деконструктивного анализа и легитимации множественных прочтений», 5) внимание к вариациям и различиям (7, с. 165).

Наибольшее теоретическое приближение к гендерному анализу Кларк обнаруживает у Стросса в понятиях «связующая работа» (articulation work), «пациентская работа» и «сентиментальная работа». Все они указывают на «незаметную работу» (термин С.Л. Стар), обычно выполняемую женщинами, цветными, иными ущемленными меньшинствами; сюда относится, например,

---

[1] Эта онтологическая позиция, отмечает Кларк, фундаментальна для укорененной теории. Социальный конструкционизм вовсе не интересуется «только эфемерным, субъективным и символическим»; он принимает во внимание и материальный мир как конструируемый людьми. «Важность вещей», «социальность вещей» отмечал еще Мид. О ней же пишет Дж. Ло: «Мы рутинно мыслим о материальном мире – человеческом, нечеловеческом и гибридном, – внутри него, через него и как воплощенные его части» (7, с. 172).

такая «традиционно женская» работа, как уборка, приготовление пищи и т.п. Эти понятия делают социологический анализ восприимчивым к тем сторонам социальной жизни, которые традиционная социология, воплощающая точку зрения господствующего мужчины, не замечала. Кларк связывает введение этих понятий с исследованиями Стросса в области медицинской социологии, вовлекшими его в тесный контакт с медсестрами и их работой (7, с. 166–168). Также Кларк считает значимой для гендерного анализа развитую Строссом реляционную теорию «социальных миров» и «арен» (7, с. 168–169).

Гендерная чувствительность социологии Стросса связывается также с практиковавшимися им формами коллективной работы («бригадный подход» в исследовании, «рабочие аналитические группы» как стиль преподавания). Исследовательские и учебные группы Стросса были в основном женскими, и это способствовало инкорпорации гендерного измерения в его социологию и социологию его учеников/учениц (7, с. 169–171).

В статье «Наследие видения и практики социологии Ансельма Стросса в сегодняшней Германии» (4) Фриц Шютце (Магдебургский университет, ФРГ) рассматривает влияние Стросса на социологию в Германии и других странах Европы. Прежде всего, он определяет характер этого влияния. В отличие от таких ученых, как Парсонс и Бурдье, Стросс не оставил «кодифицированной теоретической системы». Его наследие иного рода: скорее это особый способ видения социального мира, обеспечиваемый хорошо продуманным набором сенсибилизирующих понятий. В этом отношении Стросс похож на Блумера, но его понятия даже более плодотворны, чем понятия его учителя. На взгляд автора, благодаря этим свойствам наследие Стросса сегодня жизнеспособнее, чем «доктринальные кодексы» вроде парсонсовского, плохо поддающиеся практическому применению в исследовательской деятельности (4, с. 106).

В Германии наиболее известны и лучше всего представлены в научной и учебной литературе такие части наследия Стросса, как укорененная теория, социальная психология социализации, исследования медицинской профессии и болезни, но малоизвестны исследования по социологии работы, социологии организации, формальная социологическая теория, концепция переговорного порядка. В некоторых областях исследований (изучение социальной работы, медицины, болезни) применяются такие понятия его социологии работы, как «цикл работы», «разные виды работы», «связующая работа», «траектория», «контексты осознания» и т.д. Социальная психология Стросса («Зеркала и маски», 1959[1]) сильно повлияла на «немецкий тип биографического анализа» и исследования идентичности в микросоциологии, медицинской социологии и социолингвистике. Хотя в Германии Стросс сильно уступает в известности Э. Гоффману, его наследие, по мнению автора, содержит «два очень важных потенциала <…> для развития будущей немецкой и отчасти даже европейской социальной науки» (4, с. 108).

Первый потенциал автор усматривает в теоретизировании Стросса и в его базовом понятийном аппарате для анализа «неупорядоченных» аспектов социальной реальности. Конкретизируя идею эмерджентности Мида, Стросс развивал «социально-научную теорию творческого возникновения новых идей и развитий в интенциональных процессах действия, интерактивных переговорах и цикле работы, а также в биографических процессах» (4, с. 109). Здесь Шютце считает наиболее продуктивными понятия *метаморфозы* (или «превращения») и *траектории* (в том числе «биографической работы»). Если у Стросса понятие траектории появилось как инструмент изучения страданий больного, то немецкие ученые обобщили его и сделали средством изучения иных случаев

[1] Strauss A.L. Mirrors and masks: The search for identity. – Glencoe (IL): Free press, 1959.

страдания (безработица, делинквентная карьера, войны и иные травматические исторические события, утрата символического универсума, террор, тяжелые ситуации в школе, культурная маргинальность, трудности в личных отношениях, трудности в общении на чужом языке и т.д.). Понятие траектории представляется автору идеально подходящим для таких случаев «хаотичного или контингентного развертывания» биографических событий.

Шютце выделяет три «строительных блока» теоретизирования Стросса, оказавшихся особенно значимыми для европейской социологии. Это теория социальных миров и работы, теория связи между телом и биографией, теория связи между индивидуальными и коллективными идентичностями. Работая с этими компонентами наследия Стросса, европейские социологи соединяют их с феноменологией, этнометодологией и анализом разговора (4, с. 112–118).

Второй важный потенциал теоретического наследия Стросса связан с методологией качественного исследования и укорененной теорией. Шютце отмечает, что укорененная теория изначально задумывалась как методология *креативного* исследования, в противовес «бюрократической количественной исследовательской рутине» (4, с. 121). Он отмечает, что способ анализа данных в этой методологии сродни герменевтическим процедурам. Особенно важная роль в процессах исследования отводится автором постоянным сравнениям и введенному Строссом «стилю коммуникативного сотрудничества», который предполагает создание «кооперативной и рефлексивной группы общающихся и сотрудничающих партнеров, совместно участвующих в попытке заново пережить, проверить и проработать интересные и трудные опытные данные, релевантные их работе» (4, с. 120). Исследование в стиле укорененной теории мыслится как по сути своей *интерактивное*. Важной задачей ближайшего будущего автор считает углубленную проработку «базовых эпистемических механизмов УТ» в духе новейших социальных исследований науки (4, с. 123).

Три статьи в рассматриваемой подборке посвящены методологическим проблемам, проявляющимся в качественных исследованиях болезни и ухода за больными. Работа Стросса изначально была тесным образом связана с этой тематической областью. Он работал в Школе медсестер (School of nursing) Калифорнийского университета в Сан-Франциско и создал там докторскую программу по социологии (до сих пор единственную в мире, локализованную в такого рода учреждении). С 60-х годов и до сих пор методология укорененной теории наиболее интенсивно используется в этой области исследований.

Карен Шумейкер (университет штата Небраска, США) в статье «Постоянные сравнения и постоянные головоломки: Двадцать лет укорененного теоретизирования о семейном уходе за больными» (3) описывает свой 20-летний опыт изучения домашнего ухода за раковыми больными и рассматривает особые проблемы, встающие перед исследователем в середине карьеры при вовлечении в долгосрочную исследовательскую программу. Она провела 3 исследования. Изначально ее интересовала роль членов семьи в уходе за больным, то, «как индивиды принимают роль ухаживающих, когда больной раком член семьи начинает курс химиотерапии» (3, с. 89). В ходе изучения этого вопроса в поле зрения попала забота больного о себе, и она перешла к рассмотрению того, как забота больного о себе и уход за ним в семье развиваются параллельно и в связи друг с другом. Интерес к сбоям в координации действий больного и членов семьи определил задачу второго исследования: выявление процессов, используемых ухаживающими в ситуациях, когда уход протекает нормально, в том числе процесса развития навыков ухода. Постепенное движение от наблюдений и данных интервью к «множественным уровням концептуальной абстракции» привело к тому, что в третьем исследовании понятие ухода за больным было размещено в теоретической модели, укорененной в данных: была разработана

«транзакционная модель навыков домашнего ухода», и эти навыки были описаны в терминах «развертывающихся транзакций между ухаживающим и раковым больным, который, будучи “получателем заботы”, является и активным агентом в заботе о нем или о ней» (3, с. 92). Позитивный итог автор видит в том, что «применение методов укорененной теории в этой серии исследований оказалось весьма плодотворным… Последовательные исследования позволили развить и проработать теорию до такой степени, в какой это невозможно было бы сделать в единичном исследовании» (3, с. 93).

Но, пишет автор, «программа, в которой проводятся последовательные исследования по методу укорененной теории вокруг одного феномена, контрастирует с программами, в которых одно исследование по методу укорененной теории закладывает основу для следующего качественного исследования в линейной прогрессии или в которых методы укорененной теории используются в последовательных исследованиях для изучения разных феноменов» (3, с. 89). Такая программа создает ряд методологических «дилемм», или «головоломок». Автор уделяет внимание двум из них.

Первая проблема – это «замыливание глаза». Суть ее такова: «Как может исследователь развивать укорененную теорию в последовательных исследованиях, не становясь настолько аналитически втянутым в результаты прежних исследований, что замечаемое в новых данных сужается?» (3, с. 93). Укорененной теории изначально свойствен запрет на использование заранее существующих понятий и теорий, а перенос понятий из одного исследования в другое аналогичен приложению воспринятой извне теории к данным настоящего исследования. Как отмечает автор, «развертывающаяся работа по развитию укорененной теории может влиять на мышление исследователя почти так же сильно, как и воспринятая теория» (3, с. 94). Классическая точка зрения Стросса и Глезера признавала опасность искажающего влияния уже

существующих теорий и прочитанной литературы на интерпретацию данных; и еще труднее обстоит дело, когда уже существующая теория – собственная теория исследователя. Укорененная теория должна развиваться из данных и модифицироваться под давлением новых данных, и хотя Стросс и Глезер допускали возможность извлечения пользы из «теории, основанной на прежних исследованиях», эта возможность всегда сопряжена с риском закостенения мышления и утраты им чувствительности к новым данным. Шумейкер переносила из одного исследования в другое разработанные ею категории, за что была подвергнута критике. Отвечая на эту критику, она опирается на «новейшую литературу, наполняющую классическую укорененную теорию постмодерной и конструктивистской восприимчивостями» (прежде всего на работы Чармаз и Кларк), а также на «классические прагматистские идеи об абдуктивном рассуждении» (3, с. 93). С ее точки зрения, многократное сопоставление теории исследователя с данными во множественных исследованиях является вполне законной практикой и существенно для обеспечения динамичности теории. Одновременный сбор и анализ данных, то есть челночное хождение от данных к понятиям и обратно, толкуется как абдуктивное рассуждение. Автор пишет, что «абдуктивное рассуждение – это такая форма логики, в которой аналитик диалектически движется между наблюдением и концептуализацией и, делая это, создает правильные условия для “озаряющих” вспышек понимания, из которых рождаются новые идеи»; и, с ее точки зрения, эта логика применима не только в отдельных исследованиях, но и в исследовательских программах (3, с. 95). Новейшие идеи конструктивистов дают «платформу для расширения правила классической укорененной теории, согласно которому сбор и анализ данных осуществляются одновременно, до понимания того, как укорененная теория может разрабатываться через программу, охватывающую серию последовательных

исследований» (3, с. 95). Риск окостенения мышления этим не снимается. Одним из решений этой проблемы Шумейкер считает создание «исследовательских команд аналитиков», в которые входили бы носители разных свежих идей; однако это решение не абсолютно (3, с. 96).

Вторая проблема – искажающее влияние «взгляда медсестры». Суть ее такова: «Насколько сильно клиническая перспектива исследователя может вторгаться в анализ, не нарушая принципов укорененной теории?» (3, с. 96). В исследованиях автора исследовательницы-медсестры замечали в изучаемых ситуациях проблемы, не замечаемые и не проговариваемые исследуемыми, и было решено включить в интервью вопросы, вытекающие из перспективы медсестры. Этот ход явно противоречил правилу, запрещающему навязывать данным чуждые им перспективы. Однако новейшие трактовки укорененной теории (Кларк), активизирующие прагматистский принцип множественности перспектив, его допускают. Таким образом, в исследованиях Шумейкер были приняты во внимание «перспектива ухаживающего, перспектива пациента, наша перспектива как медсестер и перспективы, предполагаемые нашей развивающейся теорией» (3, с. 98). Между тем, с точки зрения автора, проблема того, «насколько активно можно “законно” инкорпорировать перспективу медсестры или перспективу исследователя в качественное исследование, особенно в стиле укорененной теории», остается нерешенной (3, с. 99).

Вторая проблема, затронутая Шумейкер, рассматривается в несколько ином контексте в статье Маргарет Керни (Рочестерский университет, Нью-Йорк, США) «Непостоянные сравнения: Медсестра и социолог изучают депрессию» (6). В первой части статьи автор сравнивает американский и британский опыт сотрудничества между социологией и уходом за больными (nursing). В США уже с 1930-х годов между этими двумя областями знания и практики установилось теснейшее сотрудничество. Социология с этого времени

считалась необходимой частью профессиональной подготовки медсестер; издавались учебники социологии для медсестер, предлагавшие «рудиментарные, хотя иногда и высокомерные, введения в структуру и динамику социальной жизни, которым медсестре рекомендовалось уделять внимание, чтобы лучше заботиться о своих пациентах» (6, с. 144). Важным местом этого плодотворного контакта стал Калифорнийский университет в Сан-Франциско, где «студенты-медсестры изучают методы социологического исследования, а социологи, проявляющие интерес к здравоохранению и работе врачей, учатся вместе с медсестрами в среде медицинского центра» (6, с. 143). По контрасту, в Британии дебаты о том, нужно ли медсестрам преподавать социологию, продолжаются до сих пор, и сильны позиции тех, кто считает это бесполезным или даже вредным делом. Керни ставит вопросы: «Совместимы ли исследовательские цели этих двух дисциплин? <…> Не смотрят ли социологи и медсестры, разделяющие такую точку зрения, как символический интеракционизм, на одну и ту же проблему здоровья по-разному?» (6, с. 143–144). И шире: нужна ли медсестрам социология, и нужен ли уход за больными социологам? Керни считает, что социология и уход за больными нужны друг другу: «На протяжении 40 лет после публикации “Открытия укорененной теории” (1967) медсестры были ценными сотрудниками социологов в развитии укорененной теории» (6, с. 158).

В подтверждение своей позиции автор предлагает краткий обзор и сравнение научных работ двух авторов: социолога Дэвида Карпа и медсестры Риты Шрайбер. Их работы (у первого – с 1992 по 2006 г., у второй – с 1996 по 2002 г.) посвящены теме депрессии и работы с ней. Сравнивая содержание и выводы этих двух независимых друг от друга серий исследований, автор приходит к выводу, что, несмотря на многочисленные различия в отправных точках, интересах, фокусировках внимания, научных канонах и стандартах

представления результатов, целях, подходах, «сходства в открытиях, которые принесли их методы, поразительны» (6, с. 156). Керни отмечает: «Хотя они исходили из совершенно разных посылок, по-разному подходили к своим данным и сообщали о них и никогда <…> не ссылались друг на друга, в своих изображениях депрессии в Северной Америке Карп и Шрайбер пришли во многом к одному и тому же. Оба обнаружили сложные двойные зажимы в пониманиях общества и реакциях на душевную болезнь, которые создавали и продлевали страдания людей» (там же). Рекомендации тоже были схожими.

Сьюзен Кулс (Калифорнийский университет, Сан-Франциско, США) в статье «От наследия к постмодерному укорененному теоретизированию: Сорок лет укорененной теории» (2) кратко описывает свои исследования подростков, воспитывающихся в чужих семьях. Укорененная теория в силу исторических обстоятельств своего становления хорошо приспособлена к исследованию страданий, причем не только связанных с болезнью, и Кулс сосредоточила внимание на болезненных переживаниях приемных детей и «педагогической трансформации» их Я, или идентичности, негативно сказывающейся на их развитии, функциональных способностях, самовосприятии и самооценке. Эти исследования служили основаниями для практических рекомендаций. Далее автор подвергает свои ранние исследования критике в свете «постмодерного поворота» в укорененной теории (Чармаз и Кларк), сосредоточивая внимание, прежде всего, на роли исследователя в исследовательском процессе. Новое (на взгляд Кулс) видение этой роли состоит в том, что «реальности и знания социально конструируются, а смыслы совместно создаются исследователем и участниками» (2, с. 81). Оно резко расходится с позицией Глезера, ратующего за чистоту метода и считающего возможной нейтральность и объективность исследователя; оно предполагает эволюцию теории, метода и исследователя, требует от исследователя рефлексивности и понимания своей причастности к

любым данным и открытиям. Возобладавшее ныне толкование укорененной теории (Кларк), подталкивающее ее к «эмерджентным, конструктивистским, интерпретативным подходам и пониманиям», сближает ее с «феминистской, постмодерной и критической теоретическими перспективами» (2, с. 82). Новые исследовательские стратегии фокусируются на различиях и уникальностях, ситуационном анализе, привлечении новых источников данных (визуальных материалов, исторических дискурсов, «нечеловеческих элементов»). Считая свои ранние исследования во многом «наивными», Кулс в настоящее время пытается применить это новое видение укорененной теории в исследовании ВИЧ, его распространения и профилактики в Малави.

1. Clarke A.E. Celebrating Anselm Strauss and forty years of grounded theory // Studies in symbolic interaction. – Oxford, 2008. – Vol. 32. – P. 63–71.

2. Kools S. From heritage to postmodern grounded theorizing: Forty years of grounded theory // Ibid. – P. 73–86.

3. Schumacher K. Constant comparisons and constant conundrums: Twenty years of grounded theorizing about family caregiving // Ibid. – P. 87–102.

4. Schütze F. The legacy in Germany today of Anselm Strauss' vision and practice of sociology // Ibid. – P. 103–126.

5. Charmaz K. The legacy of Anselm Strauss in constructivist grounded theory // Ibid. – P. 127–141.

6. Kearney M.H. Inconstant comparisons: A nurse and a sociologist study depression using grounded theory // Ibid. – P. 143–159.

7. Clarke A.E. Sex/gender and race/ethnicity in the legacy of Anselm Strauss // Ibid. – P. 161–176.

Социологическая классика

БЛУМЕР Г. СОЦИОЛОГИЧЕСКАЯ ТЕОРИЯ В ПРОМЫШЛЕННЫХ ОТНОШЕНИЯХ.*

BLUMER H. Sociological theory in industrial relations // American sociological rev. – N.Y., 1947. – Vol. 12, N 3. – P. 271–278.

Эта статья ограничивается рассмотрением видов теоретизирования и исследования в области промышленных отношений, практикуемых сегодня социологами, и вынесением суждения о причинах неадекватности такого теоретизирования и таких исследований.

Поскольку это теоретизирование и эти исследования расцвели под рубрикой «промышленная социология», я думаю, уместно вначале сказать несколько слов об этом недавно возникшем социологическом интересе. Для социолога должно быть очевидно, что в нынешнем интересе к промышленной социологии и энтузиазме по ее поводу присутствует в немалой мере элемент модного увлечения, аналогичный схожим всплескам возбуждения, не раз возникавшим у социологов по поводу новых областей в новейшей истории американской социологии. Термин «промышленная социология» звучит соблазнительно. Учитывая, что эта область находит опору в щедром порыве коллективно порожденного энтузиазма, не приходится удивляться тому, что она манит к себе многих из нашего круга и многих притягивает мнимым обещанием больших и легких вознаграждений. Сегодняшнее модное увлечение промышленной социологией скорее всего неизбежно и, так как все мы люди, заслуживает не более чем комментария. Но что внушает некоторое опасение, по крайней мере мне, так это обманчивое представление, будто выражение «промышленная социология» каким-то образом автоматически гарантирует, что

---

* Статья была представлена в качестве доклада на ежегодном собрании Американского социологического общества в Чикаго, шт. Иллинойс, 27–30 декабря 1946 г.

социологи, идущие в эту область, оснащены адекватным фондом направляющих принципов и подходящим арсеналом исследовательских инструментов. Насколько я могу судить, работа исследователей в области промышленной социологии представляет собой пока всего лишь применение конвенционального запаса идей и методов к новой сфере интереса. На мой взгляд, эта попытка применения страдает двойным дефектом. Во-первых, исследователи, осуществляющие это применение, ужасно наивны в отношении природы промышленных отношений. Я говорю «наивны», поскольку считаю всех нас наивными в этой области. Во-вторых, запас конвенциональных идей и способов исследования, которым мы пользуемся в нашей дисциплине, непригоден для изучения промышленных отношений в нашем нынешнем обществе. Такие идеи и способы по сути своей банальны, нереалистичны и ни на что не вдохновляют. Это сильные обвинения. Оценить их обоснованность можно будет исходя из содержания дальнейшего обсуждения.

Оценка нынешней теории и исследований в области промышленных отношений требует в качестве своего фона краткого рассмотрения природы промышленных отношений в нашем сегодняшнем американском обществе. Главными участниками этих отношений являются рабочие и менеджмент[1]. Весь спектр многообразных отношений между рабочими и менеджментом мы в этой статье обсудить не сможем. Хочу лишь отметить тот очевидный момент, что эти

---

[1] Отношения внутри менеджмента, между менеджерами и собственниками, между менеджерами разных промышленных предприятий и между собственниками разных промышленных предприятий, разумеется, очень важны и заслуживают большего, чем те мизерные исследования, которые посвящаются им сегодня. Несомненно важны, соответственно, и бесчисленные отношения между рабочими, от контактов на цеховом уровне до неуловимых косвенных отношений, порождаемых гигантскими национальными профсоюзами. Эти отношения тоже почти не изучались. Самое важное в сфере современной промышленности составляют, тем не менее, отношения между рабочими и менеджментом.

отношения в американской промышленности не являются по своей природе простым контактом между рабочим, продающим свой труд, и работодателем, этот труд покупающим. Это голая фундаментальная связь разрослась в нашем обществе в обширную, диверсифицированную, сложную и опосредованную сеть отношений, в которой индивидуальный рабочий становится незначительной и незаметной фигурой. С образованием профсоюзов, особенно отраслевых, рабочие влились в организации, обычно гигантские по размерам. Отношения рабочих с менеджментом все более управляются, направляются, опосредуются и выражаются такими организациями и через них. Сама такая организация функционирует через иерархию должностных лиц и центральные комитеты, которые вырабатывают программы действий, ставят цели, принимают решения по поводу стратегии и тактики и исполняют эти решения. Со стороны менеджмента мы находим схожую организацию, выхватывающую из рук индивидуального менеджера определение основных очертаний его связи с рабочим. Отношения между рабочими и менеджментом становятся, прежде всего, отношениями между организованными группами. Образование гигантских общенациональных профсоюзов особенно сильно определило новое измерение и новый характер этих отношений.

Самой примечательной чертой отношений между рабочими и менеджментом в американской промышленности является, на мой взгляд, то, что они динамические, некристаллизованные и изменчивые. Их можно рассматривать как находящиеся в постоянном напряжении, хотя степень этого напряжения значительно меняется во времени. Само это напряжение – неизбежное следствие множества факторов, побуждающих рабочих и менеджмент оказывать давление друг на друга то тут, то там, и все новыми и новыми способами. Каждая из сторон вынуждена отвечать на такое давление: сопротивляться ему, если сможет, так или иначе приспосабливаться, если

придется. В итоге эти отношения либо подвижны, либо находятся в неустойчивой аккомодации и готовы прийти в движение.

То, что это так, становится ясно, если проанализировать основные и дополнительные условия, придающие импульс отношениям между рабочими и менеджерами. По существу, рабочие и менеджмент в нашей экономике с необходимостью пребывают в конфликте друг с другом. Я говорю это не в том смысле, в каком об этом говорил Маркс. Я просто указываю на тот факт, что рабочие, особенно в организованных группах, стремятся достичь для себя каких-то выгод и удержать достигнутое, в то время как менеджмент ищет управленческой свободы и возможностей повышения прибыли. Наша экономика организована так, что эти интересы двух сторон обычно входят в противостояние. Когда любая из сторон движется в направлении того, чего она ищет, она посягает на интерес другой стороны. Таким образом, движение вперед является по природе своей давлением и, будучи таковым, встречает сопротивление. Всякий раз, когда начинаются такие продвижения, паттерн отношений меняется. Это голословное утверждение лишь указывает на тот фундаментальный факт, что промышленные отношения между рабочими и менеджментом в условиях нашей экономики внутренне нестабильны и по сути своей предрасположены к переупорядочению.

Чтобы привести такие отношения в движение, достаточно инициации рабочими или менеджментом поисковых усилий. Условий, инициирующих такие поисковые усилия, в нашем обществе сколько угодно, и, скорее всего, они сохранятся и в будущем. Отмечу лишь некоторые самые очевидные. Это: конкуренция в бизнесе, с неизбежными попытками достичь эффективного, высокорентабельного производства и управленческой свободы; попытки менеджмента обратить в свою пользу рост производительности, достигаемый путем технических усовершенствований; изменения и смены управленческого

персонала с разными философиями; развитие новых желаний и представлений о правах у рабочих; давление со стороны рядового состава, особенно в крупных демократических профсоюзах; образование общенациональных профсоюзов, ведущее к унификации требований к разным промышленным концернам; давление на профсоюзных лидеров с целью добиться б*о*льших выгод; борьба за высокое общественное положение со стороны профсоюзных лидеров или тех, кто стремится ими стать; развитие у профсоюзов воинственной, агрессивной психологии; соперничество между профсоюзами за престиж и членский состав и попытки ослабить враждебные профсоюзы; изменения в соотношениях цены–зарплаты и движение делового цикла; перемены в политической власти, дающие организованным рабочим или менеджменту возможность активно продвигать свой партикулярный интерес; сдвиги в общественном мнении, подталкивающие к тому же самому; появление новых законов или их новых судебных толкований, открывающих новые перспективы допустимого. Такие условия – а приведенный список далеко не полон – втягивают рабочих и менеджмент в новые отношения, в которых каждая сторона пытается преследовать и отстаивать свои интересы. В ответ на эти силы промышленные отношения в нашем обществе становятся напряженными, изменчивыми и все время подвижными.

Мобильность промышленных отношений приобрела новое измерение и новый характер с организацией рабочих в крупные общенациональные профсоюзы. Центр связи переместился из контакта между рабочими и локальным менеджментом в контакт между большой профсоюзной организацией и организацией менеджмента. Хотя бывают исключения, обычным следствием организации рабочих на общенациональной основе было централизованное руководство активностью труда в масштабе целой отрасли. Коллективный торг ведется в интересах либо отрасли в целом, либо больших ее

сегментов, представленных крупными корпорациями. Таким образом, трудовые отношения все больше становятся вопросом связи между гигантскими организациями рабочих и менеджмента, каждая из которых функционирует через центральную программу действий (policy) и группы, претворяющие ее в жизнь. Отношения между рабочими и менеджментом на локальных предприятиях отрасли все более теряют отдельный и автономный характер и все больше определяются в своих основных чертах программами действий, целями, планами и стратегией центральных организаций. Если прибегнуть к аналогии, то рабочие и менеджмент оказываются выстроенными на манер огромных противостоящих армий, обладающих многочисленными аванпостами и точками контакта друг с другом, но общая их связь при этом подчиняется принципам, установленным центральными организациями.

Эти две характеристики промышленных отношений – их мобильность и управляемость организациями – могут показаться тривиальными и вряд ли заслуживающими внимания. Если это так, то тем лучше для презентации моего тезиса. Сама тривиальность этих наблюдений поможет нам установить неадекватность социологических теорий и исследований в области промышленных отношений, особенно тех, которые шествуют под знаменем «промышленной социологии». Теперь я могу обратиться к этому вопросу.

Как мне представляется, теорию и исследования социологов в области промышленных отношений удобно разделить на пять классов.

Первый корпус теории и исследований базируется на положении, что промышленные отношения являются по своей природе организованными практиками и обычными (customary) рутинами. Следовательно, такие отношения подлежат изучению как культурные данные – как если бы они были выражениями совокупности установленных правил или определений. На мой взгляд, этот тип теории и исследований упускает из виду центральное место

промышленных отношений в нашем обществе. Как предполагалось в моих предшествующих замечаниях, промышленные отношения в нашем обществе являются по самой своей сути напряженными, подвижными и нестабильными – а не устоявшимися, урегулированными и застывшими. Их характер вытекает не столько из факта того, что было, сколько из того, что, по мнению рабочих и менеджмента, должно быть. Всякий, кто хоть сколько-нибудь реалистически мыслит наши промышленные отношения, должен признать, что желания, надежды и намерения рабочих и менеджмента выходят далеко за пределы того, что эти стороны реально получают от своих отношений. Эти желания, надежды и намерения маячат на заднем плане как постоянные принуждающие силы, оказывающие давление на эти отношения, ищущие возможности реализоваться и, стало быть, прорывающиеся или готовые прорваться наружу. Лично я считаю нереалистичными и бесплодными попытки изучать или интерпретировать наши промышленные отношения так, как если бы они были выражением некоторой совокупности культурных норм, определений или правил. На мой взгляд, если эту мысль слегка заострить, неестественно пытаться изучать промышленные отношения в нашем обществе так, как можно было бы изучать средневековую гильдию или примитивное племя. Я давно считаю, что конвенциональная концепция культуры, безраздельно господствующая сегодня над умами социологов, антропологов и других социальных ученых, является нереалистичной и развращающей как схема для изучения того, что характеризует современную социальную жизнь. Я убежден, что это касается и нынешних промышленных отношений. Такие отношения возникают из энергичных усилий активных групп, ищущих новых выгод, преимуществ и защит и постоянно готовых ухватить и использовать возникающие возможности. Желания, намерения и расчеты, скрывающиеся за такими

усилиями, а также за отношениями между рабочими и менеджментом, которые из них возникают, – трудноуловимые вещи, и в культурную сеть они не ловятся.

Эти замечания во многом применимы и ко второму корпусу социологической теории и исследований, в основе которого лежит посылка, что промышленные отношения – это, прежде всего, структура стратификационных, или статусных, связей. Эта посылка не кажется мне хорошо продуманной. Мы допускаем, что схема иерархии статусных связей может быть плодотворно применена к различным видам социальной организации. Можно ее применить и к организации персонала на промышленном предприятии, хотя я сомневаюсь, что такое применение принесет сколько-нибудь важное знание. Можно было бы, пусть это не так легко и не более плодотворно, применить ее к членскому составу профсоюза. Но я не вижу смысла в этой схеме, когда она применяется к отношениям между рабочими и менеджментом. Несомненно, в цеховых, фабричных и иных заводских ситуациях рабочие и местный менеджмент связаны статусными отношениями. Но я не в состоянии понять, как такие локальные статусные отношения обусловливают, контролируют или объясняют те мобильные промышленные отношения, о которых говорилось выше. Обиды (resentments), которые могут проистекать из ощущения низшего статуса у отдельных рабочих, и борьба за статус со стороны профсоюзов важны для их подвижной связи с менеджментом; но если такие индивидуальные обиды и коллективная борьба за статус что и означают, так это крушение структуры статусных отношений или попытку создать новую структуру таких отношений. Новые деятельности не упорядочиваются той структурой, против которой они восстают. Трудовые отношения, как уже ранее отмечалось, принимают форму состязаний и временных аккомодаций в этих состязаниях. Это неспокойная область, не структурируемая и не управляемая структурой. Применение концепции структуры статусных связей к отношениям между рабочими и

менеджментом в современной промышленности кажется мне вымученным и бесплодным.

Третий корпус социологической теории рассматривает современные промышленные отношения как продукты долговременных тенденций, или «сверхорганических» факторов. В этом кругу теоретиков и исследователей имеются значительные различия в том, что именно принимается в качестве значимой тенденции или тенденций. Такого рода тенденцией может быть классовая борьба, изменение в социальной стратификации, вызванное развитием науки или технологии, изменение во внутренней структуре индустриальной экономики, обусловленное различными изобретениями, движение делового цикла или просто любой вид статистической тенденции. Какая бы тенденция ни привлекалась для объяснения, она логически становится своего рода сверхорганической детерминантой промышленных отношений. Этот тип подхода представляется мне совершенно неспособным объяснить мобильный паттерн промышленных отношений, истолковать то, что происходит в промышленных отношениях, и объяснить результаты, или исход, таких отношений. Согласимся, что деятельности между рабочими и менеджментом развертываются не в вакууме, а в историческом контексте и в поле всепроникающих социальных и экономических факторов. Эти контекст и поле, несомненно, дают стимуляцию и задают ограничения, открывают линии развития и ставят пределы развитию. Но то, что эти контекст и поле конституируют общий каркас (framework), не означает, что протекающие в этом каркасе деятельности диктуются или предопределяются самим этим каркасом. В частности, область промышленных отношений отмечена относительно постоянной борьбой противостоящих сторон, требующей от каждой из них приспособления к другой и привносящей в их отношения то состояние напряжения и неопределенности исхода, о котором говорилось выше. То, что

происходит в этой области, выстраивается из бесчисленных и разнородных дискуссий, из оценок запутанных ситуаций, из калькуляций своевременности действий, из угроз и возможностей, создаваемых игрой событий. Конечно, эти скупые замечания далеко не описывают всю сложную и подвижную аранжировку факторов, которая должна приниматься в расчет сторонами. Неудивительно, что их отношения отмечены компромиссами, практической целесообразностью, неопределенными и предварительными исходами. Я не считаю, что понятие тенденций или сверхорганических факторов подходит для анализа того, что происходит в промышленных отношениях; я думаю даже, что такое понятие сущностно непригодно для такого анализа.

Четвертый корпус социологической теории и исследований, занимающий в области промышленных отношений особенно видное место, связан с необоснованным ярлыком «человеческие отношения». Нельзя, да и невозможно всерьез спорить с тем, что промышленные отношения – это человеческие отношения. Но тот, кто предлагает изучать промышленные отношения как человеческие отношения, должен быть верен природе человеческих отношений и вместе с тем уверен в том, что изучает именно промышленные отношения. На мой взгляд, мышлению и исследованиям в текущем изучении «человеческих отношений в промышленности» недостает либо одного, либо обоих этих качеств. Человеческие отношения в нынешних исследованиях обычно отождествляются с культурными отношениями или структурными отношениями и делаются синонимами того или другого. Здесь я просто повторю то, что уже говорил, а именно: рассмотрение динамичных человеческих отношений как предопределенных или контролируемых культурой или структурой является неточным и вводит в заблуждение. Есть также другой недостаток, и он заслуживает большего внимания. Нынешние исследования «человеческих отношений в промышленности», по всей

видимости, исходят из посылки, что промышленные отношения – это, прежде всего, прямые отношения между людьми на местном заводе или фабрике. Это позволяет исследовать ситуацию на данном рабочем месте, сборочной линии, прокатном стане или в какой-то другой производственной единице. Так можно добыть информацию о кликах рабочих, группировках контролеров или о том, как данные рабочие и данные контролеры ладят друг с другом. Открытия, полученные в исследованиях такого рода, с которыми я знаком, имеют мало отношения к промышленным отношениям, как они развиваются в нашем обществе. Мне кажется ясным, что промышленные отношения все больше становятся делом организаций: с одной стороны – профсоюзов, с другой – промышленных корпораций и деловых федераций. То, что происходит на фронтальной линии контакта между рабочим и менеджером низшего звена, конечно же, важно. Но пока эта фронтальная линия контакта не рассматривается в свете отношений между организациями, такое рассмотрение дает лишь обманчивую картину промышленных отношений. На мой взгляд, это главный недостаток текущих исследований человеческих отношений в промышленности.

Наконец, есть еще один корпус социологических усилий в области промышленных отношений. Это количественные исследования установок и мнений и социометрические исследования предпочтений, антипатий и симпатий. К этому корпусу исследований прилагается мало связной теории. Главная идея состоит, видимо, в том, что отношения вытекают из установок и чувств и, следовательно, должны быть поняты через изучение установок и чувств. Идея вполне удовлетворительна. Однако проводимым исследованиям установок, мнений и чувств рабочих и управленческого персонала никак не удается уловить центральное свойство промышленных отношений. Такие исследования обычно состоят не более чем в применении конвенциональных

техник «измерения установок» или построения «социограмм» для любой ситуации, подвернувшейся под руку. По всей видимости, они замышляются и проводятся в полном неведении относительно мобильности и масштабности сегодняшних промышленных отношений. Социограмма клерков в конторе, «шкалирование» установок данной группы рабочих в отношении прогулов или так называемое изучение морального духа наемных работников в данной трудовой ситуации, откровенно говоря, производят на меня впечатление полной удаленности от потока сегодняшних промышленных отношений. Более того, я сомневаюсь, что такие средства будут эффективны, если использовать их для изучения текущих промышленных отношений в их мобильности и масштабности. Даже если допустить, что то, что мы обычно распознаем как установки и чувства, правильно схватывается шкалами установок или социограммами, – а это допущение на самом деле ни на чем не основано, – такие установки и чувства в сфере промышленных отношений подвергаются изменениям, переаранжировкам, ограничениям и вытеснениям в ходе игры событий в динамично движущейся ситуации. Именно эти последние условия главные. Поэтому я предполагаю, что применение популярных у нас сегодня форм изучения шкалированных установок и социометрических исследований не даст аналитического понимания. Такого заранее вынесенного вердикта, однако, даже не требуется, поскольку в настоящее время такие исследования не пытаются работать с мобильным и сложным характером промышленных отношений.

Я прекрасно сознаю, что представленный выше обзор социологической теории и исследований в области промышленных отношений очень краток и бесцеремонен. Документированное и подробное обсуждение отдельных работ, подпадающих под рассмотренные мною типы теории и исследований, невозможно вместить в рамки этой статьи. Я уверен, что общие моменты, на

которые я указал, истинны. Я не хотел бы произвести впечатление, что все социологические исследования, проводимые в промышленности, лишены ценности. Многие из них, особенно исследования «Гарвардской группы», сделаны тщательно и добросовестно. Они дали нам красноречивые описания конкретных ситуаций и помогли развеять неточные, фрагментарные и пристрастные идеи, особенно циркулирующие в высших слоях менеджмента. Они принесли и обобщения, кажущиеся в каких-то пределах резонными. Но ценность и валидность таких исследований, на мой взгляд, становятся сразу же подозрительными, как только они касаются мобильных аккомодативных отношений между организованными рабочими и менеджментом. Я считаю, что эти исследования не только не смогли работать с этой новой областью промышленных отношений, но что их обобщения – например, относительно «морального духа» – становятся подозрительными, когда прикладываются к ситуациям в этой области. Читая такие исследования, я спрашивал себя, дают ли они знание, значимое для упорядоченного понимания промышленных отношений, какими мы их видим, например, в новостях, появляющихся в наших газетах. И вердикт мой таков, что эти исследования не дают упорядоченного понимания промышленных отношений в нашем обществе, поскольку либо не видят очертаний нынешних промышленных отношений, либо по сути своей неприменимы к таким очертаниям.

Правильный подход к изучению промышленных отношений в нашем обществе должен базироваться, на мой взгляд, на признании того, что такие отношения – это подвижный паттерн аккомодативных приспособлений, по большей части между организованными сторонами. В каком-то смысле промышленные отношения можно уподобить обширной, запутанной игре, развивающейся без благословения фиксированных правил и часто без благословения всяких правил. Сама обстановка этой игры нестабильна; она

подвижна и проявляет себя во все новых и новых формах. Это порождает давления на паттерн игры. Вдобавок к этому каждая из сторон подвержена игре давлений и сил в собственных рядах, которая вносит в игровую ситуацию дополнительные напряжения и смещения. Ко всему прочему, участники во временных аккомодациях друг к другу далеки от удовлетворения своих желаний и достижения своих целей, и следствием этого становятся постоянное давление на их отношения и оппортунистическая готовность их изменить. Думаю, мы обманываем себя и, возможно, принимаем желаемое за действительное, когда рассматриваем этот подвижный поток отношений в промышленности как временный и переходный, полагая, что все утрясется и эти отношения сложатся в постоянную упорядоченную систему. Это, на мой взгляд, вообще невероятно, пока мы живем в динамичном, демократическом, состязательном обществе. Степень напряжения, скорость аккомодаций и масштабность сдвигов в отношениях могут от случая к случаю варьироваться, но мобильный характер этих отношений сохраняется.

На мой взгляд, плодотворное изучение сегодняшних промышленных отношений требует новой перспективы – такой, которая была бы совместима с мобильностью, опосредованностью и масштабностью таких отношений. Я чувствую смутные очертания такой перспективы. Она должна представлять людей действующими, стремящимися, калькулирующими, чувствующими и переживающими личностями, а не автоматами и нейтральными агентами, которых предполагают главенствующие у нас ныне научные идеологии и методологии. Кроме того, она должна видеть таких людей в их коллективном качестве – как разными способами аранжированных и инкорпорированных в запутанную и опосредованную сеть отношений. Она должна охватить взором сложное поведение этих коллективов, особенно в силу того, что они действуют и готовы действовать по отношению друг к другу.

Наблюдение, необходимое для прояснения и наполнения этой смутной перспективы, должно удовлетворять двум требованиям: близкого знакомства [с изучаемым миром] и широты воображения. То, что наблюдение должно базироваться на близком знакомстве с тем, что наблюдается, – трюизм, и не было бы нужды здесь его упоминать, если бы не вопиющий факт модности и респектабельности в наших рядах практики игнорирования этого трюизма и снобистского к нему отношения. Вдобавок к базированию на тесном знакомстве с тем, что наблюдается, наблюдение должно быть приспособлено к емкому образному схватыванию сложных комплексов данных. Жалко, конечно, что в области промышленных отношений наблюдение должно производиться в форме больших сложных паттернов; но оно должно делаться так, чтобы быть реалистическим. Кстати говоря, требования к наблюдению в промышленных отношениях очень похожи на те, что предъявляются к нему в современной войне. Отдельный солдат на своем наблюдательном посту, как бы ни был он компетентен в качестве наблюдателя, может мало что понять из того, что происходит в более широкой области военной кампании. Исследователь-социолог, проводящий наблюдения на одном отдельно взятом предприятии, подвержен, на мой взгляд, схожему ограничению. Эффективное наблюдение требует, чтобы наблюдатель чувствовал движение в наблюдаемой области, принимал множество разных ролей, схватывал множество разных ситуаций и, делая это, решал трудную задачу собирания всего этого в нечто вроде интегрированного паттерна. Этот тип наблюдения, нравится он нам или нет, требует интенсивной работы воображения, чтобы быть точным. По ходу дела можно отметить, что этот тип наблюдения не культивируется в наших образовательных программах для социологов; более того, наши сегодняшние исследовательские конвенции отбивают охоту к этому типу наблюдения.

Если предположить, что наблюдение промышленных отношений будет основываться на близком знакомстве и широте воображения, то полученные в нем открытия, подозреваю, не будут поддаваться истолкованию с помощью нашего нынешнего типа или текущего багажа социологических теорий. Наше социологическое мышление было в основном сформировано рассмотрением вопросов, очень далеких от центрального качества современной динамичной жизни. Наше мышление выводилось из образов стабильных обществ и четко упорядоченной ассоциации, из таких абстрактных и выхолощенных данных, как переписи и демография, из смеси импортированных теорий, созданных в отношении проблем, отличных от проблем нашей науки, из многообразных социальных философий, появлявшихся время от времени в нашей западной цивилизации. Наше социологическое мышление не черпало свою форму из эмпирического рассмотрения динамичного характера современной жизни. Нам нужна схема интерпретации, пригодная для анализа коллективного и массового взаимодействия – взаимодействия между активными и относительно свободными коллективами, обладающими разными степенями и видами организации. Сформировать такую схему – теоретическая задача, стоящая перед социологами в области промышленных отношений. За эту задачу социологи, думаю, еще даже не брались.

Пер. с англ. В.Г. Николаева

Рефераты

БАККЕР ДЖ. Я КАК ВНУТРЕННИЙ ДИАЛОГ: МИД, БЛУМЕР, ПИРС И УАЙЛИ.

BAKKER J.I. The self as an internal dialogue: Mead, Blumer, Pierce and Wiley // American sociologist. – N.Y., 2005. – Vol. 36, N 1. – P. 75–84.

Джей (Ханс) Баккер (университет Гельфа, Онтарио, Канада) обсуждает в своей статье концепцию Я (self), которая является важнейшей для традиции символического интеракционизма. С одной стороны, автор проводит различия между позициями Дж. Г. Мида и Г. Блумера, которые он относит к общепринятому течению символического интеракционизма, а с другой стороны, он анализирует вклад в исследование Я Ч. Пирса и Н. Уайли, концепции которых автор относит к «семиотическому интерпретивизму» (semiotic interpretivism)[1]. При этом Баккер исследует глубокие философские корни этих позиций, полагая, что эпистемологическим основанием взглядов Мида и Блумера была философия Р. Декарта, тогда как Пирс и Уайли стремятся преодолеть картезианский дуализм субъекта и объекта. Несмотря на то, что существует много разных версий истолкования философии Декарта, его дуализм разума и тела, с точки зрения автора, является одним из главных положений в идеологии современного общества. Декарт был убежден, что разум может существовать без тела, и поскольку человеческое бытие объективно, человек есть сознательная или думающая «вещь», а Бог – абсолютный источник разума.

В сочинениях Мида чувствуется влияние идей Пирса, что вполне объяснимо. Мид был связан с движением прагматизма в США, к которому обычно относят и Пирса. Однако в свое время Пирс сознательно размежевался с философской позицией У. Джеймса и Дж. Дьюи, и назвал свой подход

---

[1] По замечанию автора статьи, термин *«семиотический интерпретивизм»* еще не признан в социальных науках. Термин «семиотический» шире, чем «символический», поскольку семиотический относится ко всем процессам семиозиса (процессу интерпретации знака или процессу порождения значения). По мнению автора, в изучении человеческого поведения термин «символический» вполне удовлетворителен. Однако, символ это только один тип знака, а ведь существуют и многие другие виды знаков: например, знаки-иконы, знаки-индексы, знаки-маркеры, знаки-шифры, знаки-жесты, невербальные соматические знаки и др. (с. 82).

«прагматицизмом». Автор настоящей статьи подчеркивает, что его интересует именно это различие между прагматизмом и прагматицизмом в анализе концепции Я. Блумер, по мнению автора, недооценил значение прагматицизма Пирса и был склонен рассматривать вклад Мида в социологию в пространстве прагматизма Джеймса – Дьюи. Поскольку многие социологи составляют представление о теории Мида главным образом через работы Блумера, то можно понять, почему определенные аспекты взглядов Мида, перекликающиеся с идеями Пирса, ныне почти забыты. Дж. Баккер считает, что сам Блумер является самостоятельным ученым, развившим модернистскую версию символического интеракционизма в исследовании массового общества и массовых коммуникаций.

Характеризуя широкий идейный контекст, в котором развиваются представления о Я, автор упоминает известную классификацию доиндустриального и собственно индустриального города, данную в работе Л. Лофланд.[1] В доиндустриальной Европе город был небольшим и походил на идеальный тип *Gemeinschaft* Ф. Тенниса. Так, в XIII веке даже самые большие европейские города были еще очень мало населены. Однако, с точки зрения Баккера, и «современный город» не обязательно является индустриальным городом. Это совмещение понятий происходит в силу того, что часто развитие капитализма объединяется с индустриальной революцией XVIII века, хотя становление капитализма предшествует индустриализации. Досовременный город (до 1500) был весьма не похож на современный город (после 1500) и дело здесь не только в сдвиге от *Gemeinschaft* к *Gesellschaft*. Особенностью доиндустриального и досовременного города было абсолютное отсутствие частной сферы. Сам автор пережил это отсутствие частной сферы в

[1] См.: Lofland L.H. A world of strangers: Order and action in urban public space. – Prospect Heights (IL): Waveland press, 1973.

этнографическом исследовании среди баджо, морских кочевников юго-восточной Азии, когда даже душ и туалет были публичными местами, нигде нельзя было скрыться от глаз людей. С точки зрения автора статьи, «развитие» и «модернизация» – это не только улучшение качества жизни и признание базовых прав: быть современным означает принять как часть Я современный взгляд на жизнь, либеральный взгляд буржуа. Эта идея индивидуальной личности, сформулированная Р. Декартом, несмотря на свой теологический характер, является частью современного миросозерцания (с. 76).

Суждения здравого смысла в современных капиталистических обществах являются по сути картезианскими. В политическом отношении такие суждения могут быть правыми или левыми, в религиозном – теистическими или нетеистическими, но в их основе лежат картезианские аксиомы существования индивидуальной идентичности, явившиеся результатом возникновения буржуазных свобод и борьбы против аристократических привилегий. Что такое индивид и во что он верит – именно об этом говорится в учениях всех основоположников Реформации: субъект напрямую общается с Всеведущим, Всемогущим и Вездесущим «Другим». Однако в средние века люди были иными. К примеру, каменщик, который строил собор во славу Всевышнего, не думал о том, чтобы как-то отметить свой личный вклад, вырезав свое имя на камне. По большей части никто не знает имен и личных историй обычных людей, которые жили в Европе в период средневековья. Индивидуализм и вера в Я появляются в 1500-х годах. Сегодня в обыденном мышлении люди постоянно стремятся разделить субъект и объект, они думают о самих себе как субъектах, а об «окружении» как об объектах. Идентичность Я укоренена в физическом Я как конкретном объекте, но, тем не менее, человеку нравится думать, что он является не только телом, а что у него еще есть разум. И такой дуализм исключительно трудно разорвать. Я всегда определяется как

относительно изолированное индивидуальное сознание, которое «видит» окружающий мир: ощущения, получаемые посредством зрения, слуха, осязания, обоняния и вкуса, рассматриваются индивидами как «объективные» индикаторы внешних объектов.

Многие мыслители критиковали декартовский дуализм, пытаясь отразить диалектическую связь отношений между людьми и социальными нормами и ценностями. Один из них был П.-Д. Юэ[1], отрицавший логические основания для принятия тезиса, согласно которому мы существуем только потому, что обладаем сознанием. Он подчеркивал, что человеческое мышление требует «разума», а такой разум может быть развит только как результат определенной деятельности в мире. Другие критиковали Декарта за то, что он отождествлял Я только с мышлением. И.Г. Фихте, например, совсем по-другому подходил к этой проблеме. Он определял «нематериальное Я» как существующее вне времени и пространства. Вневременным является «сообщество» всех Я на протяжении человеческой истории, то есть «коллективное сознание» тех, кто жив сейчас и жил раньше. Фихте выделил процессы, которые конституируют Я-идентичность, и это позволяет включить его идеи в обсуждение концепции Я в рамках социальной психологии Мида.

Пирс, по мнению автора, является первым, кто «разорвал» картезианский дуализм субъекта и объекта вопреки здравому смыслу и языковым формам современной повседневной жизни. У Пирса есть концепция триады – первичности, вторичности и третичности процессов семиозиса. Первичность есть доязыковая форма семиозиса, т. е. ощущение того, что еще не переведено в слова. Декарт, по сути, отрицает первичность опыта и сразу перескакивает к третичности, которая строится на восприятии и осознании первичности и

[1] Юэ, или Гюэ, Пьер-Даниель (1630–1721) – французский философ, священник и теоретик литературы. Самые известные сочинения: «Евангельское доказательство» (1679) и «Суждение о Декартовой философии» (1678).

вторичности опыта. Третичность – та часть семиозиса, где индивиды формулируют слова и предложения, т. е. используют различные знаки.[1] Живая реальность повседневной жизни схватывается индивидами в ретроспективе посредством использования знаков, но непосредственный момент осознания является предзнаковым. Когда люди пытаются артикулировать этот непосредственный момент сознания (первичность опыта), они быстро попадают в «третичность», которая не является индивидуальной. В. М. Колапьетро, который интересовался концепцией Я Пирса, отмечает, что семиотика идет дальше описания простого использования человеком символов в процессе взаимодействия.[2] Как и Мид, Пирс рассматривал свою теорию как социальную психологию формирования Я.

Далее автор касается концепции семиотического Я Н. Уайли[3], который комбинирует теоретические положения Пирса и Мида. Основная мысль Уайли заключается в том, что «I» и «me» Мида могут быть определенным образом объединены с «I» и «you / thou» Пирса. Мы есть то, чем мы являемся в этот конкретный момент как живое, дышащее «I». Но когда мы пытаемся представить «I» настоящего момента, то получаем «me» как воспоминание о прошлом. Более того, «I» настоящего момента есть также предвосхищение Я (self), которое станет «me» в будущем, т. е. Я (self) здесь выступает как «you» или «thou». Отношения «I -me» прошлого параллельны отношениям «I - thou»

---

[1] Ч. Пирс разработал следующую типологию знаков: 1) знаки-иконы (icons), которые характеризуются существенным сходством формы, вида с тем, что они обозначают; 2) знаки-индексы (indexes), которые связывают с тем, что они означают, определенная, закономерная типовая зависимость; 3) знаки-символы – полностью условные, установленные в данном коллективе (культуре) значения определенных предметов и явлений. См.: Pierce C.S. Philosophical writings. – N.Y.: Dover, 1955.

[2] См.: Colapietro V.M. Pierce’s approach to the self: A semiotic perspective on human subjectivity. – Albany: State univ. of New York press, 1989.

[3] См.: Wiley N. The semiotic self. – Chicago: Univ. of Chicago press, 1994.

будущего. Прошлое может включать мгновенное прошлое или отдаленное прошлое, в свою очередь будущее может быть мгновенным или отдаленным. (Если растянуть прошлое и будущее на десять величин средней продолжительности жизни, то мы приблизимся к идее Фихте о «нематериальном Я»). Модель «I – me – you» у Колапьетро и Уайли эвристична в понимании собственного Я и личных идентичностей других людей. Феномены, которые обозначаются как «self», имеют качество единства, но это единство не является стабильной и жесткой «системой», это структура в процессе. Потоки сознания (выражение У. Джеймса) являются реками, которые бегут в семиотический океан культурных содержаний. В конечном счете, океан питается индивидуальными реками, и это продолжается на протяжении всей истории. Такова диалектика отношений множества Я (selves) и других, где *selves* являются только «me's» из прошлого. Идея полностью изолированного персонального *self* есть иллюзия, индивидуальное человеческое бытие - это клеточка в социально-культурно-политико-экономическом «организме» (с. 78).

Не следует считать, как пишет автор, что Пирс отрицает важность человеческой деятельности. Для Пирса индивиды – это автономные акторы, инициирующие семиотические процессы, которые постоянно формируются и переформируются. В бихевиористской модели не существует ничего, кроме стимула и реакции. В модели социального бихевиоризма Мида между стимулом и реакцией помещается значащий символ. Для Пирса на месте значащего символа стоят и все остальные знаки. Третичность знака дает возможность интерпретировать значение стимула. Но эта интерпретация не происходит внутри изолированного индивида, она происходит в сообществе интерпретаторов. Такое сообщество, где люди «работают» вместе на основе разделяемых знаков, включая значащие символы, называется Интерпретант (Interpretant). Реакция индивидов – это не простое рефлекторное движение,

подобное отдергиванию пальца от горячей плиты. Эти реакции также включают интерпретации, т. е. репрезентируется не только одна вещь (например, «горячий»), но и семиотический контекст вещей («плита», «палец», «дистанция» и др.). Поэтому Интерпретативное Сообщество, или Интерпретант, использует знаки для интерпретации Репрезентационной Семиотической системы, или Репрезентанта. Интерпретант и Репрезентант постоянно движутся в диалектической связи, сродни диалектике «I» и «me», за исключением того, что это не только мое индивидуальное «I», но все «I», и не только мое индивидуальное «me», но все «me». Все релевантные «I» вместе образуют Интерпретанта и все релевантные «me» вместе составляют (одного возможного) Репрезентанта. Строго говоря, если мы следуем Пирсу, а не Декарту, мы должны оставить идею субъекта. Мы должны рассматривать «I» как по существу социальное *self*, поскольку так мы можем избежать реификации атомарного *self*, как делали Дж. Мильтон, Дж. Локк, А. Смит, Л. Фергюссон, Дж. С. Милль (с. 80).

Современный капитализм впервые возникает в 1500-е и 1600-е годы, ставшие поворотным пунктом в человеческой истории, особенно в Западной Европе. Например, в странах, которые охватывали территорию современных Нидерландов, Бельгии и Люксембурга, разнообразные группы, реагировавшие на жесткие версии кальвинизма, играли значительную роль в сдвиге к современному капитализму. Идеальные типы *Gemeinschaft* и *Gesellschaft* Ф. Тенниса только грубо и приблизительно отражают этот процесс, не учитывая значение таких факторов как свободный труд, рациональный бухгалтерский учет, стремление к бесконечному накоплению и другие. Идеальные типы М. Вебера более тонко улавливают возникновение современного капитализма, которое сопровождалось целым набором различных феноменов повседневной жизни, которые мы сейчас принимаем на веру, включая секуляризированную

трудовую этику. Эффективность, контроль, рутина и здравое внимание к работе сейчас являются органической частью опыта жизни людей в больших рационально-легальных, утилитаристских бюрократических организациях. Некоторые исследования теоретиков постмодерна являются попытками вырваться из этого предельно объективированного взгляда на человеческих индивидов. Но по убеждению автора статьи, семиотический подход Пирса к изучению Я более эвристичен, чем французская постмодернистская мысль (с. 81).

Итак, мышление индивидов «бежит» по канавкам, которые являются частью *семиотического репрезентационного порядка вещей*. Как член Интерпретативного Сообщества, актор всегда включен в интерпретацию содержания знаков, которые есть часть Репрезентационной системы. Модель Н. Уайли, по мнению автора статьи, идет дальше стереотипной трактовки представлений Мида об «I» и «me». Эта модель отражена в следующей схеме:

Интерпретант	**Знак**	**Репрезентант**
ИНТЕРПЕРТАНТ	ЗНАК (СИСТЕМА)	РЕПРЕЗЕНТАНТ
(нтерпретативное сообщество)	(знаки-иконы, знаки-индексы, знаки-символы)	(семиотическая система репрезентации)
«me» Мида и «you» («thou» 2) Пирса	«I» Мида и «I» Пирса	«you» («thou» 1) Пирса и «me» Мида

Важно отметить, что для Пирса понятие «thou» (или «you») может принимать форму Репрезентанта (Thou 1) и Интерпретанта (Thou 2). Пока еще до конца не изучено, допускал ли Мид такие вариации в понятии «me». В

модели Колапьетро-Уайли «I» является формой знака, относящегося и к Интерпретанту и Репрезентанту. Рассмотрение «I» как своего рода знака превращает его в весьма скоротечный и эфемерный аспект реальности: «I» ежеминутно меняется. Мое «I» есть то, как видит его Интерпретант, или сеть релевантных интерпретаторов.

Картезианский подход стремится реифицировать эго или субъекта, поскольку Декарт был заинтересован в спасении души, которая, согласно католической догме, является индивидуальной и вечной. Но поскольку «I» является продуктом семиотической системы, оно не может быть безвременным и вечным. Другими словами, эпистемология Пирса является секуляризованной и материалистической. По убеждению автора, семиотика Пирса показывает, как сам Мид отходит от картезианского дуализма. Поэтому, как подчеркивает автор, необходимо, чтобы больше специалистов по семиотике занимались социологическими и социально-психологическими проблемами, связанными с развитием индивидуального и группового сознания. Сегодня большинство людей едва ли сознают, что они приняли на веру картезианские аксиомы. Поэтому было бы полезно, если бы идеи Пирса были глубоко изучены и, возможно, оспорены.

О.А. Симонова

АТЕНС Л. РАДИКАЛЬНЫЙ ИНТЕРАКЦИОНИЗМ: РАЗДВИГАЯ ГРАНИЦЫ ТЕОРИИ МИДА.

ATHENS L. Radical interactionism: Going beyond Mead // J. for the theory of social behaviour. – Oxford, 2007. – Vol. 37, N 2. – P.137–165.

Лонни Атенс (факультет криминального права университета Сетон Холл, Нью-Джерси, США), известный исследователь творчества Дж. Г. Мида[1],

[1] См.: Athens L. Mead’s visions of the self: a pair of «flawed diamonds» // Studies in

полагает, что сегодня наступил подходящий момент для радикального пересмотра его теоретических идей. С одной стороны, замечает автор, наследие Мида еще никогда не было столь актуально для развития теоретической социологии, как в наши дни; с другой, − если символическому интеракционизму суждено сохранить свой высокий интеллектуальный статус в XXI веке, он должен быть подвергнут самой тщательной ревизии, причем посредством собственных понятий и представлений. Иначе говоря, «необходимо переосмыслить Мида в терминах самого Мида» (с. 139) − с тем, чтобы концепция интеракционизма могла и далее служить задаче совершенствования социологического знания.

Как это ни парадоксально, пишет Атенс, не только противники Дж. Г. Мида, но и его адепты прошли мимо того факта, что в наследии основоположника интеракционизма можно обнаружить вполне определенную теорию общества (хотя и выраженную в несколько туманной форме). В частности, Г. Блумер отождествлял представления своего учителя о социальном целом с идеей социального взаимодействия, а Х. Йоас свел их к понятию «практическая интерсубъективность». Критики Мида в разные годы единодушно утверждали, что в его концепции отсутствует идея социального доминирования (отношений господства / подчинения). Это обстоятельство существенно снижало ценность теории Мида в глазах таких его оппонентов, как Т. Смит, И. Цайтлинд и Ю. Хабермас. По мнению же Атенса, главная проблема Мида состояла в том, что он, признавая важность принципа доминирования в социальных отношениях, ограничил его действие сферой государства и

---

symbolic interaction. – Greenwich (CT), 1995. – Vol. 18. – P. 245–261; Athens L. Mead’s lost conception of society // Symbolic interaction. – Berkeley, 2005. – Vol. 28, N 3. – P. 305–325; Athens L. Mead, George Herbert, (1863–1931) // Blackwell encyclopedia of sociology / Ed. by G. Ritzer. – Malden (MA): Blackwell, 2007. – P. 2861–2864.

политики и оставил без внимания базовую роль этого принципа как фактора возникновения, функционирования и трансформации всех без исключения социальных институтов (начиная с семьи и заканчивая наукой). С этой точки зрения, ревизия символического интеракционизма предполагает радикальное переосмысление трактовки Мидом принципа социальности, который до сих пор рассматривался как «стержень» общественной жизни и ее институтов: его место в теории социального взаимодействия должен занять принцип доминирования.

В обосновании этого изменения, которое Атенс называет разработкой теории «радикального интеракционизма», автор видит главную задачу своей статьи. Интерпретация отношений доминирования в терминах Мида позволит выявить (и разрешить) те противоречия, которыми пронизаны его ответы на им же поставленные вопросы о природе социальных институтов, их изменении и функционировании в качестве принципов организации общественной жизни. Помимо замены принципа социальности идеей доминирования, радикальный интеракционизм предполагает также отказ от классического представления об «обобщенном другом» в пользу понятия «фантомного сообщества», которое служит все той же цели модернизации интеракционистской традиции в III-м тысячелетии, заключает Атенс.

Главный аргумент автора в защиту радикального интеракционизма сводится к утверждению, что социальность (в толковании ее Мидом − как «способность принять роль другого») − это необходимое, но недостаточное условие становления и функционирования общества. «В противовес Миду − пишет Атенс, − я убежден, что социальность приобретает реальное значение не самостоятельно, но только как составная часть доминирования» (с. 141). Вместе с тем, он разделяет «институциональное по существу» представление о социальном целом, которого придерживался Дж. Г. Мид, полагавший, что «человеческое общество укоренено в своих институтах» (с. 140).

Как известно, в традиции символического интеракционизма социальные институты рассматриваются как базирующиеся на социальных актах. Последние же, согласно Миду, подразумевают любой вид деятельности, который требует усилий двух и более индивидов, способных принять установки «другого» («других»), что, собственно говоря, и служит отправной точкой взаимодействия. При этом социальные институты предполагают осуществление социальных актов особого типа − таких, которые основываются на предварительно установленных правилах своей реализации (максимах, или аксиомах в терминах Мида). Следовательно, изменение социальных институтов (и общества в целом) нуждается − в качестве предпосылки − в пересмотре таких максим. Но для того, чтобы социальная трансформация, равно как и генезис социального целого или его оперирование на уровне институтов стали реальностью, продолжает свои рассуждения Атенс, требуется предварительное усвоение субъектами социальных актов взаимосвязанных ролей доминирования / подчинения с непременным обоюдным принятием установок «противной» стороны. Такое разделение ролей с необходимостью предваряет ту самую «фундаментальную дифференциацию», о которой говорил Мид, имея в виду реализацию сложных (комплексных) социальных актов, требующих выполнения необходимых ролей большим количеством людей в нужное время в нужном месте. Такие акты, в свою очередь, составляют основу важнейших социальных институтов, к которым основоположник интеракционизма причислял язык, семью, экономику, религию, государство и науку. Иными словами, резюмирует свою мысль автор, «без доминирования были бы невозможны сложные социальные акты, а без них − возникновение базовых институтов человеческого общежития» (с. 142).

Доминирование является результатом сложного эволюционного процесса: мир живой природы не знает доминирования как такового, то есть отношений

господства / подчинения, опосредованных сознанием. Поэтому Атенс призывает различать доминантность в природе и собственно доминирование как характеристику человеческого общежития, где роли высшего / низшего предполагают социальность (обмен установками в контексте и посредством языка). Именно язык дает возможность «навязывать другим доминирующие социальные максимы и, тем самым, фиксировать самое разделение ролей господства / подчинения, что делает реальностью сложные социальные акты» (с. 142). Таким образом, с эволюционной точки зрения можно утверждать, что человеческий вид обладает самым мощным потенциалом доминирования среди живых существ. С социологической же точки зрения, именно принцип доминирования, принятый в качестве базового, руководящего принципа социального общежития, позволяет «объяснить воспроизводство общества как целого», то есть восполняет тот недостаток интеракционизма, за который Хабермас критиковал Мида. (с. 143).

Слабым звеном классического интеракционизма Атенс считает также концепцию эволюции общественных институтов. Основанием для классификации перечисленных выше шести общественных институтов, по Миду, является степень их «социальной универсальности», или количество участвующих в них членов общества. Поэтому на низшей ступени этой эволюционной лестницы оказывается язык, на высшей – область науки. Единственным институтом, в функционировании которого Мид усматривал руководящую роль принципа и отношений доминирования, выступало государство. Между тем, настаивает Атенс, этот принцип оказывается главенствующим и во всех остальных институциональных сферах. Очевидно, например, что социальная практика устной и письменной речи (языка) подчинена неявным правилам, предписывающим, кому, когда и в какой очередности следует вступать в разговор и что именно дозволено / недозволено

произносить (дети и подчиненные не заговаривают первыми со взрослыми и начальниками; в письменной речи местоимение «я» остается привилегией властных и научных авторитетов и т.п.). Применительно к истории семейных отношений роль принципа доминирования еще более наглядна («выплеснуть вместе с водой ребенка» можно было именно потому, что в семейной иерархии средневековья дети мылись после всех взрослых, так что в грязной воде их можно было просто не заметить). В наши дни равноправие полов на самом деле означает возможность господствующего / подчиненного положения для представителя любого пола, а вовсе не отсутствие отношений доминирования как таковых.

Далее Атенс характеризует как «наивные» представления Мида об институтах экономики и религии (на рынках потребления и труда всегда в более выгодном положении будут лавочник и работодатель, которые редко и ненадолго могут поменяться ролями с потребителем и продавцом рабочей силы; отправление религиозного культа и даже благотворительность также воспроизводят иерархию отношений между верующими и священнослужителями, филантропами и нуждающимися). Наконец, наука, в которой Мид видел средство совершенствования всех прочих социальных институтов, тоже подчиняется принципу доминирования, который диктует, какие проблемы подлежат решению, как надлежит интерпретировать научные результаты, что, где и когда следует публиковать. «В каком-то смысле − пишет Атенс, − доминирование может быть уподоблено молекуле ДНК: первое служит строительным материалом для общественного здания, вторая − для возведения здания жизни вообще» (с. 147).

Принцип доминирования руководит также порядком в межинституциональных отношениях, тогда как Мид отдавал здесь пальму первенства исключительно государству. В реальной истории человеческих

обществ государство нередко оказывается «на посылках» у прочих социальных институтов − религии (тогда возникает теократия), семейного клана (монархия), науки (технократия), либо может со временем поменять прежнего институционального «хозяина» (например, превратиться из монархии в теократию, как это случилось в современном Иране).

Неудовлетворительной представляется автору и трактовка классическим интеракционизмом процесса институциональных изменений. По Миду, причиной социальной трансформации выступает расхождение между субъектами сложных социальных актов в их трактовке руководящих максим, и, соответственно, невозможность далее действовать согласованно в рамках предписанных ролей. В таких случаях сообщество испытывает потребность в новых правилах осуществления социального действия, которые постепенно становятся неотъемлемой составной частью «обобщенного другого» и, тем самым, фундаментом для конструирования соответствующих ролей и институтов в будущем. Таким образом, в терминах Мида источником социальных инноваций выступает творческий индивид, а их средством – диалог (или спор) между его внутренними структурами («I» и «me»), или между индивидуальными представлениями и общезначимыми императивами «обобщенного другого».

Атенс согласен с Мидом в двух пунктах: во-первых, в том, что источник социального обновления – это творчество отдельного члена сообщества; во-вторых, в том, что «изобретение новых максим для реализации актов, обнаруживших присутствие внутренних противоречий, дает импульс становлению новых институтов или модификации прежних» (с. 149). Однако в рамках «радикального интеракционизма» внутренним механизмом процесса социального обновления служит не диалог (который, по мнению Атенса, в принципе означает воспроизведение установленных способов социальной

организации), а монолог – размышление творческой личности перед лицом «фантомного сообщества» по поводу происходящего. Поясняя суть своего терминологического нововведения, автор пишет: «В отличие от «обобщенного другого» или категории «me», проистекающих из установок наличного физического сообщества людей, в котором пребывает индивид, «фантомное сообщество» берет начало в биографии индивидуальных физических субъектов социального целого» (с. 150). Следовательно, у каждого индивида – свое фантомное сообщество, содержание которого определяется его личным биографическим опытом. Вместе с тем, оно имеет и некоторое общее содержание, непреложность которого объединяет людей разных биографий в рамках социального целого. Это содержание образует «общую концепцию, или «картину» социальной жизни, в особенности – нашего в ней места и места других людей, которая принимается как сама собой разумеющаяся и не требующая объяснений» (с. 150). Стержнем этой концепции является сложившийся тип отношений доминирования, так что «создание новых максим для разблокирования социальных актов всегда означает решение проблемы господства / подчинения» (там же).

Монолог социального новатора, продолжает Атенс, обращен либо к наличной совокупности физических индивидов (представленных в его воображении), либо к будущему социальному общежитию, порожденному его фантазией. В первом случае источник социальных нововведений следует искать в неповторимом прошлом опыте творческого индивида, во втором таковым выступает общезначимое настоящее. Соответственно «заблокированный противоречиями социальный акт может послужить катализатором драматичного процесса изменения собственного Я, хотя бы для некоторых его участников» (с. 151).

Понятие фантомного сообщества искупает еще один недостаток теории Мида, считает Атенс. Основоположник символического интеракционизма «ошибочно полагал», что максимы, которые управляют социальными актами (и, соответственно, институтами) возникают только как абстрактные обобщения наличного опыта физического сообщества индивидов «здесь и теперь». Между тем, максимы такого рода служат организационными принципами только применительно ко вновь возникающим общественным институтам, находящимся в стадии становления и нуждающимся в осмыслении. Подавляющее большинство социальных актов подчиняется принципам, в которых запечатлен обобщенный опыт прошлого, ставшего привычным, обыденным, не нуждающимся в подтверждении. Эти максимы принимаются как данность, как то, что не подлежит обсуждению и функционирует без участия сознания. Принцип обобщенного другого принимает во внимание только «наличные абстракции настоящего», что не позволяет объяснить механизм действия устоявшихся социальных институтов. Понятие фантомного сообщества, в свою очередь, включает обе формы существования социально-организационных принципов – инновационную и обыденную, то есть оперирует двумя временными измерениями – настоящим и прошлым.

В заключение Атенс суммирует главные отличия радикального интеракционизма от его «исходной формы», предложенной Мидом: новая модель интеракционизма, «сохраняя верность главным предпосылкам прагматизма», предлагает более реалистическое объяснение как генезиса и функционирования социального целого, так и возникновения его новых институтов.

Е.В. Якимова

ДЕННИС А., МАРТИН П. СИМВОЛИЧЕСКИЙ ИНТЕРАКЦИОНИЗМ И ПОНЯТИЕ ВЛАСТИ.

DENNIS A., MARTIN P. Symbolic interactionism and the concept of power // British j. of sociology. – L., 2005. – Vol. 56, N 2. – P. 191–213.

В статье британских исследователей Алекса Денниса (университет г. Сэлфорда) и Питера Мартина (Манчестерский университет) обсуждается репрезентация феномена власти в традиции символического интеракционизма (СИ). Авторы отмечают, что символический интеракционизм принято рассматривать как направление, представители которого уделяют основное внимание микроуровню социальной организации. Соответственно, ставится под сомнение адекватность СИ для анализа макроуровня социальной реальности, к которому относится и феномен власти. Это мнение широко представлено в учебниках социологии, его разделяют Э. Гидденс и ряд других крупных социологов. Однако авторы решительно оспаривают эту точку зрения. Они убеждены, что интеракционистская исследовательская традиция не только не игнорировала феномен власти, но во многом предвосхитила анализ власти М. Фуко, неовеберианской школой социальной мысли, а также представителями феминистской перспективы в социальных исследованиях.

Авторы начинают с того, что творческое наследие Дж. Г. Мида едва ли возможно уложить в прокрустово ложе микросоциологии. Его крупная заслуга состоит в способности философски осмыслить явления, относящиеся к жизни групп людей, к динамике их отношений. Именно через эту призму Мид и символические интеракционисты смотрят на общество, отказываясь видеть в нем только агрегат структур, институтов и универсальных процессов. Как социальный мыслитель Мид внес значительный вклад в наведение мостов между социологией и философией раннего американского прагматизма. Прагматистский подход, в частности, отвергает существование такой вещи, как

«власть» в универсальном, трансцендентальном смысле; вместе с тем в рамках этого подхода социальные отношения могут быть описаны с точки зрения их «властного» измерения. Позднее это нашло свое отражение в работах П. Холла, М. Эдельмана, П. Уоддингтона и др.

Весьма значимыми с точки зрения осмысления властных отношений являются исследования представителями символического интеракционизма девиантности и проблем образования. Эти исследования демонстрируют, что отношения власти, обусловленные статусом и различиями в доходах, находят поддержку у большинства людей, заинтересованных в обеспечении стабильного порядка вещей. Отношения власти закрепляются символическим дискурсом, который легитимирует одни действия и отвергает другие (что выражается и в правовых санкциях).

Исследования девиантности относятся к числу признанных достижений приверженцев интеракционистской традиции, в первую очередь, благодаря работам Г.С. Беккера. Интеракционистский подход к изучению девиантности развивает идеи Дюркгейма о культурных вариациях нормативных паттернов (включая и законодательные нормы). Но если сам Дюркгейм рассматривал «преступление» как действие, нарушающее базовые ценности общества или группы, то интеракционисты стремятся избежать реификации «общества», практически неизбежной при таком ходе рассуждения. Фокус их внимания сориентирован на конкретные направления эволюции социальных норм, на том, как фактически существующие правила принимаются, обретают силу, оспариваются и нарушаются, особенно в ситуациях недостижимости культурного консенсуса. Исследования представителей СИ показывают, что законы и правила не репрезентируют какие-либо ценности общества или отдельных социальных групп. Напротив, они являются артефактами, возникшими в результате достижения компромисса между ценностями

«взаимно противоположных, но хорошо организованных ассоциаций»[1]. Таким образом, определения законности или незаконности того или иного действия появляются в процессе конфликта или переговоров между соперничающими сторонами. Здесь выявляются пересечения интеракционистского подхода с представлениями М. Вебера о социальном порядке, формирующемся в процессе непрекращающегося конфликта. В то же время представители СИ рассматривают процесс выработки правил как фактические действия реальных людей, представляющих самые разные социальные группы и политические институты.

В ряде работ представителей СИ, в частности, в анализе разработки законодательства об употреблении алкоголя и марихуаны (Дж. Гасфилд, Г.С. Беккер[2]) или в исследовании Г. Блумером проблематики расовых отношений показано, что принятие формальных или неформальных правил служило демонстрацией способности тех или иных групп настоять на своем определении ситуации, придав ему санкционирующую силу. В результате происходила стигматизация целых групп людей, а определенные виды действий начинали рассматриваться как криминальные. Такие правила неизбежно сталкивались с сопротивлением и попытками пересмотра со стороны тех, кто на основании этих правил был представлен «девиантной» личностью. Причем сопротивление этим правилам может значительно повлиять на формирование идентичности протестующих, иногда побуждая их к более ярко выраженным и демонстративным действиям «девиантного» характера. Как подчеркивает Беккер, «девиантность не является качеством действия, совершаемого кем-либо,

---

[1] Lemert E.M. Human deviance, social problems and social control. – Englewood Cliffs (NJ): Prentice-Hall, 1972. – P. 57.

[2] См.: Gusfield J.R. Symbolic crusade: Status politics and the American temperance movement. – Urbana: Univ. of Illinois press, 1986; Becker H.S. Outsiders: Studies in the sociology of deviance. – N.Y.: Free press, 1963.

но скорее становится последствием применения другими правил и санкций по отношению к ‘нарушителю’».[1] В другом месте он пишет:

«Кто на деле может принудить других принять их правила и обеспечить успех этих правил? Это, конечно, вопрос политической и экономической власти… Правила устанавливаются старшими для молодежи… Мужчина определяет правила для женщины в нашем обществе… Негры обнаруживают, что их действия должны определяться правилами, выработанными белыми. Родившиеся за границей и те, кто имеет иное этническое происхождение, видят, что правила установлены для них протестантским англо-саксонским меньшинством. Средний класс определяет правила для низших слоев общества, которые должны им повиноваться – в школах, судах, повсюду.

Различия в способности определять правила и применять их по отношению к другим людям, в сущности, являются дифференциалами власти (как легальной, так и экстралегальной). Те группы, чье социальное положение наделяет их оружием и властью, лучше всего подготовлены к тому, чтобы заставить других принять их правила. Различия в возрасте, поле, этнической и классовой принадлежности сопряжены с различиями власти, различиями той степени, в которой более привилегированные группы способны определять правила для остальных групп».[2]

Здесь, таким образом, актуализируется проблематика отношений власти. Но для интеракционистов как практических социологов власть интересна не как абстрактная сущность, а как то, что обнаруживается при анализе действий одних людей в отношении других. При этом не столь важно, идет ли речь о межличностных отношениях или о крупных акциях в масштабе всего общества. Более важно то, что в центре внимания находятся реальные люди, чьи действия

---

[1] Becker H.S. Outsiders: Studies in the sociology of deviance. – N.Y.: Free press, 1963. – P. 9.
[2] Ibid. – P. 17–18.

нередко отличаются неопределенностью, контингентностью и непредвиденными последствиями.

Не менее значимым аспектом репрезентации отношений власти в рамках СИ являются исследования рутинных процессов функционирования институтов, результатом которых становится категоризация индивидов или целых групп как подчиненных или морально неприемлемых в том или ином отношении. Здесь критическое значение имеют детальные исследования повседневной практики полиции, судов, тюремных процедур и т.д. Анализ исходящих от институтов власти санкций в отношении «девиантных» идентичностей, а также ответных индивидуальных и коллективных реакций на действия институтов власти, позволяет понять, каким образом культурные паттерны и институциональное принуждение влияют на индивидов, и в то же время избежать редукции представлений о «социальной структуре» к идее «власти».

Проблематике правил, идентичности и авторитета уделяется много внимания и в интеракционистских исследованиях проблем образования. В частности, в ранних работах Г. Беккера были выявлены важные особенности системы образования: «школы, организованные в условиях преобладания одной из субкультур гетерогенного общества, имеют тенденцию функционировать таким образом, что члены подчиненных групп и представители других культурных традиций не могут в полной мере воспользоваться образовательными возможностями и, следовательно, возможностями социальной мобильности» .[1]

[1] Becker H.S. Schools and systems of stratification // Education, economy and society: A reader in the sociology of education / Ed. by A.H. Halsey, J. Floud, C.A. Anderson. – N.Y.: Free press, 1955. – P. 103.

В исследованиях Р. Риста[1] внимание фокусировалось на том, как взаимоотношения между учителем и учеником воспроизводятся в классово стратифицированном обществе. Учителя и персонал образовательных учреждений обладают «властью» определять ситуацию, в которой находятся их ученики, посредством оценок и иных форм ранжирования учеников. И если дискриминация на основе гендерной, религиозной и этнической принадлежности законодательно запрещена в США и странах Европейского союза, то дискриминация на основе данных об академической успеваемости находится вне всяких запретов. Формирующаяся при этом идентичность учеников становится впоследствии важным аспектом процесса социальной стратификации. В крайних случаях те, кого учителя признают наиболее успешными по шкале академической успеваемости, оказываются в состоянии рассматривать самих себя в качестве «умных» людей, тогда как «двоечники» могут зачастую находить альтернативные источники позитивной идентификации в «антишкольных» субкультурах.

Другие исследования[2] демонстрируют, что значимым фактором является готовность учеников или студентов принять определение ситуации преподавателем, в конечном счете – принять или отвергнуть его дискурс. Те ученики, чья субкультура наиболее совместима со школьными порядками, как правило, относятся к числу детей из семей среднего класса. Они готовы принять субординацию на основе дискурса учителя. Те же, кто склонен противостоять

---

[1] *Rist R. Student* social class and teacher's expectations: The self-fulfilling prophecy in ghetto education // Harvard educational rev. – Cambridge (MA), 1970. – Vol. 40, N 3. – P. 411–450.

[2] Keddie N. Classroom knowledge // Knowledge and control: New directions for the sociology of education / Ed. by M.F.D. Young. – L.: Collier-Macmillan, 1971. – P. 133–160; Hammersley M. The organization of pupil participation // Sociological rev. – Oxford, 1974. – Vol. 22, N 3. – P. 355–368.

этому дискурсу, в большинстве случаев связаны с культурной средой, отличающейся от культуры среднего класса.

Подчеркивая, что интеракционистские исследования девиантности и образования относятся не только к сфере микросоциологии, но также значительно углубляют макросоциологический анализ власти и неравенства, авторы статьи выражают убеждение в том, что СИ является когерентной теоретической альтернативой основным подходам социологического мэйнстрима. Они ссылаются на Г. Блумера, отмечавшего тенденцию большинства социологов к игнорированию фундаментальных оснований интеракционизма. По мнению Денниса и Мартина, «примирение» СИ и мэйнстрима социологической теории принимает дуалистическую форму «примирения» структуры и агента, или макро- и микроуровня социологического исследования. Применительно к проблематике власти этот дуализм выражается, с одной стороны, в стремлении рассматривать природу власти в контексте структурного неравенства, а с другой стороны – в ее интерпретации как феномена межличностных взаимодействий. В принципе оба этих подхода могут дополнять друг друга. Но как быть в случае – задают вопрос авторы статьи, – когда интеракционистские исследования будут демонстрировать рост толерантности в отношениях между представителями различных рас и религий, а макросоциологические обзоры, напротив, станут показывать систематический рост структурного неравенства, обусловленного этнической принадлежностью? Можно ли и тогда говорить о взаимодополняемости этих направлений? Деннис и Мартин считают, что более корректно говорить о принципиальных отличиях этих подходов.

Одно из преимуществ интеракционистского подхода связано с его прагматистскими корнями. Прагматизм ориентирован на эмпирическое преодоление дуализма, в том числе и применительно к анализу власти, путем

исследования реальных ситуаций и действий. Для социологической теории особенно важно осторожное отношение прагматизма к априорным суждениям, которые У. Джеймс и Дж. Дьюи считали допустимыми лишь в той мере, в какой они облегчают эмпирическое исследование человеческой деятельности. С этой точки зрения анализ проблематики власти представителями СИ означает, что в центре внимания исследователей оказываются реальные проявления отношений власти, их социальный и индивидуальный контекст.

Прагматизм – это метод, а не философская система. Интеракционистская традиция является в этом смысле наследницей прагматизма. Соответственно дуалистическая трактовка отношений между СИ и мэйнстримом современных социологических исследований вызывает серьезные сомнения. Деннис и Мартин убеждены, что такая оценка придает социологической ортодоксии ту степень легитимности, которая не имеет под собой достаточных аналитических оснований. По их мнению, в этом проявляется неспособность приверженцев социологического мейнстрима признать в качестве полноценной альтернативы теоретические и философские основания символического интеракционизма.

Д.В. Ефременко

ЛИНЧ М., МАККОНАТА Д. ГИПЕРСИМВОЛИЧЕСКИЙ ИНТЕРАКЦИОНИЗМ: ПРЕЛЮДИЯ К ОБНОВЛЕННОЙ ТЕОРИИ СИМВОЛИЧЕСКОГО ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ИЛИ ВСЕГО ЛИШЬ СТАРОЕ ВИНО?

LYNCH M., MCCONATHA D. Hyper-symbolic interactionism: Prelude to a refurbished theory of symbolic interaction or just old wine? // Sociological viewpoints. – Scranton (PA), 2006. – Vol. 22, N 1. – P. 87–96.

В своей статье Майкл Линч (университет Дрекселя, Филадельфия, США) и Дуглас Маккоината (университет Уэст-Честера, Пенсильвания, США)

рассматривают проблемы, связанные с ростом влияния визуального компонента на процессы социализации вследствие усиления роли телевидения в маркетинговой и рекламной политике в современном обществе. Телевидение и другие «мэйнстримовые» медиа как социальный институт, обладающий значительным влиянием, создают новую реальность, преобразуя значения символов в рамках культуры общества потребления. Авторы статьи называют этот процесс гиперсимволической интеракцией.

Как считают Линч и Макконата, в свете тех социальных и технологических изменений, которые произошли за последние десятилетия, новой трактовки требует весь комплекс интеракционистских представлений о символическом измерении интерсубъективных взаимодействий, и, прежде всего, понятие «обобщенного другого». Центральное для символического интеракционизма положение о социальном конструировании человеческой деятельности теперь должно рассматриваться с учетом влияния цифровых медиа, опосредующих эти взаимодействия.

Прежде всего, должно быть пересмотрено само понятие «Я» (self), которое согласно классическому определению Дж. Г. Мида представляет собой не столько субстанцию, сколько процесс и конституируется посредством нашего осмысления социально конструируемой реальности. Этот процесс существует не сам по себе, а лишь как фаза социальной организации в целом, частью которой является индивид (с. 89). «Я» – не есть нечто фиксированное, стабильное. Это скорее объект постоянного переопределения и пересмотра в результате социальных взаимодействий.

Особую роль для понимания процессов конструирования социальной реальности играют проанализированные Мидом механизмы формирования представления об «обобщенном другом» (процедуры типизации). Это понятие предполагает, что в интерсубъективном пространстве взаимодействий создается

структура, которая состоит из норм и ценностей общества в целом и обозначает стандарты приемлемого или нормального социального поведения. «Обобщенный другой» – прежде всего личностное знание о законах и нормах общества, в котором индивид действует как участник того социального порядка, который соответствует культурным стандартам. Развитие цифровых медиа и доминирование ценностей потребительской культуры изменили во второй половине 1990-х годов сам характер интерсубъективных взаимодействий, которые прежде рассматривались как ничем не опосредованные взаимодействия между людьми, и трансформировали механизмы создания «обобщенного образа другого».

Новая трактовка интеракционизма, по мнению авторов, должна основываться на идеях Бодрийяра об исчезновении границы между образом, симулякром и реальностью. В мире гиперреальности различия между реальным и нереальным стираются, а культура и общество становятся потоком недифференцируемых образов и знаков. Тотальная симуляция реальности приводит к тому, что понятие «живого» события существенно меняется. Так, «живая» музыка, будучи записана в iPod, может быть воспроизведена как «живое» событие, которое реально имело место намного раньше.[1] Таким образом, ментальный ландшафт общества, порожденного XX веком, превращается в хаотическое множество созданных на цифровой основе символов, образов, цветов, звуков, заголовков и всех связанных с ними значений.

В отличие от классического символического интеракционизма, предлагаемая авторами трактовка гиперсимволической интеракции неразрывно связана с информационной эрой. По мнению авторов, речь идет об опосредовании человеческих взаимодействий цифровой репрезентацией,

[1] Baudrillard J. Simulacres et simulation. – P.: Galilée, 1981.

непрерывно проникающей с экранов телевизоров в нашу повседневную жизнь и существенно меняющей механизм социального конструирования.

Гиперсимволическая интеракция основана на новых мельчайших символах информационной эпохи, таких как 1 и 0 компьютерного языка, пиксели цифрового изображения и создаваемые с их помощью образы. К новым символам относятся также гораздо более крупные повседневные коммерческие образы рекламы, воплощающие в себе ценности и нормы современного общества. Порожденный опосредующим влиянием маркетинговой и рекламной стратегий визуальный компонент медиа содержит в себе скрытый, предназначенный для манипулирования код, который становится важным фактором социализации.

Свое утверждение о том, что гиперсимволизм как новый тип символизации пронизывает собой все общество, авторы иллюстрируют таким примером, как влияние, оказываемое американской телевизионной обучающей передачей «Улица Сезам» на формирование детского сознания. «Улица Сезам» способствует формированию у детей не только представления о языковых значениях, но и некоторых абстрактных идей. На примере того, как персонажи, созданные на основе цифровых символов, с телеэкрана определяют и направляют процесс обучения, можно наблюдать конструирование реальности из цифровой не-реальности.

«Улица Сезам» воздействует на формирование у маленьких зрителей тесной ассоциативной связи телевидения с комфортом и развлечением, способствуя восприятию этого медиа-института как объекта доверия и полноправной реальности. Передача одновременно обеспечивает детей универсальными культурными фигурами, «иконами», роль которых выполняют задействованные в программе кукольные персонажи, и наряду с этим помогает «продвигать» множество связанных с этим коммерческих продуктов. Границы

между символическими иконами, визуальными стимулами и продвижением коммерческих продуктов становятся неразличимыми. Таким образом, телевизионные программы, подобные «Улице Сезам» превращаются во влиятельных агентов социализации, которые, способствуя вовлечению детей в визуальную культуру, делают их более восприимчивыми и к другим цифровым реальностям.

Новая реальность, создаваемая масс-медиа и консумеристской культурой, воспринимается как другая, но полноправная часть объективной реальности. Она в большей степени способствует укреплению господствующей корпоративной парадигмы ценности и выгоды, чем гуманистических культурных ценностей. В связи с этим, как подчеркивают авторы, открываются широкие возможности для теоретического синтеза идей Маркса, Вебера и Мида.

Кроме того, свой вклад в ревизию символического интеракционизма могут внести такие науки, как эволюционная психология, социобиология и исследования высшей нервной деятельности. Так, исследования высшей нервной деятельности открывают новую перспективу для понимания изменений в сфере значений, обусловленных консумеристской культурой. Речь идет о нейромаркетинге как новом направлении в маркетологии, которое представляет собой нейрологическое изучение ментального состояния личности и ее реакций в тот момент, когда она воспринимает маркетинговые месседжи (message). Этот подход к потребительской практике лежит в основе всех техник продажи и тактик продвижения коммерческих продуктов и направлен на объединение рыночных потребностей с институтами и ценностями общества.

Применение маркетологами ряда методов (таких, например, как функциональный магнитный резонанс) направлено на то, чтобы сориентировать мозговую активность и эмоциональные реакции на определенные продукты: марки автомобилей, рекламу политических компаний и т.д., то есть создать

месседжи, которые будут восприниматься потребителями и доставлять им удовольствие (с. 93–94). Эта методология основывается на утверждении о разной роли отделов мозга, который разделен на новую «гуманизированную» часть, средний мозг, и наиболее древнюю часть – «рептильный мозг». Именно последний связан с глубинными до-сознательными механизмами процесса принятия решений и, заставляя потребителя сделать выбор, опирается на цели обеспечения нашего существования как биологического вида. Тем самым «рептильный мозг» определяет формы нашего существования в обществе. Авторы приводят пример авиакомпании *Delta Airlines*, давшей одной из своих авиалиний название *Song* (песня). Подобная маркетинговая стратегия направлена, прежде всего, на продажу того ощущения удовольствия, которое это слово вызывает у потребителя и которое продается вместе с самим продуктом и воспринимается нами бессознательно. Таким образом, пересечение методов физиологии, биологии, эволюционной психологии и маркетинга дает возможность пересмотреть на новой основе представления о механизмах интерсубъективных взаимодействий и социального конструирования мира символических значений.

Что касается социобиологии, то, по мнению авторов статьи, важное значение для новой интерпретации символического интеракционизма имеет подход, который утверждает неизбежность конвергенции наук о человеке. Так, Э. Уилсон выдвинул понятие «объединения» (consilience) знания.[1] Он говорит о том, что естественные и гуманитарные науки связаны эволюционным происхождением человеческой деятельности. Единство религии, искусства, философии и музыки восходит к нашему общему происхождению и набору генов. Рассматривая эти области с точки зрения единства и экономии универсальных физических законов, Уилсон предлагает использовать термин

[1] Wilson E.O. Consilience: The unity of knowledge. – N.Y.: Knopf, 1998.

«мемы» для описания «социальных генов», являющихся результатом взаимосвязей между биологией и социологией. Именно они являются основой социального кода, который детерминирует наш социальный конструируемый мир, имеющий и биологическое измерение, опосредуемый и модифицируемый своей химической и физической природой.

Исходя из представлений о повсеместно проникающей цифровой реальности (pervasive digital reality), Линч и Макконата в качестве основы для обновления парадигмы символического интеракционизма предлагают ряд формально-теоретических положений, которые в дальнейшем должны разрабатываться на эмпирическом уровне. Основное из них состоит в том, что возникновение новой формы «обобщенного другого» в контексте повсеместно электронно опосредованного мира фундаментально изменяет соотношение между сферой человеческого и его окружением: эта новая форма больше не нуждается в человеческом вмешательстве для своего распространения и последующего влияния на население. Механизмы создания и распространения символов и принятия решений в мире всепроникающей цифровой реальности все больше выходят из-под сознательного контроля человека и общества, который может быть осуществлен только при условии личностного и индивидуального электронного доступа к цифровой репрезентации реальности.

М.Е. Соколова

КРОТЦ Ф. ТЕОРИИ ДЕЙСТВИЯ И СИМВОЛИЧЕСКИЙ ИНТЕРАКЦИОНИЗМ КАК ОСНОВА НАУЧНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ КОММУНИКАЦИИ.

KROTZ F. Handlungstheorien und symbolischer Interaktionismus als Grundlage kommunikationswissenschaftlicher Forschung // Theorien der Kommunikations- und Medienwissenschaften: Grundlegende Diskussionen, Forschungsfelder und

Theorieentwicklungen / Hrsg. von C. Winter, A. Hepp, F. Krotz. – Wiesbaden: VS, 2007. – S. 29–47.

Цель своего исследования Фридрих Кротц (университет Эрфурта, Германия) видит в переопределении оснований науки о коммуникации с помощью конститутивных положений теорий действия. Среди них особые надежды он возлагает на эвристический потенциал категорий символического интеракционизма.

Люди воспринимают коммуникацию как действие, направленное на других людей. Поэтому коммуникативная ситуация всегда оказывается также моментом самоидентификации (подтверждением своего присутствия), и всякое взаимопонимание (договоренность, сообщение) становится собственным достижением и признанием. Вместе с тем, разговор о коммуникации неизменно касается знаков и значений знаков, разделяемых всеми, без кого ее осуществление невозможно. Индивидуальное коммуникативное действие культурно и социально структурировано и институционализировано гораздо больше, чем следует из упрощенной коммуникационной модели типа «передачи информации» («Informationstransport»). Потребность в общении (kommunizieren), обращенная к другому, является, безусловно, социальным действием. Таким образом, теории действия образуют фундамент теории коммуникации, поскольку действие играет определяющую роль в становлении и преобразовании социальной и культурной реальности.

Исходя из сказанного, автор следующим образом формулирует задачи своей статьи: во-первых, рассмотреть перспективы развития науки о коммуникации с точки зрения различных теорий действия; во-вторых, показать, что теория коммуникации не использует и даже опрометчиво ограничивает аналитические возможности теорий действия; в-третьих, оценить концептуальный ресурс теорий действия, учитывая потребности в осмыслении

процесса медиатизации социального общения (использования новых электронных технологий).

Теории действия рассматривают индивидуальное действие (культурно и общественно закрепленное) как фундаментальную категорию социальных наук, не нуждающуюся в эмпирическом подтверждении. Переживание, размышление и в особенности общение являются в таком случае специфическими формами социального (общезначимого) действия. Конечно, действия и их последствия могут и должны эмпирически исследоваться, однако в каждой теории имплицитно или эксплицитно присутствуют неизменные утверждения, по поводу которых можно только рефлексировать.

Теории действия трудно объединить в едином поле. В зависимости от того, определяется ли действие (и значит коммуникация) внешним, независимым наблюдением, или внутренними, не прогнозируемыми извне ментальными процессами, их можно подразделить, согласно Кротцу, на два основных типа. К первому типу стоило бы отнести теории, трактующие действие как выбор. Так, для поведенческих теорий принципиально важна реакция человека на внешние раздражители. Они редуцируют действие к выбору предложенных альтернатив, используя, преимущественно, конструкт мотива, потребностей, побуждающих индивида к принятию решений. Для пояснения своей мысли автор обращается к суждениям Д. Маккойла, различающего четыре парадигматических подхода к коммуникации, посредством которых структурируется наука о коммуникации.

Понимание коммуникативного действия как **направленного внимания**, распространено в рекламных исследованиях, поскольку реклама должна возбуждать внимание. В этой парадигме коммуникативное действие сводится к реактивному поведению в ответ на раздражители, не существенно отличаясь от других видов реактивного поведения.

Понимание коммуникации как **информационного сообщения** – также случай теорий альтернативного выбора. С этим представлением весьма тесно связан в науке о коммуникации известный тезис пользы-и-удовольствия. Здесь решения возникают уже заранее под воздействием психологических предпочтений. В обеих парадигмах, по Маккойлу, ни активность восприятия коммуникаторов, ни процесс понимания не являются частью процесса коммуникации.

Теории действия, подводимые под второй тип, объясняют природу коммуникативного действия внутренней активностью оперирования понятиями как смыслами и значениями. Убедительная версия этого понимания социального действия представлена в (не случайно постоянно цитируемых) трудах М. Вебера. Согласно ему, социальное действие по общему смыслу всегда направлено на поведение другого (с. 33). В данном случае действие конституируется самим актором. Такую точку зрения отстаивал также основатель символического интеракционизма Дж. Г. Мид, позже и несколько иначе – Ю. Хабермас. Характеризуя данный парадигматический взгляд на коммуникативное действие, Маккойл выделяет в нем два подвида.

В парадигме восприятия коммуницирование определяется через **понимание**, без коммуникации невозможна речь. Понимание при этом означает, что реципиент соединяет содержание коммуникации со своими собственными представлениями и мыслями.

В ритуальной парадигме коммуникация предстает как **продукт сообщества**, связывающего своих членов. На передний план здесь выдвигается то, что люди посредством своих коммуникативных действий становятся частью сообщества, соотнося с ним свои действия; соответственно, менее важным оказывается вопрос, почему они пытаются все же понимать себя отдельно. Лежащий в основе этих парадигм образ человека отличается от того, который

дают две вышеописанные парадигмы. Даже в обыденных обстоятельствах человек действует не автоматически (чисто реактивно), а на основе значений, которые объект, явление, раздражитель или вообще знаки привносят собой. Не сам по себе знак вызывает какую-то активность, а его интерпретация вызывает переживания и подталкивает к действию. В этом состоит специфика и отличие человека от животного. Человек формируется в процессе сложной, символически опосредованной интеракции, с использованием языка. Следовательно, он всегда включен в коммуникацию, потому что без понимания нет общения.

От того, что действие принимает форму речи, оно не перестает быть социальным действием. Данный тип теорий действия получил распространение в немецких программах создания науки о коммуникации в 1970-е годы. Так, В. Тайхерт выстраивал свой подход к анализу коммуникации на основе теории символического интеракционизма; К. Ренкшторф пытался соединить ее исходные посылки с объективированными, количественными методами.

Автор подчеркивает, что теория действия, ориентированная на смысл и значение, не могла бы быть редуцирована к простому информационному обмену. Сообщение, по сути, представляет собой абстракцию фактически происходящего; оно отнюдь не всегда бывает осмысленным. На самом деле участники продуцируют знаки и осуществляют коммуникацию, только если другие участники придают им значение, то есть считают их субъективно осмысленными.

Установка на побудительную силу смысла и значения в теориях действия, подразумевает, что социальная действительность является символически конструируемой, создаваемой коммуникативными действиями людей и не может быть описана «объективно» внешним наблюдателем, не учитывающим участия актора.

Далее автор схематично рассматривает три разных варианта установок теорий действия, замечая при этом, что они не поддаются четкому разграничению. Первая из них объединяет интерпретации коммуникативных проблем, опирающиеся на методологию символического интеракционизма, у истоков которой стоял Дж. Г. Мид. Он утверждал, что человек обретает способность к коммуникации благодаря социальному сообществу. В нем он рождается, живет и формируется, становится человеком своего времени и культуры. Мида интересовало, из каких механизмов работы сознания возникают в ходе коммуникативных действий идентичность, внутренняя структура, компетенция и опыт человека. До какой степени сложными оказались эти механизмы, продемонстрировали впоследствии исследования Э. Гоффмана, также причисленного автором к данной теоретической традиции. Ее перспективность обнаружила себя и в расширении предметной области научного внимания, обратившегося к изучению парасоциальной интеракции и парасоциальных связей. Примером могут служить работы Хортона и Воля (Horton / Wohl) и Хортона и Стросса (Horton / Strauss).

Две другие установки теорий действия, используемые в дискурсе науки о коммуникации, вытекают из их феноменологического и герменевтического обоснования. Представители феноменологической социологии (А. Шюц, Г. Гарфинкель, П. Бергер и Т. Лукман) исходили из убеждения, что люди конструируют свою повседневность так же, как креативные методологи образ социальной грамматики (с. 36). Эта грамматика должна быть воссоздана из контекста, к которому она приложима. С позиции коммуникативной теории эти идеи в наши дни получают поддержку в исследованиях Кепплера и Аясса (Ayass).

Сторонники герменевтического подхода к анализу социальной коммуникации больше внимания уделяют реконструкции смыслов. Среди

современных последователей такого метода концептуализации автор называет Оверманна, Рейхертца, Хитцлера и Хонера. По его мнению, внимания также заслуживают работы Чарлтона и Нойманна по медиа-восприятию (с. 36).

В какой-то мере этой же установке следуют представители *cultural studies*, например, Хепп и Винтер, которые хотя и выходят за пределы символическо-интеракционистской интерпретации действия, но в полной мере сохраняют «семиотическое сочувствие» к социальному и культурному миру. За отказом от монолитной теории просматривается уверенность в том, что всякое культурное и социальное образование нуждается в конкретизации и отсылке к контексту. С точки зрения науки о коммуникации, интересны проекты Трирской исследовательской группы (Фогельгезанг, Хепп). В данной связи автор подчеркивает целесообразность уточнения понятия «релевантного контекста».

Оценивая вышеуказанные установки теории действия с позиций науки о коммуникации, автор все же отдает предпочтение символическому интеракционизму как базовой модели. С его помощью, во-первых, можно показать внешнее и внутреннее измерения процесса коммуникации, не абстрагируя при этом ее существенных свойств (чего не может избежать модель Маккойла). Во-вторых, интеракционистская логика позволяет точнее оценить часто лишь постулируемую значимость коммуникации и обладает большей доказательностью, когда выводит необходимость коммуникативных отношений для становления человека в его историко-культурной и экзистенциальной специфике.

В подтверждение своих суждений Кротц указывает на содержательную близость категории действия с ключевыми понятиями символического интеракционизма. Прежде всего, всякое действие и переживание зависят от символически выраженной **перспективы** восприятия, которая упорядочивает, определяя и структурно выстраивая, отдельные фрагменты восприятия

индивида. Нельзя также помыслить какой-либо род активности вне рамочного понятия **ситуации –** фронтира взаимодействия людей друг с другом. Ситуация дает ту конкретную основу интеракции, которая, с одной стороны, постоянно удерживается всеми участниками и, с другой, – постоянно ограничивает перспективу действия, устанавливая, что к нему относится, а что нет.

На принципиальную связь с сущностью действия указывает и понятие **роли,** неизбежной в ситуативном поведении индивида. Метафорика театра, используемая Гоффманом для описания типов общения, была призвана подчеркнуть необходимость принятия роли как условия социальной связи. Человек в фактическом действии предстает не целостно, но определенным (ролевым) образом, сообразно ролям других участников действия. Более того, роль должна им не только проигрываться, но и пониматься как ситуативное выражение личностной идентичности. Именно множественность и всеобщность ролевого взаимодействия развивают в человеке способность к действию и переживанию. Поэтому нельзя обойти вниманием и понятие **идентичности** как итоговой идеи личности.

Подход Мида примечателен тем, что социальную компетенцию человека он понимает, как необходимо возникающую коммуникацию и пытается из условий коммуникации вывести специфику человеческой деятельности, его способностей, сознания и самосознания. В основе данного подхода лежит социально-культурная нормативность действия, подразумевающая опыт как источник всякого понимания. Коммуникация трактуется здесь как комплексный процесс, внешне наблюдаемый и, одновременно, осваиваемый посредством внутренней активности ее участников (с. 39).

Для аудитории медийной среды это означает возможность конструировать проект общности, реалистичность которого аудитория выверяет своими ответами. О коммуникации можно говорить лишь в том случае, когда каждый

ее участник соотносит себя с символическим миром, инсценировками и способом выражения другого. Эту модель рецепции уместно приложить и к телевидению, символически воспроизводящему внутренний диалог участников, который опирается на собственные цели, так же как и на базу принятия перспективы, гипотетически реконструктивно направленной на другого.

Поэтому автор считает оправданным дальнейшее развитие этой модели. Она, в частности, помогает оспорить определения коммуникации, выдвинутые Маккойлом. Очень важно, что центральное значение в этой модели придается восприятию роли и перспективы другого, с ясным указанием на вектор развития социального и индивидуального переживания. Благодаря такой позиции в коммуникации выделяется модус обобществления, который позволяет увидеть целое в единичном. Отдельный индивид, принимая перспективу другого, осознает самого себя, что необходимо в человеческой действительности. Целое как совокупность образуется потому, что перенимаются традиционные структуры языка, знаков, а также нормативность и через все это поддерживается практика воспроизводства значений в ходе взаимного ограничения перспектив. Последнее, как подчеркивал Х. Йоас, отнюдь не препятствует креативности общения (с. 41).

Все сказанное позволяет автору утверждать, что опорная для теории коммуникации модель массовой коммуникации, не обладает достаточной релевантностью для анализа медиатизированных форм коммуникации в эпоху Интернета. Эти формы включают сегодня, наряду с межличностной коммуникацией, индивидуализированную массовую коммуникацию, так же как общение с интерактивными медиа средствами. С точки зрения систематизированной теории действия, можно утверждать, что разговор (Gespräch) должен рассматриваться сегодня как первичная форма коммуникации, как ее прообраз, и что медийные возможности ведут к ее

дифференциации, на фоне которой выделяются три различных типа коммуникации:

– коммуникация с инсценированным медиальным содержанием, то есть медиа-восприятие Web-страниц, телевидения, книг и дополняющей их продукции;

– медиакоммуникация с людьми посредством SMS, электронной почты, мобильного телефона и т.д.;

– коммуникация с «интеллектуальными» компьютерными программами, то есть, «разговоры» с искусственным интеллектом (Softwarerobotern), например, вопросами-ответами в компьютерных играх.

Следует также учитывать совмещение подобных коммуникаций, которое делает их возможными и в горизонтальном, и в вертикальном смыслах, то есть внешне наблюдаемыми и внутренне интенсивными для всех участников. Нынешнее развитие указанных типов, порождая все новые предложения, характеризуется возникновением целого узла конститутивных ожиданий в сфере общения. Поэтому автор считает целесообразным концептуально и эмпирически исследовать медиатизированные формы коммуникации в их всеобщих и особенных свойствах, соотнося их с разговором как праформой.

Специфика форм восприятия и использования специализированных медиа влияет на человеческую повседневность. Происходящие в результате изменения в ней Кротц называет «медиатизацией» коммуникативного действия, под которой он понимает универсальный исторический процесс организации, соотнесения друг с другом множества разрозненных эмпирических феноменов общения. Как метапроцесс социального изменения, медиатизация социального взаимодействия подпитывается из многих источников и в своей комплексности не может быть сведена к какой-то одной его части.

Итак, заключает автор, если не ограничивать рассмотрение изменений лишь прогнозом будущего образа совместной жизни, называемого, в зависимости от интереса, «медиа-, знания- или информационным обществом», то следует сосредоточиться на анализе новых конкретных коммуникативных форм. Наука о коммуникации должна, по мнению автора, исследовать и теоретически объяснять определенную перспективу предметной области медиа и коммуникации, не забывая при этом, что она охватывается и другими науками, в частности психологией и социологией. Обобщенную теорию коммуникативного действия следует создавать совместными усилиями.

Л.В. Гирко

III. СОЦИОЛОГИЯ ЭМОЦИЙ

Статьи

О.А. Симонова

СОЦИОЛОГИЧЕСКОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ ЭМОЦИЙ В СОВРЕМЕННОЙ АМЕРИКАНСКОЙ СОЦИОЛОГИИ: КОНЦЕПТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ

В качестве общепризнанного исследовательского поля социология эмоций существует около сорока лет, на протяжении которых возникли разнообразные теоретические и эмпирические программы их изучения. О социальной функции эмоций упоминали еще социологи-классики − Г. Зиммель, М. Вебер, Э. Дюркгейм, − отмечавшие, что эмоции «скрепляют» общество, обеспечивая его внутреннюю солидарность, способствуют зарождению новых идеологий, направляют социальные действия. Зиммель обратил внимание на социальную природу эмоций, которые он рассматривал в контексте непосредственных взаимодействий людей, признавая эмоциональный поток частью конфликтного процесса. Вебер выделил в особый тип аффективные действия, объем которых в обществе может изменяться с течением времени. Маркс включал в понятие отчуждения эмоциональную депривацию рабочего класса. Дюркгейм признавал роль чувств в возникновении религий, а также отмечал эмоциональную подоплеку социальной солидарности. В американской социологии исследователи изначально признавали существенную функциональную роль эмоций в обществе, рассматривая проблемы мотивации социального действия (У. Самнер, Ч. Кули, А. Смолл, У. Томас и др.). В частности, Кули придавал особое значение конкретным эмоциям, особенно гордости и стыду, которые являются результатами оценки образа Я в глазах других (понятие «зеркального Я»). Тем не менее, у основной массы социологов этот феномен продолжительное время не вызывал интереса.

В современной социологии этот интерес заметно повысился. В данной работе мы намерены рассмотреть логику исследования эмоций и очертить круг концепций, в рамках которых данный феномен анализируется в современной западной (американской и – отчасти – европейской) социологической науке. Большинство современных исследований эмоций являются междисциплинарными по своему характеру. В настоящей статье мы сосредоточимся исключительно на специфике социологического понимания эмоций, оставив за рамками рассмотрения психологический и антропологический подходы.

За последние десять лет появилось множество статей, посвященных отдельным эмоциям[1], роли эмоций в социологических исследованиях (особенно качественных)[2], кросс-культурным исследованиям эмоций[3]. Эмоции анализируются в различных отраслях социологического знания, особенно в социологии организаций, здоровья[4], спорта, преступности[1], культуры[2], причем

---

[1] См.: Averill J.R. Illusions of anger // Agression and violence: Social interactionist perspectives / Ed. by R.B. Felson, J.T. Tedeschi. – Wash.: American psychological association, 1993. – P. 171–192; Cancian F.M., Gordon S.L. Changing emotion norms in marriage: Love and anger in U.S. women's magazines since 1900 // Gender & society. – L., 1988. – Vol. 2, N 3. – P. 308–342; Clark C. Misery and company: Sympathy in everyday life. – Chicago: Univ. of Chicago press, 1997; Handbook of the sociology of emotions / Ed. by J.E. Stets, J.H. Turner. – N.Y.: Springer, 2006; Scheff T.J. Shame and conformity: The deference-emotion system // American sociological rev. – Wash., 1988. – Vol. 53, N 3. – P. 395–406.; Scheff T.J. Socialization of emotion: Pride and shame as causal agents // Research agendas in the sociology of emotions / Ed. by T.D. Kemper. – Albany: State univ. of New York press, 1990. – P. 281–304.

[2] См.: Blackman S.J. «Hidden ethnography»: Crossing emotional borders in qualitative accounts of young people's lives // Sociology. – L., 2006. – Vol. 41, N 4. – P. 699–716.

[3] См., например, Ekman P. Emotions in the human face. – N.Y.: Pergamon, 1972.

[4] См.: Hochschild A.R. The managed heart: Commercialization of human feeling. – Berkeley: Univ. of California press, 1983; Theodosius C. Recovering emotion from emotion management // Sociology. – L., 2006. – Vol. 40, N 5. – P. 906–907.

как в сфере межличностных взаимодействий, так и в крупных социальных структурах, коллективном поведении.

Хотя социология эмоций как особая исследовательская область сегодня постоянно расширяется, многие фундаментальные концептуальные вопросы остаются нерешенными, разработка общей социологической теории в этой сфере остается делом будущего, а эмоции рассматриваются в основном в рамках отдельных социологических школ. Особенность современного подхода к феномену эмоций состоит в том, что в первую очередь акцентируется его социальная природа и анализируются процессы управления эмоциями в различных ситуациях. В этой связи для современной социологии характерно возрождение интереса к *психоаналитическим* идеям, поскольку психоанализ дает возможность обнаружить скрытые эмоции и проанализировать способы их выражения[3]. Чрезвычайно велик интерес к эмоциям в *социологии организаций* и теориях *современного менеджмента*[4], где исследуется мастерство управления

---

[1] См., например, Giordano P.C., Schroeder R.D., Cernkovich S. Emotions and crime over the life course: A neo-meadian perspective on criminal continuity and change // American j. of sociology. – Chicago, 2007. – Vol. 112, N 6. – P. 1603–1662.

[2] См.: Cordero R., Carballo F., Ossandon J. Performing cultural sociology: A conversation with Jeffrey Alexander // European j. of social theory. – L., 2008. – Vol. 11, N 4. – P. 523–542; Handbook of the sociology of emotions. – N.Y., 2006; Summers-Effler E. A theory of self, emotion and culture // Advances in group processes. – Oxford, 2004. – Vol. 21. – P. 273–308; Summers-Effler E. Defensive strategies: The formation and social implications of patterned self-destructive behavior // Ibid. – P. 309–325.

[3] Clark S. Theory and practice: Psychoanalytic sociology as psycho-social studies // Sociology. – L., 2006. – Vol. 40, N 6. – P. 1153–1169; Craib I. Experiencing identity. – L.: Sage, 1998; Elliott A. Social theory and psychoanalysis in transition: Self and society from Freud to Kristeva. – L.: Free association books, 1999; Theodosius C. Recovering emotion from emotion management // Sociology. – L., 2006. – Vol. 40, N. 5. – P. 893–910.

[4] См.: Hochschild A.R. Emotion work, feeling rules, and social structure // American j. of sociology. – Chicago: Chicago univ. press, 1979. – Vol. 85, N 3. – P. 551–575; Hochschild A.R. The managed heart. – Berkeley, 1983; Lawler E.J., Yoon J. Power

эмоциональными состояниями, а последнее рассматривается как составляющая эффективности организации. Одновременно развивается *социология идентичности*[1], поскольку идентичность, будучи одной из структурных характеристик общества, эмпирически определяется через чувства – принадлежности, уникальности, уверенности в себе. Конечно, эти направления не исчерпывают всего исследовательского поля в этой предметной области, так как повышенный интерес к этому феномену можно сегодня наблюдать в рамках каждого социологического направления.

В чем причины такого интереса? Способствует ли исследование эмоций более адекватному пониманию социальных взаимодействий? Действительно, эмоции можно наблюдать в процессе их выражения, но не всегда люди выражают то, что чувствуют. Более того, и структурный, и культурный контексты любой ситуации могут сказать очень многое о причинах и следствиях поведения индивидов и групп. В чем в таком случае состоят цель и необходимость изучения внутренних состояний, которые не совпадают с их выражением? Тем не менее, данное направление в социологии стало настолько влиятельным, что в самом общем смысле можно говорить о пересмотре модели *homo sociologicus*[2], которая теперь включает такие переменные, как чувства,

---

and the emergence of commitment behavior in negotiated exchange // American sociological rev. – Wash., 1993. – Vol. 58, N 4. – P. 465–481; Lawler E.J., Yoon J. Network structure and emotions in exchange relations // American sociological rev. – Wash., 1998. – Vol. 63, N 6. – P. 871–894.

[1] См.: Craib I. Experiencing identity. – L., 1998; Giddens A. Modernity and self-identity: Self and society in late modern age. – Cambridge: Polity, 1991; Heise D.R. Understanding events: Affect and the construction of social action. – Cambridge: Cambridge univ. press, 1979; Stets J.E. Emotions in identity theory: The effect of status // Advances in group processes. – Oxford, 2004. – P. 51–76; Stryker S. Integrating emotion into identity theory // Ibid. – P. 1–23 и др.

[2] См.: Дарендорф Р. Homo sociologicus: Опыт об истории, значении и критике категории социальной роли / Дарендорф Р. Тропы из утопии: Работы по теории и истории социологии. – М.: Праксис, 2002. – С. 148–162.

настроения, переживания, объединенные термином «эмоции» и признанные в качестве важных детерминант социального поведения. Р. Дарендорф понимает под homo sociologicus некую точку пересечения индивида и общества, где человек предстает как носитель набора социальных ролей. Социология всегда обращалась к понятию социальной роли как к одному из основных элементов анализа[1]. Ограничения такой модели давно стали очевидными, однако социологическое знание движимо основным вопросом: как эта модель соотносится с живым, реальным человеком. Исследуя эмоции, социология идет по пути все большей детализации человеческого поведения, демонстрируя, как люди ориентируются на нормативные ожидания общества, притом, что исполнение социальных ролей остается «живым» процессом. По мнению Дж. Александера, социальные науки не уделяют должного внимания внутренней среде действия; разрабатываемая им культурная социология имеет целью показать, что люди участвуют в культурных практиках, а культурные смыслы действия порождают эмоции, которые в свою очередь будут служить мотивационной силой для социальных действий. Поэтому многие социологи сосредоточены на так называемых «перформативных» (performative) качествах действия, а процесс исполнения включает как непосредственное осуществление социальных ролей, так и стратегическое поведение, когда индивид управляет впечатлениями других, в частности, собственными и чужими эмоциями[2]. Таким образом, эмоции оживляют модели социальных действий, создают целостность и непрерывность субъективной жизни и реальность жизни социальной, поскольку испытываются как личные переживания и в то же время оказываются связанными с социальными и культурными структурами.

---

[1] Там же. – С. 149.
[2] Cordero R., Carballo F., Ossandon J. Performing cultural sociology. – Op. cit. – P. 528–529.

«Главная и самая интригующая проблема социологического анализа эмоциональных состояний – в понимании их воздействия на поведение, на социально значимые действия людей» – отмечает Ю. Левада[1]. По нашему мнению, эмоциональные состояния должны включаться в фокус внимания социолога не только в тех случаях, когда структурные и культурные переменные не до конца проясняют ситуации (примером может служить гнев, обуславливающий преступное поведение и не связанный со статусными и культурными характеристиками ситуации[2]); эмоции сопровождают любые действия индивидов и групп. В какой степени они могут влиять на определение ситуации, менять цели действия и в какой мере это осознанный процесс? Возможно, эмоции сигнализируют об автоматической оценке ситуации (например, безотчетный страх), в таком случае являются ли они автономными переживаниями или следуют за оценкой ситуации? Основные вопросы социологии эмоций можно свести к следующему: каковы функции эмоций в социальной структуре и их роль в воспроизводстве и изменении социально-культурного мира? Большинство подходов исходят из убеждения, что неправомерно пренебрегать изучением эмоций именно с социологической точки зрения. Можно согласиться с Дж. Тернером и Дж. Стетс в том, что эмоции делают социальные структуры и системы культурных смыслов жизнеспособными, с ними связаны не только отдельные социальные действия, но и формирование социальных структур[3]. С одной стороны, человек склонен управлять эмоциями согласно культурным и социальным правилам, с другой − эмоции не всегда подвластны социальному контролю. В одно и то же время

---

[1] Левада Ю. Проблема эмоционального баланса общества // Мониторинг общественного мнения. – М., 2000. – № 2. – С. 16.
[2] Giordano P. C., Schroeder R. D., Cernkovich S. Emotions and crime over the life course. – Op. cit. – P. 1610.
[3] Turner J.H., Stets J.E. The sociology of emotions. – Cambridge: Cambridge univ. press, 2005. – P. 1.

эмоции могут поддерживать социальное согласие и служить средством разрушения социальных структур и культурных традиций. Как типичные внутренние состояния акторов эмоции выступают необходимым связующим звеном между личностью и социальной структурой[1]. Таким образом, человеческое поведение связано с порождением и выражением эмоций. В то время как психология фокусируется на индивидуальных процессах, связанных с эмоциями, социология помещает индивида в социально-культурный контекст и анализирует, каким образом социальные структуры и культура влияют на возникновение и протекание эмоций применительно к индивидам.

Традиционно и исторически эмоции и разум противопоставлялись как иррациональность и рациональность или разделялись аналитически, − например у М. Вебера (целерациональное и аффективное действия) или у Т. Парсонса (инструментальные и экспрессивные переменные). Но эти процессы неразрывно связаны. Тернер и Стетс утверждают, что теоретическое социологическое изучение эмоций – это ключ к пониманию рациональности[2]. По Р. Коллинзу, эмоции являются показателем рациональности, поскольку рациональность зависит от оценивания полезности альтернативных линий поведения[3]. Все социологические теории указывают, что эмоции направляют процесс принятия решения, при этом неважно, происходит ли это осознанно или бессознательно. Таким образом, рациональность и эмоции связаны весьма сложным образом; эмоции могут играть существенную роль и в выборе целерационального курса действия (так, именно острые эмоциональные состояния, связанные с проблемой спасения, послужили одной из причин определенного экономического поведения у Вебера).

---

[1] Elliott A. Social theory and psychoanalysis in transition. – Op. cit. – P. 27.
[2] Turner J. H., Stets J.E. The sociology of emotions. – Op. cit. – P. 21–22.
[3] Collins R. The role of emotion in social structure // Approaches to emotion / Ed. by K.R. Scherer, P. Ekman. – Hillsdale (NJ): Erlbaum, 1984. – P. 385.

Среди социологов нет единого мнения относительно того, что же такое эмоции и как они соотносятся с такими терминами, как чувства, аффекты, настроения, переживания. В большинстве теоретических подходов эмоции определяются через те же понятия аффекта, чувства, переживания. Поэтому большинство исследователей склонны объединять все перечисленные феномены в понятии «эмоции». При этом под эмоциями часто имеются в виду сложные явления, например, доверие, страдание, горе. Более того, сюда же относятся и бессознательные или частично осознаваемые переживания. Главное направление современной дискуссии вокруг определения эмоций связано с проблемой соотношения их биологического и социально-культурного компонентов. Для большинства социологов эмоции социально сконструированы, то есть определяются согласно культурным представлениям и выражаются в соответствии с социальными нормами, чему индивиды научаются в процессе социализации и участия в социальных структурах. С. Гордон полагает, что происхождение эмоций − не биологическое, а обусловленное культурой: индивиды обучаются словесным определениям эмоций, формам эмоционального поведения и связывают значения каждой эмоции с разными типами социальных отношений[1]. Например, ревность возникает в ответ на вторжение другого человека в высоко ценимые отношения. Даже жесты, говорящие о той или иной эмоции, культурно обусловлены (например, опускание глаз при замешательстве). Однако, общепризнано, что некоторые эмоции являются универсальными для всех культур.

Действительно, эмоции ограничены культурными предписаниями, но связаны с физиологией человека, то есть всегда содержат биологический компонент. По мысли Дж. Тернера, одного из ведущих социальных аналитиков

---

[1] Gordon S.L. Institutional and impulsive orientations in selectively appropriating emotions to self // The sociology of emotions: Original essays and research papers / Ed. by D.D. Franks, E.D. McCarthy. – Greenwich (CT): JAI, 1989. – P. 118.

феномена эмоций, несмотря на то, что социальная структура и культура канализируют эмоции и могут регулировать их видимые проявления, социология должна учитывать и биологические причины их возникновения[1]. С позиции современной неврологии мозга, некоторые эмоции возникают раньше, чем человек может их осознать[2]. Таким образом, в социальных ситуациях ментальные реакции могут возникнуть до того, как индивид «присвоит» культурный ярлык тем ощущениям, которые он в данный момент переживает. Возможно, поэтому эмоции обладают потенциальной силой разрушать культурные правила. Часть социологических теорий включают в рассмотрение эволюционные аспекты эмоциональных процессов[3], подчеркивая, что ни нейрофизиологические процессы, ни культурное конструирование, ни рациональное сознание по отдельности не предопределяют способ и характер эмоциональных переживаний и их выражений[4].

Таким образом, в контексте социологического знания эмоции рассматриваются как сложные явления, включающие следующие элементы: 1) нейрофизиологическую реакцию; 2) социально сконструированные определения; 3) лингвистические обозначения, характерные для данной культуры; 4) способы телесного выражения − лицом, голосом, жестами; 5) восприятие и оценка объектов или событий[5]. Все эти элементы могут не

---

[1] См.: Turner J.H. On the origins of human emotions: A sociological inquiry into the evolution of human affect. – Stanford: Stanford univ. press, 2000.
[2] Turner J.H., Stets J.E. The sociology of emotions. – Op. cit. – P. 4.
[3] См.: Turner J.H. The evolution of emotions in humans: A Darwinian-Durkheimian analysis // J. for the theory of social behavior. – Springfield, 1996. – Vol. 26, N 1. – P. 1–33; Turner J.H. On the origins of human emotions. – Stanford, 2000; Wentworth W.M., Yardly D. Deep sociality: A bioevolutionary perspective on the sociology of human emotions // Social perspectives on emotion / Ed. by D.D. Franks, W.M. Wentworth, J. Ryan. – Greenwich (CT): JAI, 1994. – P. 21–55.
[4] Turner J.H., Stets J.E. The sociology of emotions. – Op. cit. – P. 10.
[5] Ibid. – P. 9.

встречаться одновременно, быть сложно переплетены и, разумеется, не могут быть охвачены во всей их полноте одной дисциплиной. Социологические теории сосредотачиваются на связях между их телесными проявлениями, процессами сознания и социальными и культурными структурами.

Помимо определения эмоций принципиальным является вопрос о том, *сколько* их существует. Универсальные эмоции называют *первичными*, на их основе формируются все прочие эмоциональные состояния. П. Экман в своих кросс-культурных исследованиях показал, что счастье, страх, гнев, печаль, удивление и отвращение как эмоциональные переживания универсальны[1]. Этим эмоциям свойственны не только сходные лицевые выражения, но и близкие физиологические реакции, а также − причины возникновения, непродолжительность, трудно контролируемый характер. Существуют разные классификации эмоций, но универсальность данных эмоциональных состояний общепризнанна. Об универсальности эмоций, называемых *вторичными* (например, гордость, стыд, ностальгия), судить сложно. Р. Плутчик предположил, что вторичные эмоции − это комбинации эмоций первичных[2]. Эту позицию разделяют Т. Кемпер и Дж. Тернер, утверждающие, что первичные эмоции имеют эволюционное значение для выживания и появляются на ранних стадиях человеческого развития[3]. Вторичные эмоции, по Кемперу, социально сконструированы и возникают в контексте переживания одной или большего числа первичных эмоций (например, чувство вины возникает на основе страха)[4]. В целом люди используют около 100 эмоций и могут

---

[1] См.: Ekman P. Emotions in the human face. – N.Y.: Pergamon, 1972.
[2] См.: Plutchik R. The nature of emotions // American scientist. – Durham (NC), 2001. – Vol. 89, N 4. – P. 344–350.
[3] См.: Kemper T.D. How many emotions are there? Wedding the social and the autonomic components // American j. of sociology. – Chicago, 1987. – Vol. 93, N 2. – P. 263–289; Turner J.H. On the origins of human emotions. – Stanford, 2000.
[4] Kemper T.D. How many emotions are there? – Op. cit. – P. 268.

относительно легко их распознавать и интерпретировать[1]. Хотя уже имеются социологические исследования таких эмоций как стыд, симпатия, радость, любовь, чувство вины, зависть, ненависть, гнев, замешательство, наиболее распространена самая простая классификация эмоций, разделяющая их на позитивные и негативные. Люди в большинстве случаев стремятся к позитивным эмоциональным реакциям и стараются избегать негативных. Таким образом, процесс взаимодействия и обязательства, формирующиеся в культурном и социально-структурном контексте, в определенной степени могут быть объяснены с помощью позитивных и негативных эмоций.

Проблема, однако, состоит в том, что не всегда легко определить, какой является та или иная эмоция – позитивной либо негативной. В ряду первичных эмоций переживания гнева, страха, печали и отвращения негативны, эмоциональное переживание счастья однозначно позитивно, но как быть с более сложными вариантами эмоций? Например, являются ли негативными ностальгия и тоска, а позитивными – преклонение или утешение? Возможно, именно контекст взаимодействия предопределяет позитивность / негативность эмоциональных реакций. Внушающие отвращение события иногда генерируют положительные эмоции, опасные, рискованные действия возбуждают волнение или трепет (например, преступления для подростков[2]), порой люди испытывают удовольствие от страданий. Последствия, производимые негативными эмоциями, могут быть позитивными в функциональном смысле – к примеру, страх защищает. Гнев, связанный с применением негативных санкций к правонарушителям, часто способствует восстановлению социального порядка. То же можно сказать о чувстве вины или стыда, которые заставляют индивидов

---

[1] Turner J. H., Stets J.E. The sociology of emotions. – Op. cit. – P. 20.
[2] Giordano P.C., Schroeder R.D., Cernkovich S. Emotions and crime over the life course: A neo-Meadian perspective on criminal continuity and change // American j. of sociology. – Chicago, 2007. – Vol. 112, N 6. – P. 1611.

исправлять ситуацию. Поэтому классификация эмоций на позитивные и негативные не позволяет анализировать сложные эмоциональные процессы, особенно когда часть эмоций не осознана. Сам процесс взаимодействия может определять содержание эмоции; например, вежливое замечание ведет к чувству стыда (негативной эмоции), но побуждает извиниться, что в итоге может принести облегчение и радость.

Т. Кемпер также классифицировал эмоции по темпоральному критерию, выделив эмоциональные состояния, ориентированные а) на прошлое (ностальгия, сожаление, депрессия), б) на настоящее (гнев, страх и удивление), в) на будущее (доверие, тревога)[1]. Он же провел различие между *интегративными* эмоциями (лояльность, гордость, любовь), которые объединяют членов группы, и эмоциями *дифференцирующими* (страх, гнев, презрение, зависть), которые поддерживают различия между людьми[2]. Дж. Тернер, Э. Лоулер и М. Ловалья группируют эмоции на основе процессов приписывания: когда источник позитивных событий приписывается Я, переживаются такие эмоции, как гордость и счастье, когда источник позитивных последствий приписывается другим, то возникает благодарность. Соответственно, когда негативные последствия приписываются Я, то переживаются печаль, чувство вины и стыд, в то время как негативные последствия, приписанные другим, как правило, провоцируют гнев[3]. Р. Тамм предложил «периодическую таблицу эмоций», связанную с социально-структурными условиями, которые продуцируют специфические эмоции[4]. Социология, таким образом, нуждается в описании социально-культурных

---

[1] См.: Kemper T.D. A social interactional theory of emotions. – N.Y.: Wiley, 1978.
[2] Ibid. – P. 40–42.
[3] Turner J.H., Stets J.E. The sociology of emotions. – Op. cit. – P. 288–289.
[4] См.: Handbook of the sociology of emotions / Ed. by J.E. Stets, J.H. Turner. – N.Y.: Springer, 2006. – P. 11–37.

условий, в рамках которых возникают разнообразные типы эмоций, и в определении возможных последствий этих эмоциональных реакций.

Дж. Тернер и Дж. Стетс систематизировали имеющиеся социологические концепции эмоций[1], разделив их условно на несколько групп (хотя сходные элементы встречаются во всех концепциях). Сходство касается представлений об управлении эмоциями, понимания эмоций как следствий социальных отношений, разделения их на позитивные и негативные. При этом эмоции, за редким исключением, рассматриваются в контексте межличностных взаимодействиях, в контакте лицом-к-лицу. В этой классификации концепции сгруппированы следующим образом: *драматургические и культурные теории эмоций* (С. Гордон, А. Хохшильд, М. Розенберг, П. Туа, К. Кларк); *теории ритуалов* (Р. Коллинз, Э. Саммерс-Эффлер); *структурные теории* (Дж. Барбалет, Т. Кемпер, Р. Тамм, Б. Марковски, Дж. Бергер, С. Риджвей, Дж. Хаузер, М. Ловалья, Р. Шелли); *теории символического интеракционизма* (С. Шотт, Д. Хейз, П. Берк, Ш. Страйкер, Дж. Маккол, Дж. Симмонс); *теории символического интеракционизма с элементами психоанализа* (Дж. Тернер, Т. Шефф); *теории социального обмена* (Э. Лоулер, Р. Форд, Л. Молм, К. Кук, Дж. Юн); *эволюционистские теории эмоций* (Дж. Тернер, В. Вентворт, М. Хаммонд). Позже Дж. Тернер разделил структурные теории на теории стратификации (Р. Коллинз, Дж. Тернер, Дж. Барбалет) и теории власти и статуса (Т. Кемпер, Р. Тамм, Р. Шелли, Дж. Бергер, С. Риджвей, М. Ловалья, Дж. Хаузер)[2]: в теориях первого типа исследуются эмоции, которые циркулируют в системе неравенства, преодолевая классовые и статусные различия; вторые фокусируются на эмоциях, обусловленных положением индивидов в системе социальной стратификации. Представляется

---

[1] Turner J.H., Stets J.E. The sociology of emotions. – Op. cit. – P. 23–25.
[2] Turner J.H. The sociology of emotions: Basic theoretical arguments // Emotion rev. – L., 2009. – Vol. 1, N 4. – P. 343.

целесообразным охарактеризовать каждую из перечисленных групп теорий, чтобы акцентировать основные направления социологического исследования эмоций.

Драматургические и культурные теории эмоций в основном опираются на работы Э. Гоффмана и содержат два основополагающих положения: культура определяет возникновение, протекание и выражение эмоций, а также главный предмет социологии эмоций – способы их выражения. Главное внимание уделяется межличностным взаимодействиям, в рамках которых индивиды исполняют свои роли перед аудиторией в соответствии с предписаниями культуры. Управление впечатлениями, которое Гоффман рассматривает во взаимодействиях лицом-к-лицу, или *столкновениях*, включает следующие черты: фокусирование внимания; готовность к вербальной коммуникации; взаимное рассматривание; формирование чувства «мы» и других совместных чувств; ритуальные способы контроля за взаимодействием[1]. Столкновения подразумевают эмоциональную составляющую – демонстрацию или выражение чувств в присутствии других людей. Гоффман не разработал собственной концепции эмоций, но всегда обращал внимание на эмоциональную динамику. Самое яркое – описание феномена *смущения или замешательства*, когда «срывается» драматическая постановка взаимодействия, когда невозможно следовать предписаниям, не выполняются ритуальные процедуры, неверно понимается ситуация, в том числе выражаются неподходящие эмоции. У аудитории также могут возникнуть негативные эмоции, которые сами по себе являются санкциями и приводят индивида в замешательство. Существуют ритуалы, исправляющие ситуацию – извинения, оправдания, новые презентации

[1] См.: Goffman E. Encounters: Two studies in the sociology of interaction. – Indianapolis: Bobbs-Merrill, 1961.

Я[1]. Другими словами, представители данной группы теорий берут на вооружение именно стратегическое управление эмоциями.

Здесь хотелось бы остановиться на двух концепциях – теории эмоциональной культуры С. Гордона и теории управления эмоциями А. Хохшильд, поскольку они включают основные моменты социологического исследования эмоций. С. Гордон пишет, что эмоции, даже если они имеют биологическое происхождение, трансформируются культурными значениями в социальные объекты, поскольку всегда направляются на других людей (например, зависть возникает к тем, кем восхищаются); поэтому эмоции есть комбинации телесных ощущений, жестов и культурных значений, которые индивиды узнают в социальных отношениях[2]. С точки зрения Гордона, социологический подход характеризуется тем, что психологические состояния и социальные условия одновременно отвечают за возникновение эмоций, но социально-культурный контекст изменяет эмоции, они подавляются или интенсифицируются в зависимости от ситуации, кроме того, частота и выражение различных эмоций могут меняться с течением времени[3]. Гордон формулирует понятие *«эмоциональной культуры общества»*[4]: в обществах формируются особые словари эмоций, а также верования, связанные с эмоциями, и нормы эмоционального поведения, которые и являются

---

[1] См.: Goffman E. The presentation of self in everyday life. – Garden City (NY): Doubleday, 1959.

[2] Gordon S.L. The sociology of sentiments and emotion // Social psychology: Sociological perspectives / Ed. by M. Rosenberg, R.H. Turner. – N.Y.: Basic books, 1981. – P. 563.

[3] Ibid.

[4] См.: Gordon S.L. Social structural effects on emotions // Research agendas in the sociology of emotions / Ed. by T.D. Kemper. – Albany: State univ. of New York press, 1990. – P. 180–203.

составляющими эмоциональной культуры[1]. Таким образом, в процессе социализации индивиды становятся эмоционально компетентными в исполнении ролей в различных ситуациях. В рамках эмоциональной культуры ученый выделяет два контекста действий: институциональный и импульсивный[2]. В институциональном контексте люди ощущают себя подчиняющимся нормам, а в импульсивном рассматривают себя как более спонтанных, относительно независимых от нормативных ожиданий. В первом случае эмоции находятся под полным контролем, во втором выражаются спонтанно. В рамках этих двух разных ориентаций одна и та же эмоция может нести разные значения. Например, в институциональной перспективе гнев рассматривается как потеря контроля над собой, нарушение обязательств по отношению к другим, в то время как в рамках импульсивной перспективы гнев сигнализирует о свободе от социальных норм. Гордон полагает, что импульсивная перспектива в основном связана с выражением первичных эмоций (страха, гнева, счастья, удивления, отвращения и печали), в результате

---

[1] Эмоциональная культура общества существует не только в языке, но и в ритуалах, художественных формах, документах, научных и популярных публикациях, религиозных текстах и пр. С. Гордон совместно с Ф. Кансиан исследовали, как изменились нормы выражения гнева и любви в браке с 1900 до 1979 гг. на выборке журнальных статей о браке. Из этих статей ученые выделили словарь эмоций и дифференцировали их различные типы. Они пришли к выводу, что в этот период эмоциональные нормы постепенно уточнялись. Журналы все больше выступали в защиту открытого выражения гнева, а к середине XX века любовь и гнев рассматривались как неотъемлемые части супружеских отношений. Это исследование показало, как меняется эмоциональная культура общества. См.: Cancian F.M., Gordon S.L. Changing emotion norms in marriage: Love and anger in U.S. women’s magazines since 1900 // Gender & society. – L., 1988. – Vol. 2, N 3. – P. 308–342.

[2] См.: Gordon S.L. Institutional and impulsive orientations in selectively appropriating emotions to self // The sociology of emotions: Original essays and research papers / Ed. by D.D. Franks, E.D. McCarthy. – Greenwich (CT): JAI, 1989. – P. 115–135.

чего словарь для выражения этих эмоций сравнительно мал и часто меняется в зависимости от ситуации, тогда как в институциональной перспективе такой словарь больше по объему и постепенно увеличивается[1].

Также как и С. Гордон, А. Хохшильд полагает, что в обществах формируется *эмоциональная культура*, которая включает представления о том, что люди должны чувствовать в разных типах ситуаций. Такая культура состоит из *эмоциональных идеологий,* содержащих перечень уместных эмоциональных реакций в основных сферах деятельности. Посредством социализации индивиды усваивают эмоциональные идеологии для разных контекстов действия, и сумма этих идеологий конституирует самые общие представления, свойственные эмоциональной культуре. В каждом специфическом контексте действий, существуют два основных типа норм: *правила чувствования* (feeling rules) *и правила выражения чувств* (display rules)[2]. Первые определяют, какие эмоции и с какой интенсивностью следует переживать и чувствовать в данной ситуации, должны ли они быть негативными либо позитивными, какова должна быть их длительность[3]. Вторые правила предписывают, когда и как нужно выражать эмоции. По Хохшильд, когда индивиды следуют правилам выражения, они вовлечены в *поверхностный процесс действия* (surface acting);

---

[1] Ibid. – P. 117–118.

[2] Hochschild A.R. Emotion work, feeling rules, and social structure // American j. of sociology. – Chicago, 1979. – Vol. 85, N 3. – P. 556–557.

[3] Характерно, что в социальной психологии эмоции рассматривают сходным образом. Дж. Аверилл полагает, что эмоции − это целостные синдромы, подчиняющиеся социальным предписаниям и выполняющие определенные социальные функции. Эмоции подобны социальным ролям, в правила исполнения которых входят правила выражения и переживания эмоций. Поэтому эмоции − это одновременно и события, и действия. Аверилл исследовал гнев в повседневных ситуациях и сформулировал «правила гнева». См.: Averill J.R. Illusions of anger // Agression and violence: Social interactionist perspectives / Ed. by R.B. Felson, J.T. Tedeschi. – Wash.: American psychological association, 1993. – P. 182–184.

он включает изменение внешнего выражения и поведения в соответствии с нормативными ожиданиями (например, люди часто «надевают счастливое лицо» там, где требуется быть счастливыми). В *глубинном процессе действия* индивид «работает» над чувствами для того, чтобы реально испытывать ожидаемые эмоции (deep acting)[1]. Эти два набора правил отражают эмоциональную культуру и эмоциональную идеологию общества, направляющие поведение в каждой ситуации.

Основные идеи теории Хохшильд связаны с вопросом о том, как действуют индивиды, когда культурные предписания принуждают их поддерживают участвовать в ситуациях, возбуждающих негативные эмоции (например, как стюардессы демонстрируют приятную манеру поведения, предписанную правилами чувствования и правилами выражения, в случае грубого поведения пассажиров?). Практически всегда люди осуществляют *эмоциональную работу и управление эмоциями* (emotional work, emotional management) для поддержания того образа Я, который должен соответствовать нормам эмоциональной культуры. Хохшильд пишет: «Эмоция – это опыт тела, готовность к воображаемому действию. Поскольку тело готово к действию в физиологическом смысле, эмоция включает биологические процессы. Таким образом, когда мы управляем эмоцией, мы частично управляем готовностью тела для сознательно или бессознательно предвосхищаемого действия. Вот почему эмоциональная работа это *работа*… Сознание вовлечено в процесс, посредством которого эмоции посылают сигналы индивиду… Эти сигналы являются сложными… поскольку включают реальность, по-новому воспринимаемую *по образцу предшествующего ожидания*… Предшествующие ожидания подразумевают существование предшествующего self… Большинство

[1] Hochschild A.R. Emotion work, feeling rules, and social structure. – Op. cit. – P. 560–563.

из нас поддерживает предшествующее ожидание непрерывного self, но характер self подвержен глубокому социальному влиянию… и способ, которым эмоция посылает сигналы также находится под влиянием социальных факторов»[1].

Таким образом, постоянная эмоциональная работа включает следующие компоненты: 1) управление телом для возбуждения или подавления чувств; 2) поверхностный процесс действия, когда человек продуцирует жесты, соответствующие той или иной эмоции, для создания определенного впечатления; 3) глубинный процесс действия, когда помимо внешнего выражения люди стараются возбудить в самих себе те эмоции, которых требуют от них правила эмоциональной культуры; 4) работа сознания, когда человек обдумывает идеи, чтобы выработать определенные эмоции.

Эмоциональную работу в сферах профессиональной занятости Хохшильд называет *эмоциональным трудом* (emotional labor) и связывает этот тип труда с работой, которая требует от работников контакта с публикой лицом-к-лицу и потому заставляет их генерировать «нужные» эмоции и жесткий контроль над собственной эмоциональной активностью. Хохшильд исследовала эмоциональный труд стюардесс и билетных контролеров. И в том и в другом случае, главное качество хорошего работника – его эмоциональная выносливость. Для того чтобы уменьшить напряжение, работники пытаются сократить дистанцию между чувством и симулируемыми эмоциями. Хохшильд полагает, что в современном обществе драматически увеличивается количество эмоциональной работы, которую люди должны представлять. Это нелегкая работа, так как им приходится до некоторой степени подавлять свои «истинные эмоции» в соответствии с требованиями культурных предписаний. Когда выражаемые чувства регулярно расходятся или отделяются от внутренних

[1] Hochschild A.R. The managed heart: Commercialization of human feeling. – Berkeley: Univ. of California press, 1983. – P. 221–222.

чувств, весьма вероятно самоотчуждение, потеря чувства Я, что сказывается на личных отношениях. Такое отчуждение вследствие конфликта на уровне чувств типично для современных обществ, где цель социальных организаций – контролировать действующих индивидов посредством манипуляции их личными переживаниями[1]. Следует подчеркнуть, что Хохшильд рассматривает в основном осознанные эмоции, которые выражаются согласно правилам чувствования, ее теория не включает непосредственный эмоциональный опыт, возникающий во взаимодействии между людьми. Теорию А. Хохшильд нередко критиковали за то, что здесь упускаются из виду бессознательные эмоциональные состояния, которые также важны в понимании *социального* процесса эмоционального менеджмента[2].

В теориях М. Розенберга, К. Кларк, П. Туа индивиды вынуждены управлять поведением посредством манипулирования или демонстрации эмоций[3]. М. Розенберг полагал, что без критериев культуры люди не смогли бы дифференцировать поток чувств, которые они испытывают, поэтому эмоции связаны с рефлексией, с расшифровкой того, о чем сигнализируют чувства[4]. П. Туа, следуя за А. Хохшильд, изучает стратегии эмоциональной девиации в

---

[1] См.: Hochschild A.R. Ideology and emotion management: A perspective and path for future research // Research agendas in the sociology of emotions / Ed. by T.D. Kemper. – Albany: State univ. of New York press, 1990. – P. 117–142.
[2] Theodosius C. Recovering emotion from emotion management // Sociology. – London, 2006. – Vol. 40, N 5. – P. 901.
[3] См.: Clark C. Emotions and micropolitics in everyday life: Some patterns and paradoxes of the place // Research agendas in the sociology of emotions. – Albany, 1990. – P. 305–333; Clark C. Misery and company: Sympathy in everyday life. – Chicago: Univ. of Chicago press, 1997; Rosenberg M. Reflexivity and emotions // Social psychology quart. – Oxford, 1990. – Vol. 53, N 1. – P. 3–12; Thoits P.A. The sociology of emotions // Annual rev. of sociology. – Palo Alto (CA), 1989. – Vol. 15. – P. 317–342; Thoits P.A. Emotional deviance: Research agendas // Research agendas in the sociology of emotions – Albany, 1990. – P. 180–203.
[4] См.: Rosenberg M. Reflexivity and emotions. – Op. cit. – P. 3–12.

ситуациях, когда индивиды не способны управлять ненормативными эмоциями[1]. Отталкиваясь от понятия эмоциональной культуры, К. Кларк рассматривает *симпатию* как ключевую эмоцию в межличностных взаимодействиях, на основе которой солидаризируется общество в целом. Индивиды не подчиняются эмоциональной культуре полностью, они «надевают» на себя соответствующие эмоциональные выражения с целью достичь или подтвердить статус, получить ресурсы. Такое поведение К. Кларк называет «микрополитикой» и «микроэкономикой» в области межличностных взаимодействий[2]. Симпатия выступает одновременно и ресурсом, и средством в стремлении индивидов улучшить свое положение. Симпатия выполняет функции социальной солидарности, поскольку связывает людей различного статуса, находящихся в разных ситуациях (например, счастливого и несчастного), допускает несущественные отклонения в поведении, поддерживает общий моральный климат в группах, «гасит» негативные эмоции. В целом можно констатировать, что в рамках драматургических и культурных теорий эмоций было разработано важнейшее понятие социологии эмоций в целом – концепция эмоциональной работы.

Ритуальные теории эмоций в социологии, так же как и предыдущие, опираются на идеи позднего Э. Дюркгейма и Э. Гоффмана. Дюркгейм был первым социологом, который в работе «Элементарные формы религиозной жизни» показал, что культура, воплощающаяся в религиозных верованиях, оказывает давление на индивидов посредством ритуалов, возбуждающих эмоции. Ритуалы, которые исполняются индивидами в их непосредственном контакте, способствуют возникновению общего «воодушевления», что ведет к ритмической синхронизации действий индивидов, усилению эмоционального

---

[1] См.: Thoits P.A. Emotional deviance. – Op. cit. – P. 180–203.
[2] См.: Clark C. Emotions and micropolitics in everyday life. – Op. cit. – P. 305–333.

возбуждения и фокусированию внимания на символах группы. Э. Гоффман считал, что ритуалы пронизывают и определяют практически каждый аспект взаимодействия лицом-к-лицу, поэтому они способствуют возникновению эмоций, направленных на групповую солидарность.

Эти ключевые идеи были восприняты Р. Коллинзом и Э. Саммерс-Эффлер[1]. Теории данного типа сосредоточены на эмоциональных процессах, которые протекают в достаточно сплоченных сообществах. Поддержание социальных структур и культуры зависит от всепроникающего ритуального процесса, который возникает вокруг взаимодействий лицом-к-лицу. Р. Коллинз представляет социальную структуру как цепь ритуалов взаимодействия, где возникают эмоции и затем связываются с культурными символами группы[2]. Индивиды в процессе исполнения ритуалов наделяют смыслами объекты, которые впоследствии сами возбуждают сильные эмоции. Общему эмоциональному настроению способствует ритмическая синхронизация действий соприсутствующих индивидов, благодаря эмоциональному единению закрепляются или формируются культурные символы, распространяется культурный капитал. В той степени, в которой индивиды обращаются к символам группы в своих мыслях, они переживают позитивные эмоции. Ритуалы возбуждают неустойчивые и более длительные эмоции (чаще всего позитивные), которые могут передаваться от взаимодействия к взаимодействию

---

[1] См.: Collins R. Interaction rituals. – Princeton: Princeton univ. press, 2004; Collins R. The role of emotion in social structure // Approaches to emotion / Ed. by K.R. Scherer, P. Ekman. – Hillsdale (NJ): Erlbaum, 1984. – P. 385–397; Collins R. Stratification, emotional energy, and the transient emotions // Research agendas in the sociology of emotions / Ed. by T.D. Kemper. – Albany: State univ. of New York press, 1990. – P. 27–57; Summers-Effler E. A theory of self, emotion and culture // Advances in group processes. – Oxford, 2004. – Vol. 21. – P. 273–308; Summers-Effler E. Defensive strategies: The formation and social implications of patterned self-destructive behavior // Ibid. – P. 309–325.

[2] См.: Collins R. Interaction rituals. – Princeton, 2004.

и усиливать власть культурных символов, подкрепляя солидарность группы. Главное в данных теориях − тезис о том, что социальные структуры полностью создаются и поддерживаются такого рода ритуалами.

Ключевым понятием в теории Р. Коллинза является понятие *«эмоциональной энергии»*[1], которая может меняться и становиться негативной либо позитивной. Позитивная эмоциональная энергия ведет к чувству групповой солидарности: индивиды стремятся максимизировать позитивную эмоциональную энергию или чувство энтузиазма и избежать ситуаций, где вероятно возникновение негативной эмоциональной энергии. Последняя появляется, когда ритуал «срывается», то есть когда индивиды не могут сосредоточить внимание на ситуации и объектах взаимодействия, синхронизировать свои действия, испытать общие эмоции. Власть и статус также играют важную роль в ритуалах взаимодействия, они способны усиливать эмоциональную энергию. В результате индивиды более высокого статуса будут в большей степени привержены культуре группы, чем индивиды с более низким статусом, хотя если последние задействованы в ритуалах, возбуждающих эмоции, это обстоятельство будет усиливать групповую культуру[2].

В данных теориях речь идет об эмоциях, классифицируемых как позитивные и негативные, которые возникают в коллективах, поэтому в контексте теории Р. Коллинза трудно объяснить сложные эмоции. Э. Саммерс-Эффлер попыталась эмпирически проверить теорию Коллинза и расширить ее за счет других переменных – идентичности, культуры, биологии, а также объяснить, почему люди не разрывают отношения в случаях негативной эмоциональной энергии. По мысли Саммерс-Эффлер, когда индивиды по

---

[1] См.: Collins R. Stratification, emotional energy, and the transient emotions. – Op. cit. – P. 38–44.

[2] Turner J. H., Stets J.E. The sociology of emotions. – Cambridge: Cambridge univ. press, 2005. – P. 83.

разным причинам не могут выйти из взаимодействий, связанных с негативной эмоциональной энергией, они используют поведенческие стратегии, уменьшающие последствия от потери позитивной эмоциональной энергии. Поэтому для защиты своей идентичности они активизируют психологические защитные механизмы и поведенческие стратегии[1]. По мнению Тернера и Стетс, перечисленные теории акцентируют ритуальные аспекты взаимодействий, которые пробуждают или подавляют общий уровень эмоциональной энергии людей, что делает их важной частью социологии эмоций[2].

В *теориях обмена* Дж. Хоманса и П. Блау эмоции рассматривались как количественные характеристики отношений обмена, когда при получении вознаграждений и избегании наказаний испытываются положительные эмоции, а в обратном случае – негативные (например, если не соблюдается правило распределительной справедливости в обменных отношениях, возникает гнев). Подобные теории подчеркивают, что индивиды мотивированы на переживание позитивных эмоций, связанных с источниками вознаграждения, и избегание эмоций негативных, связанных с наказаниями. При этом представители современных теорий обмена обращают внимание на то, что обмениваемые ресурсы способствуют возбуждению позитивных или негативных эмоций и восприятие их как вознаграждений, наказаний или издержек зависит от возникновения этих эмоций. Кроме того, современные теории обмена показывают, что эмоции играют важную роль в социальных сетях, где осуществляются обмены.

В зависимости от того, какие факторы задействованы в отношениях обмена, могут возникать разные эмоции. На отношения обмена влияет структура ситуации, которая включает степень неравенства между партнерами

---

[1] См.: Summers-Effler E. Defensive strategies. – Op. cit. – P. 309–325.
[2] Turner J. H., Stets J.E. The sociology of emotions. – Op. cit. – P. 299.

обмена, степень взаимной зависимости, плотность сетей обмена и степень, в которой вознаграждения привлекают совместные усилия нескольких индивидов. Важен также уровень насыщения или удовлетворенности ресурсами каждого участника обмена. Отношения обмена в плотных сетях, в ситуациях, где индивиды должны координировать свои действия для получения вознаграждений, где они взаиомозависимы в отношении ресурсов, будут продуцировать более позитивные эмоции, чем обмены в сетях меньшей плотности, которые слабо связаны и где низка взаимная зависимость[1]. Более того, *позитивные эмоции*, увеличивая солидарность, становятся дополнительным обменным *ресурсом*, поскольку, стабильность отношений обмена уменьшает неопределенность в отношениях, что, в свою очередь, нивелирует такие негативные эмоции, как тревога и страх[2].

Все теории обмена, в связи с анализом эмоций, рассматривают властный ресурс. Власть усиливается, когда актор имеет ресурсы, которые высоко ценятся другими акторами, или когда альтернативы этих ресурсов ограничены. Обладающие властью будут использовать ее для получения еще больших вознаграждений от тех, кто зависит от них, тем самым возбуждая негативные эмоции (обычно гнев) в отношениях обмена. Гнев усиливается вследствие нарушения норм справедливости, взаимности и честного обмена. Если этот гнев испытывается коллективно, подчиненные в отношениях обмена могут вступить в конфликт. При этом солидарность, вырабатываемая в таких формах организации, становится особенно ценным ресурсом. Эмоции, таким образом, создают преданность и доверие к социальным структурам.

---

[1] См.: Lawler E.J. An affect theory of social exchange // American j. of sociology. – Chicago, 2001. – Vol. 107, N 2. – P. 321–352.

[2] См.: Lawler E.J., Yoon J. Network structure and emotions in exchange relations // American sociological rev. – Wash., 1998. – Vol. 63, N 6. – P. 871–894.

Э. Лоулер описал атрибутивные процессы в отношениях обмена, от которых зависит поток эмоций[1]. Если индивиды рассматривают получение ресурсов как результат собственных действий, они будут испытывать гордость, радость и энтузиазм. Если они приписывают успех действиям других, они будут переживать и выражать благодарность в отношении других, которые в свою очередь будут отвечать взаимностью, усиливая поток позитивных эмоций. Этот поток более вероятен, когда индивиды вовлечены в совместное решение задач в плотных социальных сетях. Если индивиды не получают ожидаемых ресурсов и приписывают неудачу собственным действиям, они будут испытывать печаль, стыд и депрессию. Существует общая склонность индивидов приписывать себе позитивные результаты обмена, способствуя возникновению чувства гордости, а также склонность обвинять в негативных результатах обмена других людей или крупные социальные структуры и испытывать гнев по отношению к ним.

Таким образом, теории обмена показали, что эмоции могут выступать независимой переменной в отношениях обмена, когда эти отношения уже устоялись, а также то, что позитивные эмоции – чувство солидарности, благодарность, радость – становится высоко ценимым ресурсом в социальных сетях. Однако, по замечанию Дж. Тернера и Дж. Стетс, эта строгая концептуализация стала возможной, поскольку представители теорий обмена работают с данными, полученными в экспериментальных группах, где изучается ограниченный спектр мягких, неинтенсивных эмоций, поэтому, в частности, сильные интенсивные эмоции остаются за пределами изучения[2].

В *структурных теориях* эмоций источником их возникновения считаются размещение акторов в социальной структуре и их социально-структурные ожидания: «не культурные правила, а прежде всего структурные свойства

---

[1] См.: Lawler E.J., Yoon J. Network structure and emotions in exchange relations. – Wash., 1998; Lawler E.J. An affect theory of social exchange. – Chicago, 2001.
[2] Turner J. H., Stets J.E. The sociology of emotions. – Op. cit. – P. 304.

взаимодействия определяют эмоциональные переживания»[1]. Большинство таких теорий «работают» на микроуровне социальной структуры, изучая отношения власти и престижа во взаимодействиях лицом-к-лицу. Когда индивиды имеют высокий престиж и власть, они испытывают и выражают позитивные эмоции, если другие усиливают их статус. Индивиды, обладающие низким статусом, испытывают менее позитивные эмоции, а в определенных условиях – негативные[2]. Т. Кемпер, как и Э. Лоулер, выявил атрибутивные процессы, связанные со статусной системой, в качестве причины эмоций. Если индивиды рассматривают достижение статуса или высокий статус как результат собственных действий и компетенции, они будут переживать позитивные эмоции, такие как удовлетворение, безопасность, уверенность и гордость. Если они рассматривают потерю статуса как результат собственного поведения, они испытывают неуверенность, тревогу, страх и смущение. Если потеря велика, они могут также ощущать печаль или даже стыд. Следовательно, негативные эмоции в основном возникают тогда, когда нарушается статусная структура (например, оспаривается легитимность статусного порядка). Если человек с низким статусом бросает вызов человеку с высоким статусом, последний будет переживать разные формы гнева (от раздражения до более сильных форм) и применять негативные санкции к тому, кто нарушает ожидания. Индивиды с низким статусом могут также испытывать негативные эмоции по причине

---

[1] Barbalet J.M. Emotion, social theory and social structure: A macrosociological approach. – Cambridge: Cambridge univ. press, 1999. – P. 27.

[2] См.: Kemper T.D. A social interactional theory of emotions. – N.Y.: Wiley, 1978; Kemper T.D. Social relations and emotions: A structural approach // Research agendas in the sociology of emotions / Ed. by T.D. Kemper. – Albany: State univ. of New York press, 1990. – P. 207–237; Lovaglia M.J., Houser J.A. Emotional reactions and status in groups // American sociological rev. – Wash., 1996. – Vol. 61, N 5. – P. 867–883.

разрушения статусного порядка и испытывать эти же эмоции к тому, кто оспаривает или нарушает статусный порядок[1].

Как уже было сказано, большая часть структурных теорий изучают эмоции на микроуровне, поэтому возникает необходимость прояснить связи между микро и макроструктурами, так как целые категории индивидов, принадлежащих к разным классам, этносам, возрастным группам, могут переживать сходные эмоции в силу общности их позиций в социальной структуре. Дж. Барбалет ставит своей целью объяснить связь между макро- и микропроцессами с помощью эмоций: «эмоция – необходимое связующее звено между социальной структурой и социальным актором, без нее описание действия будет фрагментарным и неполным»[2]. Например, стыд как определенное чувство по поводу того, что думают о тебе другие, поддерживает солидарность и лояльность в группах. Негативные эмоции могут возникать не только потому, что индивиды имеют низкий ранг в определенных группах, но также по причине того, что они вырабатывают общее представление о несправедливости распределения ресурсов в обществе в целом. Здесь Барбалет подчеркивает, что недостаточно рассматривать эмоции обобщенно − только как негативные или позитивные, поскольку именно «конкретные эмоциональные переживания предрасполагают к определенным курсам действия». Поэтому социологов должны интересовать конкретные эмоции и определенные последствия этих эмоций[3]. Ресентимент, к примеру, возникает в тех случаях, когда индивиды видят, что другие получают больше, чем заслуживают, и может усиливаться, когда индивиды считают, другие присваивают их честно заработанную долю ресурсов. Интенсивные эмоции, такие, как чувство мести, появляются не только в условиях переживания ресентимента, но также

---

[1] См.: Kemper T.D. Social relations and emotions. – Op. cit. – P. 207–237.
[2] Barbalet J.M. Emotion, social theory and social structure. – Op. cit. – P. 27.
[3] Ibid. – P. 28.

вследствие того, что формируется общее представление о несоблюдении базовых прав. Социальные движения, которые могут изменять всю структуру общества, наполнены интенсивными эмоциями – страха, гнева, ресентимента и чувства мести[1]. Такие эмоции трудно объяснить, наблюдая только за контактами лицом-к-лицу. Таким образом, структурные теории призывают рассматривать эмоции в структурном контексте как следствия статусного положения, а также принимать во внимание последствия эмоций на макроуровне социальной структуры. Эмоции здесь могут выступать независимо от осознания структурного положения и часто являются полуавтоматическими реакциями на статус в зависимости от разных факторов.

Ни одна из *эволюционных теорий* эмоций не утверждает, что эмоции детерминированы строго биологически, представителей этой теории интересует роль эмоций в процессе эволюции[2]. Естественный отбор заставлял человека использовать эмоции для построения культуры и социальной структуры, то есть эмоции связаны с формированием групп, и это проявляется в физиологических процессах, отвечающих за возникновение эмоций. С позиции Дж. Тернера, эмоции способствовали развитию новой зоны мозга, благодаря которой стало возможным формирование культуры и общества. Если эмоции использовались для того, чтобы поддерживать имеющиеся социальные связи и создавать новые их виды, естественный отбор должен был адаптировать мозг для создания более широкого набора эмоций, дабы выработать эмоциональную культуру у

---

[1] Ibid. – P. 149–150.

[2] См.: Hammond M. The enhancement imperative and group dynamics in emergence of religion and ascriptive inequality // Advances in group processes. – Oxford, 2004. – Vol. 22. – P. 167–188; Turner J.H. On the origins of human emotions: A sociological inquiry into evolution of human effect. – Stanford: Stanford univ. press, 2000; Wentworth W.M., Yardly D. Deep sociality: A bioevolutionary perspective on the sociology of human emotions // Social perspectives on emotion / Ed. by D.D. Franks, W.M. Wentworth, J. Ryan. – Greenwich (CT): JAI, 1994. – P. 21–55.

человекообразных предков. Если это предположение верно, тогда гораздо большее число эмоций могут оказаться врожденными[1]. Поскольку социальная солидарность формируется на основе позитивных эмоций, которые свидетельствуют об удовлетворении и счастье, такие эмоции могут быть биологически детерминированными. Поскольку три из четырех первичных эмоций (печаль, гнев и страх) являются негативными и не ведут к усилению солидарности, разрушительная власть этих эмоций могла быть сглажена естественным отбором. Поэтому такие существенные для социального порядка эмоции, как стыд и чувство вины, предстают как сочетания трех негативных первичных эмоций. Гордость, симпатия, удивление, надежда также, возможно, имеют биологический базис. М. Хаммонд рассматривает эмоции как силы, побуждающие к действию и, тем самым, создающие и поддерживающие социальную структуру и культуру в целом. Хаммонд полагает, что люди создают тотемы и другие символы, поскольку с помощью символов они могут с наименьшими издержками (в отношении расхода энергии) активировать эмоции, связанные с культурой. Стратификация может рассматриваться и как стратегия аффективного максимизирования, посредством которой индивиды добывают ресурсы, обеспечивающие им эмоциональное удовлетворение[2]. Хаммонд также предположил, что культурные символы активизируют эмоциональные системы тела (мозга) и становятся, в сущности, *соматическими маркерами*, которые вырабатывают приверженность культурным кодам[3]. Таким образом, без активации тела культура лишается власти, которая «толкает» индивидов, побуждая их к действиям в соответствии с культурными кодами.

---

[1] Turner J. H., Stets J.E. The sociology of emotions. – Cambridge: Cambridge univ. press, 2005. – P. 4–6.
[2] Hammond M. The enhancement imperative and group dynamics in emergence of religion and ascriptive inequality. – Op. cit. – P. 187–188.
[3] Ibid.

Большинство социологов не интересуются биологическими причинами появления эмоций, но с точки зрения Дж. Тернера, современная неврология в скором времени может сделать открытия, которые будут иметь важные последствия для социологической теории эмоций. Это даст возможность ответить на следующие вопросы: почему люди испытывают симпатию, почему они вовлечены в ритуалы, которые возбуждают эмоции, почему индивиды переживают уникальные эмоции, такие как священный трепет и др.[1].

Теории эмоций в рамках *символического интеракционизма* основываются на работах Дж. Мида и Ч. Кули. В этих подходах центральной категорией в описании и объяснении эмоций является понятие идентичности (self)[2]. Здесь рассматриваются ситуации, когда идентичность индивидов не поддерживается окружением, а индивиды в свою очередь пытаются нормализовать положение посредством управления своим окружением и собственными эмоциональными переживаниями. Когда идентичность подтверждена другими и положительно оценена на основании культурных стандартов, возникают позитивные эмоции, в противном случае – негативные. Если индивиды переживают нарушение идентичности, то вероятно появление таких негативных эмоций, как гнев, страх и страдание, что обуславливает индивидуальную мотивацию к устранению несоответствия. Например, в концепции С. Шот рассматриваются специфические эмоции: когда люди понимают, что они нарушили культурные нормы и ценности, они переживают *чувство вины*; когда они ведут себя

---

[1] Turner J. H., Stets J.E. The sociology of emotions. – Op. cit. – P. 312.

[2] См.: Burke P.J. Identity processes and social stress // American sociological rev. – Wash., 1991. – Vol. 56, N 6. – P. 836–849; Heise D.R. Understanding events: Affect and the construction of social action. – Cambridge: Cambridge univ. press, 1979; Shott S. Emotion and social life: A symbolic interactionist analysis // American j. of sociology. – Chicago, 1979. – Vol. 84, N 6. – P. 1317–1334; Stryker S. Integrating emotion into identity theory // Advances in group processes. – Oxford, 2004. – N. 21. – P. 1–23.

некомпетентно, они чувствуют *стыд*; и когда они получают поддерживающие реакции от других, они испытывают *гордость*[1].

В стремлении согласовать свою идентичность и культурные ожидания индивиды следуют определенным поведенческим стратегиям, это: 1) приспособительное поведение с целью получить одобрение; 2) частичное изменение идентичности; 3) уход от ситуаций, где подтверждение идентичности невозможно; 4) избирательное восприятие реакций других в целях достижения того, что соответствовало бы ожиданиям (в том числе − избирательная интерпретация жестов); 5) приписывание ответственности другим индивидам или социальным структурам, если согласование не удается; 7) подавление негативных чувств, возникающих из-за невозможности соответствовать ожиданиям[2]. В зависимости от того, какой путь выбирает индивид, испытываемые и выражаемые эмоции могут меняться.

Данные теории рассматривают эмоции как часть более широкого процесса социального контроля. Контроль над собственной идентичностью является частью социального контроля, так как индивиды используют опыт позитивных эмоций для подкрепления поведения в соответствии с культурными стандартами и опыт негативных эмоций для осуществления согласований, корректировки, приспособления. Таким образом, эмоции способствуют поддержанию или переопределению идентичности, тем самым поддерживая и изменяя социальные структуры.

Некоторые представители теорий символического интеракционизма используют идеи психоанализа, прежде всего представление о защитных механизмах, которые работают тогда, когда идентичность не подтверждается, и призваны блокировать негативные эмоции. Подавление эмоций зачастую

---

[1] См.: Shott S. Emotion and social life. – Op. cit. – P. 1317–1334.
[2] Turner J. H., Stets J.E. The sociology of emotions. – Op. cit. – P. 300.

усиливает их интенсивность, но при этом изменяет первоначальные эмоции (например, в теории Т. Шеффа подавляемый стыд ведет к внезапным вспышкам гнева[1]). В этих теориях акцент делается на том, что индивиды стремятся скорее защитить свое Я, чем соответствовать ожиданиям других. Поэтому в зависимости от интенсивности эмоций меняется само социальное взаимодействие. Пытаясь защитить свое Я от негативных эмоций, люди нередко вовлекаются в поведение, которое может быть разрушительным для социальных взаимодействий лицом-к-лицу, для стабильности социальных структур, культурных кодов и эмоционального здоровья индивида. Так эмоции становятся механизмами, посредством которых приверженность обществу конструируется на микроуровне, в контексте межличностных взаимодействий.

Драматургические, культурные, ритуальные, структурные теории и теории обмена в основном рассматривают эмоции, которые люди переживают и выражают осознанно. Представители психоаналитических теорий эмоций сделали акцент на том, что эмоции (через механизм вытеснения) могут быть или становиться бессознательными (или осознаваться частично). В то время как окружающие могут наблюдать появление эмоций в телесных движениях, сам индивид может не осознавать, что уже захвачен какой-либо эмоцией. Поэтому многие эмоции существуют ниже порога сознания, но могут оказывать значительное влияние на то, как индивид ведет себя и как другие отвечают на это поведение. Некоторые исследователи полагают, что любые человеческие взаимоотношения будут включать в себя некоторую степень трансфера[2].

---

[1] Scheff T.J. Shame and conformity: The deference-emotion system // American sociological rev. – Wash., 1988. – Vol. 53, N 3. – P. 395–406.; Scheff T.J. Socialization of emotion: Pride and shame as causal agents // Research agendas in the sociology of emotions / Ed. by T.D. Kemper. – Albany: State univ. of New York press, 1990. – P. 281–304.

[2] Theodosius C. Recovering emotion from emotion management // Sociology. – L., 2006. – Vol. 40, N. 5. – P. 906–907.

Отсюда, сознательное управление эмоциями может включать бессознательные элементы.

Однако социологи по понятным причинам не могут изучать защитные механизмы: как можно зафиксировать подавленные эмоции, которые при этом трансформировались в другие эмоциональные реакции, и о которых индивид может не знать? Люди часто не могут объяснить, почему они чувствуют злость, переживают чувство вины, печаль или любую из прочих эмоций. Но, несмотря на методологические проблемы, социологи не могут игнорировать эти феномены. Как пишут Тернер и Стетс, социология нуждается в развитии теорий и исследовательских программ, которые могли бы зафиксировать полный ряд эмоциональных процессов, а не только те сознательные чувства, о которых субъект может сообщить вербально или в письменных тестах[1]. Если следовать логике психоанализа, в таких случаях полезно было бы анализировать разговоры людей. Например, Х.Б. Льюис, изучая эмоцию стыда, обнаружила, что описание этого негативного переживания трансформируется в две поведенческие формы: открытый стыд и избегаемый стыд. Первый заставляет индивидов чувствовать боль и демонстрировать неловкость (отводить взгляд, краснеть, закрывать лицо руками); второй выражается в гиперактивной речи о негативных переживаниях и в постоянных попытках переводить разговор на другие темы с целью избежать боли и выражения стыда[2]. Иными словами, здесь можно *наблюдать* подавление эмоций и то, как это подавление влияет на сознание и поведение индивида.

Если подвести итоги краткого обзора социологических теорий эмоций, то можно сказать, что *основными концептуальными* и одновременно дискуссионными проблемами здесь выступают соотношения: а) биологической

---

[1] Turner J.H., Stets J.E. The sociology of emotions. – Cambridge: Cambridge univ. press, 2005. – P. 287–288.

[2] См.: Lewis H. Shame and guilt in neurosis. – N.Y.: International univ. press, 1971.

и социальной природы эмоций, б) сознательных и бессознательных эмоций; в) простых и сложных эмоций, г) позитивных и негативных эмоций; д) микро- и макросоциологии эмоций; е) отдельных традиций изучения эмоций и общей социологической теории эмоций. Все подходы согласуются в том, что индивиды стремятся переживать позитивные эмоции и избегать негативных, однако для социологов главная цель заключается в том, чтобы понять, каким образом эмоции влияют и сами находятся под влиянием социальных структур и культуры. Все теории рассматривают эмоции как мобилизующее и направляющее поведение в стремлении индивидов установить соответствие между ожиданиями и опытом. Но при этом социологи склонны разрабатывать понимание эмоций в рамках частных теоретико-исследовательских традиций. Каждая из существующих концепций в современной социологии фокусируется на каком-либо аспекте межличностных взаимодействий. С позиции Дж. Тернера и Я. Стетс, ученые не пересекают границы своих школ, чтобы объединить результаты, поэтому необходимо каталогизировать общие источники ожиданий в различных ситуациях – идентичность, культурные нормы, ценности и верования, элементы социальной структуры, и попытаться наметить пути к созданию боле унифицированной теории[1].

Надо заметить, что большинство социологических теорий эмоций все же остаются на позиции социального конструкционизма. По мнению Я. Крейба, если социология останется на точке зрения радикального конструкционизма, она не сможет адекватно исследовать эмоции, поскольку эмоции обладают относительной автономией от социального мира[2]. Социологи утверждают, что эмоции переживаются и выражаются в социальных условиях и без дискурса культуры индивиды не имеют доступа к эмоциям, однако дискурс культуры

[1] Turner J.H., Stets J.E. The sociology of emotions. – Op. cit. – P. 294–295.
[2] Craib I. Experiencing identity. – L.: Sage, 1998. – P. 107–108.

отражает только эмоциональные идеологии, а не реальные эмоции, так что эмоциональный дискурс не остановит, к примеру, процесса влюбленности. Как здесь избежать искажений, как самим социологам[1] говорить об эмоциях? Сам Крейб рассматривает эмоции через их связь с идентичностью (например, гендерная идентичность порождает определенные эмоции, однако эмоции могут также разрушать идентичность)[2]. Было бы плодотворно попытаться осмыслить с социологической точки зрения, почему в той или иной ситуации задействуются те или иные культурные эмоциональные стереотипы. Кроме того, необходимо принимать во внимание, что эмоции в группах часто отличаются от индивидуальных эмоциональных процессов. Эмоциональные процессы в группах сложнее, поскольку там эмоции распределяются между участниками и видоизменяются. Люди в коллективах стремятся к эмоциональному балансу, в этом случае эмоциональные стереотипы могут быть стандартом установления такого рода баланса. Это верно и для больших социальных структур, в которых устанавливается такой эмоциональный баланс, когда эмоциональные раздражители трансформируют друг друга[3].

Таким образом, модель homo sociologicus как средоточие разных социальных ролей, как модель в большей степени рационального актора, не имеет прежней объяснительной силы и нуждается в изменении. Сегодня ее

---

[1] В настоящее время есть публикации, в которых отслеживаются эмоциональные переживания самих социологов, проводящих полевые исследования. Опыт переживания и иногда рискованный опыт выражения этих эмоций позволяли устанавливать контакт с изучаемыми людьми и помогали более глубоко понять их, получить больше откровенных сообщений. См.: Blackman S.J. «Hidden ethnography»: Crossing emotional borders in qualitative accounts of young people’s lives // Sociology. – L., 2006. – Vol. 41, N. 4. – P. 699–716.

[2] Craib I. Experiencing identity. – Op. cit. – P. 115.

[3] Левада Ю. Проблема эмоционального баланса общества // Мониторинг общественного мнения. – М., 2000. – № 2. – С. 7.

можно представить как модель homo sociologicus affectionalis, имеющую ряд отличительных черт. Все действия такого индивида, в том числе и целерациональные, всегда эмоциональны; главная функция эмоций — в «преодолении неопределенности будущего»[1], что гарантирует устойчивое поведение и социальную солидарность. Поэтому при рассмотрении того, как индивид ориентируется на разные смысловые значения, нужно учитывать его эмоциональные переживания как готовность действовать на основе этих значений[2]. Социальные функции эмоций сводятся в основном к побудительной мотивирующей силе действия. Помимо этого эмоции, как позитивные, так и негативные, способствуют социальной интеграции и одновременно социальным изменениям (например, ресентимент или гнев, приобретающий коллективный характер и побуждающий к возникновению социальных движений[3]). Здесь же можно выделить коммуникативную, или сигнальную функцию эмоций, обеспечивающую гладкое протекание взаимодействия. Эмоции используются как значимый ресурс в процессе межличностных взаимодействий для стратегического управления впечатлениями, эмоции специально вызываются для создания и изменения образа Я. Кроме того, надо отметить смыслообразующую функцию эмоций, когда для людей важны эмоциональные переживания сами по себе (например, любовь).

Социология эмоций знаменует возврат к индивиду, который связан с разнообразными социальными группами, в том числе − через эмоциональную привязанность и отторжение. Концепция актора, которая продвигается в рамках школы культурной социологии Дж. Александера, включает исполнение как

---

[1] Barbalet J.M. Emotion, social theory and social structure: A macrosociological approach. – Cambridge: Cambridge univ. press, 1999. – P. 49.
[2] Hochschild A. The managed heart: Commercialization of human feeling. – Berkeley: Univ. of California press, 1983. – P. 222.
[3] Barbalet J.M. Emotion, social theory and social structure. – Op. cit. – P. 148.

часть социально-культурных практик, что означает, что актор действует в ситуации нерационально. Эмоции как часть исполнения «оживляют» актора, делая исполнение непрерывным процессом воспроизводства и изменения социально-культурных образцов поведения. Эмоции, кажущиеся на первый взгляд индивидуальными и интимными переживаниями, делают живыми социальные структуры, обеспечивая их приспособляемость. Поэтому социальное действие следует понимать как эмоциональный процесс. Модель рационального актора «эмпирически ущербна» и является «эвристически дезориентирующей»[1].

Одну из центральных ролей в формировании идентичности играет эмоциональное развитие, гарантирующее адаптацию индивида в обществе и социально-структурную преемственность. Сама идентичность, мыслимая как непрерывное и целостное существование Я (пусть даже в определенном контексте), переживается как чувство[2]. Несмотря на эмоциональность и воздействие бессознательных процессов, индивид активно рефлексирует над этими переживаниями, и его идентичность меняется, например, в процессе рассказа о себе, по мере участия в разных событиях[3]. Эмоциональные и когнитивные процессы тесно связаны, поэтому сами эмоции обладают *рефлексивностью*, описываются и осмысляются и вследствие этого могут

---

[1] Ibid.

[2] Интересно было в этой связи рассмотреть концепцию формирования психосоциальной идентичности Э.Г. Эриксона, который полагает, что на каждой стадии жизненного цикла происходит освоение основополагающей эмоции; например, надежда или способность надеяться рождается из доверия к миру на первой стадии. Эти основополагающие чувства соответствуют основным социальным институтам, которые поддерживают их и сами поддерживаются ими, например, из доверия к миру и надежды рождается религиозная вера. См.: Erikson E.H. Life history and historical moment. – N.Y.: Norton, 1975. – P. 21.

[3] См., например, Giddens A. Modernity and self-identity: Self and society in late modern age. – Cambridge: Polity, 1991.

совершенно измениться. Тем более что в любой культуре формируются «словари» эмоциональных переживаний, в которых можно наблюдать изменение представлений об эмоциях с течением исторического времени.

С одной стороны, эмоции предстают в виде непосредственных иррациональных состояний, которые не всегда осознаются, контролируются и имеют биологический базис; с другой стороны, *все люди вовлечены в эмоциональную работу* по согласованию своих эмоциональных состояний с ожиданиями общества; таким образом, существует явное различие между реально переживаемыми эмоциями и теми, которые демонстрируются «на публике». Для адекватного описания эмоциональных переживаний необходимо учитывать, что эмоции с необходимостью являются *противоречивыми состояниями*. Именно эта эмоциональная амбивалентность может выступать как независимая переменная. Общество, например, может определять различия между тем, что должен чувствовать мужчина и что − женщина. В этом смысле видимое «неэмоциональное» поведение может быть очень эмоциональным. Иными словами, связь между опытом переживания эмоций и их выражением является сложной. Поэтому культурные словари зачастую не могут охватить все переживаемые состояния.

Как уже говорилось выше, в социологии пока еще не выработаны термины для описания эмоциональной жизни человека, но только − для разговора о социологических аспектах эмоций. Действительно, ни одно из направлений современной социологии не дает строгого определения эмоций. Они определяются через аффекты, настроения, чувства и пр., через определенный набор характерных черт, которые можно наблюдать или зафиксировать (например, телесные жесты, сопровождающие эмоции). Эта проблема связана с тем, что эмоции «оперируют» на разных уровнях реальности: биологическом, неврологическом, поведенческом, культурном, социально-структурном и

ситуационном, а также с тем, что исследователь обычно касается тех аспектов эмоций, которые релевантны этим уровням, поэтому и возникают различные дефиниции. Если акцент делается на культуре, возникает понятие эмоциональных идеологий, правил чувствования и словарей эмоций. П. Туа предложила список взаимосвязанных элементов эмоций, которые непременно включают: комплекс ситуативных значений, физиологические изменения, культурные значения эмоций и экспрессивные жесты[1]. Эти элементы не говорят о том, что такое эмоции, но объединяют практически все аспекты в большинстве социологических концепций эмоций. Таким образом, в социологических теориях эмоции предстают как культурно сконструированные суждения, как аспекты систем культурных значений, используемые людьми для понимания ситуаций, в которых они оказываются. Эмоции также трактуются как способы выражения индивидуальных чувств, действий, оценок и мнений с помощью физиологических реакций, поэтому эмоции можно понимать как «принятие роли эмоций». Более того, эмоции выступают как средства осознания отношения индивидов к миру, как энергетический источник действия. Поэтому эмоции, с точки зрения социологии, можно рассматривать не как внутренние состояния, а как действия, направленные на достижение социальных и культурных целей.

[1] См.: Thoits P.A. Emotional deviance: Research agendas // Research agendas in the sociology of emotions / Ed. by T.D. Kemper. – Albany: State univ. of New York press, 1990. – P. 180–203.

Социологическая классика

ВЕСТЕРМАРК Э. СУЩНОСТЬ МЕСТИ.

WESTERMARCK E. The essence of revenge // Mind. – Oxford, 1898. – Vol. 7, N 27. – P. 289–310[1].

<u>От переводчика</u>: Эдвард Александр Вестермарк (1862–1939) – финско-британский социолог и этнограф. Учился в университете Гельсингфорса (Хельсинки), по окончании его работал попеременно в Финляндии и Великобритании: с 1890 г. в университете Гельсингфорса (сначала доцент социологии, с 1906 – профессор «практической» философии), с 1903 – в Лондонской школе экономических и политических наук (с 1906 – профессор социологии), с 1918 – в университете Турку (профессор философии и первый его президент). В 1899 г. защитил в Гельсингфорсе докторскую диссертацию «Происхождение человеческого брака». Эта работа, опубликованная в 1891 г. в виде книги, принесла Вестермарку широчайшую известность. В течение первых двух десятилетий XX в. он был одним из известнейших социологов-теоретиков, соперничавшим по влиятельности с А. Смитом, Г. Спенсером и Э. Дюркгеймом; в начале 30-х годов, правда, эта слава ушла так же быстро, как в свое время появилась. С конца XIX в. Вестермарк проводил полевые исследования в Марокко, на материале которых были построены многие его публикации, в том числе знаменитая в свое время книга «Происхождение и развитие моральных идей» (1906–1908). Хотя сегодня имя Вестермарка мало кому о чем-то говорит, особенно в социологии, его недолговечная слава была не всецело случайной. О значимости этой фигуры говорят хотя бы такие факты, что профессиональная ассоциация финских социологов была названа в его честь Вестермарковским обществом, а в сборнике, подготовленном к 120-летию со

[1] Статья прочитана в Аристотелевском обществе. Сноски приводятся в оригинальном варианте. – *Прим. перев.*

дня его рождения, поместили статьи такие видные ученые, как К. Леви-Стросс и М. Гинсберг. Кроме того, Вестермарк предложил в свое время гипотезу, объяснявшую запрет инцеста и правила экзогамии не тем, что люди, на которых они распространяются, связаны кровным родством, а длительной совместностью их проживания; эта гипотеза получила подтверждение в новейших исследованиях, а соответствующий феномен в честь автора этой гипотезы был назван «эффектом Вестермарка»[1].

Тема эмоций является одной из важнейших в его этнологических исследованиях и теоретико-социологических построениях. Вестермарк как дитя эпохи связывает эмоции с телом, организмом, биологией. Сегодня эта связь совершенно неочевидна. Между тем наиболее продуктивные идеи и рассуждения ученого о месте и роли эмоций в социальных процессах и структурах не связаны напрямую с этими посылками относительно природы эмоций. Эти идеи и рассуждения, отсоединенные от прямых биологических коннотаций, остаются довольно интересными и сегодня.

В своем замечательном труде «Ethnologische Studien zur ersten Entwicklung der Strafe» доктор С.Р. Штейнмец сделал объектом исследования жажду мести, и этот объект заслуживает, видимо, большего внимания, нежели психологи до сих пор ему уделяли. В «Studien» не только содержится одна из немногих предпринимавшихся специалистами попыток прояснить общий психический феномен с помощью этнологических фактов. Сама проблема, в них обсуждаемая, имеет широчайшее значение; она не только напрямую затрагивает вопрос о мести, но и косвенно относится к объяснению важнейшего элемента морального сознания. Цель настоящей статьи – бросить свежий взгляд на эту

---

[1] Подробнее о работе ученого см. в статье: Николаев В.Г., Никишенков А.А. Вестермарк Э. // Культурология: Энциклопедия: В 2-х т. / Гл. ред. и авт. проекта С.Я. Левит. – М.: РОССПЭН, 2007. – Т. 1. – С. 353–356.

проблему. Здесь не будет дано ни чего-то вроде общей психологии мести, ни тем более обсуждения мести как социального феномена; мы всего лишь рассмотрим, чему на самом деле учат нас имеющиеся факты относительно ее сущности.

Конечные выводы, к которым пришел доктор Штейнмец, таковы: месть коренится, по существу, в чувстве власти и превосходства. Она возникает, следовательно, в ответ на переживание ущерба и имеет целью улучшить «самочувствие» (self-feeling), приниженное или ухудшенное пережитым ущербом. Лучше всего она отвечает этой цели тогда, когда направлена на самого агрессора, однако принятие какого-то определенного направления несущественно для нее, поскольку она – *per se* и изначально – является «ненаправленной» и неограниченной.

Строго говоря, эта теория не нова. По крайней мере, Пауль Ре в своей книге «Die Entstehung des Gewissens» объявил месть реакцией на чувство неполноценности, которое агрессор внушает своей жертве. Ущемленный человек, говорит он, естественным образом не желает чувствовать себя ниже другого человека и, следовательно, стремится, мстя за агрессию, показать, что он равен агрессору или даже превосходит его[1]. Доктор Штейнмец, между тем, разработал эту теорию независимо и с такой полнотой, которая делает всякие вопросы о приоритете совершенно незначительными.

Первая стадия, через которую прошла месть в истории человеческого рода, говорит он, характеризовалась полной или почти полной неразборчивостью. Целью обиженного человека было всего лишь поднять свое ущемленное «самочувствие», причинив страдания кому-нибудь другому, и его дикое желание удовлетворялось независимо от того, был ли человек, на которого

[1] Rée P. Die Entstehung des Gewissens. § 14. S. 40.

изливался его гнев, виновным или невинным[1]. Несомненно, с самого начала были случаи, когда жертвой целенаправленно делался сам обидчик, особенно если он был соплеменником; но то, что в качестве объекта наказания предпочтение отдавалось ему, а не другим, не было обусловлено жаждой мести. Даже примитивный человек должен был ясно сознавать, что возмездие, направленное на действительного виновника, есть не только сильное средство устрашения для других, но и основный способ сделать опасного человека безвредным. Однако, добавляет доктор Штейнмец, эти преимущества не следует переоценивать, ибо даже месть без разбора оказывает на злодея устрашающее влияние[2]. В древние времена, следовательно, месть, согласно доктору Штейнмецу, была в основном «ненаправленной».

На следующей стадии она становится несколько менее неразборчивой. Ищется подходящая жертва, даже в тех случаях, которые мы назвали бы естественной смертью, ибо дикарь обычно приписывает ее злокозненности какого-то врага, искусного в колдовстве[3]; хотя, по правде говоря, Штейнмец не уверен в том, действительно ли в таких случаях несчастная жертва подозревается в совершении вменяемого ей деяния[4]. Как бы то ни было, ощущается потребность в выборе кого-нибудь в качестве жертвы, и тем самым «ненаправленная» месть постепенно уступает место «направленному» возмездию. Грубый образец этого – кровная месть, в которой индивидуальный виновник оставляется без внимания, а война ведется против группы, членом которой он является, будь то его семья или племя. И от этой системы совместной ответственности, говорит доктор Штейнмец, мы, в конце концов,

---

[1] Steinmetz S.R. Ethnologische Studien zur ersten Entwicklung der Strafe. Leiden, 1894. Bd. I. S. 355, 356, 359, 361.
[2] Ibid. Bd. I. S. 362
[3] Ibid. Bd. I. S. 356ff.
[4] Ibid. Bd. I. S. 359 ff.

приходим путем постепенных переходов к современной концепции, согласно которой наказание должно применяться к преступнику и ни к кому другому[1]. По мнению доктора Штейнмеца, *vis agens* в этом долгом процессе эволюции скрывается в интеллектуальном развитии человеческого рода: человек все отчетливее осознавал, что лучшим средством сдерживания злых деяний является наказание определенного человека, а именно того, кто их совершает[2]. На этом утилитарном расчете обсуждаемый нами автор делает особый упор в последней части своего исследования; при этом в другом месте он замечает, что месть, направленная против обидчика, особенно пригодна для устранения чувства приниженности, поскольку она действенно унижает врага, упивавшегося до этого своим триумфом[3].

В этом историческом описании нас интересуют главным образом начальная стадия «ненаправленной» мести и способ, которым такая месть постепенно стала разборчивой. Если в первобытные времена человека нисколько не заботило, на кого обрушивалось возмездие за понесенный им ущерб, то направленность его возмездия, конечно, не могла быть существенной для самой мести, а стала лишь позднейшим приложением к ней. Итак, вопрос в следующем: какие свидетельства может привести доктор Штейнмец в поддержку своей теории? О первобытном человеке мы ничего напрямую не знаем; ни один дикарский народ из ныне существующих не может быть верным его представителем ни физически, ни ментально. Тем не менее, какие бы огромные изменения ни произошли с человеческим родом, первобытный человек не совсем умер. Черты его характера все еще удерживаются в его

---

[1] Ibid. Bd. I. S. 361.
[2] Ibid. Bd. I. S. 358, 359, 361ff.
[3] Ibid. Bd. I. S. 111.

потомках; и от первобытной мести, как нам сообщают, осталось достаточно много пережитков[1].

Под рубрикой «Совершенно ненаправленная месть» доктор Штейнмец приводит несколько предполагаемых случаев таких так называемых пережитков[2]. 1. Индеец из племени омаха, которого вышибли пинками из торгового учреждения, в которое ему было запрещено заходить, воскликнул в гневе, что месть за причиненную ему обиду будет страшна, после чего «в поисках чего-нибудь, что можно было бы уничтожить, повстречал свинью с поросятами и излил свой гнев на них, предав всех их смерти». 2. Люди того же племени верят, что если человек, которого поразила молния, не будет похоронен должным образом, то в том месте, где он погиб, его дух не будет мирно покоиться, а будет бродить вокруг до тех пор, пока кто-нибудь еще не будет поражен молнией и не ляжет рядом с ним. 3. На похоронах индейца Loucheux* родственники иногда будут кромсать и царапать свои тела или, как порой случается, набрасываться с ножами «в пароксизме мести судьбе» на какого-нибудь бедного, не имеющего друзей человека, который может временно жить среди них. 4. Навахо, ревнуя своих жен, склонны обрушивать раздражительность и злобу на первого, кто попадется им на пути. 5. Большие эскимосы, как сообщается, однажды после опустошительной эпидемии поклялись убивать всех белых людей, которые рискнут зайти в их страну. 6. Австралийский отец, маленький ребенок которого случайно получил травму, атакует ни в чем не повинных соседей, веря, что тем самым он распределяет боль между ними и, следовательно, смягчает страдания ребенка. 7. Бразильские тупи из мести съедали паразитов, которые им досаждали; если кто-то из них

---

[1] Ibid. Bd. I. S. 364.
[2] Ibid. Bd. I. S. 318 ff.
* Соответствующий русскоязычный этноним установить не удалось. – *Прим. перев.*

спотыкался о камень, то гневался на него и бил его, а если был ранен стрелой, то вынимал ее из тела и грыз древко. 8. Дакоты мстят за кражу, похищая имущество вора или кого-то другого. 9. У читральцев (Памир), если у кого-то соседский пес крал мясо, этот человек в приступе гнева не только убивал провинившегося пса, но вдобавок к этому еще и пинал собственного. 10. В Новой Гвинее людей, приносивших дурные вести, иногда бьют по голове при первой вспышке негодования, вызываемой этими вестями. 11. Несколько туземцев с Моту, которые спасли экипажи двух затонувших лодок и благополучно доставили их домой в Порт-Морсби, были атакованы там самими друзьями тех, кого они спасли, по той причине, что люди из Порт-Морсби были разгневаны потерей каноэ и не могли вынести того, что люди с Моту были счастливы, в то время как у них самих были проблемы. 12. Еще одна история из Новой Гвинеи повествует о мужчине, убившем нескольких невинных людей по причине того, что он разуверился в своих планах и лишился ценного имущества. 13. У маори иной раз случалось так, что друзья убитого мужчины убивали первого мужчину, попавшегося им на пути, независимо от того, враг это был или друг. 14. У этого же народа вожди, когда их постигала какая-нибудь потеря, часто обирали своих подданных, дабы покрыть ущерб. 15. Если с сыном маори случалась какая-то беда, его родственники по материнской линии, к племени которых он считается принадлежащим, приходили грабить дом или деревню его отца. 16. Если на человека из племени куки падает дерево, его товарищи разрубают его на куски, а если кто-то из этого племени гибнет, упав с дерева, то дерево, с которого он упал, тут же срубают. 17. В некоторых частях Дагестана, когда причина чьей-то смерти неизвестна, родственники покойного объявляют произвольно выбранного человека его убийцей и обрушивают на него возмездие за эту смерть.

Я был обязан перечислить все эти случаи по той причине, что теория может быть удовлетворительным образом опровергнута только исходя из ее собственных оснований. Сразу могу признаться, что мне вряд ли когда-то приходилось видеть гипотезу, которая бы поддерживалась более несерьезными свидетельствами. Случаи 7 и 16 иллюстрируют как раз полную противоположность «ненаправленной» мести и, если принять во внимание анимистическую веру дикарей, мало нас удивляют. В случае 17 вина, конечно, вменяется кому-то произвольно, но только в том случае, когда виновник неизвестен. Случаи 1, 4, 10 и 12, а также, возможно, случай 11 предполагают, что месть обрушивается на невинную сторону в порыве страсти: в случаях 1 и 12 сам обидчик попросту недоступен; в случае 10 человек, получающий удар по голове, предстает на какое-то мгновение непосредственной причиной спровоцированного вестью горя или негодования; а случай 11 представляет нам сочетание зависти с крайней неблагодарностью. В случае 9 гнев направляется главным образом на «виновную» собаку, а на «невинную» – явно по ассоциации идей. Случаи 8 и 14 иллюстрируют возмещение имущественной потери, а в случае 8, кроме того, сам вор красноречиво упоминается первым. В случае 15 мстительное нападение предпринимается на собственность тех людей, среди которых живет ребенок и которые могут считаться ответственными за потерю, которую несет материнский клан в случае беды, случившейся с ребенком. Случай 6 попросту показывает попытку суеверного отца облегчить страдания своего ребенка. Что касается случая 5, то Петито, который его зарегистрировал, открыто говорит, что белые люди были заподозрены в том, что вызвали эпидемию, прогневив бога Торнрарка[1]. Случай 2 указывает на суеверие, которое само по себе достаточно интересно, но, насколько я могу судить, не имеет никакого отношения к тому, что мы обсуждаем. Случай 3 напоминает

[1] Petitot. Les Grands Esquimaux. P. 207ff.

жертвоприношение. Закалывание невинного человека упоминается в связи с самоистязаниями оплакивающих, несомненно, имеющими жертвенный характер, или, скорее, как альтернатива им. Более того, в этом случае вообще не ставится вопрос о виновнике. Наконец, в случае 13 идея жертвоприношения совершенно очевидна. Доктор Штейнмец заимствовал свое утверждение у Вайца, но его описание неполное. Источник этого описания, Диффенбах, говорит, что рассматриваемый обычай назывался у маори *taya tany*, то есть «священная битва», или *taya toto*, то есть «битва за кровь». Он описывает его следующим образом: «Если пролилась кровь, то группа людей отправляется и убивает первого человека, который ей повстречается, неважно, враг он или принадлежит к их собственному племени; даже брат приносится в жертву. Если они никого не встретят, то *тохунга* (то есть жрец) выдергивает немного травы, бросает ее в реку и повторяет какие-то заклинания. После этой церемонии убить птицу или любое другое живое существо, попавшееся им на пути, считается достаточным, при условии, что кровь действительно проливается. Все, кто участвует в подобной вылазке, являются *tany*; им не разрешается ни курить, ни есть что-либо, кроме природной пищи»[1].

Не может быть никаких сомнений, что эта церемония предпринималась для того, чтобы умилостивить разъяренного духа умершего[2]. Вопрос, однако, в том, почему за его смерть не мстили действительно виновному в ней? На это доктор Штейнмец отвечает, что умерший считался неразборчивым в своей жажде мести[3]. «Священная битва» маори, однако, всего лишь иллюстрирует, по всей видимости, импульсивный характер гнева в связке с суеверным представлением. Из ее описания у Диффенбаха отчетливо видно, что родственники убитого считали делом первостепенной важности, чтобы

---

[1] Dieffenbach. Travels in New Zealand. Vol. II. P. 127.
[2] См.: ibid. Vol. II. P. 129.
[3] См.: Steinmetz. Loc. cit. Vol. I. P. 343.

немедленно была пролита кровь. Если на пути не попадалось ни одного человека, убивали животное. Это мы, думаю, сможем легко объяснить, если примем во внимание страх, который наверняка внушала живущим предполагаемая ярость духа умершего человека. Маори, согласно достопочтенному Р. Тейлору, считали всех духов умерших настроенными по отношению к ним злонамеренно[1], а призрак человека, умершего насильственной смертью, считался, разумеется, особенно опасным. Жажда немедленного искупления даже еще заметнее в другом случае, который было бы уместно в этой связи упомянуть. Сообщается, что аэта Филиппинского архипелага «не всегда дожидаются смерти пострадавшего, чтобы его похоронить. Едва только тело укладывают в могилу, как сразу становится необходимым, согласно их обычаям, чтобы его смерть была отмщена. Охотники племени отправляются с копьями и дротиками убить первое встречное живое существо, и при этом неважно, будет ли это человек, олень, дикая собака или буйвол»[2].

Доктор Штейнмец приводит в поддержку своей теории некоторые другие примеры с этой же группы островов, в которых, когда кто-то умирает, ближайшие родственники умершего отправляются отплатить за его смерть смертью первого встречного. Также он ссылается на ряд утверждений о различных австралийских племенах, согласно которым родственники умершего убивают кого-нибудь невинного – явно с целью умилостивления его духа, а также, возможно, в какой-то степени из собственной мстительности[3]. Но все эти утверждения не доказывают ничего из того, для доказательства чего они приводятся. В каждом случае отмщаемая смерть является, согласно нашей терминологии, «естественной»; но в представлении дикарей она вызывается

---

[1] Taylor R. Te Ika a Maui (1870). P. 221.
[2] Earl. Papuans. P. 132.
[3] Steinmetz. Loc. cit. S. 335ff.

колдовством. К тому же, о филиппинских островитянах известно, что они самого худшего мнения о своих духах, которые, как предполагается, сразу после смерти особенно кровожадны[1]; австралийские туземцы, в свою очередь, имеют обыкновение связывать конечности покойников, чтобы не дать умершим выйти из могилы и причинить вред живым[2].

Подводим итог: все факты, приводимые доктором Штейнмецем для доказательства его гипотезы о первоначальной стадии «ненаправленной» мести, показывают всего лишь, что в некоторых обстоятельствах – либо в приступе страсти, либо когда действительный обидчик неизвестен или находится вне досягаемости – месть может обрушиваться на невинное существо, никак не связанное с тем, кто причинил ущерб и кому она призвана отомстить. Но это, как все мы знаем, может случаться не только у дикарей, но и в самом сердце высшей цивилизации. У нас не происходит ничего необычного, если разгневанный человек обрушивает свой гнев на людей, не сделавших ему ничего плохого, или если какой-нибудь чиновник, униженный собственным начальником, отплачивает за это тем, кто занимает низшее положение. Но это вряд ли может быть названо местью в подлинном смысле слова. Этот внезапный гнев или вспышка уязвленного «самочувствия», не будучи направленными на их собственный объект, могут принести мстительному человеку лишь неадекватное утешение. Тем не менее, хотя факты доктора Штейнмеца не открывают в психологии мести ничего нового, они преподносят нам интересный урок, относящийся к другому чувству, а именно симпатии. Некоторые примеры, находимые нами у доктора Штейнмеца, регистрируют не спорадические и случайные вспышки мстительного чувства, а установленные и

---

[1] Blumentritt. Der Ahnencultus und die religiösen Anschauungen der Malaien des Philippinen-Archipels // Mitteil. der Geogr. Gesellsch. in Wien. Bd. XXV. S. 166ff; De Mas. Informe sobre el estado de las Islas Filipinas en 1842, Orijen, etc. P. 15.
[2] Curr. The Australian race. Vol. I. P. 44, 87.

признанные обычаи, и показывают, в сколь крайней степени у многих дикарских народов не принимаются во внимание страдания невинных людей.

Доктор Штейнмец не только не доказал свою гипотезу, но и, насколько я понимаю, эта гипотеза совершенно противоположна всем наиболее вероятным идеям, которые мы можем сформировать в отношении мести первобытного человека. Я лично убежден, что мы можем добыть много знаний о первобытном состоянии человечества, но, разумеется, не путем изучения одних только современных дикарей. Я обращался к этому вопросу подробнее в другом месте[1] и хочу сейчас всего лишь указать, что те общие физические и психические качества, которые не только являются общими для всех рас человечества, но и которые человек разделяет с животными, наиболее к нему близкими, можно полагать присутствовавшими и на ранних стадиях человеческого развития. Так, относительно мести у животных, в особенности у обезьян, рассказывается много интересных случаев в достойных доверия источниках. Ссылаясь на одного зоолога, «чья скрупулезная точность известна многим», мистер Дарвин приводит следующую историю: «На мысе Доброй Надежды некий офицер часто досаждал одному бабуину, и однажды в воскресенье, видя, как он направляется на парад, животное налило в яму воду, быстро замешало густую грязь и искусно забросало ею офицера, когда тот проходил мимо, к удовольствию многих зевак, при этом присутствовавшими. Еще долго потом этот бабуин радовался и торжествовал всякий раз, когда видел свою жертву»[2]. Профессор Романес считает это хорошим примером «того, что можно назвать вынашиваемой обидой (resentment), преднамеренно подготовляющей удовлетворительную месть»[3]. В приведенное утверждение вкладывается, на мой взгляд, больше, чем в нем действительно содержится; но, в любом случае, оно регистрирует случай

---

[1] Westermarck E. The history of human marriage. P. 8ff.
[2] Darwin C. The descent of man (1890). P. 69.
[3] Romanes. Animal intelligence. P. 478.

мести в том смысле, в котором доктор Штейнмец употребляет это слово. То же можно сказать о других примерах, упоминаемых такими добросовестными наблюдателями, как Брем и Ренггер, в описаниях африканских и американских обезьян[1]. Я нахожу немыслимым, чтобы кто-то перед лицом таких фактов все еще продолжал верить, что месть древнего человека была поначалу сущностно неразборчивой и постепенно стала разборчивой просто из соображений социальной целесообразности.

На самом деле месть образует лишь одно из звеньев в той цепи ментальных явлений, наиболее подходящим общим названием для которой будет, пожалуй, «обида» (resentment)[2]. Выражение «жажда мести» обычно предполагает излишнюю суровость, но когда мы используем его как психологический термин для обозначения некоторого ментального состояния, моральный характер которого предстает в очень разном свете разным народам, представляется желательным очистить его от всяких этических оценок и сделать синонимичным обдуманной обиде. Тогда это выражение будет обозначать более интеллектуальную форму обиды, в которой связь между причиненным страданием и волевой реакцией разрывается принятием в расчет сопутствующих обстоятельств, в то время как в случае внезапной обиды, или гнева, реакция происходит почти мгновенно. Но, разумеется, невозможно провести сколько-нибудь четкую границу между этими двумя типами, и, хотя вынашиваемая месть свойственна, вероятно, лишь человеку, случаи обиды у

---

[1] Brehm. Thierleben (1880). Bd. I. S. 156. Ренггер (Rengger. Naturgeschichte der Säugethiere von Paraguay. S. 52) приводит следующую информацию: «Fürchet er… seinen Gegner, so nimmt er seine Zuflucht zur Verstellung, und sucht sich erst dann am ihm zu rächen, wenn er ihm unvermuthet überfallen kann. So hatte ich einen Cay, welcher mehrere Personen, die ihn oft auf eine grobe Art geneckt hatten, in einem Augenblicke biss, wo sie im besten Vernehmen mit ihm zu sein glaubten. Nach verübter That kletterte er schnell auf einen hohen Balken, wo man ihm nicht beikommen konnte, und grinste schadenfroh den Gegenstand seiner Rache an».

[2] Ср.: Fowler. The principles of morals (1887). Vol. II. P. 105.

обезьян, приведенные выше, определенно указывают на некоторую меру обдуманности. Невозможно также точно различить, где появляется действительное намерение причинить страдание. В простейшей форме гнев содержит интенсивную волю к устранению причины страдания, но, несомненно, не содержит реального намерения причинить страдание[1]. Гнев отчетливо демонстрируют многие виды рыб, но особенно примечательно колюшки, когда на их территорию вторгаются другие колюшки. В таких обстоятельствах провокации всё животное меняет цвет и, набрасываясь на нарушителя, проявляет гнев и ярость в каждом своем движении[2]; но, разумеется, мы не можем при этом считать, что в его разуме (mind) присутствует какая-либо мысль причинить страдание. Спускаясь еще ниже по шкале животной жизни, мы обнаруживаем, что сам волевой элемент постепенно сходит на нет, пока, наконец, не остается ничего, кроме простого рефлекторного действия.

В этой длинной цепи нет недостающих звеньев. Защитное рефлекторное действие, гнев без намерения причинить страдание, гнев с таким намерением, более продуманная обида, или месть, – все эти феномены настолько неразделимо соединены друг с другом, что никто не сможет сказать, где одно переходит в другое. Общей характеристикой этих феноменов является то, что они служат животному средствами защиты, а если исключить непроизвольное рефлекторное действие, то мы можем добавить еще одну характеристику: это ментальные состояния, отмеченные враждебной установкой по отношению к причине страдания. Это полезные инстинкты, которые, как и другие полезные инстинкты, были приобретены посредством естественного отбора в борьбе за существование.

---

[1] Есть несколько интересных замечаний на этот счет в книге мистера Хирема Стэнли: Stanley H. Studies in the evolutionary psychology of feeling. P. 138ff.
[2] Romanes. Loc. cit. P. 246ff.

Животным могут приниматься две разные установки по отношению к другому, причинившему ему боль: оно может либо бежать от врага, либо напасть на него. В первом случае его действие подстегивается страхом, во втором случае – гневом; которое из этих чувств станет действительной детерминантой, зависит от обстоятельств. Оба они крайне важны для сохранения вида, и, следовательно, их можно рассматривать как элементы ментальной конституции животного, не допускающие объяснения, идущего дальше того, которое выводится из их полезности. Мы уже видели, что инстинкт нападения на врага не мог изначально направляться репрезентацией врага как страдающего. Поскольку, однако, успешное нападение с необходимостью сопровождается таким страданием, с развитием интеллекта желание произвести его естественным образом вошло в обиду как важный ее элемент. Потребность в защите, таким образом, лежит в основании обиды во всех ее формах.

Это воззрение, как нам известно, не обладает обаянием новизны. Еще за полвека до Дарвина Шефтсбери писал об обиде такими словами: «Даже если ближайшей ее целью является причинение другому вреда или наказания, все же она явно относится к тому роду [страстей], который отвечает выгоде и интересу Я-системы, или самого животного; кроме того, она способствует в иных отношениях благу и интересу вида»[1]. Схожее мнение выражено Батлером, согласно которому резон и цель, ради которых человек был создан подверженным гневу, состоят в том, чтобы он мог быть лучше оснащен для пресечения насилия и действий против него и для оказания им отпора, в то время как осмысленное негодование «надлежит рассматривать как оружие, вложенное в наши руки природой, против оскорбления, несправедливости и

[1] Shaftesbury. An inquiry concerning virtue or merit (1699). Book II, pt. II, sect. II.

жестокости»[1]. Адам Смит также полагает, что обидой «природа одарила нас… только для нашей защиты и исключительно только для нее», что она «служит порукой справедливости и охраной невинности»[2]. Точно такой же взгляд на «цель» обиды принимается некоторыми современными эволюционистами, хотя они, конечно, не довольствуются утверждением, что это чувство даровано нам природой, а пытаются объяснить, каким путем оно развилось. «Среди членов одного вида, – говорит Герберт Спенсер, – те индивиды, которые не обижались в сколько-нибудь значительной степени на агрессии, должны были неизменно тяготеть к исчезновению и оставлять после себя тех, кто оказывал агрессии сколько-нибудь действенный отпор»[3]. М-р Хирем Стэнли, ссылаясь на утверждение Джанкера об африканских пигмеях, что «их очень боятся за их мстительный дух», тоже замечает, что «при прочих равных условиях, самые мстительные люди являются наиболее успешными в борьбе за самосохранение и самопродвижение»[4]. Эта эволюционистская теория мести была подвергнута критике Штейнмецем, но, на мой взгляд, совершенно безуспешно. Он отмечает, что *чувство* мстительности не могло иметь никакой пользы для животного, даже если *акт* мести мог быть полезен[5]. Но этот способ рассуждения, согласно которому вся ментальная жизнь оказалась бы исключена из сферы влияния естественного отбора, основан на ложном представлении о связи между разумом и телом и, в конечном счете, на неправильном понимании причины и следствия.

---

[1] Butler. Sermon VIII. – Upon resentment.
[2] Smith A. The theory of moral sentiments. Pt. II, sect. II, ch. I. (Цит. по изданию: Смит А. Теория нравственных чувств. – М.: Республика, 1997. – С. 95. – *Прим. перев.*)
[3] Spencer H. The principles of ethics. Vol. I. P. 361 ff.
[4] Stanley H. Loc. cit. P. 180. См. также: Guyau. Esquisse d’une morale sans obligation ni sanction. P. 162ff.
[5] Steinmetz. Loc. cit. Bd. I. S. 135.

Отвергая гипотезу доктора Штейнмеца относительно природы мести, я никоим образом не отрицаю, что посягательство на «самочувствие» является в высшей степени обычным и могущественным стимулом к мести. Ничто так легко не возбуждает в нас гнев и желание возмездия, как акт, указывающий на презрение или пренебрежение к нашим чувствам. Душевная мука, причиненная оскорблением, сохраняется и требует отмщения еще долго после того, как проходит боль от удара. Я не вижу, однако, нужды прибегать к разным принципам, чтобы объяснить обиду, возбуждаемую этими разными видами мук. Во всех случаях месть предполагает, изначально и по существу, желание причинить боль или иного рода страдание в ответ на причиненный ущерб, неважно, телесный он или душевный; и если, как часто бывает, к этому желанию добавляется намерение приподнять уязвленное «самочувствие», то это не затрагивает подлинной природы первичной жажды мести. То, что объяснение доктора Штейнмеца не может быть правильным, кажется мне очевидным, помимо прочего, исходя из следующих фактов. С одной стороны, мы имеем подлинные образцы обиды, не соединенной с чувством собственного достоинства[1]; так, глупость имеет решительную тенденцию провоцировать гнев. С другой стороны, действие чувства собственного достоинства (self-regarding pride) может быть совершенно свободно от озлобления. Если человек написал плохую книгу, которую сурово критикуют, он может желать восстановить свою репутацию написанием лучшей книги, а не оскорблением своих критиков; и если он предпринимает последнее, а не первое, то делает это не просто для того, чтобы поправить свое «самочувствие», но и потому, что им движет мстительность.

В чувстве удовлетворения, возникающем из успешного возмездия, очень важным элементом может быть упоение властью, однако он никогда не бывает

[1] См.: Bain. The emotions and the will (1880). P. 177.

единственным. Как удовлетворение каждого желания сопровождается удовольствием, так и удовлетворение желания, заключенного в обиде, доставляет удовольствие само по себе. Рассерженный или мстительный человек, которому удается сделать то, на что он нацелен, наслаждается тем, что причиняет боль, по той самой причине, что он желал ее причинить.

Мы уже отмечали несколько фактов, показывающих, что в тех случаях, когда до действительного обидчика, по крайней мере, в данный момент, невозможно добраться или когда какое-то иное чувство, особенно страх, не позволяет потерпевшему на него напасть, обида может быть направлена на какого-нибудь индивида, даже не подозреваемого в причинении вызвавшего обиду ущерба. Однако эти случаи, число которых было бы легко умножить повседневными наблюдениями в нашем собственном кругу, никак не отменяют вывод, что обида как средство защиты направлена по существу на того, кто причинил нам возмутившее нас страдание. Они всего лишь показывают связь, существующую между переживанием ущерба и той враждебной реакцией, посредством которой пострадавший индивид дает выход своей страсти и которая не преминет проявиться, даже если бьет мимо своей цели.

То, что ярость раненного животного обращается на реальную или предполагаемую причину его ранения, яснее ясного, и каждый знает, что так же обстоит дело с гневом ребенка. Несомненно, замечает профессор Салли, «набрасывание с кулаками на первых попавшихся, бросание вещей на пол и их ломание, рёв, возбужденные движения рук и всего тела – всё это внешние выходы, которые может находить вспышка детского гнева»[1]. С другой стороны, мы хорошо знаем, что описанный мистером Дарвином маленький мальчик, ставший ярым приверженцем бросания книг и палок во всякого, кто его

[1] Sully. Studies in childhood. P. 232ff.

обижал[1], был в этом отношении ребенком не исключительным. То, что схожие отличительные особенности характеризуют обиду дикаря, – это факт, на котором не было бы нужды и останавливаться, если бы не было некоторых видимых аномалий, требующих объяснения.

Было в достаточной мере доказано, что кровная месть – широко распространенный институт у народов, живущих на низкой стадии социального развития. В этом институте всегда заключен некоторый род коллективной ответственности. Если обидчик из другой семьи, нежели его жертва, но принадлежит к тому же клану или племени, то некоторым из его родственников, возможно, приходится искупать его поступок. Если он принадлежит к другому клану, то ответственность за него может нести весь клан[2]; а если он из другого племени, то месть может обрушиваться без разбора на его соплеменников. Объяснить эти факты, однако, не составит труда. Следующее утверждение, сделанное мистером Ромилли относительно жителей Соломоновых островов, обладает, несомненно, гораздо более широкой применимостью: «В делах, которые требуют наказания, поймать действительных виновников труднее, чем может представить тот, кому не приходилось заниматься этой неприятной работой»[3]. Хотя порой бывает, что убийцу отвергает его собственный народ[4], общее правило таково, что не только все члены группы вовлекаются более или менее действенно в акт мести, но и все взаимно оберегают друг друга от

---

[1] Darwin. A biographical sketch of an infant // Mind. Vol. II. P. 288.

[2] Доктор Штейнмец говорит (loc. cit. Vol. I. P. 381), что не обнаружил ни одного случая кровной мести, имевшей место между кланами. Мое утверждение в тексте основано на отчете Бриджа об огнеземельцах (Bridge. A voice for South America. Vol. XIII. P. 207), на отчете Ридли о камиларои в Австралии (Jour. Anthr. Inst. Vol. II. P. 268) и на отчете Годвина Остена о горных племенах гаро в Индии (ibid. Vol. II. P. 394).

[3] Romilly. The Western Pacific and New Guinea. P. 81. Ср.: Friedrichs. Mensch und Person // Das Ausland. 1891. S. 299.

[4] См.: Crantz. The history of Greenland. Vol. I. P. 178.

мстителей. Очень часто убийца провоцирует войну[1], в которой семья выступает против семьи, клан против клана или племя против племени. В таких случаях вся группа берет на себя деяние виновного, и любой из его собратьев, вступаясь за него, становится подходящим объектом для мщения. В глазах потерпевшей стороны вина, так сказать, расширяется. Более того, ввиду близкого родства, существующего между членами одной группы, действительный виновник будет почти наверняка убит при успешном нападении мстителей на его людей, а если он вдруг уже мертв, тогда мучительные и унижающие последствия нападения, как предполагается, настигнут его дух.

Несмотря на все это, однако, стойкая тенденция к разборчивости, характеризующая обиду, не теряется полностью даже под завесой общей ответственности. Так, например, мистер Хауитт пришел к выводу, что у австралийских курнаи, когда человекоубийство совершается чужим племенем, кровная месть «может удовлетвориться только смертью преступника», хотя она осуществляется не против него одного, а против всей группы, членом которой он является[2]. Относительно аборигенов Западной Австралии сэр Джордж Грей замечает: «Первый великий принцип в отношении наказаний заключается в том, что все родные виновного в случае, если его не найдут, становятся носителями его вины; если, стало быть, главный виновник не может быть найден, то за него почти равноценно будут отвечать его брат или отец, а если и они не смогут за него ответить, то ответственность ложится на любого другого родственника,

---

[1] Утверждение доктора Поста (Die Geschlechtsgenossenschaft der Urzeit. S. 156), что кровная месть «charakterisirt sich… ganz und gar als ein Privatkrieg zwischen zwei Geschlechtsgenossenschaften», не вполне верно в этой безоговорочной форме, что можно увидеть, например, из описания кровной мести у бразильских индейцев, предлагаемого фон Мартиусом в книге: Von Martius. Beiträge zur Ethnographie Amerika's. Bd. I. S. 127-129.

[2] Fison and Howitt. Kamilaroi and Kurnai. P. 221.

мужчину или женщину, которые могут попасть в руки мстящей стороны»[1]. У веттер, согласно Риделю, сначала ищут самого злодея, и только если его невозможно найти, месть обрушивается на кого-нибудь из членов его *негари*[2]. У огнеземельцев, как сообщает М. Хиадес, самые серьезные бунты происходят тогда, когда человекоубийца, которого хотят наказать, укрывается от расплаты у кого-то из своих родственников или друзей[3]. Фон Мартиус замечает относительно бразильских индейцев вообще, что, даже когда человекоубийство перерастает в межплеменную войну, ближайшие родственники убитого стараются, насколько это возможно, покарать самого виновного и его семью[4]. У индейцев Гвианы, согласно мистеру Бретту, «если невозможно убить предполагаемого преступника, вместо него должен пострадать кто-то из невинных членов его семьи – мужчина, женщина или маленький ребенок»[5]. Относительно индейцев крик мистер Хокинс говорит, что, хотя в случае бегства убийцы и невозможности его поймать они обрушивают месть на какого-нибудь невинного индивида, принадлежащего к семье убийцы, они все-таки «искренне стремятся предать смерти виновного»[6].

Вполне возможно, что чего-то в таком роде можно было бы найти гораздо больше, если бы только наблюдатели дикарской жизни уделяли больше внимания этой особой стороне дела. Во всяком случае, самый интересный момент, связанный с кровной местью, состоит не в том, что сам виновник часто легко уходит от расплаты, а в том, опять же, что страдания ни в чем не повинных индивидов самым вопиющим образом игнорируются. И именно в

---

[1] Grey. Journal of expeditions. Vol. II. P. 289.
[2] Riedel. De sluik en kroesharige rassen tusschen Selebes en Papua. P. 434.
[3] Hyades and Deniker. Mission scientifique du Cap Horn. Vol. II. P. 375.
[4] Von Martius. Loc. cit. Bd. I. S. 128.
[5] Brett. The Indian tribes of Guiana. P. 357.
[6] Hawkins, in *Trans. American Ethn. Soc*. Vol. III. P. 67. См. также: Dall. Alaska. P. 416; Chalmers. Pioneering in New Guinea. P. 179.

этом моменте в ходе эволюции произошло в высшей степени важное изменение. Может ли быть что-то отвратительнее для нашего чувства справедливости, чем месть калифорнийского нисенана, который «считает, что самая сильная и суровая месть, какую только может свершить человек, – это предать смерти не самого убийцу, а его лучшего друга»![1] И насколько же противоречат всем нашим моральным идеям следующие факты! Если у мара благородный убивает простолюдина, то смерть последнего отмщается не напрямую убийце, а какому-нибудь простолюдину, подчиненному ему[2]. Если у канканаи Лусона плебей убивает благородного, то должен быть убит другой благородный, из родни убийцы, в то время как сам убийца игнорируется[3]. Если у игоротов мужчина убивает женщину из другого дома, то ее ближайший родственник стремится убить женщину, принадлежащую к домохозяйству убийцы, но самому виновнику-мужчине он ничего не делает[4]. Во всех этих случаях виновник вовсе не теряется из виду; месть неизменно обрушивается на кого-то, связанного с ним. При этом всякое помышление о невинности жертвы меркнет на фоне слепого подчинения могущественному правилу, которое требует точной эквивалентности ущерба и наказания – око за око, зуб за зуб, – и это правило, будучи доведенным до логического конца, не может допустить, чтобы за жизнь женщины была принесена в жертву жизнь мужчины, за смерть простолюдина – смерть благородного или за смерть благородного – смерть простолюдина.

Подобное правило эквивалентности, более или менее строго соблюдаемое, часто регулирует практику расплаты. Иногда оно требует, чтобы за одну жизнь забиралась только одна жизнь; иногда – чтобы смерть отмщалась человеку того

---

[1] Powers. Tribes of California. P. 320.
[2] Munzinger. Ostafrikanische Studien. S. 243.
[3] Сведения Блументритта, цитируются в: Spencer H. The principles of ethics. Vol. I. P. 370ff.
[4] Jagor. Travels in the Philippines. P. 213.

же ранга, пола или возраста, что и умерший; иногда – чтобы убийца умер той же смертью, что и его жертва; иногда – чтобы различные виды ущерба возмещались причинением такого же ущерба преступнику. Для правильного понимания мести у дикарей стоит, пожалуй, привести еще несколько иллюстраций этого примечательного закона. У Nukahiva*, согласно фон Лангсдорфу, убийство влечет родовую месть, «но как только кто-то приносится в жертву, будь то мужчина, женщина, мальчик или девочка, вражда сразу же прекращается, и между антагонистами восстанавливается полнейшая гармония»[1]. Племена негрито и игоротов в провинции Ла Исабела на Филиппинах ведут регулярный балансовый учет голов; и, странно сказать, те же игороты, которые отплачивают за смерть родственника смертью какого-нибудь совершенно невинного индивида, случайно подвернувшегося им под руку, настолько щепетильны в этом квазивозмездии, что «за погибшего мужчину должен быть убит мужчина, за женщину – женщина, за ребенка – ребенок»[2]. Опять же, в Абиссинии, если один человек убивает другого, то убийца должен быть предан смерти ближайшими родственниками умершего с помощью того же вида оружия, которым была погублена его жертва. Мистер Паркинс рассказывает нам, до какой нелепой крайности доводится этот принцип. Один мальчик, взобравшись на дерево, случайно упал с него прямо на голову своему маленькому товарищу, стоявшему внизу. Товарищ мгновенно умер, а неудачливый покоритель деревьев был впоследствии приговорен к смерти и должен был быть убит тем же способом, которым он погубил другого мальчика: брат погибшего мальчика забирался на дерево и прыгал на голову его губителя

---

* Соответствующий русскоязычный этноним установить не удалось. – *Прим. перев.*

[1] Von Langsdorf. Voyages and travels. Vol. I. P. 132.

[2] Foreman. The Philippine Islands. P. 213; Jagor. Loc. cit. P. 213.

до тех пор, пока не убил его[1]. Другие примеры показывают, что закон эквивалентности относится не только к случаям убийства. Мистер Им Турн сообщает об индейцах Гвианы, что в теории, если не на практике, их сознания насквозь пропитались завершенной теорией возмездия «зуб за зуб» и что даже малейший ущерб, нанесенный одним индейцем другому, хотя бы и непреднамеренно, должен быть искуплен тем, что виновник должен понести такой же ущерб[2].

Мы не должны, однако, считать, что эта строгая эквивалентность характеризует обиду как таковую; в этом плане я согласен с доктором Штейнмецем. Несомненно, есть некая соразмерность между болевым стимулом и реакцией; при прочих равных условиях, обида возрастает в силе вместе со страданием, которым она возбуждается. Чем больше человек чувствует себя обиженным, тем сильнее (*ceteris paribus*) его желание отплатить за причиненный ему ущерб, и тем более сурового возмездия он ищет. Вместе с тем обида не предполагает точного уравновешивания собственного страдания и страдания другого. И, стало быть, возможна огромная несоразмерность между пережитым страданием и тем страданием, которое причиняется в ответ на него. Особенно изменчивой является связь между внешним действием и реакцией, внешней причиной обиды и следствием, в которое она выливается. Одна и та же вещь может вызывать у разных людей очень разные степени страдания и обиды. Крайность, до которой может быть доведен гнев в душе дикаря всякой случайностью, которая кажется нам сущей мелочью, хорошо иллюстрирует патагонский касик, в приступе ярости швырнувший со всей силы своего трехлетнего сынишку о камни из-за того, что тот уронил переданную ему отцом

[1] Parkyns. Life in Abyssinia. Vol. II. P. 236-238.
[2] Im Thurn. Among the Indians of Guiana. P. 213ff.

корзинку яиц[1]. Если обдуманная обида обычно менее избыточна, чем внезапный гнев, то это потому, что есть время не только для лучшей оценки степени причиненного вреда, но и для вхождения в чувственную жизнь других импульсов. Ни месть, ни внезапный гнев, однако, не находятся в какой-либо естественно фиксированной связи со своей причиной. Достаточно вспомнить Ганнибала, убившего Химеру и предавшего смерти 3 тысячи пленников-мужчин в отместку за своего убитого деда. Итак, если направленность обиды на собственную причину относится к самой ее природе, то точное требование «око за око, зуб за зуб» к ней не относится. Если у одних народов в обычае отнимать за одну жизнь только одну жизнь, то другие стремятся погубить всю семью виновника[2]. В то время как некоторые требуют лишь, чтобы убийца умер той же смертью, что и его жертва, другие не ограничиваются просто убийством, а стремятся еще и изуродовать труп убитого врага[3]. В то время как некоторые отплачивают за различные виды ущерба причинением аналогичного ущерба обидчику, другие не имеют ничего против того, чтобы даже за маленькие ущербы отплачивать смертью[4]. Как тогда объяснить правило эквивалентности, которое регулирует месть у некоторых народов, но не соблюдается у других?

Если это правило не подразумевается самой местью, то, разумеется, оно должно быть обусловлено влиянием других факторов, которые смешиваются с этим чувством и помогают, вкупе с ним, детерминировать действие. Одним из этих факторов является, на мой взгляд, чувство собственного достоинства (self-regarding pride), которое играет столь важную роль в мести как у дикаря, так и у цивилизованного человека, что его считали, хотя и ошибочно, составляющим

---

[1] King and Fitzroy. Voyages of the *Adventure* and *Beagle*. Vol. II. P. 130ff.
[2] Например, бразильские индейцы (Von Martius. Loc. cit. Vol. I. P. 128).
[3] Например, тасманийцы (Calder, in *Jour. Anthr. Inst*. Vol. III. P. 21).
[4] Например, тиморцы (Forbes. A naturalist's wanderings in the Eastern Archipelago. P. 473).

самую суть мести. Желание сбить унижающую спесь с агрессора естественным образом предполагает идею отплатить ему той же монетой. Так, пинок обычно вызывает ответный пинок, удар в ухо – ответный удар в ухо, дурное слово – еще одно дурное слово в ответ, порча имущества – ответную порчу имущества. Подобное сходство между действием и реакцией, несомненно, обусловлено – по крайней мере, в значительной степени – уязвленной гордостью, хотя представляется вероятным, что естественная склонность к имитации, особенно в случаях внезапного гнева, действует в том же направлении. Кроме качественной эквивалентности между причиненным ущербом и наказанием, *lex talionis* требует еще приблизительной количественной эквивалентности. Но это требование, по-видимому, не может иметь происхождение ни в одном из только что названных факторов. Уязвленное «самочувствие» вполне может требовать, чтобы наказание было по крайней мере равным по интенсивности оскорблению, но в то же время может вести и к возмездию, далеко выходящему за этот предел. Следовательно, должна работать какая-то другая сила, когда установился закон отплаты той же монетой. Давайте посмотрим, что это за сила.

Надо заметить, что строгое правило эквивалентности имеет характер обычая и, как и все обычаи, навязывается обществом. Месть у дикарей, в действительности, не является просто частным делом; общество не оказывается совершенно безучастным наблюдателем даже тогда, когда совершенное посягательство сугубо индивидуально. Хотя требование мести обычно описывается как право, принадлежащее обиженному или его группе, есть факты, слишком многочисленные, чтобы их приводить, которые показывают, что даже у низших из ныне существующих дикарей месть считается социальным долгом и что его невыполнение влечет всеобщее осуждение. Человек по природе своей – существо как обидчивое, так и сочувствующее. Видя, что кто-то из его товарищей терпит ущерб или гибнет от рук другого

индивида, он сам испытывает боль и обиду и, хотя не является непосредственным объектом посягательства, желает, чтобы обидчик был наказан. В этой простой комбинации обиды и симпатии мы имеем факт, в высшей степени важный для формирования морального сознания – бесконечно более важный, чем всякая калькуляция в отношении социальной полезности. Если кто-то на это возразит, что данное объяснение моделирует разум дикаря в слишком большой степени по образцу нашего собственного, то я могу, выбрав один из множества схожих примеров, сослаться на терьера профессора Романеса, который «где и когда бы ни видел человека, бьющего собаку, будь то дома или на улице, в непосредственной близости или где-то вдалеке… обычно рвался вмешаться в происходящее, рыча и скрежеща зубами самым угрожающим образом»[1].

Хотя общественное мнение, стало быть, требует, чтобы месть совершалась в ответ на причинение ущерба, она функционирует также и иным образом. В то время как обида ущемленной стороны в каких-то случаях может казаться посторонним слишком слабой или слишком сдерживаемой другими импульсами, в других случаях она может казаться безосновательно раздутой. Если обидчиком оказывается человек, чувствам которого люди естественным образом сочувствуют, то это сочувствие, или симпатия, будет удерживать желание видеть его наказанным в определенных границах, а если они в равной степени сочувствуют страданию обидчика и страданию его жертвы, то будут требовать наказания, только равного преступлению. Это требование – в сочетании с естественной для неокультуренного разума идеей, что преступление и наказание должны измеряться их внешними аспектами, – лежит в основании строгого правила эквивалентности, которое является, таким образом, выражением не необузданного варварства, а продвижения в

[1] Romanes. Loc. cit. P. 440.

человечности и цивилизации. Если бы это объяснение было правильным, то обсуждаемое правило должно было бы первоначально ограничиваться преступлениями, совершенными соплеменниками, поскольку в противном случае общественное мнение не могло бы быть беспристрастным судьей. О системе «зуб за зуб», преобладающей у гвианских индейцев, мистер Им Турн ясно говорит: «Конечно, все это относится главным образом к взаимным отношениям членов одного и того же племени»[1]. С другой стороны, когда мы находим, что дикари действуют согласно тому же принципу и в отношениях с другими племенами, причину этого можно искать отчасти в сильном влиянии, которое этот принцип оказывает на их умы, и в значительной степени в тех опасностях, сопровождающих межплеменную месть, которые делают желательным удержание ее в разумных пределах.

Тогда, насколько я знаю, не остается никаких фактов, которые противоречили бы до сих пор принятому взгляду, что обида направлена по существу на ее реальную или предполагаемую причину. В то время как кажущиеся исключения из этого правила, как мы показали, обусловлены влиянием иных соображений, которым обида обязана была уступать, в доказательство этого правила могут быть приведены бесчисленные примеры. В этой связи я мог бы, например, сослаться на практику наказания «нарушителя», которая встречается у разных народов и не является неведомой даже для дикарей, но я ограничусь тем, что скажу несколько слов о другом предмете, чрезвычайно важном для психологии обиды.

Каждому известно, что, по крайней мере, у нас обида гораздо легче вызывается умышленным причинением вреда и причинением вреда, возникающим из пренебрежения, нежели тем, которое происходит непреднамеренно. Особенно это касается обдуманной обиды, которая, видимо,

---

[1] Im Thurn. Loc. cit. P. 214.

практически невозможна там, где не допускают волевой причины вреда. У дикарей, опять же, насколько нам известно из достоверных источников, часто, но не всегда и вряд ли когда-либо с удовлетворительной точностью, проводится различие между случайностью, *culpa* и *dolus*; и история уголовного права показывает, насколько медленно и постепенно складывалось полное признание этого различия у цивилизованных народов. Все это можно легко объяснить исходя из того, что было сказано выше о естественной направленности обиды и растущем внимании, уделяемом человеческому страданию. Обида направлена на предполагаемую причину боли, но для раскрытия этой причины может требоваться больше интеллекта, чем тот, которым обладает дикарь. Если моя рука или нога по чистой случайности ударяет моего ближнего, а он, надлежащим образом рассудив, совершенно убежден в моей невинности, то, разумеется, он не может на меня сердиться. Почему нет? Просто потому, что он проводит различие между частью моего тела и мной самим как волевым существом и находит, что *я* не являюсь правильным объектом обиды, поскольку причиной вреда была просто моя рука или нога. Однако не каждый человек способен или готов провести это различие, и результатом становится то, что мы зовем несправедливой обидой. Она может быть обусловлена либо низким уровнем интеллекта, либо страстным желанием излить гнев, недостаточно обузданным симпатией и моральными соображениями. Отсюда разница между обидой неокультуренного разума и обидой разума окультуренного, различие, которое явно никак не затрагивает сущность самого этого чувства.

Обдуманность, однако, может пойти дальше. Если человек пострадал от намеренно причиненного ущерба, он может прийти к мысли, что желать отплатить страданием за страдание неразумно и жестоко, если только тем самым не будет достигнут какой-нибудь хороший результат – особенно устранение злой воли, из которой проистекает изначальное страдание. Ему

будет, вероятно, трудно, а то и невозможно, полностью покориться этому голосу разума и симпатии, поскольку, как мы уже видели, имеется глубоко коренящаяся связь между желанием причинить ответное страдание и желанием устранить причину собственного страдания. Труднее всего ему будет это сделать, если он исходит из того, что злонамеренное воление коренится в целостном характере человека; сделать это будет, с другой стороны, легче, если он сможет свести его к какой-то явно случайной причине, например, к недостаточному знанию или каким-то физическим нарушениям. В сущности, ему надо лишь дать более широкое применение тому уроку, который преподнесла ему его связь с неодушевленным миром. Если он обжигается о горячую тарелку, он немедленно пытается устранить причину своего страдания, но он не может, будучи в ясном рассудке, желать причинить ответную боль вещи, неспособной чувствовать боль. Конечно, можно на какой-то миг испытать чувства доктора Нансена, который, пересекая Гренландию, получил, по его словам, «вполне реальное удовлетворение» от поломки санок, которые ему было трудно с собой тащить[1]. Такое желание, однако, не может длиться долго. Даже собака, которая во время игры с другой собакой причиняет себе вред, врезаясь лбом в дерево, немедленно меняет свою гневную установку, когда замечает реальную природу источника боли[2]. Чтобы полностью понять разницу между ущербом, происходящим от неодушевленной вещи (к которому сводятся для просвещенного разума всевозможного рода случайные повреждения), и вредом, причиняемым волевым существом, мы должны, однако, также иметь в виду, что в первом случае нет ликующего врага, раздражающего нас своим оскорбительным для нас успехом.

---

[1] Nansen. Eskimo life. P. 213ff.
[2] Stanley H. Loc. cit. P. 154ff.

Эти последние соображения уже подвели нас вплотную к моральной проблеме. И именно в этой связи теория доктора Штейнмеца представляется мне, пожалуй, наиболее неудовлетворительной. Сам он считает необходимым остановиться на соображениях полезности и социальной целесообразности, чтобы объяснить направленность мести и наказания, а исходя из этих соображений, по всей видимости, мы должны затем объяснять понятия моральной вины и ответственности. Все это, на мой взгляд, в корне неверно. Ответственность, несомненно, имеет свои корни в принципе, гораздо более глубоком, чем холодная идея, что некоторый индивид – а именно обидчик – должен быть принесен в жертву ради общественного благополучия; и та перегородка, которую доктор Ре и доктор Штейнмец возвели между местью и наказанием, рушится несметным множеством фактов. Недостаток места не позволяет мне, однако, привести основания моих мнений по этим важным вопросам, которые, к тому же, не попадают в предмет обсуждения этой статьи.

В заключение хочу добавить несколько слов о методе, с помощью которого были получены оспоренные здесь выводы. Я лично считаю, что психологии жизненно важно гораздо шире пользоваться сравнительным методом, чем это до сих пор делалось. В то же время она должна использовать его с большой осторожностью и в особенности должна пытаться избежать тех ошибок в методологии, которыми, по моему мнению, обременены очень многие социологические труды последнего времени. Доктор Штейнмец по большей части основывал свою психологическую теорию – образующую лишь часть его во многих отношениях важной работы – на случаях дикарской мести, которые он совершенно произвольно и неметодично, нисколько не консультируясь с психологией животных, интерпретирует как пережитки ранних стадий, через которые прошло человечество. Это, на мой взгляд, вносит в психологию самую фатальную ошибку современной социологии. Изучение явлений, которые

можно со сколько-нибудь серьезной вероятностью считать пережитками, действительно является крайне важным и уже принесло много блестящих открытий; но в то же время я придерживаюсь мнения, что некритичный культ пережитков породил массу фантастических теорий, которые в умах, знакомых с точной процедурой, к сожалению, ослабляют веру в сравнительный метод как таковой. Когда я обнаруживаю, что антропологи до сих пор с догматической определенностью постулируют древнюю стадию универсальной полиандрии на том основании, что часто встречается обычай брака с вдовой умершего брата; что они *всякое* жертвоприношение объявляют происходящим от практики совместной трапезы с богом, коей предшествовала еще более древняя практика съедения самого бога; что универсальный тотемизм, со всем ворохом предполагаемых последствий, становится религиозной догмой целой школы, – когда я все это вижу, я не могу желать сравнительной психологии прохождения через соответствующую стадию. Я, скорее, надеюсь, что эта новая наука сможет руководствоваться в своем трудном пути тем рассудительным и подлинно научным духом, который сделал великие труды профессора Э.Б. Тайлора прочными краеугольными камнями исторической антропологии.

Пер. с англ. В.Г. Николаева

Рефераты

НЬЮЕН А., ЦИНК А. КЛАССИФИКАЦИЯ ЭМОЦИЙ: ОНТОГЕНЕТИЧЕСКИЙ ПОДХОД.

NEWEN A., ZINCK A. Classifying emotions: A developmental account // Synthese. – Dordrecht, 2008. – Vol. 161, N 1. – P. 1–25.

Психологи из Тюбингена Алберт Ньюен и Александра Цинк (университет Карла Эберхарда, Германия) представляют модель классификации эмоций с точки зрения их развития в онтогенезе. По мнению авторов, оживленная дискуссия по проблеме эмоций в новейшей психологической, философской и социологической литературе свидетельствует о крайней расплывчатости представлений о природе этого феномена и «пестроте его определений, концепций и онтологии» (с. 2). На этом фоне «ключевой задачей современной теории эмоций представляется их систематическая классификация» (с. 6). Цель настоящей статьи, таким образом, состоит в том, чтобы: 1) выделить эмоции из общего класса ментальных состояний, предварительно уточнив критерий их идентификации; 2) разработать классификационную схему эмоций, определить основные типы эмоциональных реакций и их развитие в онтогенезе; 3) прояснить природу эмоций, доказать их право на существование в качестве «гомологической категории».

Авторы начинают свое обсуждение проблемы эмоций с подробного анализа классических представлений об этом явлении. В истории философии и психологии известны два основных (взаимоисключающих) подхода к феномену эмоциональных проявлений – перцептивный (чувственно-аффективный) и когнитивный. Первый, представленный работами У. Джемса, К. Ланге и В. Вундта, трактует эмоции как чувственные реакции на восприятие телесных состояний и их изменений. Главным содержанием эмоций здесь выступает «субъективная чувственная феноменология». Позиция Джемса-Вундта имеет

своих сторонников и в XXI веке[1], однако и с теоретической, и с эмпирической точек зрения, она не выдерживает критики, подчеркивают Ньюен и Цинк. Во-первых, эмоции отличаются гораздо большей индивидуальной и культурно-исторической спецификой, чем их чувственная (перцептивная) составляющая (физиологическое «лицо»). Во-вторых, эмоциональные реакции, в особенности их сложные композиционные формы (например, стыд или смущение) интенциональны по своей природе (то есть направлены на конкретный объект), тогда как чувственные состояния могут иметь место вне всякой интенциональности (усталость). Интенциональность же непременно требует предварительных когнитивных действий (оценка ситуации, выбор релевантных представлений и верований). Кроме того, чувственно-перцептивные концепции эмоций не могут объяснить такие эмоциональные проявления, когда физиологическое возбуждение не регистрируется сознанием.

Когнитивные теории считают главным содержанием эмоций «пропозициональные аттитюды», или устойчивую предрасположенность индивида и группы к определенному типу аффективных реакций на конкретные (индивидуально и социально значимые) объекты среды. На первый план здесь выдвигаются когнитивные процессы репрезентации и оценки текущей ситуации на базе фундаментальных верований, мнений и знания. Однако в терминах чистого когнитивизма нельзя объяснить эмпирически наблюдаемые факты простейших эмоциональных реакций (страх) у других биологических видов или у младенцев, которые еще не обладают когнитивными навыками представления и ментальной дифференциации происходящего. Кроме того, трактовка эмоциональных состояний исключительно в качестве аттитюдов закрывает

[1] См.: Prinz J. Gut reactions: A perceptual theory of emotion. – Oxford: Oxford univ. press, 2004.

дорогу изучению их аффективных параметров, которые, собственно, и составляют визитную карточку эмоциональных реакций.

В современной научной литературе тенденция к сверхинтеллектуализации эмоциональных состояний продолжает сохраняться[1]. Тем не менее, многие философы и психологи предпочитают классифицировать эмоции по другим основаниям (например, их формирование и развитие в филогенезе), различая базовые / производные, первичные / вторичные, позитивные / негативные, отличающиеся высоким / низким порогом возбуждения и тому подобные их разновидности. С учетом накопленных эмпирических данных, авторы статьи считают необходимыми и достаточными характеристиками эмоциональных состояний: а) физиологические проявления – субъективное возбуждение, физическое и физиогномическое выражение, автоматизм, обусловленность процессами высшей нервной деятельности; б) феноменологическое содержание – субъективные чувственные состояния; в) когнитивные параметры – предпосылки и последствия; г) интенциональность; д) поведенческие особенности – мотивация определенного типа действий и взаимодействий.

Классификация эмоциональных переживаний требует их предварительной дифференциации в ряду прочих ментальных состояний, каковыми традиционно считаются представления и аттитюды. К ментальным представлениям относятся: а) перцепции, фиксирующие единичный опыт чувственного восприятия конкретных предметов и явлений внешнего мира (слух, осязание, обоняние, зрение); б) ментальные диспозиции, стимулирующие интерес индивида к внешнему миру и мотивирующие его познание (внимание, любопытство, поиск, ожидание); в) чувственно-телесные состояния, отражающие преимущественно внутренние параметры и продуцирующие

[1] См.: Goldie P. The emotions: A philosophical exploration. – Oxford: Clarendon, 2000.

рефлексивно-автоматические адаптивные реакции (ощущения), нацеленные на поддержание гомеостаза и физическое выживание (голод, жажда).

Когнитивные аттитюды – это ментальные состояния, имеющие субъективное пропозициональное и / или когнитивное содержание, которое не включает обязательного чувственного (феноменологического) опыта (желания, упования, чаяния, верования). На этом фоне эмоции могут быть описаны как подкласс ментальных явлений, для которого характерны автоматизм и внезапность возникновения, краткосрочность, отчетливость и распознаваемость физиологических и физиогномических реакций, конкретность субъективного опыта в виде когнитивного набора мыслей, воспоминаний и образов, ориентированность на межличностное взаимодействие, специфические мотивационные установки и поведенческие формы выражения.

Эмоции, продолжают Ньюен и Цинк, отличаясь содержательным богатством и большим разнообразием внешних проявлений, обладают общими психосоциальными функциями. Именно эти функции авторы статьи используют в качестве критерия идентификации собственно эмоциональных переживаний. Сюда относятся:

1. феноменологически кодированная *оценка* наличной ситуации либо состояния когнитивной системы;

2. *подготовка* (мотивация) ответных действий путем продуцирования физиологических изменений;

3. внешнее *выражение* (типичность мимики и жестов) автоматического или инстинктивного происхождения, указывающее на:

4. *готовность* к действиям в отношении субъекта (предмета) или интеракции с ним;

5. *подвижность,* лабильность ответных поведенческих реакций, возрастающая по мере расширения когнитивного диапазона эмоциональных состояний.

Очевидно, что наличие у эмоциональных переживаний всех перечисленных функций не позволяет редуцировать их до уровня чувственно-телесных состояний, которые эволюционно и филогенетически им предшествуют. Равным образом, эмоции несводимы к когнитивным проявлениям, где чувственный компонент опыта не является обязательным. Помимо функциональной специфики, основанием для классификации эмоций служит их развитие в онтогенезе. Этот критерий, пишут Ньюен и Цинк, позволяет проследить эволюцию, усложнение и обогащение когнитивно-чувственного багажа личности по мере ее развития и социализации. Онтогенетическая трансформация эмоциональных состояний включает четыре последовательных стадии:

1. до-эмоциональные состояния, или «несфокусированные экспрессивные эмоции» как врожденная форма поведенческой интеракции с внешним миром: *комфорт и дистресс*; выражают готовность младенца к позитивной / негативной дифференциации событий и объектов и характеризуются наличием всех главных признаков эмоциональной реакции (автоматизм, физиологическое выражение, ориентация на взаимодействие);

2. базовые эмоции, или базовые аффективные программы: *радость, гнев, страх, печаль* (возникают соответственно в возрасте 2-3 мес., 4-6 мес., 7-9 мес., 3-7 мес.); не требуют обязательного участия когнитивных процессов (рефлексии и сознания); являются спонтанными адаптивными реакциями на вызовы среды (опасность→страх; потеря родителей и привычной среды обитания→печаль; фрустрация и несбывшиеся ожидания→гнев; самореализация и одобрение окружающих →радость);

3. первичные когнитивные эмоции – когнитивное обогащение и развитие базовых аффективных программ, усложнение эмоционального опыта, превращение аффективных состояний в «когнитивно оправданные эмоциональные проявления», отличающиеся высокой степенью вариативности; когнитивное содержание эмоциональных состояний этого уровня служит основанием для культурной вариативности эмоционального поведения (базирующегося на универсальных базовых аффективных программах), подчинения его требованиям социализации, передачи и сохранения культурных ценностей и «цензуре публичного выражения»; наконец, когнитивное развитие эмоциональных переживаний приводит к их усложнению, способствует возникновению массы эмоциональных оттенков;

4. вторичные когнитивные эмоции – широкий спектр эмоциональных состояний наивысшего уровня развития и сложности, который включает в себя «мини-теории» как «конституирующий элемент наряду с чувственным опытом, поведенческими формами и физиологическими характеристиками»; мини-теории предполагают построение той или иной Я-концепции, владение навыками когнитивной оценки, наличие верований и знания как ее фундамента и представлений о принципах социального взаимодействия в тех или иных обстоятельствах, а также – ожиданий и надежд, связанных с будущим развитием наличной ситуации; другими словами, это – «сложные эмоции, обусловленные культурной информацией и личным опытом индивида» (с. 14), которые, тем не менее, являются продолжением и усложнением четырех базовых эмоциональных состояний.

В самом общем виде процесс онтогенетического формирования эмоций в пространстве культуры и общества может быть представлен следующей схемой: *комфорт* (до-эмоциональное состояние I) → радость (базовая эмоция) →веселье (упоение, удовольствие и прочие первичные когнитивные эмоции)

→любовь (счастье, блаженство и прочие вторичные когнитивные эмоции); *дистресс* (до-эмоциональное состояние II) порождает три базовые эмоции (страх, гнев, печаль), которые соответственно дифференцируются в виде а) чувства опасности и беспокойства; б) фрустрации и раздражения; в) разочарования и огорчения. Переход на уровень вторичных когнитивных эмоций приводит к возникновению стыда, ревности и зависти; ярости и презрения; скорби и горя.

Данная классификация, пишут в заключение Ньюен и Цинк, нуждается в дальнейшей детализации и уточнении. Так, необходимым представляется различение собственно эмоций как «эмоциональных событий» (краткосрочных, острых, насыщенных и интенсивных аффективно-когнитивных реакций) и эмоциональных диспозиций (набора относительно устойчивых характеристик индивидуального темперамента), а также – настроений (долгосрочных эмоциональных эпизодов более низкой интенсивности, порой лишенных когнитивных параметров и интенциональности, но обладающих существенным влиянием на восприятие и оценку текущих событий).

Классификация эмоций с точки зрения их психосоциальных функций позволяет преодолеть стереотипные представления об эмоциональных переживаниях, считают психологи из Тюбингена. В частности, к разряду эмоций нельзя причислить боль, отвращение, удивление и тщеславие. Боль фокусирует внимание исключительно на внутренних потребностях организма и продуцирует реакции инстинктивного характера, исключающие лабильность поведения; отвращение – это непосредственный «биологический ответ» на внешний негативный стимул, который не предполагает никаких иных поведенческих реакций или когнитивного расширения эмоционального диапазона (подобно базовым реакциям страха, радости, гнева и печали); удивление – это когнитивная составляющая подготовки эмоциональной

реакции, но не сама реакция; тщеславие (высокомерие) не содержит никакого чувственного переживания, оно «лишено феноменологических атрибутов» (с. 21).

Предложенная модель классификации эмоциональных состояний, по мнению ее создателей, выгодно отличается от уже существующих концептуальных подходов. В отличие от необихевиоризма, эта схема способна объяснить индивидуальный характер эмоциональных переживаний и персонификацию выражения базовых аффективных программ. По сравнению с концепциями эволюционной биологии, данная модель позволяет понять социокультурную вариативность эмоций и их многообразие. Вместе с тем, онтогенетический подход свободен от крайнего релятивизма и пан-социологизма, характерных для новейших теорий социального конструктивизма, что дает возможность интерпретировать социально-историческую обусловленность эмоционального опыта и его поведенческих форм как трансформацию базовых аффективных состояний под воздействием того или иного культурно-специфического когнитивного содержания.

Е.В. Якимова

ТЕОДОЗИУС К. ОБНАРУЖЕНИЕ ЭМОЦИЙ В ПРОЦЕССЕ УПРАВЛЕНИЯ ЭМОЦИЯМИ.

THEODOSIUS C. Recovering emotion from emotion management // Sociology. – L., 2006. – Vol. 40, N 5. – P. 893–910.

Автор представляемой статьи Катерина Теодозиус (университет Эссекса, Великобритания) развивает теоретический подход к управлению эмоциями с помощью методологического инструментария «новой социальной теории эмоций» А.Р. Хохшильд, которая изложена в ее работе «Управляемое сердце»

(1983)[1]. К. Теодозиус полагает, что подход Хохшильд концептуально ограничен, поскольку, акцентируя ведущую роль социальных факторов, не учитывает значение бессознательных процессов. Автор статьи осуществила собственное эмпирическое исследование эмоциональных особенностей труда медсестер и младшего медицинского персонала (включенное наблюдение в течение 14 месяцев, аудиодневники и полуструктурированные интервью) с целью дополнить теорию Хохшильд анализом бессознательных аспектов поведения, положив тем самым начало изучению скрытых бессознательных эмоций в процессе управления эмоциями.

Эта статья, по словам автора, не претендует на полный охват проблематики социологии эмоций, а сосредотачивается на рассмотрении работ А. Хохшильд, в которых раскрывается биологическая, психологическая и социальная природа эмоций, и на исследовании бессознательных эмоций, возникающих в социальных взаимодействиях (с. 893). В последнее время концепция «управления эмоциями» А.Р. Хохшильд стала чрезвычайно популярной в социологии, поскольку в ней содержится теоретическое обоснование именно социальной природы эмоций, а также потому, что она дает возможность эмпирически изучить управление эмоциями в различных социальных контекстах. Хохшильд показывает, что эмоции становятся объектом манипуляции во властных и экономических отношениях, свойственных современным обществам. Поэтому в концепции Хохшильд эмоции часто оказываются скрытыми за процессами управления эмоциями. Однако это не означает, что эмоции недоступны для наблюдения. Автор настоящей статьи отчасти солидаризируется с позицией Я. Крейба, который считает, что в социологии эмоции определяются слишком узко. Исследования эмоций

[1] Hochschild A.R. The managed heart: Commercialization of human feeling. – Berkeley: Univ. of California press, 1983.

касаются в основном сознательных, наблюдаемых, управляемых и рационально понимаемых эмоций[1]. Но К. Теодозиус намерена показать, что интеракционистский подход к изучению эмоций и учет их бессознательных аспектов будут способствовать углублению знаний о процессах управления эмоциями.

В первой части статьи автор раскрывает основные положения «новой теории эмоций» Хохшильд, которая основывается на нескольких классических концепциях эмоций, включая органические теории Ч. Дарвина и З. Фрейда, а также интеракционистские подходы Ч.Р. Миллса, Х. Герта, Дж. Дьюи, Э. Гофмана. Хохшильд пишет: «Эмоция – это опыт тела, готовность к воображаемому действию. Поскольку тело готово к действию в физиологическом смысле, эмоция включает биологические процессы. Таким образом, когда мы управляем эмоцией, мы частично управляем готовностью тела к сознательно или бессознательно предвосхищаемому действию. Вот почему эмоциональная работа – это *работа*… Сознание вовлечено в процесс, посредством которого эмоции посылают сигналы индивиду… Эти сигналы являются сложными… поскольку включают реальность, заново воспринимаемую *по образцу предшествующего ожидания*… Идея предшествующих ожиданий подразумевает существование предшествующего self… Большинство из нас поддерживает предшествующее ожидание непрерывного self, но характер self подвержен глубокому социальному влиянию… и способ, которым эмоция посылает сигналы также находится под влиянием социальных факторов»[2]. Хохшильд полагает, что физиологически эмоциональное реагирование происходит в ответ на сознательное и *бессознательное* предвосхищение действия. Это предвосхищение должно быть

---

[1] Craib I. Some comments on the sociology of emotions // Sociology. – L., 1995. – Vol. 29, N 1. – P. 105.
[2] Hochschild A.R. The managed heart. – Op. cit. – P. 220–222.

основано на предыдущем и находящимся в памяти опыте, который является главным для «self», по сути представляющего собой особую форму социального процесса. Согласно Хохшильд, эмоция – это не только биологическая реакция, возникающая в ответ на различные стимулы. Процесс управления чувствами может влиять на появившиеся эмоции и создавать новые эмоции.

В этих концептуальных рамках Хохшильд исследует процесс управления эмоциями, который зависит от того, какая эмоция переживается и как нормы и ценности, касающиеся чувств (Хохшильд называет их «правилами чувствования» – feeling rules), влияют на интерпретацию переживаемой эмоции. Концепция управления эмоциями позволяет изучать взаимосвязи между эмоциональным опытом, правилами чувствования и идеологией. Правила чувствования эффективно руководят процессом управления эмоциями, определяя сами эмоции. Например, невеста в день своей свадьбы интерпретирует свои чувства как счастье, поскольку правила чувствования, касающиеся свадьбы, предписывают, что это счастливейший день в жизни и что ей следует чувствовать себя счастливой. Правила чувствования отражают социальные ценности. Ценность, касающаяся поведения невесты на свадьбе, базируется на праве этой женщины быть счастливой. Любые другие чувства, которые будет испытывать невеста, будут также идентифицированы и управляемы в соответствии с культурными правилами чувствования. Управление эмоциями здесь объясняется через процесс социализации, который представляет собой приобщение к социальным ценностям и нормам. Все эти отношения включают в себя управление эмоциями или эмоциональную работу, которая связана с частной сферой (семьей и друзьями).

В публичной сфере современных капиталистических обществ эмоциональная работа в частной сфере подвергается трансмутации[1] и служит коммерческим целям. Хохшильд называет эмоциональную работу (emotional work) в коммерческих целях эмоциональным трудом (emotional labour), поскольку он продается и контролируется, будучи включенным в сферу должностных обязанностей. Эмоциональный труд «требует от человека выражать или подавлять чувства для того, чтобы поддерживать выражение лица, которое производит соответствующее впечатление на других… Эмоциональный труд… поэтому обладает обменной ценностью»[2]. Эмоциональный труд осуществляется с помощью двух процессов, которые Хохшильд называет поверхностным и глубинным процессом действия. Эти процессы до определенной степени подразумевают обман по поводу действительных или предполагаемых чувств индивида. В поверхностном процессе действия индивид стремится к тому, чтобы чувствовать то, что от него ожидается, просто посредством сдерживания одной эмоции, например гнева, и выражения другой эмоции, например симпатии. В глубинном процессе действия, индивид «работает» над чувствами для того, чтобы реально испытывать ожидаемые эмоции, то есть выражать искреннюю симпатию. Основываясь на тезисе о правилах чувствования, Хохшильд раскрывает социальные паттерны повседневных актов управления эмоциями в связи с социальными интересами и идентичностью.

В рассуждениях о поверхностном и глубинном процессе действия Хохшильд использует некоторые положения З. Фрейда с целью найти связь

---

[1] Согласно автору, трансмутация имеет место там, где способ, которым индивид управляет своими чувствами в частной сфере, используется им для производства чувств в коммерческих целях, например, улыбки покупателям (с. 909).

[2] Hochschild A.R. The managed heart. – Op. cit. – P. 7.

между внутренним переживанием эмоции и тем, что выражается в социальном взаимодействии. Хохшильд понимает Фрейда следующим образом: бессознательное действует как медиатор между инстинктивной реакцией (например, отвращением, когда человека тошнит) и индивидуальным пониманием социальных ожиданий (сознательной реакцией индивида на тошноту). Это позволяет провести различие между, например, пациентом, которого тошнит вследствие болезни, и человеком, которого тошнит вследствие чрезмерного потребления алкоголя. Фрейд, однако, полагает, что эмоции бессознательны, но вытеснены или подавлены: «Изначально аффект или эмоция может быть воспринята, но неправильно истолкована. Посредством подавления изначальной формы выражения эта эмоция принудительно связывается с другой идеей, и в определенный момент она интерпретируется сознанием как выражение этой другой идеи. Если мы восстанавливаем истинную связь, мы называем изначальный аффект «бессознательным», хотя этот аффект никогда не был бессознательным, но его осознание в виде определенной идеи поверглось вытеснению»[1]. Хохшильд интерпретирует Фрейда таким образом, что, например, медсестра действительно испытывает отвращение к пациенту, но подавляет свои чувства. Автор считает, что в данном случае идея о том, что медсестра не чувствует отвращения интерпретируется ее сознанием как забота и доброта, и эмоция идентифицируется как симпатия. Чувство отвращения не было бессознательным, но социальное представление о медсестре, как заботливой и сочувствующей пациенту, подавляет его. Все это позволяет осуществиться сознательному управлению эмоциями, благодаря Эго как медиатору, которое управляет сознанием и подавляет определенные эмоции, перерабатывая импульсы Id. Таким образом, эмоции являются сигналами, ускоряющими действие.

---

[1] Ibid. – P. 210.

Далее Хохшильд показывает, как культурные правила могут (посредством Суперэго) присоединиться к действиям Эго (эмоциональная работа) по отношению к Id (чувствам). Она особым образом вписывает социальные факторы в процесс управления эмоциями, используя интеракционистский подход, подчеркивающий зависимость самого акта управления от эмоции, которой он управляет. Эмоция отчасти *создает* процесс управления. Интеракционистская модель предполагает, что социальные факторы входят *в сам процесс формирования* эмоций посредством кодификации, управления и выражения[1]. В свою очередь каждая переживаемая эмоция определяется в соответствии с нормами и ценностями (правилами чувствования). Испытывая эмоцию, индивид идентифицирует ее в соответствии с социальным контекстом. Социальный контекст также связан с правилами чувствования, и отсюда индивид знает, является ли эта эмоция пригодной для выражения, и какой способ будет приемлемым для выражения этой эмоции, следует ли эту эмоцию подавить и выразить другую, социально приемлемую эмоцию. Именно социальное различие проводится между пациентом, которого тошнит вследствие болезни (социально приемлемая ситуация) и человеком, которого тошнит вследствие чрезмерного употребления алкоголя (социально неприемлемая ситуация). К. Теодозиус полагает, что в результате такого подхода возможно эмпирическое наблюдение только социально приемлемых, нескрываемых эмоций (например, эмоция симпатии – в отношении больного, и отвращение – в отношении перепившего человека). Эти эмоции определяются только тогда, когда они проверяются правилами чувствования. Обсуждаемый метод понимания эмоциональных процессов является плодотворным, но он сводит эмоции к симпатии и отвращению. Вопрос, по мнению автора, заключается в том, существуют ли здесь другие значимые эмоции, которые

[1] Ibid. – P. 206–207.

лежат за пределами внешнего выражения и социальной интерпретации симпатии и отвращения? (с. 898).

Чтобы раскрыть понятие глубинного процесса действия в отношении эмоций Хохшильд синтезирует интеракционистскую теорию с теорией Фрейда. Она рассматривает взаимодействие между I (спонтанное self) и Me (социальное self) Дж. Г. Мида, чтобы объяснить, как индивид управляет конфликтующими социальными правилами, определяющими конформные и девиантные формы поведения. Она вводит положения Фрейда о подавлении эмоций в систему координат интеракционизма, предполагая, что «социальные чувства индивида не вытесняются в бессознательное, как это было для Фрейда, но сознательно сдерживаются и контролируются»[1]. Эта интерпретация, замечает автор, сталкивается с некоторыми трудностями. Во-первых, Фрейд действительно утверждал, что чувства индивида не являются бессознательными, а подавляются. Во-вторых, она говорит не об «изначальных чувствах», которые *подавляются*, а о «социальных чувствах», которые *сдерживаются*. По Фрейду, изначальная эмоция возникает в Id и является спонтанной и инстинктивной. I в концепции Мида является спонтанным и социально недифференцированным, подобно Id, однако Хохшильд трактует I как культурно изменчивую и социально дифференцированную часть self, чем являются по сути Me или Супер-эго. Поэтому с точки зрения К. Теодозиус, Хохшильд в рамках своей теории не оставляет места для «изначальных» эмоций, рассматривая только социально управляемые эмоции (с. 899).

Согласно Фрейду, сознательные и бессознательные эмоции, которые напрямую влияют на поведенческие модели, могут обходить процесс осознания и игнорировать контроль Супер-эго. Это происходит потому, что они возникают непосредственно, не будучи связанными со словесными

[1] Ibid. – P. 214.

определениями, социальными по своей природе. По мнению Теодозиус, это важно, поскольку эмоции часто связаны с иррациональными действиями, не поддающимися контролю и управлению. Фрейд считал, что сознательное управление эмоциями осуществляется для того, чтобы облегчить выражение других бессознательных эмоций. Например, медсестра, которая подавляет отвращение и выражает симпатию через представление о себе как заботящейся о больном, может выражать при этом бессознательные эмоции. Выражая симпатию, она предоставляет любовь и заботу, а также получает любовь и благодарность в ответ. Заботясь о пациентах, она удовлетворяет глубокую бессознательную потребность быть любимой. Эта скрытая эмоция любви бессознательно инициирует управление эмоцией отвращения и мотивирует сознательный выбор профессии.

Действительно, медсестра могла испытывать симпатию не только в силу социальных ожиданий от нее как медсестры, но и потому, что пациент проецирует на нее свою потребность в симпатии. Это главный компонент психоаналитического понятия трансфера[1]. По сути, любые человеческие взаимоотношения будут включать в себя некоторую степень трансфера. Хотя трансфер рассматривается психоаналитиками как внутреннее событие, он тоже социален. Поэтому управление эмоциями нужно изучать и понимать не только в связи с социальным взаимодействием, но и бессознательными процессами.

---

[1] Трансфер или перенос – одно из основополагающих понятий системы З. Фрейда. Это очень сильная связь пациента с психоаналитиком во время лечения, которая имеет сложную природу. Это смесь любви, восхищения, привязанности; а в случаях так называемого «негативного переноса» – смесь ненависти, противодействия и агрессии. Если психоаналитик и пациент принадлежат к разным полам, суть переноса можно описать как влюбленность. Психоаналитик становится объектом любви, восхищения, зависимости и ревности. Контртрасфер, или контрперенос – то же самое психологическое явление, которое происходит в отношении пациента со стороны психоаналитика.

Автор ставит следующий вопрос: возможно ли доказать эмпирически важность бессознательных эмоций? (с. 901)

Эмпирическое исследование, проведенное К. Теодозиус, имело целью обнаружить скрытые и явные эмоциональные процессы, влияющие на эмоциональный труд в процессе ухода за больными, который, по ее мнению, можно рассматривать как маргинализированный в силу организационных ограничений и низкого статуса медсестер. Поскольку эмоции и чувства являются постоянными в этой ситуации, а медицинский уход включает взаимодействие лицом к лицу, то управление эмоциями должно также быть постоянным, а не маргинализированным. Эмпирически, однако, при успешном управлении эмоциями, именно управляемые эмоции оказались недоступны для внешнего наблюдения. Для того чтобы определить их, испытуемого просили рассказать о них. Но обнаружить эмоции можно лишь тогда, когда индивид сознательно оценивает свои чувства и процессы управления ими. Автор попыталась преодолеть некоторые из этих трудностей с помощью следующих методов сбора и анализа данных.

Включенное наблюдение проводилось в хирургическом отделении, в палате для тяжелых больных, и преследовало следующие цели: 1) испытать те же эмоции, что и другие медсестры, работающие в палате; 2) определить правила чувствования, характерные для этой ситуации; 3) участвовать в работе с пациентами, медсестрами и другими членами команды. Кроме того, медсестры записали 15 аудиодневников, рассказывая о своих чувствах. На основании расшифровки дневников впоследствии были проведены интервью с теми же 15 медсестрами, в которых обсуждалось содержание записей. Здесь был использован нарративный подход, который способствовал составлению полного описания эмоциональных переживаний. Третий метод анализа включал психоаналитические понятия трансфера и контртрансфера с целью обнаружения

бессознательных эмоций. Это стало возможным, поскольку автор имела долговременные личные отношения с медсестрами и сама, являясь дипломированной медсестрой, ухаживала за пациентами.

Пример, который выбирает автор для обсуждения, взят из аудиодневника и интервью медсестры Сьюзан, недавно закончившей обучение. Между ней и автором статьи установились близкие отношения, так как автор была ее наставником. Запись была сделана, когда Сьюзан только что закончила дежурство. В этот день Сьюзан выглядела утомленной и рассерженной. Дома она сделала запись, в которой говорила о том, как сильно она хотела стать медсестрой, но ей практически не удается уделять внимание своим пациентам по причине чрезмерной занятости. Она не может сказать, что чувствуют ее пациенты, счастливы ли они или нет, одиноки ли. Когда одна из пациенток умерла, у нее возникло чувство вины, потому что она не провела с ней и ее семьей достаточно времени.

Во время непосредственного взаимодействия со Сьюзан, как отмечает автор, эти эмоции внешне не выражались, предположительно Сьюзан успешно управляла ими. Здесь подтверждается теоретическое положение Хохшильд об управлении эмоциями, которые становятся различимыми через правила чувствования. Однако здесь обнаруживаются и слабые стороны подхода Хохшильд. Во-первых, чувство вины становится очевидным только тогда, когда учитывается конкретная ситуация взаимодействия. Эмоциональный труд, который хотела бы предложить Сьюзан, – это сочувствие и утешение умирающей и ее семьи, что ожидается от нее как от медсестры. Чувство вины возникает у Сьюзан, когда она не соответствует этим ожиданиям. Во-вторых, эмоции, определенные в процессе анализа, включают также фрустрацию, неудовлетворенность и гнев. Этот гнев не соответствует тому правилу чувствования, которое было выделено выше.

Во время интервью стала выстраиваться полная история этого дежурства. Сьюзан воскликнула: «Да, при мне умерла пациентка. Я не говорила вам? Там были родственники, которые сказали мне, что я убила их сестру!». Сестра пациентки сказала, что именно Сьюзан лишила ее шанса на жизнь. Это заставило Сьюзан почувствовать себя абсолютным ничтожеством. Таким образом, *взаимодействие*, которое произошло между Сьюзан, умирающей пациенткой и ее сестрой становится решающим для анализа. Здесь автор анализирует возникновение бессознательных эмоций не только во взаимодействии между Сьюзан и сестрой пациентки, но и в контакте Сьюзан с автором, и предполагает, что здесь имело место управление совсем другой эмоцией.

М. Кляйн, исходя их фрейдовского понятия трасфера, полагает, что проективная идентификация в рамках трансфера заставляет одного из участников избавляться от некоторых частей self, например, деструктивных эмоций гнева и ненависти, и проецировать их на других. Интроективная идентификация, с другой стороны, существует там, где человек бессознательно принимает нежеланные чувства, проецируемые другим человеком, и затем в рамках отношений трасфера выражает их вовне. Для М. Кляйн это означает, что Эго научилось отделять объект любви от объекта ненависти. Это расщепление необходимо для того, чтобы проводить различие между основополагающими чувствами любви и ненависти и таким образом обеспечивать здоровую эмоциональную жизнь.

Итак, когда Сьюзан жалуется, что не знает о чувствах своих пациентов, то здесь, по предположению автора, она бессознательно отражает фрустрацию сестры пациентки, возникшую вследствие незнания о физическом и душевном состоянии больной. Сьюзан отражает здесь чувство вины и гнева сестры пациентки. Таким образом, подобно тому, как сестра пациентки чувствует гнев

из-за невозможности заботиться об умирающей, Сьюзан рассержена, поскольку больничная система лишает ее возможности заботиться об умирающей пациентке. Наконец, она проецирует эти чувства на автора статьи, вызывая те же чувства вины, гнева и боли.

По мнению автора, этот пример высвечивает некоторые важные аспекты, которые по существу углубляют представление об управлении эмоциями. Во-первых, бессознательные эмоции оказались явными и релевантными описанному социальному взаимодействию. Включение в анализ понятия трансфера и подробное рассмотрение всех взаимодействий объясняет возникновение эмоции гнева. То, что эмоциональный труд Сьюзан как часть осуществляемого ею медицинского ухода, включает усвоение проецируемых эмоций другого человека и выражение этих эмоций уже в других отношениях, является важным в социологической трактовке управления эмоциями. Это дает основания полагать, что эмоциональный труд – это совместное управление эмоциями. Однако остается целый ряд вопросов, на которые необходимо ответить в дальнейшем. Например, является ли опыт Сьюзан уникальным или он типичен и почему? А также вопрос о валидности психоаналитического подхода к изучению эмоций, используемого вместе с общим социологическим подходом (с. 907).

О.А. Симонова

БЛЭКМЕН Ш. ДЖ. «СКРЫТАЯ ЭТНОГРАФИЯ»: ПЕРЕСЕКАЯ ЭМОЦИОНАЛЬНЫЕ ГРАНИЦЫ В КАЧЕСТВЕННЫХ ИССЛЕДОВАНИЯХ ЖИЗНИ МОЛОДЕЖИ.

BLACKMAN S. J. «Hidden ethnography»: Crossing emotional borders in qualitative accounts of young people’s lives // Sociology. – L., 2006. – Vol. 41, N 4. – P. 699–716.

Шейн Блэкмэн (университет Кентерберийской церкви Христа) полагает, что в эмпирических социологических исследованиях долго не принимались во внимание эмоциональные переживания участников. Часто обсуждаемая в гуманитарных науках концепция «рефлексивного» поворота (reflexive turn) П. Бурдье способствовала проведению качественных исследований, целью которых являлись более реалистичные описания полевого опыта. Привлекая описания этнографических исследований молодых людей, в этой статье автор рассматривает так называемую «скрытую этнографию», то есть эмпирические данные, которые не были опубликованы по причине их противоречивости. В данной работе демонстрируется, что зачастую методы, используемые в социологических исследованиях, не способны отразить эмоциональные отношения, которые устанавливаются между исследователем и исследуемыми. Автор представляемой работы считает, что необходимо признавать и учитывать «скрытую этнографию» качественных исследований для того, чтобы лучше понимать, как осуществляются эмпирические исследования и процесс построения теории.

Можно выделить три фактора, полагает автор, препятствующих более глубокому пониманию эмоций в рамках эмпирического исследования. Во-первых, исследователи не решаются описывать возникающие эмоции из страха утратить научный статус полевой работы. Во-вторых, большинство признанных классических исследований с помощью включенного наблюдения, например, «Аутсайдеры» Г. Беккера, «Общество с уличных перекрестков» У. Уайта, «Шайки» Ф. Трэшера, связаны с девиантным поведением и вследствие этого окружены аурой секретности. И, в-третьих, существует дисциплинарное и этическое требование, что рассказчик и нарратив должны быть «чистыми» и «прозрачными». Это ведет к тому, что «скрытая этнография» или эмпирические данные, которые не были включены в описание исследования, не осмысляются.

Автор утверждает, что внутри всех групп Британской социологической ассоциации, есть немало исследователей, которые признают значение скрытой этнографии, и автор показывает это с помощью обильного цитирования из работ и выступлений социологов, которые подробно описывают свои чувства, возникавшие у них в процессе полевой работы (с. 700).

Так называемый «рефлексивный поворот» в качественной социологии и как следствие оспаривание объективности этих исследований, создали пространство в исследуемой среде, в которое стало возможным вписать поведение самого исследователя. Для П. Бурдье рефлексивный поворот связан с властью и риском, потому что социолог разоблачает происхождение, биографию, статусное положение и интеллектуальные предрассудки исследуемых людей. На протяжении последних 15 лет, автор проводил этнографические исследования молодых людей, наблюдая за их противодействием школьной системе, психологическими травмами, социальным исключением, опытом употребления наркотиков и опытом бездомной жизни. В настоящей статье отобраны разные типы этнографических данных, чтобы показать степень совместимости между отдельными локализациями исследований. Кроме того, Ш. Блэкмен пытается показать потенциал «разностороннего исследовательского кругозора», то есть изучать проблему путем описания целого ряда исследований, проводившихся в разных местах, поскольку это может привести к выработке нового знания, сфокусированного на эмоциях, часто связанного со структурой социального неравенства.

Первая часть статьи называется *«Дисциплина, эмоции и полевые исследования»*, где говорится о том, что социология эмоций сегодня стала законной областью исследования, хотя еще совсем недавно ведущие теоретики в США и Великобритании, А. Р. Хохшильд, Т. Кемпер, Н. Дензин, боролись за

то, чтобы включить эмоции в социологическое мировоззрение. Сегодня поднимается вопрос о дисциплинарных границах исследования эмоций, где идет борьба между психологией, психоанализом и социологией за более адекватное понимание эмоций. В то же самое время возникают новые движения, отстаивающие междисциплинарный подход к эмоциям. В этой ситуации только высокая степень рефлексии над данными качественных исследований может примирить разные подходы к эмоциям и придать исследованию эмоций соответствующий статус в социологии.

Однако, с точки зрения автора, высокая рефлексивность не является исключительно позитивной стратегией и накладывает на исследователя жесткие ограничения. Слабая сторона этой позиции состоит в том, что, раскрывая свои эмоциональные отношения, исследователи становятся открытыми для критики с точки зрения профессиональной этики. Однако до тех пор, пока не будет анализироваться скрытая этнография, объективные отчеты о полевых исследованиях вряд ли появятся.

«Выпивая с молодыми людьми из андеркласса». Автор рассказывает, как после месяца полевой работы[1] с бездомными и безработными молодыми людьми в Брайтоне, он получил от них приглашение на вечеринку. Летним вечером он шел с ними по направлению к пивной. Выбор паба был непростым делом, так как некоторые молодые люди были известны в округе своим плохим поведением. В пабе автор заказывал пиво несколько раз, потому что у них было очень мало денег. Как только молодые люди закончили вторую пинту, они стали раскованнее. В течение вечера подростки задавали вопросы о целях проводимого автором исследования и говорили о том, как они чувствуют себя, находясь в фокусе исследовательского внимания. Они также интересовались

[1] Blackman S.J. «Destructing a giro»: A critical and ethnographic study of the youth «underclass» // Youth, the underclass and social exclusion / Ed. by R. MacDonald. – L.: Routledge, 1997. – P. 113–129.

прошлыми этнографическими исследованиями автора. Беседа включала целый ряд тем, затрагивающих их личные горести и радости. В процессе обсуждения автор удивлялся, какой живой и связный анализ происходящего они способны сделать. Неизбежно был поднят вопрос об их будущем и здесь автор решил высказаться в том духе, что каждый из них на что-то способен. Автор сделал акцент на том, что они выдержали ряд серьезных бесед, которые продемонстрировали их способности, сравнимые со способностями самых хороших студентов и учеников. Молодые люди ответили, что родители и учителя называют их «неблагополучными», а эту оценку очень сложно изменить.

В последующие два дня автор не встречался с ними, но когда он вернулся, то с удивлением обнаружил, что разговор в пивной вдохновил некоторых молодых людей пойти устраиваться на работу, искать новое жилье и попытаться возобновить учебу. Все это осталось частью скрытой этнографии, поскольку вряд ли распитие пива с участниками исследования могло быть включено в официальный отчет, однако это событие имело основное влияние на установление эмоциональной связи с молодыми людьми. Эта эмоциональная связь сыграла позитивную роль в их судьбе – они начали действовать, чтобы исправить свое положение (с. 702).

«Молодые женщины и домашнее насилие». В этнографическом исследовании[1] жизни бездомных молодых семей, автор работал с женщинами, которые жили в убежищах, скрываясь от домашнего насилия. В процессе этнографических интервью было необходимо войти в доверительный и постоянный контакт с пострадавшими. После бесед с несколькими женщинами в течение трех месяцев, автор начал привыкать к их рассказам, хотя это не

[1] Blackman S.J. «Living out of boxes» / Rochester city council. – Rochester (NY), 1998.

облегчило осуществление наблюдений и проведение интервью. Автор подчеркивает, что когда ему демонстрировали следы пыток, он не мог оставаться спокойным. Блэкмен приходит к выводу, что не следует выражать согласие по поводу критики в адрес мужчин, так как они могли расценить это как неискренность. Будучи мужчиной-социологом, автор старался выразить симпатию, но при этом пребывал в сильном смятении, поскольку был не силах что-либо посоветовать. Эти женщины доверились исследователю, позволили вмешаться в их жизнь, а автор чувствовал размывание понятия «исследовательской дружбы и дружбы вообще»[1], так как не был и не мог стать их другом, хотя разделил с ними их горький опыт. По мнению автора, в данном случае было опасно заводить дружеские отношения или фальсифицировать их (с. 703).

Считается, что социологи не должны признавать, что испытывают такие сильные эмоции, как ненависть, поэтому эти переживания попали в поле скрытой этнографии. Дисциплинарные требования и академическая подготовка могут накладывать нереалистические ограничения. Исследовательская этика заставляет наблюдателя «осознавать себя» и в то же время «осознавать другого», проникать в другое сознание во время интимного диалога. Во время вышеописанных этнографических интервью, автор осознавал, что придает большое значение произнесенным словам, полному смысла молчанию и чувствам, и это сближает беседующих и интенсифицирует сам процесс исследования. Более того, в качественных исследованиях часто, страдая, участники переживают чувство обновления, которое обладает ярко выраженным терапевтическим эффектом (с. 704).

---

[1] Cotterill P. Interviewing women: Issues of friendship, vulnerability, and power // Women’s studies international forum. – N.Y., 1992. – Vol. 15, N 5–6. – P. 599.

«Я убью тебя». В полевой работе с бездомными семьями[1], автор столкнулся с угрозой личной безопасности, и это осталось частью скрытой этнографии, поскольку это могло стать свидетельством его личного непрофессионализма. Во второй день полевой работы в одном из жилых домов для бедных автор вместе с управляющим этого дома Джимом осматривал бытовое помещение, где находились Мэтт и Кэти, подростки с двумя маленькими детьми. Мэтт резко направился к автору, приняв его за чиновника из городского совета, который отказал ему в прошении, и закричал, что убьет его. Автор, пытаясь увернуться, быстро ответил ему, что он не из городского совета. В завязавшейся драке Джим схватил молодого человека и крикнул, что это ученый из университета. Это был яркий пример того, как опасно вторгаться в те области повседневной жизни, которые являются глубоко частными, стрессогенными и сакральными (с. 705).

Уже через несколько минут Мэтт стал говорить, что у них проблемы с жильем, и поэтому они с Кэти не могут соединиться. Автор разъяснил Мэтту и Кэти, что его задача – побеседовать с разными людьми из этого дома и выяснить, как они попали сюда и как можно улучшить положение. Они успокоились и стали разговаривать, но Мэтт был все еще возбужден, и Кэти пояснила, что у Мэтта «ломка»: он стал употреблять героин и нуждается в очередной дозе, поэтому может опять сорваться. Джим пригрозил, что вызовет полицию, и тогда Мэтт попросил автора подвезти его к наркоторговцу. Во время поездки Мэтт рассказал о своей проблеме с наркотиками и предложил автору вернуться к Кэти и узнать всю их историю. Результатом было длинное интервью со всей семьей.

Эти подростки были на грани эмоционального срыва, автор понимал, что, учитывая обстоятельства, может не найти их живыми уже следующим утром. И

[1] Blackman S.J. «Living out of boxes». – Op. cit.

в этой ситуации эмоциональные отношения с участниками исследования сформировались посредством обмена простыми подарками и услугами, которые обусловили открытую коммуникацию. Здесь возникают трудные моральные вопросы: этично ли поддерживать дружбу с участниками в целях получения данных? Скорее всего, это будет эксплуатацией эмоциональных отношений ради осуществления «академической карьеры». Компромиссом в этом случае может быть только открытое обсуждение испытанных эмоций.

«*Секс и романтика в полевых исследованиях»*. В 1998 году автор опубликовал главу в книге «”Клёвые местечки” (cool places): география молодежной культуры»[1], где представил результаты своего исследования группы «трудных» девочек-школьниц в возрасте 16-17 лет, которые называли себя «девушками Новой волны». Автору в это время было 22 года, поэтому здесь невольно возникал вопрос об отношениях между мужчиной-исследователем и девушками. В этом исследовании автор был погружен в центр женского пространства. Но может ли мужчина адекватно понять молодых женщин, может ли мужчина стать феминистом? Автор был увлечен этим исследованием и как мужчина не боялся проявлений собственной «феминности» (с. 706).

Этнографические данные, представленные автором, включали некоторые личные документы. Первым было стихотворение, написанное одной из девушек, Дебби, которое выражало чувства группы во время первого месяца работы. В. Хэй называет документы, которые дарят исследователю, «карманной этнографией»[2]. Стихотворение показало, как Дебби воспринимает полевую работу и отношения, связанные с ней – как личную и интимную вещь. Стихи

---

[1] Blackman S.J. Poxy Cupid: An ethnographic and feminist account of a resistant female youth culture – the New Wave girls // Cool places: Geographies of youth cultures / Ed by T. Skelton, G. Valentine. – L.: Routledge, 1998.
[2] Hey V. The company she keeps. – Buckingham: Open univ. press, 1997. – P. 50.

отразили изменения в чувствах и представляют собой комментарий к развитию отношений ученого с девушками. У автора не было сексуальных отношений ни с одной из девушек, но была сильная романтическая связь с Дебби и другими девушками, поскольку ему было позволено разделить интимную атмосферу их частного пространства. И, по утверждению автора, здесь не было никаких злоупотреблений. Именно поэтому, согласно позиции Ш. Блэкмена, возникает необходимость концептуализации эротических переживаний в полевых исследованиях. Кроме того, понимание сексуального контакта не может быть ограничено физическим половым контактом. Секс нужно рассматривать более широко, описывая физическую игру и тактильные контакты, где интимность, любовь, романтика и флирт являются частью этнографического замысла. Авторы книги «Табу» утверждают, что сексуальные фантазии и чувственные мечтания следует рассматривать как нормальную часть полевой работы, которая требует объяснения и понимания в целях установления ограничений для самого исследователя[1].

Далее автор обсуждает разговор девушек, который также был непосредственно связан со «скрытой полевой работой». Беседа взята из аудиозаписи, сделанной специально для автора, когда они лежали и болтали перед сном. Девушки говорили о чувстве дискомфорта, которое возникает у них, потому что за ними все время наблюдают, и вследствие этого не могут быть самими собой, а также о том, как они флиртовали с исследователем. Девушки сами выдвинули и осуществили идею записать разговор на пленку. Автор расценивает это как подарок. В этнографии дары являются свидетельством эмпатии, однако в социологии редко признается их глубокое эмоциональное значение (с. 709).

---

[1] Gearing J. Fear and loving in the West Indies: Research from heart (as well as the mind) // Taboo / Ed by D. Kulick, M. Wilson. – L.: Routledge, 1995. – P. 186–218.

В следующей части настоящей статьи автор рассуждает об употреблении наркотиков во время общения с людьми, задействованными в этнографическом исследовании. Как и в случае сексуальных отношений, признание социологов в том, что они употребляли наркотики с участниками исследования, противоречит этическим принципам науки. В отчете об исследовании группы так называемых «золотых мальчиков» (mod boys)[1] автор скрыл, что ездил с этими ребятами на остров кататься на скутерах. Если бы это событие было описано автором в отчете, то это могло иметь серьезные последствия для его академической карьеры. Эти шесть парней пробовали разные наркотические вещества. После катания они вернулись в палатку и стали курить «самокрутки». Юноши были «под кайфом» с пятницы по воскресную ночь. Конечно, автор не был инициатором употребления наркотиков, но, участвуя в этом, добился большего доверия, хотя его отношения с ними в течение двух предшествующих лет не требовали этого.

Относительно небольшое количество социологов рассказывают об употреблении наркотиков во время проведения исследований. П. Адлер признается, что она вместе с мужем пробовала некие запрещенные вещества во время эмпирического исследования наркодилеров и контрабандистов[2]. С. Торнтон пишет, что вопреки своим убеждениям, попробовал наркотик, поскольку это «был факт молодежной культуры, и я поддался на эксперимент во имя тщательности исследования»[3]. Автор рассказывает о случае с профессором Э. Хамидом из колледжа Дж. Джея университета Нью-Йорка, который описал в дневнике полевых наблюдений опыт употребления героина.

---

[1] Blackman S.J. Youth: Positions and oppositions – style, sexuality and schooling. – Adlershot: Avebury, 1995.
[2] Adler P.A. Wheeling and dealing: An ethnography of an upper-level drug dealing and smuggling community. – N.Y.: Columbia univ. press, 1985.
[3] Thornton S. Club culture: Music, media and subcultural capital. – Cambridge: Polity, 1995. – P. 89.

Сначала его только подозревали, но затем университет начал процесс по смещению его с должности, и в 2003 г. закончилась его университетская карьера. Однако, как считает автор, проблема употребления наркотиков социологами не так проста. В. Беньямин в 1920-х годах писал об употреблении гашиша в Марселе во время включенного наблюдения. Кроме Беньямина, в употреблении наркотиков признавались еще М. Фуко и Ж. Делез.

Что касается современных полевых социологических исследований, то только небольшое количество ученых свободно говорят на тему наркотиков. Две концепции лежат в основе дискуссии о такой «скрытой этнографии»: *«знание вины»* и *«лицензия на грех».* Н. Польски выдвинул понятие «знания вины», то есть понимания ситуации, которым обладает этнограф при изучении различных форм девиантного поведения[1]. Д. Грейди пишет о «лицензии на грех», которая «выдавалась» некоторым режиссерам в Голливуде и обеспечивала возможность экспериментировать с наркотиками при условии, что это останется в прошлом после окончания работы над фильмом[2]. На основании этих идей, автор считает возможным интерпретировать «скрытую этнографию», связанную с употреблением наркотиков. Например, сегодня уже всерьез не обсуждается употребление наркотиков Беньямином или Фуко, это факт прошлого. Г. Беккер в частной беседе рассказывал о том, как он, будучи сам музыкантом, исследовал джазовые коллективы и в этой среде попробовал марихуану, как все его товарищи по профессии. Он не курил ее для того, чтобы войти в доверие к кому-либо в исследовательских целях. П. Уиллис в частной беседе утверждал, что если бы он отказался от наркотика, то прослыл бы выскочкой, поэтому он курил вместе с хиппи.

---

[1] Polsky N. Hustlers, beats and others. – L.: Penguin, 1967. – P. 138.
[2] Grady D. From Reefer madness to Freddy's dead // Beyond the stars III / Ed by P. Loukides, L. Fuller. – Bowling Green (OH): Bowling Green univ. press, 1993. – P. 53.

Часто в этнографических исследованиях выясняется, что потребление наркотиков – часть повседневной жизни людей. Отсюда возникает вопрос, помешают ли комитеты по этике этнографам приблизиться к повседневному опыту изучаемых людей, достигнуть понимания их мотивов в ситуациях, связанных с риском? С точки зрения автора статьи, употребление наркотических веществ социологами не является ключом к стратегии исследования, но рождается из уже установленного близкого контакта с людьми. В каждом из описанных случаев социолог не являлся ни инициатором употребления наркотиков, ни становился членом изучаемой группы. Каждый социолог чувствовал последствия поведения этих людей, и при этом ему удавалось проникнуть в их «молчаливые соглашения». Эти примеры связаны с нарушением конвенциональных границ объективности, которое не помешало установлению эмоционального контакта и сохранению собственной позиции в поле исследования (с. 711).

Таким образом, описанные этнографические эпизоды показывают, что сильные эмоции свойственны и исследователю, и исследуемому. Эмоции, возникающие у участников качественного исследования, требуют более открытого подхода и нуждаются в признании в рамках социологической дисциплины. Используя неопубликованные данные из качественных исследований, автор попытался показать значение для социологии «скрытой этнографии», которую он описывает как «пересечение эмоциональных границ», и необходимость поиска объяснения этой этнографии. Обнародование скрытой этнографии поднимает вопросы профессиональной исследовательской этики, но не всегда противоречит ей.

О.А.Симонова

ЭМОЦИИ В СОЦИОПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ ИНФРАСТРУКТУРЕ ТРУДНОРАЗРЕШИМЫХ ОБЩЕСТВЕННО - ПОЛИТИЧЕСКИХ КОНФЛИКТОВ (Сводный реферат).

1. BAR-TAL D. Sociopsychological foundations of intractable conflicts // American behavioral scientist. – Beverly Hills, 2007. – Vol. 50, N 11. – P. 1430–1453.

2. BAR-TAL D., YARYMOWICZ M. The dominance of fear over hope in the life of individuals and collectives // European j. of social psychology. – Chichester etc., 2006. – Vol. 36, N 3. – P. 367–392.

Дэниэл Бар-Тал (университет Тель-Авива, Израиль) – один из авторитетнейших аналитиков социально-психологических процессов макроуровня. С его точки зрения, современная социальная психология призвана возродить традицию Г. Лебона, сделав фокусом своих интересов массовые психологические явления как фактор культурной и политической жизни больших социальных групп. В соответствии с этой традицией, Бар-Тал рассматривает общественную жизнь через призму ее «социопсихологической инфраструктуры», одной из главных составляющих которой служит «коллективная эмоциональная ориентация» (термины Д. Бар-Тала). На протяжении двух последних десятилетий в центре внимания Бар-Тала были так называемые трудноразрешимые (тупиковые) общественно-политические конфликты (ситуации в Кашмире и Шри-Ланке, противостояние католиков и протестантов в Северной Ирландии, арабо-израильский конфликт). В статьях, нашедших отражение в данном реферате, израильский психолог анализирует эмоциональную ориентацию страха как аффективное настроение, доминирующее в обществах, которые стали заложниками затяжного и бесперспективного противоборства сторон (религиозного, национального, идеологического и т.п.).

Его соавтор Мария Яримович (Варшавский университет) представляет теоретические разработки группы польских психологов, занимающихся сравнительным анализом страха и надежды как двух оппозиционных элементов эмоциональной жизни индивидов и социальных сообществ. Круг научных интересов Яримович и ее коллег преимущественно составляют проблемы психологии личности, однако, с их точки зрения, «использование теорий, концепций и эмпирических данных, накопленных индивидуальной психологией, при изучении макро-коллективных ситуаций методологически оправдано» (2, с. 368). В данной статье польская исследовательница обсуждает гипотетические способы вытеснения коллективной эмоциональной ориентации страха (в ситуациях трудноразрешимых общественных конфликтов) ее антиподом – эмоциональной установкой надежды.

Обсуждение эмоциональной атмосферы трудноразрешимых общественно-политических конфликтов (далее – ТК) авторы начинают с рассмотрения страха и надежды как аффективных категорий индивидуальной психологии. Психология относит страх к разряду первичных эмоций, то есть таких, которые возникают спонтанно (автоматически), тогда как надежда принадлежит классу вторичных, более сложных эмоциональных состояний, основанных на совокупности поэтапных когнитивных процессов. Эмпирические данные свидетельствуют, что первичные / негативные эмоции всегда одерживают верх над эмоциями вторичными / позитивными. Как показывают наблюдения, и на индивидуальном, и на коллективном уровнях в ситуациях опасности страх, как правило, становится эмоциональной доминантой, лишая надежду «права голоса». С одной стороны, страх – как естественный адаптивный механизм – помогает индивиду (и сообществу) справиться с неожиданной или предполагаемой угрозой; с другой, именно страх препятствует обретению желаемого психологического комфорта, особенно в случаях длительной

опасности, блокируя активизацию надежды (тяжелобольные нередко предаются унынию и страху смерти, тогда как именно надежда на выздоровление служит залогом победы над болезнью; в ситуациях ТК надежда дает шанс на их урегулирование путем переговоров с оппонентом, которого привыкли ненавидеть и бояться). В этой связи авторы видят свою главную задачу в том, чтобы ответить на кардинальный вопрос о причинах доминирования страха над надеждой в обстоятельствах опасности и угрозы. С этой целью они привлекают данные психологии, физиологии высшей нервной деятельности и социологии, предполагая таким образом «пролить свет на те эмоциональные факторы, которым принадлежит определяющая роль в динамике конфликтов вообще и ТК в особенности» (2, с. 368). Эту задачу Бар-Тал и Яримович считают тем более актуальной, что в современной конфликтологии основное внимание уделяется перцептивным и когнитивным механизмам возникновения и разрешения споров, тогда как их чувственно-аффективные аспекты практически не принимаются в расчет.

Авторы начинают свой анализ с рассмотрения психологической природы эмоциональных процессов. В психологии под эмоциями понимают «фундаментальные психофизиологические реакции на все виды внешних стимулов»; в этом качестве эмоциям принадлежит ключевая роль в формирования поведения индивида (2, с. 369). С эволюционной токи зрения, эмоции развивались как адаптивный механизм, обеспечивающий приспособление организма к среде; их основная задача – расшифровка значений внешних раздражителей. В этом процессе «декодирования» участвуют прецепция, научение и память, благодаря чему организм в эмоциональном плане реагирует сходным образом на сходные объекты среды, ситуации и события. Следовательно, эмоции «одновременно являются содержанием и опосредующим звеном процессов восприятия, суждения, оценки и принятия

решений, которые затем трансформируются в те или иные поведенческие формы» (там же). Только незначительная часть эмоций опосредуются когнитивными структурами (распознаванием, осмыслением и оценкой происходящего). Но даже в этом случае работа эмоций носит полуавтоматический характер: они переключают внимание индивида на те или иные информационные ключи, определенным образом организуют схемы памяти, устанавливают когнитивные приоритеты, очерчивают интерпретативные рамки в контексте воспринимаемой наличной ситуации и тем самым «притягивают» индивида к тем или иным объектам, событиям, субъектам и группам, «отталкивая» его от других. Оценки, возникающие как следствие целенаправленного размышления, интеллектуальных операций и применения когнитивных стандартов относительно независимы от первичных аффективных механизмов; они связаны только с вторичными (позитивными) эмоциональными состояниями, которые, в свою очередь, возникают преимущественно на базе когнитивной оценки ситуации.

Это фундаментальное различие первичных / негативных и вторичных / позитивных эмоций в значительной мере обусловлено их принадлежностью к разным полушариям головного мозга. Правое полушарие (первичные эмоции) – это интуиция и холистский тип обработки информации, левое – основа специфически человеческих процессов высшей нервной деятельности (артикуляции и аналитического мышления). Поэтому, в частности, страх (как первичная негативная эмоциональная реакция) функционирует без участия аналитического освоения событий и осознанной оценки, тогда как надежда (вторичная позитивная эмоциональная реакция) подразумевает осмысление настоящего и прогнозирование перспективы, с привлечением абстрактных идей и стандартов оценки, которые в чистом виде не присутствуют в наличном или прошлом (индивидуальном либо коллективном) опыте.

Страх, по определению Бар-Тала, это «первичная реакция отвращения, возникающая в ситуациях угрозы организму (личности) и / или его среде (обществу) и побуждающая его к адаптивной реакции» (1, с. 1439). На уровне первичного аффекта страх связан с механизмом «защиты гомеостаза и жизни»; на уровне социальных эмоций он выступает компонентом более сложных ощущений и реакций, таких как паника, ужас, отчаяние, предосторожность, щепетильность, подчинение, вина, стыд, трусость. Психологи различают два механизма возникновения страха как эмоциональной реакции, стимулом которой, в свою очередь, могут быть как индивидуальные факторы (шум, темнота, дикий зверь и т. п.), так и коллективно-ситуационные (политическое преследование, террористический акт, война). Первый механизм представляет собой осознанную когнитивную оценку происходящего; второй (источник так называемого первичного страха) – автоматические бессознательные реакции на явную либо потенциальную угрозу. Бар-Тал и Яримович уделяют основное внимание именно первичному (базисному, глубинному) чувству страха как наиболее распространенной контрадаптивной эмоциональной реакции индивидуального и коллективного уровней.

Страх может быть спровоцирован не только наличной физической угрозой, но и соответствующей информацией, которая затем (имплицитно либо эксплицитно) присутствует в памяти индивида и / или социального сообщества. Имплицитная эмоциональная память обладает свойством спонтанной бессознательной активации страха при наличии соответствующих (информационных либо материальных) «ключей»; в таких случаях эмоциональная реакция «опрокидывает доводы логики и разума и отвергает когнитивный контроль» (2, с. 372). Авторы подчеркивают, что имплицитная эмоциональная память не является точной копией прошлого опыта (то есть информации, закрепленной путем индивидуального и коллективного научения);

она всегда преувеличивает опасность, стимулирует возврат к негативным воспоминаниям и ощущениям, обостряет чувство надвигающейся беды и провоцирует повторение тех навыков и действий, которые уже зарекомендовали себя как эффективные способы противостояния опасности. Разбуженный первичный аффект страха препятствует использованию альтернативных сценариев поведения, ставит заслон поиску новых решений, ограничивает когнитивный горизонт личности и общества уже имеющимися интерпретативными схемами. Кроме того, первичный страх служит мотивом и оправданием насилия и агрессии в отношении реального или мнимого субъекта опасности.

Надежда возникает как эмоциональная реакция на выдвижение конкретной позитивной цели (в том числе – освобождения от негативного аффективного багажа). Первичная / позитивная эмоция надежды имеет как когнитивные составляющие (наблюдение, ожидание, оценка, предвидение, прогнозирование), так и аффективные (ощущение предстоящих событий как «блага»). При этом когнитивные процессы здесь выступают в качестве ведущих: «аффективный компонент надежды принимает форму субъективного ощущения, базирующегося на *целе*-направленном, *целе*-устремленном процессе мышления, где сочетаются решимость достичь цели и план ее достижения» (2, с. 373). В аффективном содержании надежды положительные стороны дополняются отрицательными (трудности и издержки процесса продвижения к полагаемой «благой» цели). Поэтому Бар-Тал считает возможным метафорически характеризовать надежду как «свет в конце тоннеля», подразумевая под этим «победу» позитивных ощущений (под воздействием когнитивных компонентов надежды) над негативными. В целом надежду можно определить как сложный психофизиологический синдром, основанный на комплексных когнитивных процессах, таких, как ментальная репрезентация позитивно оцениваемых

абстрактных ситуаций будущего, постановка задач, разработка планов их реализации, воображение, творчество, когнитивная лабильность, ментальное освоение нового и даже риск. Как социальная эмоция, надежда предполагает выдвижение «нетривиальных» целей, то есть таких, которые социально значимы и обладают моральной ценностью для членов сообщества.

Подводя итоги сравнительного анализа страха и надежды, авторы анализируют их «ассиметрию» в качестве базовых поведенческих детерминаций:

а) в биологическом отношении страх представляет собой непосредственную и по большей части бессознательную реакцию на внешнюю угрозу; его возникновение обусловлено действием низших звеньев нервной системы человека; надежда же обязана своим рождением сложным процессам в коре головного мозга;

б) в психологическом отношении страх порождает самые примитивные чувства и ощущения, надежда же опосредована поэтапными когнитивными операциями и предполагает набор определенных интеллектуальных способностей;

в) на поведенческом уровне страх провоцирует защитно-агрессивные действия, базирующиеся на запечатленных в памяти прошлых реакциях на угрозу; надежда опосредует применение новых поведенческих стратегий, необходимых для достижения намеченной цели.

Эти различия вполне объясняют факт наблюдаемого доминирования страха над надеждой, считают Бар-Тал и Яримович: «страх более непосредственно воздействует на поведение, чем надежда, и, будучи приведенным в действие, столь существенно трансформирует процесс мышления, что сводит на нет саму вероятность появления надежды» (2, с. 374). Аффективный опыт надежды допускает наличие индивидуальных различий, обусловленных спецификой

интеллектуальных способностей, тогда как страх – это универсальная, филогенетически заданная аффективная составляющая человеческой жизни, которая действует вне и помимо человеческой воли.

Переходя к рассмотрению собственно социальных эмоций, то есть таких, которые характеризуют настроение и аффективные установки коллективов, больших социальных групп или общества в целом, Бар-Тал вводит в научный оборот термин «коллективная эмоциональная ориентация». Данный термин подразумевает превращение сходного эмоционального опыта индивидов в специфический феномен макросоциального уровня, функционирующий и видоизменяющийся по иным законам, чем индивидуальные аффективные состояния (1, с. 1439). Бар-Тал и Яримович подчеркивают двунаправленность процесса становления коллективной эмоциональной ориентации: с одной стороны, общество формирует эмоциональный опыт индивидов посредством социокультурного дискурса и практики социализации (общезначимых символов, ценностей, норм, нарративов, верований, аттитюдов, эпистемологических моделей и т.п.) и определяет стиль их эмоционального поведения; с другой, индивиды как субъекты макросоциальных процессов (война, гражданское противостояние, гиперинфляция, экономическое процветание) переживают одни и те же длительные эмоциональные состояния, которые отливаются в ту или иную социоповеденческую форму (шаблон).

Социально-психологическим основанием коллективной эмоциональной ориентации выступает социальная идентичность – феномен, детально описанный классической социальной психологией. Эмпирические данные свидетельствуют, что люди склонны интерпретировать происходящее в терминах собственной групповой принадлежности, что побуждает их к сходным аффективным реакциям даже на такие события социальной жизни, которые не затрагивают их лично. Таким образом, социальная идентичность – это

важнейший (но не единственный) источник формирования общих аффективных установок больших социальных групп. Другим его фактором служат каналы распространения господствующих или культурно-заданных эмоциональных шаблонов – институты социализации и СМИ. Интериоризация социально-эмоциональных доминант происходит как бессознательно (путем аффективного заражения и поведенческого подражания), так и путем когнитивного отбора, осмысления и оценки той социально значимой информации, которая циркулирует в обществе. Значительное место в процессе кристаллизации эмоциональной ориентации общества занимают культурные нарративы (мифы, верования, традиционные представления), которые распространяются посредством различных каналов социальной коммуникации. «Если верования и стандарты ответных действий получают широкое хождение в обществе и усваиваются им, они становятся важным источником влияния на эмоциональное поведение членов коллектива: вызывают к жизни определенную эмоцию или их совокупность; предоставляют критерии для отбора информации, которая, в свою очередь, определяет характер интерпретации и оценку происходящего в терминах этих эмоций; указывают, какие эмоции следует считать адекватными, в том числе – в контексте наличной ситуации; задают способы эмоционального выражения и направляют ответные поведенческие реакции. Сформированная таким образом коллективная эмоциональная ориентация оказывается существенной характеристикой общества или культуры, поддерживается базовыми социальными верованиями и может стать частью господствующего социального этоса», - заключают авторы (2, с. 376).

Бар-Тал особо подчеркивает, что предложенное им понятие коллективной эмоциональной ориентации отличается от таких уже существующих в литературе терминов, как *эмоциональная атмосфера* (коллективная эмоциональная реакция на то или иное конкретное событие), *эмоциональный*

климат (длительная аффективная ориентация общества или группы, обусловленная социальной структурой либо политической программой) и *эмоциональная культура* (динамически устойчивая, поддерживаемая социализацией культурная практика, трансформация которой обусловлена сменой поколений). Термин Бар-Тала, в свою очередь, характеризует длительный опыт эмоциональных переживаний макроуровня, спровоцированный теми или иными повторяющимися социальными событиями, в восприятии и оценке которых превалирует то или иное аффективное состояние. При этом идентификация доминанты коллективной эмоциональной ориентации не ограничивается указанием на самую «популярную» социальную эмоцию. Бар-Тал выдвигает следующие требования, которым должна удовлетворять эмоциональная составляющая общественной жизни, чтобы считаться ее аффективной доминантой:

1. социальная значимость и самое широкое хождение в обществе;
2. постоянное присутствие в публичном дискурсе;
3. распространенность социальных верований, давших толчок возникновению данной эмоции; коммуникация этих верований и соответствующих эмоциональных состояний посредством самых разных социальных каналов;
4. присутствие в «культурных продуктах» (книгах, фильмах, пьесах);
5. передача и воспроизводство посредством механизмов и институтов социализации (школа, учебные пособия, культурные церемонии);
6. воплощение в социальной памяти;
7. участие базовых верований (и, отчасти, самой эмоциональной доминанты) в процессах принятия решений на уровне социальных институтов и выработки политических стратегий.

Одной из самых распространенных коллективных эмоциональных ориентаций современности Бар-Тал считает переживание страха. Эта ориентация выступает непременным атрибутом ситуаций ТК – социально-психологического феномена, получившего всестороннее освещение в работах израильского исследователя[1].

Под трудноразрешимыми (тупиковыми) конфликтами Бар-Тал подразумевает «длительное, жесткое столкновение интересов, имеющее самые серьезные последствия как для вовлеченных в него сторон, так и для мирового сообщества в целом (1, с. 1431). Хотя конфликты такого рода имеют под собой вполне реальные объективные основания (территориальные споры, идеологическое противоборство), их принципиальная неразрешимость в значительной мере обусловлена причинами субъективного характера, прежде всего – социопсихологической инфраструктурой, которая становится главным внутренним фактором развития ТК, их устойчивости и долголетия. Несмотря на то, что ТК отличаются друг от друга с точки зрения своего социально-политического и культурно-идеологического содержания, они обладают идентичной психологической структурой. Вслед за Л. Крисбергом, первым обратившимся к проблеме ТК, Бар-Тал выделяет следующие их отличительные черты, обусловленные общностью внутренней инфраструктуры:

а) длительность (ТК захватывают жизнь как минимум одного поколения, так что в таких обществах всегда присутствуют люди, которые «просто не знают иной реальности помимо реальности противостояния и борьбы»);

б) атмосфера насилия (постоянное реальное и виртуальное присутствие в повседневной жизни физического насилия и агрессии, а также – угрозы жизни и

[1] См.: Bar-Tal D. Living with the conflict: Socio-psychological analysis of the Israeli-Jewish society. – Jerusalem: Carmel, 2007.

здоровью, обесценивание человеческой жизни, привыкание к обыденности смерти и увечий);

в) впечатление принципиальной неразрешимости (невозможность ни для одной из сторон одержать верх, восприятие оппонента как вечного врага);

г) необходимость постоянных материальных и психологических «вложений»; бесконечная «компенсация издержек»[1];

д) тотальность, экзистенциальный характер (восприятие происходящего как затрагивающего самые основы существования данного общества как специфического и неповторимого социального субъекта, его традиции, цели и ценности);

е) бескомпромиссность (невозможность поставить себя на место оппонента, найти точки соприкосновения, выработать общую платформу);

ж) центральность (превращение конфликта в средоточие общественной и личной жизни, его релевантность всем без исключения целям и стратегическим решениям на уровне социума и индивида)[2].

Итак, ТК – это ситуация хронической социопсихологической нестабильности, затрагивающая все без исключения уровни общественной жизни, где перманентно воспроизводится один и тот же комплекс негативных переживаний (боль, скорбь, печаль, горе, утраты, увечья, лишения). На этом фоне возникает необходимость постоянной компенсации пережитого опыта (стресс, отчаяние, угроза позитивной социальной идентичности и личной безопасности) и развития психологических навыков противостояния врагу (мотивация к борьбе, готовность жертвовать собой, мужество, стойкость, солидарность, единство). Для решения задач психосоциальной адаптации в

---

[1] См.: Kriesberg L. Intractable conflicts // The handbook of interethnic coexistence / Ed. by E. Weiner. – N.Y.: Continuum, 1998. – P. 332–342.

[2] См.: Bar-Tal D. Societal beliefs in time of intractable conflicts: The Israeli case // International j. of conflict management. – Bingley, 1998. – Vol. 9, N 1. – P. 22–50.

условиях ТК его субъекты вырабатывают «специфический социально-психологический репертуар ответных реакций, включающий общезначимые верования, аттитюды, мотивации и эмоции, которые в совокупности постепенно кристаллизуются в виде определенной социопсихологической инфраструктуры», – поясняет свою мысль Бар-Тал (1, с. 1435). Такая инфраструктура состоит из трех взаимосвязанных элементов – коллективной памяти, социального этоса (этоса конфликта) и коллективной эмоциональной ориентации (страх, ненависть, гнев, гордость, вина). Каждый из трех элементов содержит свой социальный нарратив, так или иначе связанный с текущими обстоятельствами ТК. Содержательным основанием всех нарративов (которые перекликаются и даже отчасти совпадают друг с другом) выступают социальные верования. В коллективной памяти они конструируют специфический вариант истории конфликта, где изложение реальных событий прошлого подчинено «цензуре настоящего» и служит задаче целенаправленного создания «образа врага». Этос конфликта использует общезначимые социальные верования для объяснения происходящего и прогнозирования будущего, выступая эпистемологическим фундаментом принятия стратегических решений. Коллективная эмоциональная ориентация служит аффективным выражением господствующих в обществе умонастроений.

Социопсихологическая инфраструктура изначально складывается как механизм общественной адаптации к вызовам ситуации ТК, однако (и в этом состоит основой пафос концепции Бар-Тала) по мере своего укоренения в обществе и успешного функционирования именно эта инфраструктура стимулирует постоянное возвратное движение социального целого к истокам конфликта, создавая эффект порочного круга. Содержание ее нарративов, специфическим образом трансформируя происходящее в ситуацию бескомпромиссного противостояния, блокирует саму возможность иной точки

зрения на события и их участников. Рассмотренные под этим углом зрения, три названных выше когнитивно-эмоциональных элемента инфраструктуры ТК – память, этос и аффект – образуют «синдром враждебности», постоянно циркулирующий в обществе. Институциализированная (посредством СМИ и каналов социализации) социопсихологическая инфраструктура и поддерживающие ее нарративы, нацеливая общество на приспособление к конфликтной ситуации, со временем становится «той призмой, посредством которой члены коллектива конституируют свою реальность, производят отбор информации, интерпретируют свой опыт и принимают решения относительно будущих действий». Эта призма «сужает когнитивный горизонт оппонентов, исключает из социального поля зрения альтернативные варианты толкования наличной ситуации, стимулируя тем самым продолжение конфликта и становясь барьером на пути к его урегулированию» (1, с. 1446-1147).

М. Яримович конкретизирует концепцию социопсихологической инфраструктуры ТК на примере формирования коллективных ориентаций страха и надежды. По мнению польской исследовательницы, переживание страха является стержнем негативной эмоциональной ориентации социальных групп и индивидов в ситуации тупиковых конфликтов. Именно это переживание актуализирует все те негативные характеристики эмоционального состояния обществ, втянутых в длительный конфликт, о которых говорит Бар-Тал, и провоцирует сужение его аффективно-когнитивного горизонта. Страх не только заставляет индивидов и социальные институты бесконечно воспроизводить один и тот же адаптивный сценарий бескомпромиссной борьбы с жестоким врагом, он препятствует возникновению самой мысли о возможности ненасильственного решения спорных вопросов. Между тем, установка на позитивное осмысление проблемы, прекращение насилия и начало

переговорного процесса составляет главное эмоционально-когнитивное содержание коллективной ориентации надежды, подчеркивает Яримович.

В ситуации ТК надежда – это, прежде всего, надежда на мир. В отличие от мрачных фантазий страха, блокирующих социальное воображение и творчество, коллективная надежда «базируется на вполне конкретных, реалистических целях и направляет групповое мышление в прагматическое русло» (2, с. 379). Надежда освобождает людей от гнета ментальных стереотипов принципиальной неразрешимости текущего конфликта и обращает их к поиску креативных способов выхода их тупика. Она помогает включить фантазию, представить себе будущее как отличное от прошлого и настоящего, свободное от насилия и вечной борьбы. Именно надежда «на мир без войны» продуцирует коллективную мотивацию к таким действиям, которые до сих пор позиционировались как табу – переговоры, компромисс, поиск общей платформы. Наконец, надежда позволяет оппонентам увидеть друг друга как «обоюдную жертву длительного насильственного противостояния» (2, с. 380).

Таким образом, заключает Яримович, «без надежды на мир невозможен успех на пути к его достижению» (там же). Проблема состоит в том, чтобы выявить способы психологического блокирования автоматических адаптивных реакций страха когнитивно-оценочной функцией надежды (как на индивидуальном, так и на коллективном уровнях). Приглашая к обсуждению этой темы, авторы выдвигают ряд гипотез, которые, как они полагают, послужат стимулом для дальнейшей работы психологов и социологов в этом направлении.

Применительно к психологии личности преодоление страха возможно путем активации и развития критического мышления. Конкретизируя эту аксиому социальной психологии, польские исследователи выдвигают тезис об «артикуляции когнитивных стандартов добра и зла, правильного и

неправильного». Идентификация таких стандартов и сознательное овладение ими поможет индивиду перейти на иной психологический уровень восприятия стрессовых и опасных ситуаций, когда адаптивная реакция на угрозу не ограничивается полуавтоматическим аффектом первичного страха, но включает в себя также комплексную перцепцию и оценку происходящего как «мультиперспективного», а значит, предполагающего более чем одно решение. Другими словами, опосредование страха рефлексией представляется Яримович и ее коллегам вероятной траекторией его подчинения вторичной / позитивной эмоции надежды.

На коллективном уровне такое подчинение потребует кардинальной трансформации всей социально-психологической инфраструктуры ТК. В первую очередь подлежат пересмотру традиционные (стереотипные) коллективные верования, касающиеся истории конфликта и «образа врага». Нарратив мирного урегулирования предполагает более «человеческий» имидж оппонента как принадлежащего, по крайней мере, к тому же виду Homo sapiens, а также большую степень социополитической и этнокультурной толерантности. Кроме того, необходимо исключить из коллективной памяти такие мифы и представления, которые разжигают взаимную неприязнь, то есть «привести ее в соответствие с перспективой мирного урегулирования конфликта» (2, с. 384). Наконец, коллективный этос также должен сменить минус на плюс, поставив во главу угла перспективу мирного сосуществования с бывшим врагом. Ключевую роль в этих гипотетических стратегиях польская исследовательница отводит СМИ, институтам социализации и политическим лидерам. В конечном счете, новая когнитивная система приведет к формированию нового типа коллективных эмоций, которые надлежит поддерживать позитивным опытом переговорного процесса и, по возможности, исключением переживаний, чреватых возвращением коллективного страха.

IV. ВИРТУАЛЬНЫЕ ПРОСТРАНСТВА И СОЦИАЛЬНЫЕ СЕТИ

Статьи

Н.Е. Покровский

НАСТОЯЩАЯ–НЕНАСТОЯЩАЯ РЕАЛЬНОСТЬ

Виртуальность – это реальность, основанная на силе воображения, идеализации, приемах ухода от воздействия материальности и *системное* распространение этого процесса на все сегменты социальной структуры общества и институты, это сознательное и «инженерно» сфокусированное конструирование условных феноменов, приобретающих статус основных. Процесс, который можно условно назвать «виртуализацией», становится все более заметным и значимым не только на микро-, но и на макроуровнях. Под «виртуализацией» необходимо понимать процессы, которые создают некую «другую», идеально-фантазийную (имажинативную) реальность, замещающую повседневность и воздействие материальных факторов на жизнь общества.

В 2005 г. Американская лингвистическая ассоциация выделила ключевое, наиболее выразительное понятие, доминирующее в современном обществе (возможно, и имплицитно). И этим понятием стало *truthiness* («правдоподобность»). Это понятие лингвисты определили как «качество, присущее сформулированной концепции, которую индивидуум принимает или предпочитает принимать за действительность вместо того, чтобы верить фактам»[1]. В известной мере сконструированный имидж замещает реальность и постепенно начинает главенствовать над ней.

---

[1] «…the quality of preferring concepts or facts one wishes to be true, rather than concepts or facts known to be true». См.: Truthiness voted 2005 word of the year by the American dialect society. – Mode of access: http://www.americandialect.org/Words_of_the_Year_2005.pdf

Понять виртуальность

Понятие «виртуальность» прочно вошло в современный научный и околонаучный язык. Все чаще и чаще это понятие переводят в более общий понятийный регистр, говоря о «виртуальной реальности». В каком смысле современный мир генерирует особую реальность? В чем ее особенность? В каком смысле она может претендовать на всеобщий характер? Или же речь идет о некоем частном явлении, незаслуженно абсолютизируемом?

Развитие информационных технологий конца XX-го и начала XXI веков повлекло за собой качественное изменение самого статуса информации в современном мире. В различных социальных системах постепенно (и чем дальше, тем больше) информационные технологии приобретают самодостаточный характер. Посмотрите на компьютерные фирмы и армии программистов, на огромные телестудии и киностудии. Что все это? Это информационное пространство современного общества, стремительно расширяющее свои границы.

В теперь уже далеких от нас 1970-х годах в Массачусетском технологическом институте для описания нового программного продукта было предложено вполне рабочее определение – «виртуальная реальность». Речь шла о разработке трехмерных пространственных моделей, которые использовали для особенно убедительной симуляции реальности, скажем, при обучении пилотирования самолетов, а также в различных компьютерных играх. Однако эффект создания столь жизнеподобных моделей оказался неожиданным даже для их создателей. Трехмерные пространственные компьютерные модели, снабженные для большей убедительности звуковым треком, стали «втягивать» в себя пользователей программ. Из чисто прикладных и игровых продуктов они превратились в особого рода сколки новой, виртуальной, реальности, которая обладала всеми чертами принудительности, всеобщности и универсальности.

Это был реальный-нереальный мир, постепенно отсекающий пользователя от мира обыденно реального.

Дело, однако, не ограничилось исключительно компьютерными программами. К концу 1990-х годов виртуальная реальность в своих различных инвариантах распространилась на многообразный мир потребления (туризм, мода, видео, кино, компьютерные игры, реклама, Интернет, телевидение, межличностные отношения), который, с одной стороны, сохраняет свою предельную материальность, но, с другой стороны, основывается на виртуальных симуляциях, игре и в итоге ведет в символическое зазеркалье.

Первоначально само словосочетание «виртуальная реальность» рассматривалось как удачный слоган, основанный на парадоксальном соединении, казалось бы, несоединяемого: «мнимое-очевидное», «воображаемое-непреложное» *(Жарон Ланье)*. Это в свою очередь привлекло к этому странному явлению внимание бизнеса и маркетинга. Теперь же можно говорить о том, что «виртуальная реальность» перешла из области метафор в общезначимый символ всей современной действительности. Причем одна из важнейших особенностей виртуализации состоит в ее манипулятивности. Она поддатлива как пластилин. Из нее можно лепить любые формы. Единственное условие: все должно продаваться и покупаться.

Теперь в общественном поле возможно искусственно сконструировать, практически любой продукт и придать ему убедительной черты «настоящего факта».

Пространственно-географические показатели постепенно снижают свою первостепенную роль в нашей жизни. Домашние кинотеатры, DVD-диски могут перенести нас на любой континент и в любую эпоху. Притом сделать это так, что мы практически без остатка погрузимся в этот искусственный мир. Возникло даже понятие «туризма без путешествия», то есть визуальных

технологий, которые полностью имитируют путешествие. При этом вы остаетесь дома перед своим большим телевизором. Интернет создает свое киберпространство, во многом более активное, чем пространство физическое, и резко сокращающее дистанции между людьми.

Интернет

Интернет создает особую реальность – реальность, обладающую своими собственными уникальными и несколько сюрреалистическими чертами. В наши дни реальность Интернета переплетается со все большим и большим количеством сфер традиционной реальной жизни, видоизменяя их и изменяясь сама. Все большее и большее значение приобретают новые отрасли экономики, тесно связанные с Интернетом, виртуальной реальностью и компьютерными технологиями в целом, появляются такие ранее невозможные явления, как Интернет-магазины, виртуальные деньги, работа и обучение онлайн, и так далее. Но, несмотря на это, одним из главных применений Интернета была и остается личная коммуникация, так как Интернет предоставляет возможности для того, чтобы найти людей со сходными вкусами и интересами, и такому знакомству не могут помешать географические границы или социальный статус.

Интернет в современном мире – не только инструмент дистанционного общения, поиска информации или людей. Он представляет собой особый мир, со своим пространственно-временным границами, своими «жителями», особенностями, правилами поведения и законами игры. Но стоит сломаться вашему компьютеру или отключиться ближайшему серверу, как этот огромный мир коммуникации гаснет на ваших глазах. Его уже нет. Он уже не ваш.

Современный мир как виртуальный

За пределами академических трудов сложились свои традиции понимания термина «виртуализация» (иногда ее называют «имагологией», то есть теорий создания имиджей). Так, одна из наиболее популярных версий виртуализации принадлежит писателю М. Кундере. В его понимании, виртуализация оказывается теорией и практикой сотворения «кажимостей», «сказки наяву», создания вымышленной реальности, которая при всей своей искусственности в состоянии при определенных условиях затмевать реальность подлинную, все менее и менее населенную современными людьми. В этой связи само понятие «подлинности» (аутентичности) в значительной степени растворяется.

В журналистике, художественной критике и искусствознании термин виртуализация применяется для оценки информационной стратегии, прежде всего в области телевещания и популярных искусств, направленной на массовое потребление имиджей в самых различных сферах. Сами работники средств массовой, современной «фабрики грез», пользуются словом «виртуализация», обозначая им технологии как анализа уже существующих в средствах коммуникации образов, так и технологий их создания. При этом, однако, речь идет не о какой-то специфической злокозненный роли создателей системы имиджей, якобы стремящихся «отравить» чистый мир аудиторий. Напротив, виртуализация – это закономерный этап развития современной глобализированной культуры и технологий. В этом смысле заказ на виртуализацию исходит от самого общества. Виртуализация в большей степени самостоятельно «прорастает» сквозь ткань современной культуры, а не творится за закрытыми дверями в среде имидж-мейкеров и виртуалистов.

В психологическом плане мы постоянно убеждаем себя в том, что слова диктора на экране телевизора или речь политического деятеля «настоящие», «правдивые». Но в глубине души мы знаем, что это искусная игра, особого рода виртуальный театр. То же можно сказать и о рекламе. Творцы рекламных

имиджей в совершенстве овладели техникой убеждения, приглашая (а вернее втаскивая) нас в мир потребления. И мы словно сомнамбулы, грезя наяву, движемся в направлении зазеркалья рекламного мира, престижного потребления.

Виртуальная реальность и «гиперреальность» (термин Ж. Бодрийяра) под известным углом зрения составляют важный компонент сегодняшнего общества, в том числе российского. Понимание структуры смыслов гиперреальности имеет высокую прикладную ценность, например, для маркетинга и производства медиапродукции

Теоретическая разработка концепции виртуализации[1]

Современный мир как виртуальный представляется в последние десятилетия в очень широком круге работ различных теоретических и философских направлений. Термин «информационное общество» прочно вошел в научный и медиа дискурс. Хотя некоторые исследователи, например Фрэнк Уэбстер[2], и ставят под вопрос само его существование как радикально, качественно отличного от предыдущего общества, даже они признают, что некие изменения имеют место. Кроме макросоциальных феноменов объектом, на котором можно наблюдать изменения, является повседневная жизнь людей. Виртуализация в виде Интернета, медиа, сотовых телефонов проникает в обыденную реальность и преобразует ее течение[3]. К феномену трансформации сущности времени обращается норвежский антрополог Т.Х. Эриксен в книге

---

[1] Раздел написан с использованием материалов Н.А. Харламова.

[2] Webster F. Theories of the information society. – N.Y.: Routledge, 2002. Книга Уэбстера, кроме собственно критического анализа, интересна тем, что в ней имеется краткое изложение теорий нескольких выдающихся мыслителей, в частности Д. Белла и Ю. Хабермаса.

[3] См., например, работу: Кастельс М. Галактика Интернет: Размышления об Интернете, бизнесе и обществе. – Екатеринбург: У-Фактория, 2004.

«Тирания момента: Время в эпоху информации»[1]. Сами медиа входят в жизнь сегодняшнего человека и создают особую реальность. Классикой социологической мысли является книга М. Маклюэна «Понимание медиа»[2]. Современные теории созданы Ж. Бодрийяром, М. Кастельсом, Н. Луманом[3] Интересной является концепция медиавирусов[4].

Необходимой частью работы в ходе исследования является концептуализация термина «виртуализация» и постановка его в контекст описанных теоретических подходов, выработка теоретической перспективы.

Постижение виртуальности невозможно без освоения и фиксации языка виртуальности. Полезным в данном случае будут такие подходы, как дискурс-анализ[5], семиологические перспективы (например, работы Р. Барта). Как уже отмечено выше, одной из основных сфер исследования является сфера визуальной информации и визуального образа. В формировании исследовательской перспективы мы считаем необходимым инкорпорацию традиции визуальной социологии в широком смысле слова, как разнопланового анализа визуальной информации, причем как первичной (и для нас интерес представляет исследовательская фиксация визуального образа в повседневной жизни, например манифестаций ценностей и норм в артефактах, направленных на визуальное восприятие), так и вторичной (в частности, анализ визуального образа в Интернет-рекламе).

---

[1] Эриксен Т.Х. Тирания момента. – М., 2003.
[2] Маклюэн Г.М. Понимание медиа. – М.; Жуковский, 2003.
[3] Напр.: Луман Н. Реальность массмедиа. – М.: Праксис, 2005.
[4] Рашкофф Д. Медиавирус: Как поп-культура тайно воздействует на ваше сознание. – М.: Ультра.Культура, 2003.
[5] См.: Филлипс Л., Йоргенсен М. Дискурс-анализ: Теория и метод. – Харьков: Гуманитарный центр, 2004; Gee J. An introduction to discourse analysis: Theory and method. – N.Y.: Routledge, 1999.

Когда возникла виртуальность?

Тесная связь виртуализации с общественно-технологическими реалиями XX века не вызывает сомнения. Однако связывать виртуализацию исключительно с развитием современных технологий коммуникаций едва ли правомерно. Этот процесс в своих элементах и фрагментах уходит в глубины культуры и ретроспективу ее истории. В основе виртуализации, на наш взгляд, лежит базовая для человека способность к воображению, идеализации, интеллектуальной деятельность, основанной на продуцирование абстрактных моделей и образов. Значимость мира мыслимого, «интеллигибельного», в отличие от мира, раскрываемого в ощущениях, постоянно нарастала в ходе истории человечества. В известной мере преодоление биологической природы человека было (и продолжает оставаться) вектором эволюции.

В этом смысле можно утверждать, что виртуализация неизменный спутник и продукт культуры как таковой.

На ранних этапах становления философского рационализма, в частности у Платона, были сформулированы принципы, согласно которым мир идеальных сущностей и форм обладает большей степенью реальности, чем мир материальных предметов. Дальнейшая история европейского идеализма и рационализма, в лице Декарта провозгласившая субстанциальный дуализм и параллелизм бытия и идеального мышления, увенчалась гегелевским абсолютным идеализмом, согласно которому мир, данный в ощущении, есть продукт саморазвития познающей себя идеальной субстанции. Другая ветвь европейской философии породила «грезящий идеализм» Беркли, уводивший человека в мир субъективных феноменов, «комплексов ощущений», не релевантных материальности.

Можем ли мы рассматривать эти и иные инварианты идеализма, делавшие главный акцент на продуктивной силе сознания, в качестве предыстории

виртуализации? Разумеется, о терминах и понятиях можно и должно спорить. Но в любом случае такая постановка вопроса имеет право на существование. При этом речь идет не только и не столько об истории философии. В более широком плане культура вырабатывает общественные и широко распространенные формы институционализации идеальной сферы. Это, прежде всего, религия, искусство, психоделические практики в своих различных вариантах. В контексте этих социальных феноменов и практик индивид и индивиды с различной степенью интенсивности погружают себя в мир имажинативного, создают свой имматериальный мир и существуют в нем – от кратковременных точечных проникновений и прикосновений вплоть до профессионально обусловленных программ коллективных действий и полной (невозвратной) идентификации с этим миром. Более того, как представляется, любые формы концентрированной продуктивной интеллектуальной деятельности фактически соприкасаются с сферой идеального как универсума. А это подразумевает, хотя бы потенциально, перспективу погружения в это идеальное.

Культура уже достаточно давно выработала инструментарий и набор образцов виртуализации. Формы фантазийной зависимости достаточно разнообразны. Они простираются от сферы художественной литературы, когда писатель силой креативной воли полностью отождествляет себя с миром своих героев (Гюстав Флобер: «Мадам Бовари – это я»), входит в этот мир и пребывает в нем, от грандиозных виртуальных проектов в сфере политики (социалистическая теория и социалистическая революция в России XX века) до теоретической социологии, нередко пытающейся в замкнутом научном круговороте продуцировать понятия, порождаемые «духом самих понятий», потерявших вектор своей корреляции с реальным социальным миром. Подчас эти формы приобретают замкнуто-сектантский характер, во многих иных

случаях они становятся массовыми и тиражируемыми и тем самым порождающими саморазвивающийся *миф*.

Надо признать, что виртуализация в своей социальной проекции соседствует и взаимодействует с такими явлениями, как рационально применяемая общественная ложь и институализированный обман. В известной мере, это также инструменты виртуализации, используемые с целью закрепления экономической и политической власти (вполне материальной по своей природе). Виртуализация и сознательно стимулированное – различными способами – балансирование на грани «этого» и «того» миров, связанное либо с уходом в мир прошлого (Дон Кихот как своеобразный символ виртуализации[1]), либо в мир футуристической фантастики (фильмы «Матрица» (1999), «Дневной дозор» (2006) и многие другие).

[1] Сервантес создает выдающееся художественное произведение, полностью имажинативное, то есть виртуальное, как и любое другое произведение художественной литературы. Главный герой романа, Дон Кихот, рыцарь печального образа, в свою очередь, создает в своем воображении мир давно ушедшей рыцарской эпохи и буквально живет в этом мире, болезненно соприкасающимся с реальностью. Одна виртуальность множится на другую виртуальность.

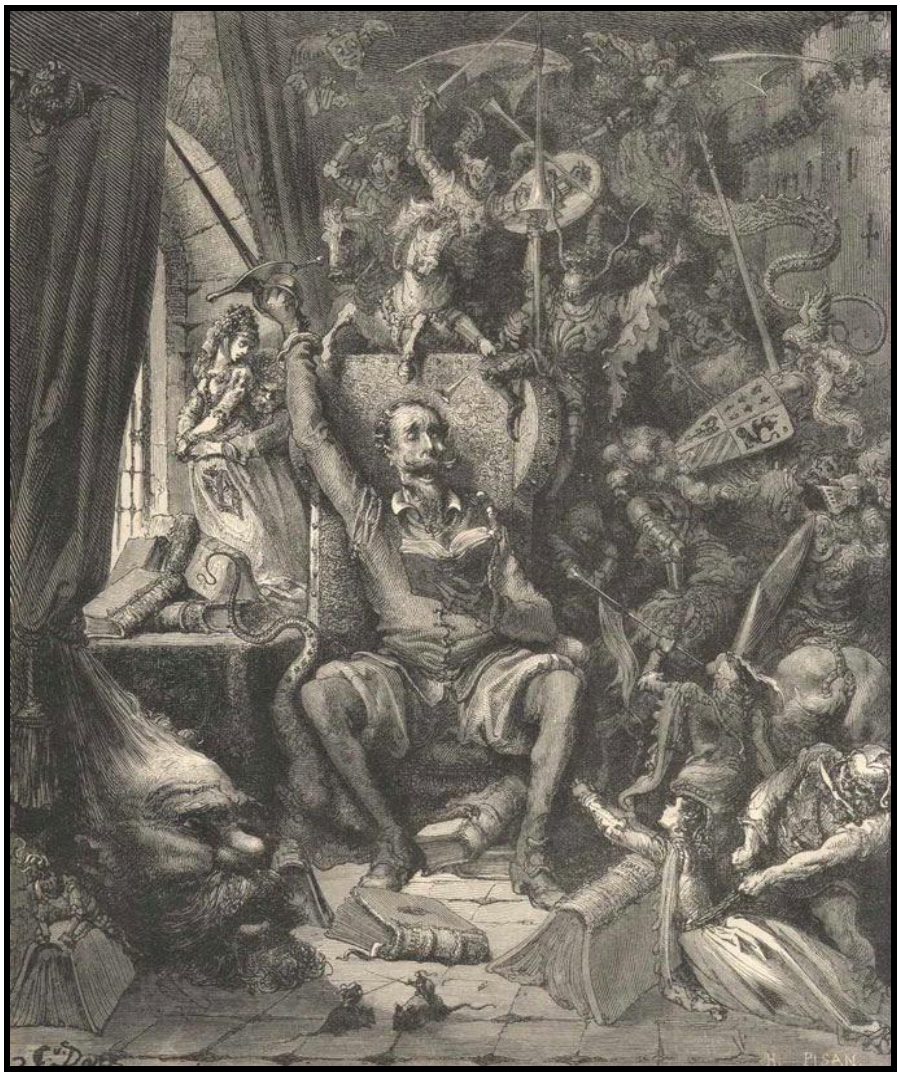

Рис 1. Иллюстрация выдающегося французского художника Густава Доре (1832–1883) к роману Мигеля де Сервантеса (1547–1616) «Дон Кихот».

Предпринятые выше попытки наметить исторические корни и традиции виртуализации, между тем, не могут снять вопрос о принципиально новом характере виртуализации XX–XXI веков, эпохи информационной революции и глобализации.

Массовая воспроизводимость идеальных объектов: Социологический аспект виртуализации

До XX века конструирование фантазийных миров, даже в своих наиболее интенсивных формах, не носило массового и стереотипно-продуцируемого характера. Оно было рассчитано на отдельные социальные группы (социальные слои и субкультурные сообщества), которые пользовались правом потреблять роскошь имажинативности в тех или иных ее формах. Пожалуй, только религия давала пример тотальной массовости.

В нашу эпоху виртуализация приобрела иной, всеобщий характер. И в этом состоит, быть может, главная особенность современной культуры. В свое время эта эпоха отдаленно началась с гуттенберговского книгопечатания и широкого тиражирования художественных текстов, прошла в XIX веке этап тиражной печатной прессы, в XX веке достигла новых высот технологичности в кинематографе, радио и телевидении. Конец XX века ознаменовался всеобщим внедрением Интернета и цифровых технологий, во многом сделавших виртуализацию достоянием сотен миллионов пользователей. И то, что прежде, на протяжении веков было уделом избранных, в наши дни стало всеобщим.

Развитие технологий информатизации способствовало тому, что два основополагающих понятия – время и пространство – перестали быть однозначными, они диверсифицировались и плюрализировались. *Anything, anywhere, anytime* – таков лозунг индустрии, создающей имиджи и распространяющей их. Географические показатели пространства уже не играют столь значительной роли в жизни общества, как это было совсем еще недавно. Географическое пространство все меньше и меньше является для нас первостепенным. Оно стало пластичным, искусственно конструируемым по месту и времени, разделяемым на части и легко воссоединяемым по желанию креативщика. Интернет сокращает до минимума информационные дистанции между людьми. Время, которое также претерпело изменение, перестало быть объективным, это уже не показатель процессов, фактов, это нечто другое для

современного человека, а именно длительность между подключениями к активной «матрице» виртуализации, будь то телевизор, компьютер, иллюстрированный журнал или мега-молл в качестве храма потребления. Развитие медиа, которое последовало за прогрессом в науке и технике, привело к тому, что сейчас информация является одним из самых необходимых ресурсов для человека.

Это повлекло за собой пришествие и нового человека, вполне соответствующего эпохи виртуализации и информатизации. Пластичность потребителя виртуальности стала ведущей характеристикой личности – «*Каждый может быть любым».* И легкодоступность виртуализационных технологий делают это возможным практически для каждого. Современный школьник старших классов на своем домашнем компьютере может самостоятельно творить реальность компьютерных игр и компьютерного графического пространства, уходить в это пространство, подключенное к Интернету, и жить в этом чисто виртуальном мире. Синдром Интернет-компьютерной зависимости постепенно становится нормой в современном обществе.

Социальная наука может изучать современное состояние общества так же, как делала это в XIX веке, но в данном случае огромная сфера изучения окажется вне поля зрения ученых, что приведет к проблемам в самом обществе. Поэтому в условиях виртуализации жизни необходим другой подход к изучению социальных явлений.

Прежде чем разработать какой-то оригинальный и эффективный подход, необходимо понять и описать все те изменения в нашей жизни, которые можно назвать «виртуализацией».

Виртуализация и потребление

Значительнее в нашей повседневной жизни становится роль образов, роль изображений, роль ощущений, которые не пытаются отражать действительность, но создают свои миры. Копия начинает обладать сходством с референтом, поскольку строит себя по образу идеи. Постепенно *копия замещает референт и приобретает самостоятельность*. Симулякр – это копия копии, лишенная подобия. Уход от аутентичности и погружение в мир «копий копий» сопровождается возникновением соответствующих широко распространенных и всем известных языковые форм русского языка: «как бы», «на самом деле» и пр. *Виртуализация – это все «как бы» настоящее, но «на самом деле» не настоящее.* Симулякр становится нерепрезентативной моделью, не подразумевающей существование объективного референта. В итоге виртуализация приводит к тому, что симуляция становится сначала параллельной реальности, а затем и имманентной ей реальности. Реальность наполняется и взрывается изнутри виртуальностью.

Таким образом, средства виртуализации формируют *миры*, то есть замкнутые универсумы сколь угодно большого или локального масштаба. «Мир медиа», «мир рекламы», «мир моды» («мир кожи», «мир паркета», «мир меха») порой становится для массового потребителя первостепенными и более важными, чем сами товары, факты и люди[1]. В конце концов, прежде всего, потребляется бренд, а не сам товар. Процессы виртуализации и потребления симуляционного бренда во всех сферах пронизывают жизнь современных сообществ. Зафиксировать и описать эти процессы – одна из основных целей исследовательской программы. «Виртуальная корпорация», «виртуальная TV студия», «виртуальная демократия», «виртуальные деньги», «виртуальное

[1] Указанные рекламные слоганы и названия весьма характерны с социологической точки зрения. Практически каждая ничтожная потребительская практика, получившая массовое распространение, претендует на создание своего виртуального «мира».

обучение», «виртуальное общение», «виртуальная игрушка», и т.п. Этот список можно продолжить. Многообразие воздействия виртуальной сферы на общество дает основание ставить вопрос о тенденции возникновения в обществе нового измерения. Разумеется, не стоит впадать в крайность и объявлять всё и вся продуктом виртуализации. Но и очевидное развитие этого процесса невозможно отрицать. Мир, в одном смысле, становясь все более и более материальным, физиологичным и бизнес-ориентированным, с другой стороны, уходит в имматериальную сферу воображаемого, сконструированного, «параллельного» и симуляционного.

Визуальность и виртуальность

Пути аналитического проникновения в мир виртуального могут быть достаточно разнообразными. Основным методом по-прежнему можно считать интеллектуальное моделирование процессов виртуализации и определение внутренних смысловых граней этого процесса. Существенную роль в конструировании этих множественных миров играет *визуальность*. Она сокращает путь к имажинативному, она более доходчива, впечатляюща, более захватывающа. В конце концов, 80% информации, получаемой человеком, приходит через зрительные рецепторы.

Изображения, зрительные ощущения приглашают в мир виртуального, обладая при этом чертами принудительной убедительности, доходчивости и коммуникативности. Это образы рекламы, дизайн, мультимедиа, компьютерные игры, мода, архитектура, фитнес, макияж, бодибилдинг, фейс-контроль, фотография и видео. Их нельзя считать некоей второстепенной оболочкой виртуальной реальности. Они входят в ее структуру в качестве значимых самодостаточных компонентов и нагружается особым смыслом. Зафиксировать и описать эти смыслы – одна из основных целей исследовательской программы.

Визуальные образы (скорее, «симулякры») преследуют современного человека повсюду. Они прорываются сквозь оболочку индивидуальной защиты и оказывают мощное воздействие на психику. Сфера визуального восприятия превращается в основной канал связи с виртуальной реальностью. Казалось бы, безобидная наружная реклама, убаюкивающий восприятия гладкий дизайн интерьеров и предметов быта, плазменные панели, вещающие по спутниковым каналам в огромных объемах в формате HD (high definition) – все это и есть проникновение виртуальной визуальности в мир человека наших дней.

В академическом преподавании средства наглядной визуальности (постер-сессии, программа *PowerPoint* и др.) захватывают все большие и большие пространства. Виртуальные аудитории, объединяющие по каналам IP-телефонии в режиме on-line университеты различных континентов, создают прообраз университетов будущего.

Основополагающие работы в области визуальной социологии

Для визуальной антропологии фундаментальной является монография Джона Колльера мл. «Визуальная антропология: Фотография как метод исследования»[1].

Одной из первых работ в современном этапе развития визуальной социологии стала статья Говарда Беккера «Фотография и социология»[2], в которой были поставлены многие ключевые вопросы, в частности, вопрос о том, может ли фотография считаться в точности передающей информацию, то есть о правдивости фотографии. Впоследствии Беккером была написана статья

---

[1] Collier J., Jr. 1967. Visual anthropology: Photography as a research method. – N.Y.: Holt, Rinehart & Winston, 1967. Впоследствии доработана и издана как: Collier J., Jr., Collier M. Visual anthropology: Photography as a research method. – Albuquerque: Univ. of New Mexico press, 1986.

[2] Becker H.S. Photography and sociology // Studies in the anthropology of visual communication. – Arlington (VA), 1974. – Vol. 1, N 1. – P. 3–26.

«Визуальная социология, документальная фотография и фотожурналистика: (Почти) все зависит от контекста»[1].

Классиком визуальной социологии также является Дуглас Харпер. В статье «Визуальная социология: Расширение социологического взгляда»[2] предлагается четыре основных варианта modus operandi визуально-социологических исследований. Теоретический раздел данной статьи является своего рода расширенным определением визуальной социологии. Материалы статьи 1988 г. развиваются Харпером в статье «Новое прочтение визуальных методов»[3].

Характерным для указанных работ является то, что, несмотря на акцент на исследовательском фотографировании, визуальная информация не сводится лишь к фотографии и сбору фотографических и видео материалов, но включает и визуальные образы в медиа и многое другое.

Впоследствии было издано несколько монографий и сборников статей, которые, собственно, и составляют ядро западной (прежде всего, американской) литературы и, соответственно, американской традиции визуальной социологии[4].

Эмпирические исследования в рамках визуальной социологии ведутся уже более 30 лет. Например, журнал «Качественная социология» (Qualitative sociology) посвятил один из номеров визуальной этнографии[5]. Существует

---

[1] Becker H.S. Visual sociology, documentary photography, and photojournalism: It's (almost) all a matter of context // Visual sociology. – Oxford, 1995. – Vol. 10, N 1–2. – P. 4–14.

[2] Harper D. Visual sociology: Expanding sociological vision // American sociologist. – N.Y., 1988. – Vol. 19, N 1. – P. 54–70.

[3] Harper D. Reimagining visual methods: From Galileo to Neuromancer // Handbook of qualitative research / Ed. by N.K. Denzin, Y.S. Lincoln. – Thousand Oaks (CA): Sage, 2000. – P. 717–732.

[4] В частности, это сборники: Image-based research: A sourcebook for qualitative researchers / Ed. by J. Prosser. – L.: Falmer, 1998; Images of information: Still photography in the social sciences / Ed. by J. Wagner. – Beverly Hills (CA): Sage, 1979.

[5] Qualitative sociology. – Dordrecht, 1989. – Vol. 12, N 2.

журнал Visual studies, ранее называвшийся Visual sociology, который целиком посвящен изучению визуальных образов, в том числе социологическому анализу. Приведем два примера визуально-социологического анализа из разных областей.

Исследование объектов материальной культуры

Проведенное Хернаном Вера[1] в Голландии и Германии фотографическое исследование оформления окон в частных домах позволило сделать выход на такие черты культуры, как намеренно приоткрывающаяся наблюдателям частная жизнь, способы повседневной организации жизни в жилых кварталах (наблюдение за происходящим на улицах).

Рис. 2. Виртуальный курс в режиме телеконференции «Культурная психология и социология городской жизни» был проведен между Государственным университетом-Высшей школой экономики (Россия) и Университетом Кларка (США) в 2006 году. На экране профессор Яан

[1] Vera H. On Dutch windows // Ibid. – P. 215–234.

Валсинер (Университет Кларка), на первом плане — студенты ГУ-ВШЭ. В течение всего курса высокое качество связи позволяло создавать полную иллюзию виртуального пространственного единства учебной аудитории, физически разделенной многими тысячами миль. Курс прошел с большим успехом и будет клонирован в других инвариантах[1].

Рис. 3. 42-улица Манхеттена (Нью-Йорк), центр «великого города», конец апреля 2007 г. На заднем плане реклама сети универсальных магазинов «Таргет». Эта часть Манхеттена, вблизи Таймс-сквер носит знаковый характер. Это Мекка туристов, символ современной Америки, ее визитная карточка. Несколько лет назад при мэре Рудольфе Джулиани прежде злачная 42-улица радикально обновилась и теперь стала витриной всей страны. Общий дизайн рекламных площадей на стенах небоскребов создается группами художников. Он настолько продуман в комплексе, что невольно рождает ощущения, что за всем этим стоит влиятельный и политически корректный «худсовет», более сильный, чем законы рынка.

Внешние зрительные образы наружной рекламы заполняют городское пространство. Одним из самых насыщенных наружной рекламой зон считается Москва и Манхеттен (Нью-Йорк). Причем в концепции наружной рекламы в Манхеттене переплетаются чисто коммерческие и пропагандистско-социальные составляющие. Реклама явственно начинает звучать как средство комплексного

[1] Здесь и далее фото автора.

формирования сознания современного человека. Искусство рекламщиков – это уже не ремесленничество, а тонкая настройка визуальных имиджей с использованием современных средств воздействия на аудиторию.

Рис. 4. При ближайшем рассмотрении динамично развернутая модель оказывается фрагментом большей ленточной серии билл-бордов, опоясывающей весь квартал и представляющей все американское общество в гигантской миниатюре – все социальные группы, Большая Американская Семья. В значительной степени персонажи этой семьи предстают социально нагруженными куклами – искусственно созданными муляжами, включенными в Большую Американскую Игру. И эта игра, по сути, виртуальна, ибо развивается параллельно американскому социуму, иногда пересекаясь с ним в конфликте, но чаще создавая свою собственную идеосферу.

Рис. 5. Это симулякр «Америки молодой», устремленной вверх, опирающейся правой рукой на символ бренда «Таргет». Индивидуальные черты стерты, неразличимы, «девушка вообще».

Рис. 6. «Многодетная американская семья» в динамике социального ракурса и духоподъемном веселье. По современным исследованиям американской семьи хорошо известно, что ее ведущей формой стало DENC (duel employment – no children, работа для обоих супругов без детей). Такова объективная логика современной американской экономики семьи и социальной жизни в целом. Однако в кукольном доме на рекламных билбордах на 42-й улице все предстает в ином ракурсе.

Рис. 7. Пожилой американец с афроамериканскими корнями. «Этника», стабильность геометрически устойчивой пирамидальной формы, мультикультурализм, достойный возраст. На заднем плане «спортсмен». (См. следующий рисунок).

Рис. 8. «Американская юность и мечта» à la Анна Курникова-Мария Шарапова. Политически корректное вынесение молодой женщины на первый план. Юноша уведен в угол кадра. Совершенство тела, его безупречность и культ молодости – один из идолов современной глобализированной (во многом американизированной) культуры. Таким образом античный паттерн восхищения совершенством формы человеческого тела трансформируется через тысячелетия в паттерн потребления физического совершенства и его виртуализацию средствами современных технологий. В этом контексте спорт выступает важнейшей потребительской практикой. Он интегрируется с модой, рекреацией и экстримом как своими инвариантами.

Рис. 9. «Америка мужественная» и сражающаяся—единоборец (справа). Строгий взгляд неподкупного воителя, готовность на любой трюк ради достижения победы. Слева рок-, поп-музыкант, афроамериканской этники и неопределенной гендерной ориентации. Единственный носитель интеллектуально-творчески-культурного компонента с чертами социальной нетипичности (транслируемый месседж: «мы ценим всех американцев, кроме террористов»).

Характерная особенность современных обществ состоит и в том, что визуальные конструкты постепенно вытесняют вневизуально-интеллектуальные. Так, книга и собственно чтение уступают место потреблению визуальных имиджей («картинки» любого рода, плакат-реклама, телесериал и пр.[1]). Притом, как представляется, речь идет не о временной флуктуации рынка культурных продуктов, а об изменившемся векторе развития культуры как таковой. В этом смысле и проникновение в зазеркалье

[1] Примечательно, что даже книжная продукция теперь нагружается и перегружается иллюстративно-визуальным материалом в противовес чисто текстовому. Развитие индустрии так называемой глянцевой прессы лучшее тому свидетельство. Все, что возможно, переносится в зрительно-изобразительную сферу. Пример с учебниками по истории социологии, превращенными в сериальные комиксы, прекрасное тому свидетельство.

виртуальности в значительной степени может идти по пути расшифровки визуальных имиджей.

Рефераты

НАБЕТ Т., РОДА К. ВИРТУАЛЬНЫЕ СОЦИАЛЬНЫЕ ПРОСТРАНСТВА: ПОДХОДЫ, ПРАКТИКИ, ПЕРСПЕКТИВЫ.

NABETH T., RODA C. Les espaces sociaux virtuels: Approches, pratiques émergentes et perspectives // Capital immatériel: Connaissance et performance / Sous la dir. de A. Bounfour. – P.: Harmattan, 2006. – P. 1–39. – Mode of access: http://www.ac.aup.fr/~croda/vcai/papers/NabethRodaESV.pdf

В данной статье Тьерри Набет, сотрудник Европейского института делового администрирования (г. Фонтенбло, Франция), и Клодиа Рода, профессор Парижского американского университета, рассматривают возможности Интернета по обслуживанию социальных функций. Виртуальные социальные пространства (ВСП), являющиеся предметом данной статьи, определяются как «онлайновые коммуникационные структуры, представляющие собой основу для общественных процессов, возникающих в виртуальных сообществах и группах или между индивидами» (с. 2). В качестве примера называются форумы и блоги. Данные пространства возникли как реакция на потребность сделать Интернет более приспособленным для человеческого общения. Наблюдается большое разнообразие типов ВСП, они обслуживают пользователей разного уровня – от неофитов до экспертов. Среди присутствующих в ВСП процессов выделяются три типа: коммуникативные, связанные с взаимодействием и социализацией. Постоянно возникают новые типы ВСП, что способно полностью «изменить наше представление о социальном взаимодействии и управлении знанием в компьютерном мире» (там же). ВСП признаны основными инструментами, выполняющими в новом формате функцию управления знаниями и общественными отношениями.

ВСП соответствуют восприятию Интернета как посредника в человеческих взаимосвязях и социальных процессах. К такой расширенной и видоизмененной

оценке роли Интернета по сравнению с прежней – средства доступа к информации или ее обработке – подталкивает ряд обстоятельств. С одной стороны, – его развитие и бóльшая «зрелость», с другой – непрерывное расширение числа его пользователей. Это способствует, в свою очередь, возрастанию доли тех, кто заинтересован не в технической составляющей Интернета, а, скорее, в предоставляемых им социальных услугах.

Авторы отмечают, что концепция Интернета как инструмента общения и взаимодействия не нова. Однако такие факторы, получившие развитие последнее время, как бóльшая доступность сетевых инфраструктур, меньшая стоимость и бóльшая простота в его освоении, демократизировали его применение и коренным образом изменили демографический состав той части населения, которая пользуется им. О большем охвате сетью говорит тот факт, что, по данным 2004 г., 50% населения США имели высокоскоростной доступ в Интернет, а во Франции в 2005 г. он насчитывал около 25 млн. пользователей. В развитых странах Интернет непосредственно входит в жизнь людей благодаря возможности получить информацию, связаться с кем-то, пообщаться или обменяться чем-либо, купить что-либо, возможности учиться, участвовать в общественной жизни и т.д. Он открывает также новые, недоступные в реальной жизни возможности: испытать себя в роли критика или журналиста, создав свой блог, выстроить иную идентичность в ходе ролевых игр. При этом могут возникать виртуальные сообщества, как новый социальный феномен (с. 5).

Авторы формулируют дополнительные требования к расширяющемуся виртуальному пространству. Оно должно основываться на следующих принципах: обеспечивать благоприятный (простой и понятный) прием для пользователей; эффективно соответствовать общим или индивидуальным целям; способствовать установлению доверительных отношений с другими участниками; обеспечивать социальную прозрачность как залог создания общих

ценностей; давать информационный контекст в том, что касается прошлого и настоящего, правил и общих занятий и т.п.; предоставлять возможности для выстраивания собственной идентичности. Поддержание данных принципов подразумевает использование таких социальных механизмов, как мотивация, общность взглядов, доверие, контроль. Некоторые из них авторы рассматривают более подробно.

ВСП через свои составляющие (электронную почту, дискуссионный форум, блоги, электронные энциклопедии, многопользовательские массовые ролевые игры и др.) предоставляют пользователям услуги в основном трех типов: 1) услуги, позволяющие взаимодействовать друг с другом; 2) услуги, позволяющие структурировать пространство; 3) услуги, предоставляющие пользователю возможность контекстуального взаимодействия (с. 10).

Услуги по взаимодействию различаются по степени контроля над общением: на временно́м уровне (когда общаться), на уровне средств общения (как общаться) и на уровне содержания (по какому поводу общаться).

Услуги по структурированию дают возможность пользователям организовать информацию, подав ее в определенной форме, единой для всех пользователей. Например, организация дискуссионных форумов в виде иерархической структуры накладывает на желающих создать новый форум обязательство должным образом разместить его в иерархии, а также помогает лучше понять, какие темы подходят для обсуждения. В качестве других примеров подобных услуг называются электронные энциклопедии (например, Википедия), сетевые ресурсы для электронных публикаций.

Услуги контекстуализации позволяют пользователям того или иного ВСП получать информацию о различных действиях других пользователей и о характеристиках (контексте) этих действий. Предоставляемая при этом информация может даваться в режиме реального времени (действия

пользователя в настоящий момент) или быть отсроченной (его действия за прошлый период), быть более или менее подробной. Пример контекстуальной информации дает перечень отзывов (положительных, нейтральных, негативных), полученных продавцом в результате продажи какого-либо товара.

Далее авторы более подробно рассматривают факторы социального характера, значимые для виртуальных инфраструктур, а также механизмы, используемые для их поддержки и стимуляции интереса к ним.

При анализе *мотивации к участию* авторы обращаются к теории социальных обменов[1], которая рассматривает связь между участием людей в каких-либо операциях (в данном случае – пространствах обмена) и тем, как они оценивают выгоду от данного участия. Выделяются четыре основные причины участия: 1) ожидание взаимности (адекватного ответа на твое действие со стороны других участников); 2) повышение авторитета (расширение известности, рост влияния); 3) альтруизм; 4) конкретная выгода. Далее представлен обзор других мотивационных факторов, где среди мотивов называются: социальное самоутверждение, устойчивость действий индивида (тенденция к повтору однажды совершенного действия), дружба и личное удовольствие, сознание значимости твоей роли в социальной системе, сознание уникальности твоего вклада и др.

Основываясь на данных системах факторов, авторы выводят принципы стимулирования участия в процессах обмена информацией. Так, использование услуг контекстуализации может сделать более заметной деятельность каждого участника, что будет благоприятствовать росту их авторитета. Еще один принцип, который можно использовать для мотивации индивида, связан с

---

[1] Thibaut J.W., Kelley H.H. The social psychology of groups. – N.Y.: Wiley, 1959; Constant D., Kiesler S., Sproull L. What's mine is ours, or is it? A study of attitudes about information sharing // Information systems research. – Hanover (MD), 1994. – Vol. 5, N 4. – P. 400–422.

взаимодействием. Необходимо обеспечить предоставление эффективных услуг по взаимодействию пользователей. Это условие, требующееся для достижения критической массы при обмене знаниями. Для обеспечения хорошего взаимодействия важны также способности модератора сайта.

Другим фактором, значимым для функционирования ВСП, является *общность взглядов* (compréhension commune (фр.), common ground (англ.)), сходное понимание информации группой людей (с. 15). Установление общности взглядов является непременным условием любого эффективного социального взаимодействия. Г. Кларк выделял два типа общности взглядов: персональный и присущий сообществу людей[1]. Первый свойственен тем, кого мы знаем, кто разделяет наше мнение; второй определяет культурные общности (например, общность англичан или игроков в тетрис). Единство взглядов, присущее общности, позволяет предполагать, что принадлежность к этой общности подразумевает определенные знания и убеждения. Авторы перечисляют три направления усилий пользователей Интернета, благоприятствующие формированию и сохранению общности взглядов: 1) использование услуг контекстуализации (что улучшает «видимость» действий и событий для пользователей); 2) углубление уровня взаимодействия; 3) совершенствование услуг структурирования (что позволяет создать «память» о достигнутой общности взглядов в виде, например, архивов).

Еще одним важным для ВСП фактором является *доверие.* Оно имеет принципиальное значение в таких виртуальных областях, как интернет-торговля, виртуальные сообщества, совместная работа, безопасность. Установлению и развитию доверия могут способствовать механизмы социальной прозрачности. Социально «прозрачные» системы характеризуются с

---

[1] Clark H.H., Schaefer E.F. Contributing to discourse // Cognitive science. – Oxford, 1989. – Vol. 13, N 2. – P. 259–294.

т. зр. пользователя тремя свойствами: наглядностью, знанием и ответственностью за свои поступки. Обеспечение этих свойств происходит за счет услуг контекстуализации, взаимодействия и структурирования.

Последним фактором, важным для функционирования ВСП, назван учет *самобытности каждого человека*. Авторы имеют в виду как биологические параметры (пол, возраст и др.), так и психологические (личностные особенности, когнитивный стиль), социальные (происхождение, убеждения, круг общения), опыт (образование, профессиональная принадлежность, жизненный опыт). Применительно к ВСП эти особенности выражаются в способе восприятия людьми ВСП, способе использования ВСП и обращения с ними (поведения), и в методах воздействия на других пользователей.

В следующей части статьи рассматриваются различные категории ВСП и происходящие в них процессы. *Пространства сотрудничества* осуществляют «поддержку деятельности, при которой два или несколько пользователей объединяются для достижения общей цели…» (с. 19). При этом, как правило, необходимы высокий уровень мотивации участников, достижение общности понимания относительно цели, способов, распределения ролей, эффективности действий каждого, а также установление доверительных отношений.

Пространства для сделок предназначены для «деятельности, в ходе которой происходит передача благ (материальных или нематериальных) между двумя или несколькими акторами» (с. 20). Основным фактором, значимым для сделок, выступает доверие, поэтому здесь важны механизмы, обеспечивающие социальную прозрачность. Например, список предыдущих сделок, совершенных потенциальным партнером, поможет оценить риск от заключения с ним сделки. Той же цели отвечают рейтинги фирм, занимающихся интернет-торговлей, а также возможность просмотреть отзывы покупателей. В качестве примера рассматривается функционирование интернет-аукциона eBay (с. 20).

Пространства личного общения предназначены «для межличностного эффективного общения, даже если конфиденты находятся в географически отдаленных местах» (с. 21). Наиболее востребованными являются электронная почта и электронный пейджер (icq), популярны также файлообменные (пиринговые) сети (peer-to-peer), торренты и eMule, позволяющие индивидам взаимодействовать друг с другом для обмена электронными файлами с каким-либо содержимым, например, музыкальными записями. Значимыми факторами для этих пространств являются доверие, понимание и присутствие. С доверием связана потребность быть уверенным в правильной идентификации того лица, с которым человек общается. С пониманием – необходимость наличия общности взглядов. С присутствием – желание убедиться, что электронное письмо получено или что корреспондент присутствует и свободен для общения – для icq. Механизмы, обеспечивающие доверие, кроме точного адреса, – наличие «темы» письма, протокол PGP и т.п. Понимание часто обеспечивается за счет менее формального общения при электронной переписке, чем при традиционной, сокращением формул вежливости. С другой стороны, пониманию способствует копирование текста электронного письма, на которое дается ответ, что обеспечивает бóльшую адекватность переписки. Подтверждение присутствия обеспечивают механизмы подтверждения получения письма или индикаторы присутствия на связи.

Пространства группового общения предназначены «обеспечивать общение между многими людьми, даже если они находятся в разных местах» (с. 22). Наиболее известны дискуссионные форумы, списки рассылки, блоги, электронные энциклопедии, чаты. Для этих пространств важны те же факторы доверия, понимания и присутствия, при этом значимость этих факторов усиливается в связи с бóльшим количеством участников социального процесса и большей гетерогенностью группы. Доверие может быть связано не столько с

идентификацией корреспондента, сколько с его ролью внутри группы, отношениями внутри группы. Гетерогенность группы может иметь важные последствия при установлении взаимопонимания (общность взглядов). Его достижение обратно пропорционально количеству участников и разнообразию их опыта. При групповом виртуальном общении возникает проблема идентичности: для чисто виртуальных групп, участники которых не встречаются в реальном мире, идентичность часто представлена не реальным именем, а псевдонимом, который превращается во «вторую идентичность» человека со всеми атрибутами реальной идентичности. Для групп, общение которых происходит и в виртуальном, и в реальном мирах, идентичности могут совпадать с реальными, однако возможно и конструирование виртуальной идентичности. Установлению взаимопонимания служат многие механизмы, в частности списки наиболее задаваемых вопросов, представляющие совокупность информации, разделяемой всеми членами группы. Механизмы присутствия, как правило, просты и ограничиваются списками членов или указанием присутствия в сети в настоящее время.

Последняя часть статьи посвящена составляющим ВСП: электронная почта, электронный пейджер, системы, поддерживающие виртуальные сообщества, блоги, электронные энциклопедии, рекомендательные и репутационные системы, электронные ресурсы, выполняющие функцию поддержки социальных сетей. Рассматривая системы, поддерживающие виртуальные сообщества, авторы отмечают, что подобные пространства часто характеризуются наличием сложных социальных механизмов. Виртуальные сообщества предоставляют широкие возможности для проявления социальных идентичностей (формирования репутаций) его участников. Там они устанавливают социальные связи, которые, несмотря на их виртуальный характер (участники никогда не встречаются в реальном мире), могут

поддерживаться в течение долгого времени и вести к участию в конкретных совместных действиях» (с. 27).

Возникший и получивший широкое развитие в последние годы феномен блогов (личных онлайновых дневников) дал возможность создания новых пространств общения. Возникшие при этом проблемы связаны, в том числе, с тем, что коренным образом изменились способы самовыражения индивидов и групп. Так, для значительной группы лиц блоги стали возможностью самоосуществиться в качестве журналиста и способствовали демократизации самовыражения и ускорению распространения информации в обществе. Хотя при этом возникает проблема достоверности распространяемой информации. Еще одна проблема, связанная с блогами, – трудность проведения границы между сферой личной жизни и сферой работы (случаи разглашения в дневниках информации, относящейся к работе). Проблемы, возникающие в связи с блогами, показывают, что обществу непросто контролировать новые социальные структуры, которые появляются в электронных пространствах.

Говоря об электронных энциклопедиях (представляющих собой коммуникативную структуру, позволяющую группе индивидов создавать связанные между собой веб-страницы гипертекста), Набет и Рода подчеркивают принцип, согласно которому автором или редактором статей может стать любой пользователь. Это позволяет выполнять функцию «капитализации знаний очень больших сообществ» (с. 29). Хотя здесь, как и в блогах, возникает проблема достоверности информации, а также плагиата.

Ресурсы по поддержке социальных сетей, являющиеся онлайновыми услугами, предназначенными для создания и расширения круга знакомств, выполняют функцию посредничества между людьми. Сферы применения этих пространств многочисленны: дружеские и деловые отношения, работа, сообщества по интересам и др. Данные пространства являются ярким примером

для приложения к ним целой группы социальных теорий, типа «как тесен этот мир», «шести социальных звеньев» (среднее социальное расстояние между двумя незнакомыми людьми составляет шесть звеньев)[1], теория полезности слабых связей для доступа к значимой для человека информации[2].

В заключение авторы задаются вопросом, являются ли рассмотренные в статье Интернет-пространства, получившие столь широкое распространение в последние годы, данью моде или же революционным феноменом, меняющим отношения Интернета и общества. Однозначно то, что Интернет в настоящее время ценится не меньше за его функцию поддержки социального процесса, чем как инструмент обработки информации. Развитие «более человечного» (с. 33) Интернета сопровождается его заметным усложнением: использование компьютерных систем для поддержки социальных процессов оказывается более сложной задачей, чем манипулирование информацией. К тому же справляться с этой задачей предстоит непрофессионалам. При этом авторы с сожалением констатируют намечающийся разрыв среди населения между продвинутыми пользователями и остальной косной массой, не осваивающей новые возможности сетевой коммуникации. Наконец, авторы выражают надежду, что тенденция построения «более социального» (с. 34) Интернета продолжится в дальнейшем, несмотря на все трудности.

Е.Л. Ушкова

БАЛДАССАРИ Д., ДИАНИ М. ИНТЕГРАТИВНАЯ СИЛА ГРАЖДАНСКИХ СЕТЕЙ.

---

[1] Watts D.J. Small worlds: The dynamics of networks between order and randomness. – Princeton: Princeton univ. press, 1999.

[2] Granovetter M. The strength of weak ties // American j. of sociology. – Chicago, 1973. – Vol. 78, N 6. – P. 1360–1380.

BALDASSARI D., DIANI M. The integrative power of civic networks // American j. of sociology. – Chicago, 2007. – Vol. 113, N 3. – P. 735–780.

Статья Делии Балдассари (Принстонский университет, США) и Марио Диани (Университет Тренто, Италия) основана на исследовании сетей общественных организаций в городах Глазго и Бристоль (Великобритания) в период с 2000 по 2003 год. В работе анализируется интегративная динамика в рамках гражданского общества. В своем исследовании авторы ставят два центральных вопроса: первый касается формы гражданских сетей в демократическом обществе, второй – содержания сетевых связей.

Критериями выбора городов Глазго и Бристоля стали плотность и сложность жизни ассоциаций внутри этих городов. Во время проведения исследования наблюдались обычные, максимально регулярные с точки зрения межорганизационной динамики формы коллективного действия.

Бристоль и Глазго имеют некоторые общие социальные и политические черты. Оба города претерпели радикальный инфраструктурный сдвиг от индустриальной экономики к экономике услуг. С конца 1990-х годов наблюдаются тенденции относительной профессионализации волонтерского сектора (the voluntary sector) и рост его вовлеченности в политическую деятельность, обычно в партнерстве с местным управлением и бизнес-структурами. Но в то же время различия политического профиля этих городов позволяют проследить влияние политического контекста на гражданские сетевые структуры.

На основе данных, полученных из интервью с представителями 124 организаций в Глазго и 134 – в Бристоле, были сделаны выводы о том, какие формы отношений между организациями существуют в исследуемых городах. Респондентов спрашивали о пяти наиболее близких партнерских организациях. Исследователи пытались выяснить, предполагает ли связь между

дружественными организациями: 1) проведение совместных проектов; 2) распределение информации; 3) объединение ресурсов; 4) наличие общих лидеров; 5) наличие активистов с сильными межличностными связями. Связи, охватывающие 1, 2 и 3 пункты квалифицируются авторами статьи как трансакции, 4 и 5 – как личностные связи.

В результате исследования выяснилось, что связи между различными секторами гражданского общества могут принимать иерархическую (формальную), централизованную форму или более горизонтальную (неформальную), полицентрическую форму. На макроуровне происходит разделение между иерархической и полицентрической структурами, а на микроуровне выделяются две формы взаимозависимости между организациями – асимметричная и сбалансированная. Таким образом, оперируя данными понятиями, можно определить мобилизационный потенциал, сетевую прочность и природу взаимозависимости между различными организациями гражданского общества.

Макро- и микроинтеграции имеют разные основания. Интеграция на микроуровне стимулируется сильными, а на макроуровне – слабыми связями[1]. Сильные связи составляют основу солидарности и доверия внутри основной группы, дают ощущение защищенности в ситуациях быстрых изменений и неопределенности. Слабые связи складываются вне основополагающих групп, способствуя циркуляции информации и ресурсов.

Авторы выделяют два типа отношений: трансакции (transactions) и общественные соглашения (social bonds). Трансакции, или инструментальные связи, – это связи в форме альянсов, включающие только обмен информацией и

---

[1] Granovetter M. The strength of weak ties // American j. of sociology. – Chicago, 1973. – Vol. 78, N 6. – P. 1360–1380; Granovetter M. The strength of weak ties: A network theory revisited // Sociological theory. – Oxford, 1983. – Vol. 1. – P. 201–233.

ресурсами, которые необходимы для достижения некоторой, возможно, временной, коллективной цели. Общественные соглашения – сильные связи, построенные на коллективной идентичности. Они отличаются более глубокими, основополагающими связями, например, созданием общего ресурсного фонда или наличием общих лидеров.

Авторы подчеркивают, что данные типы взаимодействия служат для достижения разных целей. Общественные соглашения позволяют выстраивать новые идентичности, усиливать и конструировать солидарность, в то время как трансакции являются видом связи, поддерживающим существование недолговременных альянсов, создающихся исключительно для достижения результатов в краткие сроки.

Авторы убеждены, что гражданские сети способствуют социальной интеграции в том случае, если организациям удается достичь баланса между инструментальными отношениями и связями, предполагающими глубокое эмоциональное вовлечение. Балдассари и Диани определяют гражданские сети как «систему связей соучастия и взаимного членства между организациями, формально независимыми от государства, действующими на пользу коллективных и общественных интересов» (с. 736). Следует отметить, что существует несколько взглядов на сетевые структуры. Одни исследователи рассматривают сети скорее как системы возможностей и оказания давления, чем как особые формы социальной организации[1]. Другие акцентируют внимание на важности определенных сетевых структур для организационной деятельности (organizational performance)[2]. Исследователи политических процессов придают больше внимания прошлому состоянию сетей, интерпретируя поздние их

---

[1] Salancik G.R. WANTED: A good network theory of organization // Administrative science quart. – Ithaca, 1995. – Vol. 40, N 3. – P. 345–349.
[2] Borgatti S.P., Foster P.C. The network paradigm in organizational research: A review and typology // J. of management. – L., 2003. – Vol. 29, N 6. – P. 991–1013.

состояния как результат более или менее удачного совпадения организационных характеристик[1] или сосредоточения силы в руках акторов, занимающих определенные структурные позиции[2].

Таким образом, чтобы понять возможности сетевых структур в организации коллективного действия и общественной интеграции, все характеристики гражданских сетей должны быть изучены и объяснены с позиций микроуровневой динамики, которая производит определенные макроуровневые конфигурации. Для этого авторы определяют два аналитических показателя: формальные сетевые характеристики и содержание организационных связей. «...организационная взаимозависимость может принимать различные формы, а межорганизационные сети могут представлять широкий ряд структур» (с. 738).

Некоторые исследователи подчеркивают важность формальных, бюрократических структур и четкого разделения труда для максимизации результатов движения и эффективности принятия решений[3], другие считают централизованную неформальную модель более эффективной, способствующей

---

[1] Ansell C.K. Community embeddedness and collaborative governance in the San Francisco Bay area environmental movement // Social movements and networks: Relational approaches to collective action / Ed. by M. Diani, D. McAdam. – Oxford: Oxford univ. press, 2003. – P. 123–144; Osa M. Networks in opposition: Linking organizations through activists in the Polish People's Republic // Ibid. – P. 77–104.

[2] Galaskiewicz J. Interorganizational networks mobilizing action at the metropolitan level // Networks of power / Ed. by R. Perrucci, H. Porter. – N.Y.: Aldine, 1989. – P. 81–96; Knoke D. Organizing for collective action: The political economies of associations. – N.Y.: Aldine, 1990; Coalition form and mobilization effectiveness in local social movements / Jones A.W., Hutchinson R.N., van Dyke N., Gates L., Companion M. // Sociological spectrum. – Philadelphia, 2001. – Vol. 21, N 2. – P. 207–231.

[3] Gamson W.A. The strategy of social protest. – Homewood (IL): Dorsey, 1975; Zald M.N., McCarthy J.D. Social movements in an organizational society. – New Brunswick (NJ): Transaction, 1987.

высокой приспособляемости и низкому уровню уязвимости сегментированной структуры по отношению к изменениям контекста[1].

Авторы данной статьи выделили основные характеристики двух рассматриваемых структур. Иерархичная структура характеризуется наличием одной или нескольких центральных организаций, связанных со множеством периферийных акторов, изолированных друг от друга. Установки и поведение центровых акторов (лидеров) внутри подобной структуры могут сильно влиять на результат коллективных усилий, повышая тем самым возможность масштабной мобилизации, что является безусловным плюсом. Но данные сети подвержены влиянию внешних факторов: если удалить из сети центровых акторов, которые в основном и обеспечивают связь, целостность сети разрушится.

В полицентрической структуре наблюдается множество кластеров – взаимосвязанных центров, между которыми происходит интенсивный обмен. Мобилизация малого числа акторов не обязательно инициирует масштабные коллективные действия. Мобилизационный процесс в данном случае зависит от того, насколько распространено согласие между акторами, микровзаимодействия здесь основываются на взаимозависимости.

Таким образом, иерархическая форма гражданской координации имеет больший потенциал для масштабной мобилизации, но является менее крепкой, чем полицентрическая сеть. К тому же первая, в отличие от последней, не стимулирует возникновение горизонтальной солидарности и общего обмена. Строительство альянсов между добровольными ассоциациями сложно и рискованно, так как повышается контроль за программой работы, возникают

---

[1] Lichterman P. The search for political community: American activists reinventing commitment. – Cambridge; N.Y.: Cambridge univ. press, 1996; Melucci A. Challenging codes: Collective action in the information age. – Cambridge: Cambridge univ. press, 1996.

трудности в выборе репертуара действий, проблемы в совместимости идеологических перспектив.

Свойства сети невозможно понять без знаний о содержании связей между сетевыми элементами. Среди обычных связей выделяют системы тайных соглашений, различные взаимодействия, контроль, социальную сплоченность. Эффективность межорганизационных отношений зависит не только от формальных связей, но и, в большой мере, от личных отношений и дружбы между лидерами гражданских организаций. От этого зависит *поддержание* взаимного доверия и усиление социального контроля. Связи в сообществе лидеров сильнее, чем инструментальные профессионально-деловые связи. Соответственно, в социальные узлы (кластеры) объединяются одинаковые по своим интересам организации.

Исследователи придают большое значение обмену ресурсами, информацией и участниками между организациями так же, как и менее видимым, «латентным» каналам коммуникации, представленным активистами с множественной вовлеченностью в организации и субкультурную среду.

В целом, организации могут ограничить свои взаимодействия обменом важных ресурсов, важной политической и технической информацией или особыми услугами (например, предоставление офисного пространства, помещений). Эти обмены могут закончиться без каких-либо последствий, и ученые называют такие связи сделками, инициированными инструментальной логикой. Другие организации связаны более глубокими обязательствами и высоким уровнем сплоченности. Примером таких связей на межорганизационном уровне служат множественное членство (численность сразу в нескольких организациях) и индивидуальное участие во многих акциях, организованных разными организациями. Такие связи выходят за рамки чисто инструментального характера.

Балдассари и Диани попытались реконструировать то, каким образом межорганизационные связи объединяются в сложные структурные модели. По их мнению, недостаточно рассматривать только индивидуальное участие или характеристики отдельных организаций как факторы интеграции общества. Изучение индивидуального участия должно быть объединено с изучением межорганизационных связей.

В ходе исследования было выявлено сильное сходство между двумя гражданскими сетями в Глазго и Бристоле. Несмотря на исторические и социальные различия, характеризующие эти города и коллективный опыт их общественных групп, межорганизационное сотрудничество в них построено по одной схеме. Гражданские сети в обоих городах основываются на динамике сбалансированной взаимозависимости, следовательно, превалируют полицентрические, горизонтальные связи. Подобные сети являются условием возникновения необходимого элемента гражданского общества – социального капитала. Постоянное обособление и одновременно включенность организаций в совместную деятельность позволяют преодолеть недостаток ресурсов и укрепить внутреннюю структуру, воспроизводя социальный капитал, независимо от внешнего контекста. Тем не менее, повышение профессионализации волонтерского и общественного секторов и рост вовлеченности в политику на локальном уровне может привести к сдвигу в сторону иерархических, централизованных сетей в обоих городах.

Структурный подход к гражданскому обществу затрагивает две важные линии: отношения между социальным капиталом и социальной интеграцией, а также роль политического контекста как детерминанты направленности и формы коллективного действия.

Модель гражданской координации, рассмотренная в данной статье, поддерживает плюралистический взгляд на властные структуры, в соответствии

с которым локальная политика подчинена в большей степени деятельности множественных политических акторов, чем сплоченной местной элите[1]. С одной стороны, гражданское общество включено в государство, но с другой – существует относительно независимо от государственной власти, т.к. имеет собственную структуру и свои законы функционирования.

О.А. Усачева

СТАРК Д., ПАРАВЕЛ В. POWERPOINT В ПУБЛИЧНОЙ СФЕРЕ: ЦИФРОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ И НОВАЯ МОРФОЛОГИЯ ДЕМОНСТРАЦИИ.

STARK D., PARAVEL V. PowerPoint in public: Digital technologies and the morphology of demonstration // Theory, culture & society. – L., 2008. – Vol. 25, N 5. – P. 30–55.

Американские исследователи Дэвид Старк (Колумбийский университет, США) и Верена Паравел (Массачусетский технологический институт, США) в своей статье поднимают вопросы, связанные с влиянием цифровых технологий на сферу публичной политики в западных демократиях. Результаты исследования особенностей визуального языка и убеждающего воздействия презентационной слайдовой технологии PowerPoint используются ими для анализа специфики современного публичного дискурса.

Рассматривая взаимовлияние технических факторов и феноменов публичной политики, авторы исходят из того, что первые имели политическую сторону, тогда как политические явления включали и технические аспекты. Развитие цифровых технологий привело к существенным изменениям в сфере отношений между техническим и политическим. Обращаясь к этим изменениям, авторы стремятся исследовать особенности воздействия новых

[1] Dahl R.A. Who governs? Democracy and power in an American city. – New Haven (CT): Yale univ. press, 1961; Knoke D. Organizing for collective action: The political economies of associations. – N.Y.: Aldine, 1990.

цифровых технологий демонстрации на политические процессы в демократическом обществе.

Так же как массовое производство сменяется гибкой специализацией, а массмедиа сосуществуют с новыми социальными формами сетевых медиа, в публичной сфере постепенно происходит переход от массовых движений к новым формам политической демонстрации, которая больше не сводится к выходу на улицы городов большого количества политически активных граждан. Эффективность демонстраций все больше определяется использованием технических средств. PowerPoint как новая цифровая технология демонстрации предназначена не для физической мобилизации политических активистов, а для моделирования, электронных манипуляций с диаграммами и графиками и т.п.

В последнее десятилетие PowerPoint превратилась в наиболее распространенную форму цифровой демонстрации и наряду с таблицами, Word, электронной почтой и поисковыми сервисами стала неотъемлемой частью компьютеризации повседневной жизни. Корни PowerPoint уходят в сферу бизнес-презентаций. В качестве одного из важнейших средств коммуникации эта слайдовая технология получила широкое распространение не только в области управления, архитектуры, науки и инженерии, но и в других областях публичной жизни. Она все больше используется в университетах, начальном образовании, бытовых церемониях.

С учетом этих тенденций становится понятной необходимость всестороннего рассмотрения влияния цифровой презентации на трансформацию публичного дискурса в демократическом обществе. В частности, особого внимания заслуживает использование ее материалов в оппозиционной контрдемонстрации. Такие исследования должны помочь дать ответ на вопрос, наносит ли распространение PowerPoint вред демократии или же создает новые возможности и средства участия граждан в экспертизе правительственных

решений. Очевидно, что в век цифровых технологий, когда принятие политических решений опирается на комплексный технический подход, серьезные изменения демократии неизбежны.

Авторы статьи разделяют исследователей, занимающихся проблемами PowerPoint, на два лагеря. Одни из них подчеркивают преимущества PowerPoint, другие, напротив, категорически выступают против ее использования. Среди последних и Э. Тафт, который приводит множество аргументов в пользу того, что PowerPoint как слайдовая технология в значительной степени снижает аналитический уровень презентации. С его точки зрения, такой способ подачи информации ослабляет эффект вербального воздействия и демонстрационного анализа статистических данных. Оценивая коммуникативный потенциал презентации, Тафт критикует ее за то, что в ней в слишком немногих словах дается слишком мало информации (с. 33)[1].

По мнению Старка и Паравел, Тафт не учитывает специфику когнитивного стиля этой новой технологии, поскольку исходит из критериев, связанных с письменными документами и отчетами, которые в роли медиума имеют ряд особенностей, отличающих их от электронных презентаций. Тафт ограничивает когнитивный стиль грамматики PowerPoint такими запрограммированными технологическими возможностями, как авторазметка AutoLayout с ее функциями «добавить название» («click-on-add-title») и форматирование содержания с помощью буллетов, а также AutoContent Wizard. С одной стороны, эти сервисы помогают автору упорядочить и редактировать содержание своей презентации, но, с другой стороны, в значительной мере это содержание детерминируют, вынуждая демонстратора совершать строго

[1] Tufte E.R. The cognitive style of PowerPoint: Pitching out corrupts within. – Cheshire (CT): Graphics press, 2006.

определенные типы действий и использовать минималистские приемы изложения.

В отличие от Тафта, Старк и Паравел анализируют и другие особенности грамматики PowerPoint, включая использование образов, различные композиционные эффекты и приемы повествования, например, темп смены слайдов. Вместо сравнения цифровой презентации с традиционным отчетом, в котором приводятся комментарии и пояснения к статистическим таблицам, они предлагают соотносить ее с визуально-грамматическим языком и интерактивной графикой комиксов (с. 39).

Таким образом, критика Тафтом PowerPoint за недостаточный уровень передачи информации основывается на игнорировании того факта, что цифровая презентация является не только отчетом, предназначенным для чтения, но и средством убеждающего воздействия. Авторы же рассматривают PowerPoint прежде всего как средство демонстрации, и поэтому они гораздо меньше уделяют внимания степени ее «информационной трансмиссии», чем способности к убеждению (с. 34).

Подобно многим другим исследователям цифровых технологий, Старк и Паравел исходят из того, что в наше время социальные практики письма и чтения претерпевают фундаментальное изменение. По своему масштабу это изменение сопоставимо с переходом от устной формы коммуникации к письменной, происшедшим в классическую эпоху. Сейчас же происходит массовый переход от печатного слова к экранным имиджам. Использование технологий новых медиа ведет к тому, что воздействие на читателя осуществляется одновременно с помощью слов и образов. Особенно на этом настаивают сторонники такого нового подхода, как «визуальная грамотность» (visual literacy).

В начальный период развития печатной прессы графические инновации (например, в пунктуации) сильно повлияли на читательское мышление. Что касается PowerPoint, то здесь в настоящее время стандартизировано лишь использование заголовков и буллетов. Остальные жанровые особенности этой формы презентации пока еще только развиваются. Именно поэтому необходима ориентация исследователей на изучение технологии на ранних этапах ее развития и повседневного использования (с. 35).

В противоположность Тафту, Старк и Паравел избегают однозначного подхода к PowerPoint и считают, что свойственный ей риторический стиль в сфере публичной жизни еще далеко не сформировался, хотя в сфере бизнеса этот стиль уже существует. Не претендуя на составление исчерпывающего перечня элементов когнитивного стиля PowerPoint, авторы статьи все же анализируют некоторые из них. По их мнению, PowerPoint представляет собой интересный комплексный социологический объект. С одной стороны, PowerPoint является «живой» презентацией, которая проходит в реальном времени и месте (аудитории), где демонстратор с помощью техники осуществляет *устное* повествование об объекте презентации. Такая форма требует совместного присутствия автора и аудитории. С другой стороны, PowerPoint может циркулировать и независимо от устной презентации – как электронный документ. Иначе говоря, в первом случае «видеть» презентацию означает видеть ее «вживую», непосредственно в публичном месте. Во втором же случае речь идет о том, чтобы «видеть» ее на веб-сайте, читая как тезисы, заменяющие полный текст статьи, или открывая как прикрепленное вложение в электронной почте в форматах pdf или ppt. В последнем случае виртуальная форма демонстрации дает возможность почти моментального включения ее материалов в аргументацию контрдемонстраций, которые могут быть использованы оппозиционными группами и их экспертами в борьбе за

общественное мнение. Здесь, таким образом, выявляется потенциал воздействия на демократические процессы.

Анализ технических и риторических аспектов цифровых демонстраций, форм и последовательности представления фактов на экране, циркуляции PowerPoint и ее использования в контрдемонстрациях открывает путь к изучению новых форм политической репрезентации. Особую значимость этому направлению исследований придает общий контекст развития сетевых интерактивных форм медиа, которые значительно отличаются от традиционных телевидения и радиовещания.

Старк и Паравел в своей статье проанализировали ряд конкретных примеров презентаций в формате PowerPoint. К их числу относятся презентации семи архитектурных проектов зданий, которые могут быть построены на месте двух башен нью-йоркского Всемирного торгового центра, разрушенных в результате теракта 11 сентября 2001 г. Эти проекты были представлены аудитории в декабре 2002 г. в Нью-Йорке и демонстрировались широкому кругу зрителей массовыми средствами теле- и радиовещания. В статье также рассматривается презентация госсекретаря США Колина Пауэлла (2003), целью которой было убедить американское и мировое общественное мнение в существовании оружия массового поражения в Ираке.

Участвовавшие в конкурсе архитектурные команды в своих презентациях стремились обосновать реализацию проектов строительства на месте башен-близнецов ВТЦ, тогда как Пауэлл пытался оправдать будущую войну. При этом каждый из них использовал ряд цифровых возможностей PowerPoint для поддержки своих политических и технических целей перед публикой. Таким образом, обе эти презентации были одновременно и технологическими, и политическими демонстрациями, в которых для убеждения аудитории использовались цифровые технологии.

Старк и Паравел рассматривают эти события и как примеры «живых» презентаций, и как феномены виртуальной жизни. При этом они стремились не к выяснению степени их истинности или использования в них логики и т.д., а к выявлению особенностей новой компьютерно поддерживаемой аргументации, в первую очередь, использования визуальных образов. Для изучения циркуляции презентаций как цифровых документов авторами были исследованы несколько десятков вебсайтов с целью выявления форматов, в которых они стали доступны публике и были включены в контрдемонстрации.

Старк и Паравел отмечают ряд общих особенностей визуальной риторики и когнитивного стиля этих презентаций. В обоих случаях их авторы не просто представляли аудитории отчет, но рассказывали «истории» и, подобно хорошим рассказчикам, использовали для своих экранных композиций ритмические и другие эффекты (например, последовательность и непрерывность показа различных стадий или резкие переходы от одного плана показа изображения к другому). При этом они, прежде всего, рассчитывали в чем-то убедить аудиторию: архитекторы стремились убедить публику в том, что их проекты будут наилучшим образом способствовать восстановлению города, а Пауэлл пытался убедить американское общественное мнение в угрозе, исходящей со стороны режима Саддама Хусейна. В каждом случае в роли демонстраторов они конструировали визуальный нарратив, используя различные элементы когнитивного стиля PowerPoint.

Пауэлл, так же как и архитекторы, использовал композиционные средства цифровой презентации для интеграции различных видов материалов: фотографий, чертежей, карт, видео, изображений, полученных с помощью спутников, и даже аудиозаписей перехваченных разговоров. Эти демонстрации происходили одновременно и на экране в зале Совета Безопасности ООН, и на

многих телевизионных экранах, а позже – на дисплеях компьютеров, где их загружали и просматривали пользователи.

В то время как презентации архитекторов переносили наблюдателя в некоторое будущее состояние, демонстрация Пауэлла использовала технические средства для создания риторического эффекта перенесения наблюдателя в прошлое. Имеется в виду его ссылка на выступление Э. Стивенсона в Совете Безопасности ООН 25 октября 1962 г. в связи с кубинским военным кризисом. Стивенсон с помощью ассистента, занимавшегося флип-чартами[1], представил фотографии, сделанные с самолета U2, и карты как доказательства присутствия советских ракет на кубинской территории. Аналогия с этим историческим событием стала одной из ключевых и определяющих риторических стратегий Пауэлла, который также демонстрировал карты и фотографии, используя при этом совершенно другое техническое оборудование.

Основное различие между этими двумя презентациями состояло не в том, что Пауэлл в отличие от Стивенсона сообщил недостоверную информацию, и не в том, что он использовал средства мультимедиа. Главной особенностью презентации Пауэлла авторы считают то, что мультимедиа были соединены в единый медиум с помощью одной из важных функций PowerPoint. Загрузка видео- и аудиофайлов в слайды осуществлялась почти без всяких усилий одним лишь нажатием на соответствующую клавишу.

По результатам исследования к наиболее важным чертам цифровой морфологии PowerPoint авторы статьи относят следующие особенности: интеграция и репрезентация в едином формате гетерогенных материалов; возможность легкого перехода от «живой» демонстрации к циркуляции в

---

[1] Флип-чарты – профессиональные магнитно-маркерные доски на подставке, предназначенные для наглядной демонстрации и обучения. – *Прим. реф.*

качестве цифрового документа; возможность использования материалов презентации в контрдемонстрациях.

Чтобы точнее определить особенности морфологии PowerPoint, Старк и Паравел используют предлагаемое известным специалистом в области исследований науки и техники Г. Коллинзом разделение на эксперимент (тестирование), демонстрацию (показ) и «экран виртуозности» (display of virtuosity), под которым понимается осуществление демонстрации с помощью медийных средств[1]. Градация этих понятий обусловлена степенью возрастания контроля и перехода от неопределенности к определенности. Если эксперимент еще допускает элемент неопределенности, а в «живой» демонстрации также не исключена возможность ошибки, то в процессе презентации с помощью медиа демонстратор контролирует все аспекты процесса (с. 48).

Коллинз предложил понятие «экран виртуозности» еще до появления новых медиатехнологий. Он ориентировался прежде всего на возможности кино и телевидения. Можно говорить о применимости этого понятия и к современным демонстрациям, когда они передаются по телевидению. Но циркуляция демонстраций во Всемирной паутине, когда они почти моментально загружаются пользователями с веб-сайтов и становятся частями контрдемонстраций, означает совсем иное качество. В этом случае демонстрация полностью выходит из-под контроля первичного демонстратора, и, следовательно, «экран виртуозности» превращается в «экран неустойчивости», а степень неопределенности и скептицизма в отношении изложенных фактов значительно возрастает.

М.Е. Соколова

---

[1] Collins H.M. Public experiments and displays of virtuosity: The core set revisited // Social studies of science. – L., 1988. – Vol. 18, N 4. – P. 725–748.

КНОБЛАУХ Х. ИСПОЛНЕНИЕ ЗНАНИЯ: ПОКАЗ И ЗНАНИЕ В ПРЕЗЕНТАЦИЯХ POWERPOINT.

KNOBLAUCH H. The performance of knowledge: Pointing and knowledge in PowerPoint presentations // Cultural sociology. – L., 2008. – Vol. 2, N 1. – P. 75–97.

Хуберт Кноблаух (Технический университет Берлина, ФРГ) рассматривает в своей статье коммуникативные аспекты PowerPoint. Он отмечает, что, несмотря на широкое распространение этой цифровой технологии, до сих пор наиболее исследованной областью является лишь ее использование в образовании и различных областях публичной жизни.

Известна критика PowerPoint Э. Тафтом, который рассматривает сущность цифровой презентации с точки зрения ее роли в улучшении процесса распространения информации. Исследователь приводит такой пример, как катастрофа космического корабля «Шаттл», когда нужная информация не была получена оперативно из-за того, что она содержалась в форме презентации, препятствовавшей прямому доступу к необходимым данным. Тафт относит к негативным последствиям презентации ее влияние на фрагментацию мышления, уменьшение рефлексивного потенциала и информационную перегрузку[1].

При оценке PowerPoint Кноблаух исходит из того, что культура, коммуникация и значение не должны пониматься только как знаки и знаковые системы. Реальность не сводится к знакам. Она создается и наполняется значением в деятельности. Именно действия создают коммуникативное значение.

Опираясь на этот подход, он предлагает рассматривать цифровую презентацию как исполнение (performance), коммуникативное действие, которое выражает совокупность более или менее структурированных габитусных

[1] Tufte E.R. The cognitive style of PowerPoint: Pitching out corrupts within. – Cheshire (CT): Graphics press, 2006.

знаний, не сводя его к коммуникативной рациональности в духе Ю. Хабермаса. Соотнося коммуникативное действие с коммуникативной практикой, Кноблаух предлагает для описания структур, создаваемых в результате таких действий, использовать понятие коммуникативного жанра (genre)[1].

Рассмотрение цифровой презентации в аспекте исполнения дает возможность продемонстрировать, что процесс коммуникации в этом случае осуществляется не только посредством знаков (как считают структуралисты), но включает также и совокупность телесно-темпоральных реакций, проявляющихся в конкретных социальных ситуациях. Таким образом, презентация как коммуникативная деятельность ситуационна и протекает в социально опосредованном времени и пространстве.

Основываясь на этом подходе, Кноблаух анализирует указывающие жесты и движения (pointing), которые в определенной последовательности выполняют авторы во время презентации, следуя культурно запрограммированным паттернам. Анализ данных осуществлялся с помощью разработанной автором методики «жанрового анализа», который включает этнографический подход, видеографические методы, секвентный анализ, анализ речевого взаимодействия (с. 77).

В статье использовались данные начатого в 2005 г. в Германии исследовательского проекта по изучению PowerPoint и других форм аудиовизуально поддерживаемых презентаций. Целью этого проекта было изучение влияния презентаций на трансформацию речи. Исследователи не ограничивались только сбором данных и анализом слайдов. Много внимания в рамках проекта было уделено исполнению, взаимодействию оратора и аудитории.

---

[1] Knoblauch H., Günthner S. Culturally patterned speaking practices: The analysis of communicative genres // Pragmatics. – Antwerp, 1995. – Vol. 5, N 1. – P. 1–32.

Данные проекта состоят из записанных файлов, интервью, видеозаписей презентаций и т.д. Наблюдения и записи происходили в «естественных ситуациях» как часть обычной повседневной жизни организаций, среди которых были как университеты и исследовательские центры в области общественных и естественных наук, так и организации, принадлежащие к сферам управления и частного бизнеса, церковной жизни и индустрии развлечений. Изучались презентации с использованием различных технических средств, которые проводились на конференциях, семинарах, деловых встречах на национальном и международном уровнях. Всего было изучено около 200 презентаций длительностью от 2 минут до 2 часов.

Кноблаух приходит к выводу, что PowerPoint представляет собой «гибридную» форму коммуникации, которая состоит из технологических (ноутбук, проектор, лазерная указка и программное обеспечение) и технологически опосредуемых (тексты и визуальные образы) компонентов, а также форм и условий «живого исполнения» – непосредственного взаимодействия между презентатором и аудиторией (речь, движения тела, аудитория и т.д.). Все эти стороны интегрированы в единое целое до такой степени, что образуют особый жанр «презентации». Таким образом, при рассмотрении этого коммуникативного жанра не должны игнорироваться ни роль человеческого тела в речевом процессе, ни технологическая сторона самого процесса.

По мнению Кноблауха, основным опорным элементом презентации, который связывает презентатора, слушателей и текст, визуализированный с помощью технологических средств, являются указывающие движения презентатора. К этой деятельности относятся жесты (движения кисти, указательного пальца, предплечья) и повороты тела оратора по отношению к презентационному экрану, сопровождающие его поясняющую речь в процессе

взаимодействием с аудиторией. В процессе указывания могут использоваться технические инструменты и предметы, такие как ручка, карандаш, указка, компьютерная мышь и лазерная указка.

В исследовании изучались иконографический и миметический типы жестов. Отдельно Кноблаух выделяет положение тела или лица демонстратора – его перемещение из фронтальной в боковую позицию в момент непосредственного диалога с аудиторией («face formation») (с. 83). Именно тело является наиболее подвижным элементом в привлечении и структурировании внимания аудитории, поскольку речь и слайды хотя и могут изменяться, но само их положение в пространстве не изменяется.

Указывающие действия автора презентации представляют собой «живую» непосредственно-коммуникативную сторону исполнения. Таким образом, возникающее в процессе указывания значение определяется не только самим знаком, но зависит и от других аспектов коммуникации.

Кноблаух в своей статье еще раз подчеркивает, что текст на слайдах как объект анализа (позиция Тафта) не обладает решающим значением для понимания и оценки презентации. Тафт сводит исполнение к технически-визуальной составляющей, искусственно конструируя «информацию» как тип фрагментированного знания, передаваемый PowerPoint, между тем как надо еще учитывать и его «живую сторону», взаимодействие речи и визуальной составляющей (слайдов, экрана), опосредуемое указывающими жестами и телодвижениями презентатора и происходящее в определенном контексте (аудитории и т.д.). Именно в такой комбинации элементов и создаются новые значения. Кноблаух, таким образом, является сторонником внесения корректив в концептуальный аппарат теорий «общества знания», отождествляющих знание с информацией, а коммуникацию как форму передачи знаний – только с научной коммуникацией.

Определяя специфику PowerPoint как формы презентации, Кноблаух отмечает, что по сравнению с другими медиа, распространенными и в бизнес-коммуникации, и в образовании, отличительной чертой PowerPoint является интеграция визуальных медиа в единую речевую структуру. Он также признает, что хотя сейчас этот медиажанр и используется в самых разных сферах (например, PowerPoint караоке), Тафт все-таки прав в том отношении, что его основное назначение состоит в передаче информации или, если постараться избежать редукционистского оттенка этого термина, знания. Именно поэтому в некоторых аспектах исполнение в PowerPoint несет на себе явные следы особенностей научной практики визуальной презентации.

Хотя многие варианты использования PowerPoint в научно-образовательной деятельности сохраняют сходство с доцифровыми технологиями визуальной поддержки научных лекций, большинство презентаций в других областях (хотя и в науке тоже) все-таки приобретают черты, свойственные именно PowerPoint. Дело в том, что в науке использование визуальных средств применяется для репрезентации эмпирической реальности, например лабораторной. Однако PowerPoint как слайдовая программа не претендует на то, чтобы что-либо репрезентировать. Ее целью скорее является иллюстрация того, что говорится в процессе презентирования. Определяющую роль в этом играет набор дизайнерских графических средств, предлагаемый ее программным обеспечением. Графическое технологическое обеспечение (буллеты, образцы диаграмм и т.д.) приводит к стандартизации презентационных визуальных форм. Этот недостаток обычно компенсируется непосредственностью речи и взаимодействием автора с аудиторией, телесной стороной коммуникации. Таким образом, значение PowerPoint выявляется в соответствующей ситуации во время исполнения, которое не сводится к

речевым актам, а включает жесты указывания и телодвижения, связывающие речь и визуальные образы, в результате чего и создается смысл.

В заключение Кноблаух дает анализ социально-культурных и институциональных аспектов повсеместного использования PowerPoint как одной из самых распространенных технологий передачи знания. По сравнению с тем временем, когда передача знания ограничивалась научными и образовательными институтами, распространенность этой технологии коммуникации в современном бизнесе, сфере управления и военном деле демонстрирует растущую важность передачи знания и его существенной трансформации в современном обществе.

В то время как визуальная поддержка речи с помощью различных технических средств (проекторы, флип-чарты) всегда была распространена в науке и образовании, техническая поддержка визуализированной презентации с помощью слайдового «софта» обязана своим возникновением бизнес-коммуникации и менеджменту. Развитие менеджмента в науке привело к переносу бизнес-форм PowerPoint в эту сферу. После того как она сформировалась и распространилась в экономических институтах, PowerPoint мигрировала в науку, образование и администрацию. Таким образом, вопреки парадигме «общества знания» (или информационного общества), предполагающей, что этот тип общества характеризуется распространением научного знания в другие институциональные сферы, экономические корни PowerPoint свидетельствуют об обратном влиянии характерных для бизнеса форм коммуникации на научное знание.

Напрашивается вывод о том, что знание, передающееся посредством PowerPoint, является экономическим в силу некоторых своих особенностей. А это служит одним подтверждений правомерности культурной критики капиталистической деструкции знания.

В конечном итоге, считает автор, можно говорить о влиянии PowerPoint на современные процессы деспециализации и стирания социальных и институционально-дисциплинарных границ знания, поскольку тот факт, что одна и та же форма коммуникации может быть использована в разнообразных институциональных окружениях, говорит о возрастающей унификации знания, передаваемого в этих формах. Таким образом, появляются новые проблемы, связанные с намечающейся тенденцией реконтекстуализации знания. Рассмотрение PowerPoint как одной из характерных технологий так называемого «общества знания» дает ключ к социальному пониманию процессов, идущих в сфере знания. Само знание посредством этой цифровой технологии определяется уже не столько императивом «репрезентации» реальности, сколько циркуляцией речи и указывающих жестов, становясь скорее презентированным, чем репрезентированным знанием.

М.Е. Соколова

V. ЭКОСОЦИОЛОГИЯ

Статьи

О.Н. Яницкий

ЭКОСОЦИОЛОГИЯ: К СРАВНИТЕЛЬНОМУ АНАЛИЗУ РАЗВИТИЯ ДИСЦИПЛИНЫ В ЕВРОПЕ И США В XX ВЕКЕ

1. Первый обмен идеями и концепциями

В российском социокультурном пространстве экологический дискурс возникает в 60-е годы XIX века, примерно в то же время, когда появляются на русском языке работы О. Конта, Г. Спенсера и К. Маркса. В 1866 г. на русский язык была переведена работа американского ученого Дж. Марша, который писал, что «человек – сила разрушающая, растения и даже дикие животные – силы восстанавливающие»[1]. Несколько позже В.С. Соловьев во время большого голода в России 1892 года напишет: «Естественные производительные силы почвы не безразличны – народ рано или поздно съедает землю, если не перейдет от первобытного хищнического хозяйства к искусственному, или рациональному… [Эта] уже наступившая беда не есть частное и случайное явление, а роковое следствие общего (обнимающего, по крайней мере, большую половину России) стихийного процесса… Медленно накоплявшиеся изменения климата и почвы, заметные и прежде отдельным более внимательным наблюдателям, достигли в настоящее время результата такой величины, которая… переступает, так сказать, порог общественного сознания»[2]. Показательно, что Соловьев опирался на работы российских естествоиспытателей – А.С. Ермолова и В.В. Докучаева.

---

[1] Марш Дж. Человек и природа: О влиянии человека на изменение физико-географических условий природы. – СПб.: Тип. Полякова, 1866. – С. 60–61.
[2] Соловьев В.С. Враг с Востока // Соловьев В.С. Соч.: В 2-х т. – М.: Правда, 1989. – Т. 2. – С. 433–438.

Центральная идея начала XX века – создание эталонов нетронутой природы (заповедание) в научных и эстетических целях. Носители идеи, «сайентисты» (экологисты), – представители естественнонаучной и гуманитарной интеллигенции[1]. Сильно влияние европейских ученых (Г. Конвентц, П. Саразин). Вторая ведущая идея: сохранение российского культурно-исторического ландшафта, носителями которой являются основатели краеведческого движения – Н.П. Анциферов, Д.И. Шаховской, С.Ф. Ольденбург[2].

В Англии, Германии и Франции первичный ландшафт был освоен гораздо раньше, а плотность населения и интенсивность использования земли была гораздо выше. Там, а также в раздробленной на княжества Германии, надо было думать о реструктуризации уже экономически и социально освоенного пространства. Хаос, теснота, отсутствие элементарных условий жизни первичной индустриализации и урбанизации становился общей социальной проблемой. Причем, если в США все время ощущалось давление эмигрантов, то европейские страны, напротив, теряли часть своего населения, особенно в годы Первой мировой войны. Можно сказать, что в этих первоначальных обращениях к экологической проблематике уже намечается перекличка с идеями ограничения произвола частных интересов и обращения к комплексу социально-демократических идей.

---

[1] Анучин Д.Н. Охрана памятников природы. – М.: Кушнерев и К°, 1914; Бородин И.П. Охрана памятников природы. – СПб.: Русское географ. об-во, 1914; Докучаев В.В. Наши степи прежде и теперь. – СПб.: Тип. Евдокимова, 1892.

[2] См., напр.: Анциферов Н.П. Пути изучения города как социального организма: Опыт комплексного подхода. – Л.: Сеятель, 1926; Шаховской Д.И. Письма о братстве // Звенья: Исторический альманах. – М.; СПб: Феникс, 1992. – Вып. 2. – С. 174–318.

2. Идея города-сада и природных заповедников

На рубеже XIX–XX вв. эти идеи были особенно сильны в Англии и России. В конце XIX в. Англия под давлением внутриполитической ситуации и общественного мнения все же была вынуждена озаботиться качеством среды обитания в своей урбанизированной метрополии. Россия, переживавшая на рубеже веков период бурного индустриального роста, развития рабочего движения и общего общественного брожения, также была озабочена состоянием своих фабричных городов и поселков и качеством окружающей среды. Несмотря на пророчества «заката европейской цивилизации», декаданс в литературе и искусстве, западноевропейская и русская общественная мысль искали выхода из сложившейся ситуации. В России было еще одно обстоятельство, четко обозначенное В.И. Вернадским. «[Р]усские ученые совершили свою научную работу вопреки государственной организации, при отсутствии элементарных условий общественной безопасности»[1]. И, в конечном счете, победили.

В эти годы параллельно родились две социально-экологические концепции: города-сады и (природные) заповедники. В 1898 г. английский экономист и либерал Э. Говард выдвинул концепцию «города-сада», которая в течение последующих 15 лет широко распространилась по Европе и вызвала множество попыток ее практической реализации, в том числе и в России (книга Говарда была переведена на русский в 1902 г.). Говард полагал, что можно улучшить жизнь общества с помощью сконструированной жизненной среды. Эта мысль обладала большой притягательной силой. В действительности имеются не две альтернативы – городская и сельская жизнь, «а есть еще третья,

[1] Вернадский В.И. Публицистические статьи. – М.: Наука, 1995. – С. 189.

в которой все преимущества самой энергичной и активной городской жизни могут отлично сочетаться со всеми красотами и радостями деревни»[1].

Говард не скрывал реформистского характера своей концепции, понимая, что все разговоры о чистом воздухе и радостях сельской жизни есть проект возврата городского пролетария к состоянию мелкого собственника. В центре концепции Говарда речь шла о мастеровом и даже рабочем, но с кругозором и интересами селянина. Прототип очевиден: это уклад добропорядочных английских крестьян-рабочих на заре промышленной революции. Тогда, как писал Ф. Энгельс, рабочие вели «растительное и уютное существование»[2]. «Города-сады» – это определенный этап осмысления западноевропейской культурой перспектив развития производительных сил общества, подводившей к осмыслению противостояния общества и природы. П.Г. Мижуев, просвещенный либерал, очевидец и российский интерпретатор говардовской идеи: «Мы предлагаем вниманию читателей идею «города-сада, то есть именно такого города, который построен в деревне и построен так, чтобы, предоставляя все удобства городской жизни, сохранить в то же время наиболее привлекательные стороны жизни в деревне, в большом саду»[3]. Очевидно, что уклад жизни в этих поселениях, как и в многочисленных утопиях прошлого, даруется «сверху». Поэтому о садах в этих двух книгах говорится гораздо больше, чем о людях. И это понятно. Мижуев, как и Говард, ни минуты не сомневался в том, что каков «сад», таков и человек – ведь сад-то дарован ему просвещенной элитой. Показательно, что о действительной деревне, в тело которой должен быть встроен «город-сад», речи нет. Деревня представлена

---

[1] Howard E. To-morrow: A peaceful path to real reform. – L.: Sonnenschein, 1898. – P. 8.
[2] Маркс К., Энгельс Ф. Соч.: В 50 т. – 2-е изд. – М.: Изд-во полит. лит-ры, 1955. – Т. 2. – С. 244.
[3] Мижуев П.Г. Сады-города и жилищный вопрос в Англии. – Спб.: Т-во Суворина, 1916. – С. iii.

лишь свободной территорией и «приятным» пейзажем. «Прямое» соединение человека с природой здесь достигалось ценой отказа от городской культуры. Отсюда вытекал парцеллированный взгляд на общество: каждому дому – сад, все сады вместе взятые – город-сад; много городов-садов – процветающее общество.

Другим результатом стремительного расширения урбан-индустриальной среды было растущее беспокойство ученых по поводу вытеснения естественной природы, сокращения ее разнообразия. Концептуальная история заповедников и развития заповедного дела подробно описана Д. Вайнером[1]. Нас здесь заповедники будут интересовать как социокультурные модели отношений человека и природы. Таких основных моделей было три: утилитарный, научный и этико-эстетический.

Научный подход исходил из мысли, что нетронутые природные сообщества являются эталоном для моделей развития человеком культуры вообще и лесоустройства и земледелия, в частности. Как отмечал Д. Вайнер, «к началу 1890-х гг. … пионеры фитосоциологии видели в разнообразной девственной природе образец гармонии, целесообразности и продуктивности, которому должен стараться следовать земледелец»[2]. Для этого необходимо изучать нетронутые природные сообщества. Эту максиму «следуй природе» интересно сравнить с выдвинутой в 1980-х гг. максимой социологии социального знания «следуй за актором».

На рубеже веков в России сильно было также этико-эстетическое направление (которое можно назвать пасторализмом), которое было более всего

---

[1] Вайнер Д. Экология в Советской России: Архипелаг свободы: Заповедники и охрана природы. – М.: Прогресс, 1991; Weiner D.R. A little corner of freedom: Russian nature protection from Stalin to Gorbachev. – Berkeley: Univ. of California press, 1999; Weiner D.R. Models of nature: Ecology, conservation, and cultural revolution in Soviet Russia. – Bloomington: Indiana univ. press, 1988.

[2] Вайнер Д. Экология в Советской России. – Указ. соч. – С. 27.

развито в Германии и Швейцарии. Как писал Д. Вайнер, «германский консервационизм обогатил молодое русское природоохранное движение не только идейно – прежде всего проповедью необходимости охраны ландшафтов»[1]. В сущности это была антимодернистская концепция, существовавшая в радикальном («мир без цивилизации») и более умеренном («природа самоценна независимо от потребностей человека») вариантах.

Конечно, в России не надо было отыскивать и защищать участки земли для создания «памятников природы». Скорее можно было создавать национальные парки по американскому образцу. Но культурная общность с Европой пересилила территориальный фактор. Выдающиеся русские естествоиспытатели И. Бородин, Г.А. Кожевников, позже братья А.П. и В.П. Семеновы-Тян-Шанские, интересовались более уникальными природными объектами. Человек века современной техники, писал выдающийся русский биолог и философ А.П. Семенов-Тян-Шанский, это геологический парвеню, «разрушающий теперь всю гармонию жизни в свободной природе… кем, как не ею, обучены мы и музыке, и живописи, и ваянию, и зодчеству»[2].

Итак, оппозиция «город–природа», точнее «индустриальная цивилизация – дикая природа», была тогда в науке еще очень сильна. Чем меньше в Европе оставалось участков дикой природы, тем активнее были усилия ученых сохранить их в первозданном виде. Но и в США, в работах американского историка и социолога Л. Мэмфорда мы видим ту же оппозицию и тот же негативизм по отношению к наступающей урбан-индустриальной цивилизации.

Экологическая концепция, сторонниками которой были российские натуралисты Г.А. Кожевников и В.В. Станчинский, была материалистической. Она развивалась в первую очередь натуралистами, в особенности

---

[1] Там же. – С. 25–26.

[2] Семенов-Тян-Шанский А.П. Свободная природа, как великий живой музей, требует неотложных мер ограждения // Природа. – М., 1919. – № 4–6. – С. 201.

занимавшимися такой новой наукой, как экология, но пользовались также поддержкой наиболее образованных большевиков, например, Луначарского, и интеллигентов-гуманитариев. Природа представлялась как некая четкая структура, характеризующаяся взаимозависимостью между составляющими ее биологическими компонентами и их относительной равновесностью. Видимо они испытали влияние Э. Геккеля, который и ввел в научный оборот понятие экологии. Вообще, рубеж XIX и XX веков в России был отмечен сильнейшим влиянием сциентизма в объяснении природных, социальных и психологических феноменов. Собственно говоря, и В.И. Вернадский был сциентистом.

Проектирование новых отношений между обществом и природой получило новый толчок в послереволюционный период. Казалось, что теперь можно осуществить самые несбыточные мечты: «Мы рождены, чтоб сказку сделать былью, преодолеть пространство и простор…». Некоторые из этих мечтаний, точнее социально-конструктивистских утопий, становились предметом идеологических и научно-практических дискуссий. Рассмотрим одну из них.

3. Дискуссия о социалистическом городе

Организованная существовавшей тогда Коммунистической Академией в 1929 г., эта дискуссия интересна тем, что она была единственной публичной дискуссией о путях развития страны за всю советскую историю; была международной: в ней приняли участие советские, французские и немецкие социологи и урбанисты (Ле Корбюзье, Э. Май); явившись, по сути, продолжением обсуждения концепции города-сада, она имела огромный резонанс в истории европейского урбанизма и экологического планирования; была междисциплинарной и межсекторальной: в ней приняли участие не только ученые, общественники и естественники, но и гигиенисты, инженеры, а главное – государственные деятели (А. Луначарский, М. Кольцов, Г. Кржижановский,

Н. Крупская, Н. Милютин, Д. Рязанов, Н. Семашко и многие другие). На разных этапах дискуссии в ней принимали участие и студенты вузов. Ни одна дискуссия ни раньше, ни позже не освещалась столь широко в прессе и на радио.

Новый социалистический город должен был стать мотором социалистической индустриализации и одновременно воплощением идей «победившего социализма», его «наступления по всему фронту». По сути, речь шла о новом образце, эталоне организации социалистического труда и быта. Именно поэтому дискуссия возникла в 1929–30 гг. когда стало ясно, что городская инфраструктура страны не отвечает амбициозным задачам строительства социализма. К тому же новый город мог быть создан в поставленные партией сроки только индустриальным методом – отсюда крайний конструктивизм мышления большинства его участников. Фактически город мыслился как продолжение «большой машины» индустриального производства, как единый механизм с общими правилами и законами. Как говорил Ле Корбюзье, дом – это машина для жилья. Термин «поточное расселение» был характерен для дискуссии. Проглядывали и глобалистические сюжеты. Так советский лидер антиурбанизма М. Охитович изобрел специальный термин «дестационаризация», утверждая, что в недалеком будущем рабочий порвет связи с жильем, с привычным миром вещей, со всяким определенным местом[1]. Многие участники дискуссии мыслили так: темпы развития будут настолько высокими, что через 10–15 лет все равно надо будет все перестраивать.

Практически все выступления отличались крайним максимализмом: каждый призывал «максимально» укрупнить (разукрупнить), «максимально»

---

[1] Охитович М.А. Заметки по теории расселения // Современная архитектура. – М., 1930. – № 1–2. – С. 15.

приблизить (удалить), «максимально охватить», весь бытовой процесс «расчленить», «раз и навсегда установить» и т.п. Отклонения, полутона, диалектические взаимопереходы исключались. Это был гимн Управлению и Организации быта, отлаженным как конвейер, безо всякого намека на самоуправление и самоорганизацию[1]. В этом радикализме была логика, потому что в централизованном обществе городское (региональное) планирование есть интегрирующий процесс, который должен свести воедино огромное количество разнородных научных, экономических, ресурсных, социальных и политических предпосылок. Следовательно, требовалась унификация.

Форсированная индустриализация и коллективизация вели к отрыву людей от насиженных мест, от пригнанных друг к другу трудом многих поколений привычных условий существования, иными словами, к утрате культурных корней. Интенсивно пропагандировалась и организационно закреплялась культура вневременного казарменного уклада жизни. Крестьянская культура окончательно теряла свои корни, свои устои. В этих условиях сформировалась и господствовала культура кочевого образа жизни, где, среда, природная или городская, «для мобилизованной и призванной» человеческой единицы была лишь временным пристанищем, станцией пересадки, пунктом сбора, лагерем, бивуаком. В.И. Вернадский писал: «В такие эпохи истребления, разрушения было складывавшегося заботливого ведения хозяйства … и это отражается на столь же быстром и разрушительном изменении природы, как разрушается и меняется социальный строй живущего в этой природе социального механизма»[2].

Конструктивизм этот был одновременно антиэкологическим и антикультурным отрицанием ценности сложившейся городской ткани. «Мы

---

[1] Яницкий О.Н. Экология города: Зарубежные междисциплинарные концепции. – М.: Наука, 1984. – С. 29.
[2] Вернадский В.И. Биосфера и ноосфера. – М.: Айрис-пресс, 2002. – С. 82.

оставим и тщательно сохраним, – писали советские урбанисты М. Барщ и М. Гинзбург, – наиболее характерные куски старой Москвы: Кремля, кусочки старой дворянской Москвы с улочками и особняками Арбата и Поварской, кусочки купеческого Зарядья… и пролетарской Красной Пресни. Все остальное мы должны превращать в грандиозный парк…»[1]. Намечаемая реконструкция города именовалась «безболезненным процессом дезинфекции Москвы»[2] в ходе ее превращения в «зеленый город». Предельно радикален был Ле Корбюзье: «Для меня вывод ясен: нет возможности мечтать о сочетании города прошлого с настоящим или будущим… в Москве все нужно переделать, предварительно все разрушив…», и подыскать ей новую земельную площадь[3].

4. Природа как tabula rasa

«Сталинский план преобразования природы», великие стройки коммунизма, освоение целинных и залежных земель, затопление тысяч деревень и малых городов, гибельные мелиорации российских и белорусских болот и связанные с этим перемещения миллионов людей, коренная ломка их жизненного уклада – все это практические реализации коммунистического принципа тотальной реконструкции общества и природы. Большевистский конструктивизм был именно тотален. Эта индустриальная «машина» очень скоро стала работать на самоподдержание. Большой экскаватор мог вырыть большой котлован, из которого была добыта большая руда, чтобы построить еще больший экскаватор и т.д. (А. Платонов). Но это была не только идеология и практика гигантизма. Научный экологический подход (разумное,

---

[1] Барщ М.О., Гинзбург М.Я. Зеленый город: Социалистическая реконструкция Москвы // Современная архитектура. – М., 1930. – № 1–2. – С. 22.
[2] Там же.
[3] Ле Корбюзье. О реконструкции Москвы // Советская архитектура. – М., 1931. – № 4. – С. 30–34.

неистощительное природопользование) был окончательно отброшен на сессии ВАСХНИЛ 1948 г., затем продолжен борьбой против менделизма-морганизма, лозунг «Природа – на службу человеку» был доведен до своего логического конца: от природы хотели только брать. Контакты с западными учеными были прерваны, научная литература оттуда не поступала. В этих условиях обскурантизма и идеологии всеобщей ресурсной мобилизации природа трактовалась, прежде всего, как «территория», некое «пустое пространство», подлежащее освоению и реконструкции, как ресурс наращивания имперской мощи. Эта идеология поддерживалась мощной машиной пропаганды количественного роста: завтра надо было произвести (добыть, собрать, вывезти, сдать на элеватор, на склад) больше, чем сегодня. Говоря философским языком, аналитический подход господствовал на холистическим, расчленение – над синтезом. Это был советский вариант идеологии «здесь и сейчас», причем с явным потребительским обертоном. В результате омертвление ресурсов природы приняло гигантские масштабы – в «отвалы» ушли целые регионы страны.

5. «Человек и биосфера» и другие международные программы

Вторая половина 1970-х гг. была отмечена возвратом к принципам международного сотрудничества, а главное – переводом проблемы взаимоотношений общества и природы в научно-практическую плоскость. Конечно, международным программам ООН по окружающей среде и развитию (ЮНЕП) и ЮНЕСКО «Человек и биосфера» (МАВ) предшествовали ряд международных отраслевых программ типа «Международного геофизического года», а также работы историков, социологов и социальных антропологов, разрабатывавших методы сравнительных межкультурных исследований. Параллельно разрабатывалась Международная программа сохранения природы

и ее ресурсов и Международная программа сохранения исторического и культурного наследия. Но, пожалуй, самым социально важным событием все же была программа ООН по окружающей среде, в которой впервые экономика, экология и политика рассматривались в неразрывной связи.

Этот переход к глобальному и сравнительному анализу был основан на нескольких теоретических и этических предпосылках. Во-первых, связь преобразующей деятельности человека с ее разрушительными последствиями и ответственностью нынешнего поколения за судьбу будущего, за «устойчивое развитие» подчеркивалась в докладе ООН «Наше общее будущее», подготовленном специальной международной комиссией под руководством премьер-министра Норвегии Г.Х. Брунтланд[1]. Тем самым известная мысль В.И. Вернадского о том, что человечество представляет собой «геологическую силу» была доведена до своего логического завершения. Во-вторых, человек, сокращая разнообразие природы, подрывает тем самым основы своего благополучия. В-третьих, была развита идея заповедника: на планете выделялись несколько десятков биосферных заповедников мирового значения, то есть не территорий, а объемных пространств, метаболизм вещества и энергии в которых должны максимально сохраняться в первозданном виде. В-четвертых, не страна, а тип экосистемы (городская, лесная, береговая, морей, озер, пустынь и т.д.) был положен во главу угла социально-экологических исследований и практики охраны природы. Причем, для каждого из 11 типов экосистем предлагался общий методический подход к анализу сопутствующих им социальных и психологических проблем и ситуаций[2]. В-пятых, данная группа международных программ была ориентирована на междисциплинарное

---

[1] Our common future: Report of the World Commission on Environment and Development. – Oxford; N.Y.: Oxford univ. press, 1987.

[2] См.: Whyte A.V.T. Guidelines for field studies in environmental perception. – P.: UNESCO, 1977.

исследование. Хотя у ученых-естественников к социологам было достаточно неприязненное отношение: на них смотрели как на специалистов по социальному обеспечению. Поначалу гуманитарным наукам в ней отводилась странная роль: «дополнить» социальными параметрами «рациональные предписания», то есть уже готовые рекомендации, разработанные естественниками. Позже была развернута целая лестница ступеней сближения естественных и общественных наук: моно-, много-, плюро-, кросс- и, наконец, как высший уровень – междисциплинарность. В-шестых, было признано, что мир разделен на богатый и преуспевающий Север, который эксплуатирует ресурсы бедного и деградирующего Юга.

Отсюда, обязанность международного сообщества состояла в содействии выравниванию этого несправедливого положения. Вот как об этом говорилось в основных положениях Международной комиссии ООН: 1) любое обсуждение проблем народонаселения Земли должно включать анализ экономических и социальных причин бедности; 2) все страны должны создать условия для свободного планирования семьи; 3) доктрина устойчивого развития зиждется на принципе «загрязнитель платит»; 4) принцип свободной торговли должен действовать повсеместно; 5) сокращение долга развивающихся стран также жизненно необходимо; 6) в течение ближайших 10 лет мы должны принять Конвенцию о климате и создать механизмы для ее реализации; 7) соглашение по сохранению биоразнообразия, доступу к генетическим ресурсам и развитие соответствующих технологий имеют критическое значение для выживания человечества; 8) такое же критическое значение имеет соглашение по лесам и обезлесиванию, трансграничному переносу загрязнений и сохранению озонового слоя; 9) финансовая помощь беднейшим странам должна рассматриваться не как «иностранная помощь», но как необходимые вложения в

глобальную экологическую безопасность[1]. Ресурсный и, в частности, энергетический подход был положен в основу социально-экологического анализа и практической политики (то есть именно тот подход, который сегодня является предметом пристального интереса и острых дебатов между (транс)национальными элитами и их лидерами). Наконец, здесь впервые стало очевидным, что не страны, а научные лидеры (коллективы ученых или отдельные исследователи) играют первостепенную роль в разработке концептуального аппарата и методик полевых исследований. Возможно, самым интересным было исследование влияния метаболизма энергии на образ жизни и специфику культуры Гонконга, самого плотно заселенного города на планете, жизнь которого в то время на 96% зависела от импорта нефти. Это исследование было проведено группой молодых австралийских ученых под руководством бывшего ветеринара С. Бойдена[2].

Однако глобальная социальная экология и политика – одна сторона медали. Параллельно развивались изучение одного или нескольких из названных выше типов экосистем в различных странах. О Гонконге мы уже упоминали. В СССР с 1979 г. совместными усилиями биологов, социологов, философов, социальных антропологов и при участии местных активистов разрабатывалась программа «Экополис» применительно к условиям малого города науки (г. Пущино). В Западном Берлине ученые поставили задачу «экологизации» одного района Берлина, искусственно разрезанного знаменитой берлинской стеной. Скоро обе

---

[1] Our common future reconvened: Report of the World Commission on Environment and Development. – Geneva: Center for Our common future, 1992. – P. 9.
[2] The ecology of a city and its people: The case of Hong Kong / Boyden S., Millar S., Newcombe K., O'Neill B. – Canberra: Australian National univ. press, 1981.

исследовательские группы вошли в тесное взаимодействие, которое продолжалось более 20 лет[1].

6. Экологическая парадигматика

На наш взгляд, основа парадигматического подхода в данной области знания была заложена концепцией биосферы Вернадского еще в середине 1920-х гг., затем (без ссылок на нее) развита американскими учеными У. Каттоном и Р. Данлэпом на рубеже 1980-х гг. и позже разрабатывалась российскими учеными применительно к России в середине 1990-х гг.[2]. Как писал Л. Милбрес, парадигма здесь выступает в качестве «доминирующего взгляда на мир», который он определяет как «систему, состоящую из ценностей, метафизических верований, институтов, обычаев и т.д., которые в совокупности представляют собой социальные очки, посредством которых индивиды и группы интерпретируют их социальный мир»[3].

В общем и целом социальная парадигма детерминирует индивидуальные цели и ожидания, обеспечивает определение социальных проблем, создает структуру социальных и иных вознаграждений в отношении различных типов человеческого поведения и создает общую систему норм и запретов, которые делают возможной социальную гармонию в сложных обществах[4]. Социальная

---

[1] Брудный А.А., Кавтарадзе Д.Н. Экополис: Введение и проблемы. – Пущино, 1981. – (Препринт).
[2] Яницкий О.Н. Экологическое движение в России: Критический анализ. – М.: Изд-во Ин-та социологии РАН, 1996.
[3] Milbrath L.W. Environmentalists: Vanguard for a new society. – Albany: State univ. of New York press, 1984. – P. 7.
[4] Pirages D.C., Ehrlich P.R. Ark II: Social response to environmental imperative. – San Francisco: Freeman, 1974; Pirages D.C. A framework for analyzing paradigm maintenance and change: Paper presented at the World congress of International political science association. – Rio de Janeiro: International political science association, 1982.

парадигма содержит жизненно важную информацию, необходимую для воспроизводства культуры. Эта парадигма «доминирует… в том смысле, что разделяется, поддерживается доминирующими группами индустриальных обществ и потому служит легитимации институтов и практик рыночной экономик. <…> Борьба за универсализацию парадигмы есть часть борьбы за власть»[1]. В этом смысле религиозные системы (язычество, христианство, буддизм) правомерно одновременно трактовать как культурные и инвайронментальные парадигмы[2] (см., напр.: White, 1967).

7. Экологическая парадигматика: Сдвиг 1970-80-х гг.

На рубеже 1970–80-х гг. ситуация в социологии стала меняться. Работы в области критической социологии, развитие системных исследований и, в частности, создание Римского клуба, работы по международным программам, и, наконец, эволюция собственно социологической дисциплины – социальной экологии, – все это создало ту «критическую массу» знаний, информации и общественного интереса, которые в совокупности привели к необходимости парадигматического осмысления взаимоотношения человечества и биосферы. Что и было сделано американскими социологами У. Каттоном и Р. Данлэпом.

Таблица 1. Сопоставление Парадигмы человеческой исключительности и Новой экологической парадигмы (НЭП)[3]

---

[1] Cotgrove S. Catastrophe or cornucopia: The environment, politics and the future. – Chichester; N.Y.: Wiley, 1982. – P. 27, 88.
[2] См., напр.: White L., Jr. The historical roots of our ecological crisis // Science. – Wash., 1967. – Vol. 155, N 3767. – P. 1203–1207.
[3] Составлено по: Catton W.R., Dunlap R.E. Environmental sociology: A new paradigm? // American sociologist. – N.Y., 1978. – Vol. 13, N 1. – P. 34.

	Парадигма человеческой исключительности	Новая экологическая парадигма
Допущения относительно природы человеческих существ	Люди наследуют культуру в дополнение к (и в отличие от) их генетической наследственности и поэтому качественно отличны от всех других животных на Земле	Хотя люди обладают исключительными характеристиками (культура, технология и т.д.), они остаются одними из многих живых существ, включенных в глобальную экосистему
Допущения относительно социальной причинности	Социальные и культурные факторы (включая технологию) являются главными детерминантами деятельности людей	Поскольку человеческая деятельность включена в сложные причинно-следственные и обратные связи с природой, она имеет многие непредвиденные последствия
Допущения относительно контекста (среды) человеческой деятельности	Социальная и культурная среды суть определяющий контекст для человеческих дел, в то время как биофизическая среда для них в основном несущественна	Человечество живет в и зависит от определенной биофизической среды, которая налагает серьезные физические и биологические ограничения на человеческую

		деятельность
Допущения относительно ограничений, налагаемых на человеческое общество	Культура кумулятивна: технологический и социальный прогресс могут продолжаться бесконечно, делая все социальные проблемы в конечном счете разрешимыми	Хотя кажется, что изобретательность людей и отсюда их мощь могут расширять пределы несущей способности Земли, экологические законы не могут быть отменены

С моей точки зрения, НЭП – прежде всего социокультурная парадигма, поскольку говорит о равенстве всех живых существ и ограничении их жизнедеятельности биофизической средой, о фундаментально праве на существование всех. Эти постулаты, вольно или невольно, направлены против некоторых канонов христианства, так и против идеологии технократизма, сциентизма и концепции потребительского общества.

Очевидно, что должен существовать какой-то общий принцип, интерпретирующий эти постулаты социологически. То есть нужны методы социокультурной интерпретации экологического знания и экологической информации[1]. Далее. НЭП, хотя и основывается на императиве ограничения, но сформулирована настолько широко, что допускает самые различные способы ее толкования. Например, что же именно следует ограничивать: численность (темпы роста) населения Земли, или же его потребности, то есть фактически пропагандировать культуру «ограниченных (скромных) потребностей»,

[1] Яницкий О.Н. Экологическое движение в России: Критический анализ. – М.: Изд-во Ин-та социологии РАН, 1996; Яницкий О.Н. Россия: Экологический вызов (общественные движения, наука, политика). – Новосибирск: Сибирский хронограф, 2002.

«бережливого отношения к природе»? В обоих случаях возможны совершенно различные интерпретации – от мальтузианской до марксистской. Тот же вопрос возникает по отношению к ограничениям, налагаемым включенностью человечества в глобальную экосистему. Попытка смоделировать эти ограничения – фактически систему прямых и обратных связей – была сделана в концепции «пределов роста» Д. Медоуза и его коллег[1]. Данная концепция обладает тем преимуществом, что рассматривает развитие системы «человечество–биосфера» в ее динамике. Не ограничения, налагаемые одной системой (биофизической) на другую, социальную, а именно их сопряженное развитие.

Заметим, что концепция «пределов роста» имела в последние 25 лет значительно больший научный и культурный резонанс, нежели НЭП. Причин тому несколько. Концепция Медоуза позволяла путем изменения переменных «проигрывать» различные варианты мировой динамики. Далее это возможность ее политической интерпретации. Это также ее изначальная «встроенность» в профессиональный и публичный дискурс о путях и рисках взаимосвязанной динамики стран «золотого миллиарда» и всей социобиотехносферы. В отличие от НЭП, родившейся в рамках только становящейся на ноги инвайронментальной социологии, концепция «пределов роста» формировалась в ходе деятельности Римского клуба – интернационального сообщества ученых, политиков и бизнесменов. Существенно, что с конца 1990-х гг. делались систематические попытки применения концепции «пределов роста» для решения проблем конкретных регионов мира – средиземноморского, балтийского и др. Наконец, концепция «пределов роста» соответствует

[1] Медоуз Д.Х., Медоуз Д.Л., Рандерс Й. За пределами роста. – М.: Прогресс: Пангея, 1994.

общеметодологическому принципу «конца Другого», развиваемому У. Беком, Э. Гидденсом и другими теоретиками рефлексивной модернизации[1].

Что касается НЭП, то она, многократно на протяжении 25 лет обсуждавшаяся в профессиональном сообществе социологов-инвайронменталистов, так и не вышла за его пределы. По сути, ведущие социологи стран «золотого миллиарда», несмотря на различия своих методологий, проигнорировали НЭП, предпочтя чисто прогрессистскую (сциентистскую) парадигму общественного развития: «Большая наука в союзе с Большим бизнесом могут все».

Теперь рассмотрим иной, вполне социологический ракурс проблемы, также оставшейся без внимания авторов НЭП на протяжении прошедших десятилетий. Какие бы принципы или постулаты ими не выдвигались, в обществе должны быть их активные носители, проповедники, промоутеры. Реализация любой социальной парадигмы непосредственно зависит от расстановки общественных сил, их согласия или конфликта, от интерпретации двух названных понятий, вытекающих из идеологии и политической позиции этих носителей. В этом аспекте наиболее интересной представляется другая попытка построения Старой доминирующей (ДСП) и Новой экологической парадигм, сделанная Л. Милбресом в 1984 г.[2]

Отличия ДСП от НЭП заключается в том, что она построена на базе сравнительного эмпирического исследования, проведенного в США, Англии и Германии в 1980–82 гг. Далее, теоретические конструкции Милбреса основываются на различении четырех социально-культурных ориентаций в

---

[1] Beck U. Risk society: Toward a new modernity. – L.: SAGE, 1992; Beck U., Giddens A., Lash S. Reflexive modernization: Politics, tradition and aesthetics in the modern social order. – Stanford: Stanford univ. press, 1994.

[2] Milbrath L.W. Environmentalists: Vanguard for a new society. – Albany: State univ. of New York press, 1984.

существовавшем тогда мире, за которыми стоят вполне определенные политические силы, а именно: 1) ориентация на чистую и безопасную среду плюс сопротивление социальным изменениям (сторонники охраны природы); 2) ориентация на материальное богатство плюс сопротивление социальным изменениям; 3) ориентация на материальное богатство и на социальные изменения и 4) ориентация на чистую и безопасную среду и социальные изменения – ее носителей Л. Милбрес называет авангардом нового общества или инвайронментальными реформаторами. Принципиально важно, что носители ДСП и НЭП находятся в фазе политического противостояния, а «между» ними располагается зона симпатизирующих инвайронментальным реформаторам. Эту парадигму можно критиковать по многим основаниям, но она обладает тем неоспоримым преимуществом, что позволяет развивать конкретизирующие ее подходы в разных социокультурных контекстах.

8. Специфика российской парадигмы

На мой взгляд, тоталитарное общество в СССР может быть представлено «Парадигмой системной исключительности», которая содержит следующие императивы:

1) аксиологический императив: эта система – высший тип развития общества, к которому должны стремиться все другие общества;

2) императив тотальной управляемости: данная система способна управлять всем – природой, людьми, развитием культуры. Коммунистическая идеология, военно-промышленный комплекс и силовые структуры трактовались как главные рычаги управления этой системой;

3) императив прогресса: будущее данной системы есть бесконечное прогрессивное развитие. Перманентная мобилизация людских и природных

ресурсов позволяет преодолевать любые ограничения. Природа будет превращена в техносферу и приспособлена к нуждам развития данной системы;

4) императив примата системы над средой: мир есть бесконечный набор ресурсов для достижения целей данной системы и хранилище отходов ее жизнедеятельности. Чем территориально обширней система, тем она сильнее;

5) императив примата идеологии над культурой: человеческая природа должна быть переделана в соответствии с коммунистической идеологией – из культуры прошлого берутся только те элементы, которые служат данной цели – объем «отходов» природного, человеческого и культурного материала значения не имеет;

6) геополитический императив: тоталитарная система окружена враждебным миром. Поэтому наращивание военно-промышленного комплекса и силовых структур были главными инструментами достижения господства над этой враждебной внешней средой[1].

У российской элиты, осуществлявшей реформы 1990-х гг., было два пути: или строить новое общество на базе накопленного научно-технического и интеллектуального капитала, или же делать это на основе ресурсной модели развития. Выбор второго пути был предопределен рядом обстоятельств. Поэтому предлагаемая мною ниже вниманию читателя Парадигма переходного общества является результатом проведенного мною вторичного качественного анализа позиций и представлений, имеющихся в российской обществоведческой литературе последнего десятилетия, в первую очередь материалов ежегодных конференций «Куда идет Россия?» за десятилетие 1993–

[1] См. подр.: Яницкий О.Н. Экологическое движение в России: Критический анализ. – М.: Изд-во Ин-та социологии РАН, 1996; Яницкий О.Н. Россия: Экологический вызов (общественные движения, наука, политика). – Новосибирск: Сибирский хронограф, 2002.

2004 гг., соединенного с результатами собственными полевых исследований и теоретических разработок.

Таблица 3. Основные элементы Парадигмы переходного общества

Допущения относительно	Доминирующий взгляд на мир	Парадигма переходного общества
Природы этого общества	Аксиологический императив: реформы есть благо для общества, способ догнать развитой мир. Главный ориентир – вестернизация	Старая (плановая) система может быть трансформирована в новую (рыночную) посредством политических и экономических рычагов
Причинной обусловленности социальных изменений	Принцип «двойного ключа»: мотором и гарантом реформ является сильное государство и мобилизация человеческого фактора. Трансформационные риски контролируются государством	Основные рычаги реформ – государственная политика, дозируемая децентрализация. Ресурсы реформ: топливно-энергетический комплекс, силовые структуры, управляемая демократия
Ограничений, налагаемых на деятельность	Императив «коридора реформ»: будущее общества –	Ограничения преодолимы путем укрепления государства, привлечения

общества	бесконечный прогресс, временные ограничения связаны с недостатком ресурсов, риски локальны и управляемы	капитала, новых технологий и людских ресурсов (из других стран) и формирования «управляемой демократии»
Контекста (среды) деятельности общества	Принцип асимметричной взаимозависимости: в процессах социальных изменений государство – ведущее, гражданское общество – ведомое начало	Контекст либеральных реформ создается политическими, экономическими и информационными средствами. Социокультурные параметры среды несущественны
Взаимоотношений человека и общества	Императив экономической детерминации: природа «советского человека» может быть переделана в ходе реализации либерального проекта	Под воздействием рыночной среды и информационных технологий культура и поведение человека будут сами изменяться в нужном направлении
Взаимоотношений общества с внешним миром	Геополитический императив: сохранение роли России как глобальной силы, территориальной	Укрепление силового каркаса государства, усиление контроля над трансграничными ресурсно-

	целостности и зон особых интересов любой ценой	энергетическими потоками – основные рычаги геополитики

Итак, это, прежде всего, «ресурсная», истощительная, а не воспроизводственная, накопительная парадигма. Доминирующий взгляд на мир, лежащий в ее основе – это взгляд на природный ландшафт и социально освоенное пространство, которые можно в очередной раз реконструировать. Централизация, вертикаль, а не самоорганизация снизу, монополия, а не разнообразие конкурирующих сил лежат в основе этой парадигмы; гражданское общество трактуется как встроенное в государственную машину. Господствующими являются потребительские ценности, утилитарное отношение к природе и человеку[1]. Прошлые экосистемные структуры (семья, профессиональные группы, территориальные сообщества) имеют ценность только в том случае, если они служат цели реализации «либерального проекта». Снова предполагается, что «экосистема Россия»[2] может быть коренным образом переделана, теперь в соответствии с либеральным проектом. Рассматриваемая парадигма сохранила «прогрессистский» характер предыдущей, хотя амбиции сегодня гораздо скромнее. «Прогрессизм» данной парадигмы состоит также в том, что ключевого для НЭП момента – ограничений, налагаемых на человеческую активность всей средой обитания, в «Парадигме переходного общества» нет. Наконец, данная парадигма имплицитно содержит императив примата рыночной идеологии над культурой. Человеческая природа, сформированная прошлым обществом, должна быть переделана в соответствии

[1] Ильин В.И. Общество потребления: Теоретическая модель и российская реальность // Мир России. – М., 2005. – № 2. – С. 3–39.
[2] Яницкий О.Н. Россия как экосистема // Социологические исследования. – М., 2005. – № 7. – С. 84–93.

с либеральной идеологией – по сути мы снова имеем дело с идеей «создания нового человека». Объем «отходов» человеческого и культурного материала, сохранения этнокультурной идентичности значения не имеет.

9. Социальный активизм: экологические инициативы и движения

Экологические инициативы и движения (далее экодвижения) принято относить, наряду с женским и феминистским и движением за права человека и самоуправления, к «новым социальным движениям». Новым, потому что эти движения носят не классовый, а общечеловеческий характер, потому что их цель – не завоевание власти, а изменения культуры, системы ценностей, безопасность и качество среды обитания, потому что они внутренне связаны с расширением «поля демократии» и основаны на самоорганизации малых групп и местных сообществ и горизонтальных связях и т.д. Социальный активизм – одно из основных моральных, методологических и практических оснований инвайронментальной социологии в США, Западной Европе и России. Достаточно назвать работы А. Турена и Э. Претесея во Франции, ученика и последователя Турена М. Кастельса в США (сегодня – в Испании), Р. Пала в Англии, Д. Рухта в Германии, Н. Нелиссена в Нидерландах и многих других. В Западной Европе экономический подъем продолжался, благосостояние граждан росло, социальное государство везде (за исключением может быть, Англии после прихода М. Тэтчер к власти) укреплялось, новые социальные движения (женское, феминистское, экологическое) расширяли поле человеческих прав и свобод, рядовые граждане проявляли все большую озабоченность в отношении качества среды своего непосредственного обитания. Наступление на континенте короткой «эпохи спокойствия», интерес к положению дел за только что открывшимся «железным занавесом» вызвали у социальных экологов (с обеих сторон) необходимость сопоставления, сравнения экодвижений в разных

странах, выработки способов оценки и даже шкал для сравнения уровней ее организации и демократизации. Тем не менее, я сначала постараюсь выявить их национальную специфику, как она сложилась в 1980–1990-е гг. прошлого века, а потом охарактеризую их общие теоретические основания и круг проблем.

10. Национальная специфика

США – самая богатая и индивидуализированная страна. Большая часть ее населения живет в собственных домах с участком, привыкло уважать законы и местные правила игры и требует, в свою очередь, соблюдения их собственных прав и свобод. Там весьма развито низовое самоуправление. Жизнь, несмотря на высокую территориальную мобильность населения, концентрирована вокруг собственного дома и семьи. Именно в США родилось движение NIMBY («Not in My Back Yard»; дословно: «только не на моем заднем дворе!»), а затем и NIABY («Not in Any Back Yard», то есть «загрязнению – нет где бы то ни было!»). Именно в США существуют самые крупные богатые в мире природоохранные организации (с бюджетом в десятки миллионов долларов, такие как, Sierra Club или Audubon Society), широко пользующихся благотворительной поддержкой многочисленных частных фондов и отдельных граждан. Поэтому в США нет экологического движения как организуемой из некоторого центра систематической деятельности целой иерархии организаций. Соответственно, как правило, не происходит и массовых митингов протеста, шествий и иных массовых уличных акций. Протесты, отстаивание экологических прав граждан перенесены в местные администрации и суды различных инстанций (я не затрагиваю здесь многолетнюю борьбу за

гражданские права, которая носила иной характер)[1]. Однако это не означает, что в США не бывает массовых кампаний протеста. В прагматичной рыночной Америке успех зависит от способности экологических организаций мобилизовать ресурсы (финансовые, материальные, информационные и др.). Поэтому среди социологов-инвайронменталистов США пользуется популярностью теория мобилизации ресурсов[2].

Иная ситуация в тот же период была в Англии. Это была в то время социалистическая (в западном понимании) страна с развитой демократической системой парламентаризма и управления (особенно на городском и местном уровне), страна, в которой жилье, здравоохранение и образование были социально доступными, общество с меньшим социальным неравенством и несравненно более бедная ресурсами (поскольку потеряла недавно все свои колонии), нежели США. Но в то же время это было общество с сильными аристократическими и элитаристскими традициями. Вместе с тем, это был период «заката» лейборизма и наступления тетчеризма на гражданские права и свободы, время процессов денационализации промышленности и резкого сокращения прав и ресурсов городского самоуправления. В такой высокоурбанизированной и чрезвычайно плотно заселенной стране, находившейся к тому же на определенном идеологическом и политическом распутье, потенциал экологического протеста в городах был гораздо более высок. Поэтому группа ведущих молодых английских социологов на рубеже

---

[1] Dunlap R.E., Mertig A.G. 1991. The evolution of the U.S. environmental movement from 1970 to 1990: An overview // Society & natural resources. – Oxford, 1991. – Vol. 4, N 3. – P. 209–218.

[2] Jenkins J.C. Resource mobilization theory and the study of social movements // Annual rev. of sociology. – Palo Alto (CA), 1983. – Vol. 9. – P. 527–553; Social movements in an organizational society: Collected essays / Ed. by M.N. Zald, J.D. McCarthy. – New Brunswick (NJ): Transaction, 1987; Здравомыслова Е.А. Парадигмы западной социологии общественных движений. – СПб.: Наука, 1993.

1970–80-х гг. сконцентрировала свое внимание на социально-экологических процессах города, дав им историко-материалистическую интерпретацию[1], связав вслед за Ф. Энгельсом массовый социально-экологический протест квалифицированных рабочих и среднего класса с ухудшением материального положения и качества жизни в крупнейших городах и районах промышленной Англии. Вместе с тем, эта группа социологов, в которую входили М. Кастельс, а также Ж. Ложкин и Ф. Ламарк (Франция), не скрывала, что их теоретические спекуляции инициированы также событиями 1968 г. во Франции.

Городские социальные движения возникают на «пересечении»: (1) специфического типа структурной комбинации (напряжений), аккумулирующей ряд противоречий и (2) специфического типа организации. «Городское социальное движение возникает тогда, когда имеется соответствие между фундаментальными структурными противоречиями городской системы и наличием организации, возникшей на основе кристаллизации других социальных практик»[2]. Как подытожил К. Пикванс, «хотя организация является локусом наблюдения, теория движения должна фокусироваться на проблемах, ситуациях и «ставках», находящих свое выражение в структурных напряжениях»[3].

Франция, – в лице А. Турена и его школы, – родина и средоточие концепций социального движения, основанных на теории и практике социального активизма. Несомненно, социология социального действия (социальных изменений), в разработке которой принимали участие и другие европейские авторы, была также порождена событиями 1968 г. во Франции.

---

[1] Pickvance C.G. On the study of urban social movements // Urban sociology: Critical essays / Ed. by C.G. Pickvance. – L.: Tavistock, 1976. – P. 198–218; Pahl R. Whose city? And other essays on sociology and planning. – L: Longman, 1970.
[2] Castells M. Theoretical propositions for an experimental study of urban social movements // Urban sociology. – P. 168–171.
[3] Pickvance C.G. On the study of urban social movements. – Op. cit. – P. 199.

Французские социологи утверждали, что новые социальные движения, как правило, имеют антилиберальную направленность и потому внеинституциональны. Они ориентированы на расширение «поля демократии», включая прямое действие. Они преследуют цели повышения качества среды обитания в широком социокультурном смысле. Это движения гражданского общества. Экологическое движение есть сила, способная бросить вызов социальному порядку, породить новое экологическое сознание. Иными словами, оно может служить инструментом его воспроизводства на новых – более экологических – основаниях[1]. Если нестрого суммировать, то парадигма новых движений содержит следующие элементы: коллективные акторы, базовые ценности, структуры социального действия, долгосрочные изменения, проекты социетальных трансформаций[2].

В работах немецких социологов этого периода, работавших над проблемой экологических движений, присутствует не «дух нации» и «не комплекс вины», а именно третий из названных этим автором культурных кодов: роль этих движений в изменении социального порядка в широком, в том числе социокультурном, смысле. Это объясняется, с одной стороны, известными историческими причинами, с другой многолетней проблемой иммиграции. Я рассмотрю основные позиции работ Дитера Рухта, ведущего немецкого социолога в данной сфере. Вот составляющие его подхода: 1) в обществе, достигшем высокого уровня самонаблюдения и саморефлексии, проблемы стратегии и репертуара действий движения приобретают ключевое значение; 2) стратегия движения как сознательное, длительное, планируемое поведение социального актора должна основываться на знании общего экономического,

---

[1] Anti-nuclear protest: The opposition to nuclear energy in France / Touraine A., Hegedus Z., Dubet F., Wieviorka F. – Cambridge: Cambridge univ. press, 1983.
[2] Здравомыслова Е.А. Парадигмы западной социологии общественных движений. – СПб.: Наука, 1993.

социального и политического контекста страны; 3) экологическое движение в Германии скорее властно, нежели идентично ориентировано; 4) стратегия движения зависит от структурных факторов трех уровней: макро-, мезо- и микроуровня; 5) в стратегии и тактике экологического движения 1990-х гг. наблюдается сдвиг от конвенциональных форм социального действия к прямым, включая формы стихийного протеста и акций неповиновения; 6) так как социальная база экологического движения очень разная, в его тактике масса политических и культурных оттенков. В конечном счете, в Западной Германии существовало два его крыла: консервационисты, ориентированные на неполитические и не-конфликтные формы социального действия, и политические экологисты, базирующиеся на местных гражданских инициативах, с более радикальной ориентацией. В последнем случае местный контекст играет детерминирующую роль; 7) Рухт использует понятие «структуры политических возможностей», развитое С. Тарроу[1] для концептуализации «среды социального действия движения», основными компонентами которой являются политические партии и группы интереса, СМИ и публика (общественное мнение)[2]. Наконец, Рухт заключает, что теоретически можно выделить два типа экологического движения. Одно высокоцентрализованное, «иерархичное» с малым числом активистов и огромным числом пассивных участников или поддерживающих (примерное их соотношение 1: 375). Это Гринпис. И другое – децентрализованное, состоящее

[1] Tarrow S. Struggling to reform: Social movements and policy change during cycles of protest. – Ithaca (NY): Cornell univ. press, 1983.
[2] Neidhardt F., Rucht D. The analysis of social movements: The state of the art and some perspectives for further research // Research on social movements: The state of the art in Western Europe and the USA / Ed. by D. Rucht. – Frankfurt a. M.: Campus, 1991. – P. 457.

из сети горизонтально соединенных групп, без формального членства и фиксированного бюджета, как, например, движение «Земля прежде всего!»[1].

В России начала 1990-х гг. ситуация была чрезвычайно сложной и отличной от других названных стран. С одной стороны, гласность и демократизация резко расширили коридор политических и социальных возможностей, создали условия для самоорганизации и самовыражения. Доверие к науке и ученым, к гуманитарной интеллигенции, резко критиковавших экологическую политику государства и участвовавших в массовых акциях протеста, было чрезвычайно высоко. К началу 1990-х гг. в стране уже более 30 лет действовало студенческое природоохранное движение под лозунгом «У природы везде должны быть свои люди!». Здоровая и безопасная среда обитания повсеместно трактовалась как общее благо первостепенной важности. Эмоциональный порыв вполне сочетался с рационально организованным социальным действием. С другой стороны, в Прибалтике, Грузии, республиках Средней Азии, частично на Украине экологические движения, также став первой формой массового социального протеста, стали быстро трансформироваться в национально-освободительные движения. Это был радикализм совершенно другого свойства: сепаратизм.

Очевидно, что именно профессионализм экодвижения, востребованность его организаций и членов в качестве экспертов и консультантов в сочетании с его гибкой «слабой» горизонтальной структурой были важнейшими условиями сохранения его жизнеспособности на протяжении 45 лет. Как и в Германии, российское движение имело два крыла: консервативное (природоохранное) и политическое. Однако второе было скорее прикрытием политических амбиций чиновников, нежели конструктивной оппозицией режиму. В целом в

---

[1] Rucht D. Ecological protest as calculated law-breaking: Greepeace and Earth First! in comparative perspective // Green politics three / Ed. by W. Rudig. – Edinburgh: Edinburgh univ. press, 1995. – P. 79.

соответствии с названными выше критериями российское экологическое движение может быть квалифицировано как новое социальное движение[1].

В этот период страновые штудии быстро вытеснялись международными кросскультурными исследованиями. На рубеже 1980–90-х гг. в Западной Европе и США были опубликованы три коллективные монографии «Международные сравнительные исследования социальных движений: В 2-х т.»[2] и «Передовые рубежи в теории социальных движений»[3], положившие начало периоду сравнительных исследований, направленных на взаимообогащение американской и европейской школ и создание международных исследовательских коллективов и институционализированных сетей взаимодействия (research networks). Интересно, что американцы, осознав ограниченность своего ресурсного подхода, стали искать пути его антропологизации, сделав упор на проблемах конструирования значений, мобилизации сознания, манипуляции символами и коллективных идентичностях. Они, наконец, приняли критику в свой адрес об отсутствии в их теоретических конструкциях таких фундаментальных сил, как идеология, ценности, озабоченность и коллективная идентификация[4].

А что же российские социологи? В 1989 г. по инициативе автора этих строк (совместно с проф. Т. Деелстра из Нидерландов) был организован

---

[1] Яницкий О.Н. Экологическое движение в России: Критический анализ. – М.: Изд-во Ин-та социологии РАН, 1996; Яницкий О.Н. Россия: Экологический вызов (общественные движения, наука, политика). – Новосибирск: Сибирский хронограф, 2002 и др.

[2] From structure to action: Comparing social movement research across cultures / Ed. by B. Klandermans, H. Kriesi, S. Tarrow. – Greenwich (CT): JAI, 1988; Organizing for change: Social movement organizations in Europe and the United States / Ed. by B. Klandermans. – Greenwich (CT): JAI, 1989. – Vol. 2.

[3] Frontiers in social movement theory / Ed. by A.D. Morris, C. McClurg Mueller. – New Haven (CT): Yale univ. press, 1992.

[4] Ibid. – P. 5.

международный исследовательский проект «Города Европы: Участие населения в формировании городской среды». В нем приняли участие ученые и специалисты из 16 европейских стран: Австрии, Бельгии, Болгарии, Великобритании, Венгрии, Дании, Италии, Нидерландов, Норвегии, Польши, Португалии, Финляндии, Чехословакии, Швеции, Югославии и Советского Союза[1].

Участие – не пассивный процесс, это обучение действием (методам прямой и представительной демократии, процедурам принятия решений, новым профессиям, межкультурному общению). Организующей и мобилизующей основой общественного участия является, как правило, социальное движение, которое потом формирует «проект» как микросоциальный институт. Участники данного международного проекта были единодушны в том, что участие местного населения является базовым для успеха социального планирования – от локального до регионального уровня. В результате проекта были предложены шкалы для измерения степени участия[2]. За всем этим был более глубокий – культурный – смысл. Люди, всю жизнь «работавшие, чтобы жить», захотели иметь свою собственную уникальную культурную историю. Более того, как показали мои собственные исследования в СССР конца 1980-х гг., люди, которых все время «учили истории», захотели стать сами активными конструкторами этого процесса, пусть локального и короткого, пусть только в масштабах своего квартала, или даже отдельной семьи.

---

[1] Cities of Europe: The role of citizens in shaping the urban environment / Ed. by T. Deelstra, O. Yanitsky. – Moscow: Mezhdunarodnye otnoshenia, 1991.
[2] Nelissen J.H.M. Household and education projections by means of a microsimulation model // Economic modelling. – Amsterdam, 1991. – Vol. 8, N 4. – P. 480–511.

11. В эпоху глобализации и информационных технологий. Индивидуализация труда

Новую экономику М. Кастельс называет информационной, так как производительность и конкурентоспособность зависят в первую очередь от способности генерировать, обрабатывать и эффективно использовать информацию, основанную на знаниях, и глобальной, т.к. основные экономические процессы организуются в глобальном масштабе непосредственно, либо с использованием разветвленной сети, связывающей экономических агентов»[1].

Эта экономика – новый источник социального неравенства. Хотя диффузия информационных технологий идет очень быстро, все же различное время доступа людей, стран и регионов к ним «является критическим источником неравенства в современном мире», возникает «угроза исключения целых национальных и даже континентальных экономик (например, Африки) из мировой информационной системы, а следовательно и из мировой системы разделения труда»[2]. Растет разрыв между глобальным и локальным. «Люди все чаще организуют свои смыслы не вокруг того, что они делают, но на основе того, кем они являются, или своих представлений о том, кем они являются. Тем временем, с другой стороны, глобальные сети инструментального обмена селективно подключают или отключают индивидов, группы, районы, даже целые страны согласно их значимости для выполнения целей, обрабатываемых в сети, в непрерывном потоке стратегических решений. Отсюда следует фундаментальный раскол между абстрактным, универсальным инструментализмом и исторически укорененными партикуляристскими идентичностями. Наши общества все больше структурируются вокруг

---

[1] Кастельс М. Информационная эпоха: Экономика, общество и культура. – М.: ГУ-ВШЭ, 2000. – С. 81.
[2] Там же. – С. 15.

биполярной оппозиции между Сетью и «Я»… растет социальная фрагментация»[1].

В России, находящейся на предыдущей стадии модернизации, где «сетевые» системы еще недостаточно развиты, власть и рынок действуют в направлении тотальной реструктуризации социально освоенного пространства[2]. Это означает «черный» и «белый» передел этого пространства политико-административными методами в интересах центральной власти и олигархических групп, но противоречащих местным интересам и уничтожающим местную культуру. Передел, оставляющий местные сообщества без ресурсов и привычных кодов социокультурной идентификации.

Нарастает индивидуализация труда в трудовом процессе, что совсем не является синонимом «персонализации» жизни, развития уникальной личности или ее освобождения от власти обстоятельств. Напротив, индивидуальное существование становится все более зависимым от сил, находящихся вне его контроля. З. Бауман подчеркивает феномен принуждения к индивидуализации. «Все мы являемся сегодня индивидами не в силу выбора, но по необходимости. Мы являемся индивидами de jure, независимо от того, являемся ли мы ими de facto»[3].

Новые базовые институты общества – транснациональный капитал и его рынок, система образования, социальная политика – есть те агенты и социальные среды, которые находятся вне контроля отдельных индивидов. Эти институты, как говорит У. Бек, «штампуют биографию индивида»[4]. Более того,

---

[1] Там же. – С. 27.
[2] Яницкий О.Н. Россия: Экологический вызов (общественные движения, наука, политика). – Новосибирск: Сибирский хронограф, 2002; Яницкий О.Н. «Поток» и «место»: К проблеме локального социально-экологического знания // Неприкосновенный запас. – М., 2006. – № 2. – С. 30–44.
[3] Bauman Z. Society under siege. – Oxford: Wiley-Blackwell, 2002. – P. 69.
[4] Beck U. Risk society: Toward a new modernity. – L.: SAGE. 1992. – P. 88.

индивидов понуждают стать ячейками воспроизводства своей собственной социальности, то есть «бесконечно выбирать» в условиях, когда выбор уже сделан за тебя. «Предписанные биографии» трансформируются в «рефлективные биографии, которые зависят от самого актора»[1]. Таким образом «биография приобретает характер рефлективного проекта»[2].

Таким образом, под индивидуализацией понимается принудительное принятие императивных требований «внешнего». Этот феномен я интерпретирую как институциональное формирование человеческих биографий и жизненных ситуаций, их принудительную стандартизацию[3].

12. Детерриториализация, жизнь в пространстве и во времени

Глобальная коммуникационная система радикально трансформирует пространство и время, эти фундаментальные измерения человеческой жизни. Местности лишаются своей культурно-исторической специфики и ре–интегрируются в функциональные сети «Материальный фундамент новой культуры есть пространство потоков и вневременное время»[4]. Это аннулирование пространства посредством техники ведет не к единообразию, а к резкой поляризации условий жизни человека. Одни могут покинуть «место» в любое время, другие – никогда, при этом беспомощно наблюдая, как «местность – их единственное место жительства – уходит из-под ног»[5].

Более того, власть предержащие делают все возможное, чтобы пространство было как можно меньше «читаемым и прозрачным». Потому что,

---

[1] Ibid. – P. 90.
[2] Ibid. – P. 131.
[3] Яницкий О.Н. «Поток» и «место». – М., 2006.
[4] Кастельс М. Информационная эпоха: Экономика, общество и культура. – М.: ГУ-ВШЭ, 2000. – С. 355.
[5] Бауман З. Глобализация: Последствия для человека и общества. – М.: Весь мир, 2004. – С. 32.

«наибольшей властью пользуются те ячейки [общества], что способны оставаться источником неопределенности для остальных ячеек [сети]. Манипуляция неопределенностью – суть главная цель борьбы за власть и влияние внутри любого структурированного целого…»[1]. Бауман замечает, что такая организация пространства соответствует «паноптикону», модели власти, созданной французским социологом М. Фуко, модели, весьма напоминающей тюрьму. Общий знаменатель всех этих выводов: отказ от истории, от роли культуры прошлого в формировании среды настоящего.

13. Реальность виртуальных сообществ и сетевая культура

Сегодня мультимедиа охватывают в своей сфере большинство видов культурного выражения (практик). Приходит конец различиям между визуальными и печатными средствами медиа, общедоступной и высокой культурой, развлечениями и информацией, образованием и пропагандой. «Все проявления культуры, от худших до лучших, от самых элитных до самых популярных, соединяются в этой цифровой вселенной, которая связывает в гигантском историческом супертексте прошлые, настоящие и будущие проявления коммуникативной мысли. Делая это, они строят новую символическую среду. Они делают виртуальность нашей реальностью…»[2].

Базовый элемент информационной глобальной экономики не есть субъект (индивидуальный или коллективный), это – всемирная информационная паутина. … Это – «действительно культура, но культура эфемерного, культура каждого стратегического решения, то есть скорее лоскутное одеяло, сшитое из опыта и интересов, чем хартия прав и обязанностей». Эта многоликая виртуальная культура есть «действенная сила, поскольку дает информацию для

---

[1] Там же. – С. 53.
[2] Кастельс М. Информационная эпоха. – Указ. соч. – С. 352.

властных экономических решений в каждый момент жизни сети и осуществляет их. Но живет она не долго, она поступает в компьютерную память как сырой материал, состоящий их успехов и неудач прошлого. Сетевое предприятие учится жить в этой виртуальной культуре. Любая попытка кристаллизации позиций в сети, как культурного кода в конкретном времени и пространстве, приговаривает сеть к устареванию, поскольку она становится слишком жесткой для изменчивой геометрии, которую требует информационализм. Таким образом это “культура созидательного разрушения”, ускоренная до скорости оптических электронных цепей, через которые проходят ее сигналы»[1].

14. Возрождение интереса к микро(эко)социологии

Новизна вопроса заключается в том, при каких условиях и в каком виде локальные социальные сообщества могут быть сохранены, могут продолжать функционировать в условиях глобализации. Два фактора сыграли особую роль в возрождении этого интереса.

Первый – это «возврат» к основополагающим принципам демократии, понимаемой, прежде всего, как самоорганизация жизни и самоуправление, включая владение или распоряжение местными ресурсами, осуществляемые местными жителями совместно и непосредственно. Следуя фундаментальному принципу «сильной демократии» Б. Барбера[2], американские исследователи полагают, что рядовые жители не только могут, но и должны выступать в роли «гражданских экспертов». Соответственно, говорит американский социолог Ф. Фишер, роль ученого-эксперта должна быть переосмыслена как деятельность

[1] Кастельс М. Информационная эпоха. – Указ. соч. – С. 98.
[2] Barber B.R. Strong democracy: Participatory politics for a new age. – Berkeley: Univ. of California press, 1984.

«специализированного гражданина», жителя-специалиста[1]. По мнению Фишера, гражданское участие имеет тройной политический смысл. Оно придает смысл практике демократического процесса, обеспечивает его легитимность и может принимать форму соучаствующего научного исследования (participatory research)[2].

Второй фактор – это изменение «парадигмы» взаимоотношений между наукой и практикой, наукой и политикой. Это вопросы доверия к науке, роли эпистемных, то есть политически влиятельных научных сообществ в формулировании политической повестки, воздействия научного знания на образ мыслей и поведение рядовых граждан. Возникло два новых понятия: общественно-научные исследования и дискуссионный политический анализ[3].

В связи с этим политологи уже давно предлагают различать «прикладные (политические) исследования», которые производятся учеными и экспертами, и «обычные знания», то есть несистематизированную информацию, поступающую от некомпетентных акторов. К тому же мотивация и политическая аргументация этих «некомпетентных» акторов изучена гораздо менее, чем таковая у политиков, говорят американские социологи. Оказалось также необходимым отказаться от противопоставления общества и природы: есть социализированная природа и «биологизированное» общество, что и послужило новым стимулом к дальнейшему развитию комплекса инвайронментальных наук.

В России рыночная экономика все более приобретает ресурсный характер, академическая наука находится в коме, вертикаль власти усиливается, демократические институты слабеют и сворачиваются. Поэтому усилия

---

[1] Fisher F. Citizens, experts, and the environment: The politics of local knowledge. – Durham: Duke univ. press, 2000. – P. 243.
[2] Ibid. – P. 244.
[3] Ibid. – P. 245.

социологов и экологов направлены на создание минимально необходимых условий для сохранения локальных экосистем и культур. Отсюда и гораздо большее, чем на Западе, значение общественных экологических и иных организаций и вообще – ячеек и сетей гражданского общества, защищающих базовые интересы и права местных сообществ.

Для обозначения взаимного интереса и взаимной поддержки ученых-общественников и местных активистов и политизации научной деятельности на местном уровне мною были предложены понятия адвокативной науки и ученого-адвоката[1]. Основные функции ученых-адвокатов: просветительская деятельность; изучение местного общественного мнения; поисковая деятельность, направленная на выявление потенциальных носителей локального знания; обучающая деятельность, имеющая своей целью структурирование мышления местных жителей в ключе обучающего знания-действия; коммуникативная деятельность, то есть формирование площадки для диалога между сторонами, вовлеченными в экологический конфликт; интерпретативная деятельность, то есть обучение переводу экологического знания на язык местных проблем, и «обратно», то есть на язык политики; мотивирующее воздействие: активисты стараются показать местному населению потенциал самодеятельности в существующем коридоре их экономических и социальных возможностей; психотерапевтическая деятельность, способствующая преодолению страха перед ответственностью за собственные инициативы в сфере охраны природы. Это также адвокативная деятельность в чистом виде, когда активисты экологических общественных организаций выступают ходатаями по поводу экологических проблем (угроз, рисков) местного населения. Наконец, это мобилизационная деятельность, то есть

[1] Яницкий О. Н. Диалог науки и общества // Общественные науки и современность. – М., 2004. – № 6. – С. 86–96.

непосредственное вовлечение этого населения в различные формы про-экологической деятельности[1].

Итак, глобализация не означает абсолютного доминирования потока над «местом». Императивам высоколобой монодисциплинарной науки, экспертных оценок политически ангажированных ученых и закрытых корпоративных решений экоактивисты и независимые гражданские эксперты противопоставляют свое видение экологических проблем «снизу», синкретичное знание о месте, интегрирующее нужды человеческих сообществ и локальных / региональных экосистем[2]. Реальное социально-экологическое знание производится как в нисходящих, так и в «восходящих потоках» (познание в процессе ответа на давление «сверху», поэтому постоянно возникает проблема соотнесения научной и культурной рациональности)[3]. Следовательно, экосоциолог должен быть гуманистически ориентированным исследователем.

Постепенно вертикальная парадигма исследования «наука–практике» вытесняется парадигмой «партнерского» анализа, когда ригоризм строгой научной аналитики сверху соединяется с локальным восприятием–знанием–действием снизу. Все чаще исследовательский процесс движется по схеме: «включенное наблюдение – соучаствующее исследование – отстраненная

---

[1] Участие: Социальная экология регионов России: Альманах / Под ред. И.А. Халий. – М.: Изд-во Ин-та социологии РАН, 2004. – Вып. 13; Карпов А. Административные общественные слушания // Бюллетень ИСАР. – М., 2006. – С. 7–13; Яницкий О.Н. «Поток» и «место»: К проблеме локального социально-экологического знания // Неприкосновенный запас. – М., 2006. – № 2. – С. 30–44; Misunderstanding science? The public reconstruction of science and technology / Ed. by A. Irwin, B. Wynne. – Cambridge: Cambridge univ. press, 1996; Fisher F. Citizens, experts, and the environment: The politics of local knowledge. – Durham: Duke univ. press, 2000. – P. 243.

[2] Misunderstanding science? – Cambridge, 1996.

[3] Fisher F. Citizens, experts, and the environment. – Durham, 2000.

рефлексия», а совокупное производство социально-экологического знания все более становится социально-политической практикой, нежели изготовлением «научных фактов». Или, говоря словами немецкого социолога У. Бека, неполитической политикой.

15. Специфика России сегодня

Из 17 млн. кв. км территории РФ только 7 млн. кв. км пригодны для нормальной жизни. И она сокращается вследствие упадка и деградации прошлых мест обитания в результате распада советской индустриальной структуры и ее сердцевины – ВПК. Так что, с социально-экологической точки зрения, Россия – это система слабо связанных между собой мест обитания. Как я показал еще в 1982 г. и как позже подтвердила международная практика градостроительства, повторно освоить деградировавшие территории, достичь хотя бы их первоначального качества чрезвычайно трудно[1]. Напомню в этой связи хотя бы ситуацию в части Германии, бывшей ранее ГДР, или современной Чечне. Позже мною было введено понятие «энергии распада»[2], что также впоследствии подтвердилось не только опытом России, но также Афганистана, Ирака, Югославии, а сегодня и Ливана. Наконец, в экосистеме Россия есть множество «черных дыр», в которых направляемые туда государством ресурсы развития бесследно исчезают.

Современные экосистемы формируются медленно, а деградируют очень быстро. Сегодня «Россия втягивается в качественно новую геополитическую конкуренцию, смысл которой не в расширении территории (это цели столетней

---

[1] Yanitsky O. Towards an eco-city: Problems of integrating knowledge with practice // International social science j. – Oxford, 1982. – Vol. 34, N 3. – P. 469–480.
[2] Яницкий О.Н. Экологическое движение в России: Критический анализ. – М.: Изд-во Ин-та социологии РАН, 1996.

давности), а в улучшении ее качества и эффективности»[1]. Что подтверждают как российские (В. Л. Глазычев), так и американские исследователи[2]. Далее, возникает новый уровень поляризации социально освоенного пространства через изменение взаимоотношений центра и периферии. «Сегодня… Центр производит для окружения нечто гораздо более важное и гораздо менее материальное. Политические решения. Инновации. Социальные технологии управления. Программные продукты. Квалифицированные кадры. Стандарты, в том числе стандарты поведения. Моду. Идеи» Но далее Орешкин фактически опровергает свою мысль, говоря, что «центростремительная система хороша только для отъема ресурсов и концентрации их на небольшом круге задач – будь то война (главным образом), сопутствующий ей атом или космос. С обратной задачей комплексного улучшения территории она справляться не умеет… Субъективные запросы разных территорий, разных групп и личностей быстрее и эффективнее удовлетворяет частная инициатива. И локальные центры самостоятельного развития»[3].

Здесь мы подходим к принципиально важному теоретическому вопросу о соотношении «власть–территория». На мой взгляд, не население и его организации формируют региональные и местные социально-экологические системы, а центральная власть организует и использует их в своих интересах, рассматривая их именно как «территории», которые можно выгодно продать или использовать для сброса отходов, включая «лишних людей». Этот территориально-сырьевой подход есть крайняя форма государственного утилитаризма.

---

[1] Орешкин Д.Б. РФ: Идеология пространства // Новая газета. – М., 2006. – № 62. – Ч. 1. – С. 6.
[2] Кастельс М. Информационная эпоха: Экономика, общество и культура. – М.: ГУ-ВШЭ, 2000.
[3] Орешкин Д.Б. Указ. соч. – С. 7.

Удастся ли при помощи «ресурсного экспорта» достичь экономической мощи и социального благоденствия? Как полагают специалисты, большое население страны – враг номер один «нефтяного господства». Доля добычи этого сырья, приходящаяся на душу населения, – вот индикатор благополучия. «На каждого гражданина в наиболее успешных “петрогосударствах“ ежегодно приходится 50 и более тонн добычи углеводородов, а в “маргинальных“ странах этой же группы – 15–25 тонн. <…> А это означает, что лишь несколько государств со скромными размерами населения реально способны решать социально-экономические задачи национального масштаба исключительно за счет нефтегазового экспорта»[1]. Поскольку в России годовой душевой объем экспорта нефти и газа не превышает 3 тонн нефтяного эквивалента, «вопрос о широкомасштабной модернизации России за счет использования ее энергетического потенциала следует считать по сути закрытым. <…> Это невозможно, и ресурсов для этого недостаточно»[2].

Очевидно, что вся эта «ресурсная экология» имеет сугубо геополитическую подоплеку. Что, естественно, беспокоит страны-потребители российского углеводородного сырья, и прежде всего таких гигантов, как США и Европейский Союз. А это, в свою очередь, означает возрастание глобальной экономической нестабильности и политической конфронтации между поставщиками, потребителями и транзитерами углеводородов[3]. Но «нефтяная эра» может закончиться гораздо раньше не из-за недостатка (конечности) углеводородного сырья, а из-за быстрого развития альтернативных источников энергии, например, из-за быстрого развития производства автомобильных

---

[1] Милов В.С. Может ли Россия стать нефтяным раем? // Pro et contra. – М., 2006. – № 2–3. – С. 9–10.
[2] Там же. – С. 12–13.
[3] Олкотт М. «Дружба народов» в мире энергетики // Pro et contra. – М., 2006. – № 2–3. – С. 32–44.

двигателей, работающих на водороде или этаноле (который изготавливается в принципе из любой биомассы, даже из обычной травы)[1].

Наконец, сравним «экологию трубопроводов» с «экологией железных дорог». Железные дороги всегда связывали центр и периферийные территории, были проводником и мотором индустриализации страны, условием для освоения новых земель Сибири и Дальнего Востока. От каждой станции тянулись нити жизни в глубинку, на этих периферийных ответвлениях возникали региональные и местные индустриальные и торговые центры, возникали новые города и поселки. Не то нефтегазопроводы. Цель их создания – не подъем транзитных территорий, а доставка сырья на перевалочные базы для зарубежных потребителей. Это – закрытые для общества системы, потенциально несущие для этих территорий двойной риск: их загрязнения и увеличения безработицы местного населения, потому что эти территории перестают быть средой для ведения традиционных форм хозяйства, а квалифицированный персонал, равно как и армия охранников, для бесперебойной работы «трубы», привозится извне. К тому же, поскольку плотность населения крайне мала, а оно само в значительной степени деградировало, отстаивать и протестовать практически некому – это могут делать только региональные и международные экологические организации. Так что борьба идет вовсе не за благополучие будущих поколений, а за владение и распоряжение ресурсами будущего.

16. Что противостоит экологии глобального рынка?

Либеральной (англосаксонской) модели глобальной экологии противостоит концепция другого глобализма, то есть неиерархическая модель глобального

[1] Блант М.В. Перестройка энергетики // Pro et contra. – М., 2006. – № 2–3. – С. 53–65.

объединения местных самоуправляющихся сообществ и сетей взаимопомощи[1]. Такие сообщества «изначально вводят альтернативную социальную логику, отличную от принципов функциональности, на которых построены доминирующие институты общества.... В информационную эпоху превалирующая логика доминирующих глобальных сетей настолько повсеместна и столь проникающая, что единственный путь выхода из-под их господства заключается в выходе из этих сетей и реконструкции смысла на основании совершенно другой системы ценностей и убеждений. … Национализм, локализм, этнический сепаратизм и культурные общины порывают с обществом в целом, выстраивая его институты не снизу вверх, но изнутри вовне, то есть «те, кто суть мы против тех, кто к нам не принадлежит»[2].

Мы обратимся теперь к концепции «экономики участия»[3], поскольку она внутренне связана с экоситемным подходом. Эта концепция, развиваемая американскими учеными Н. Хомским и М. Элбертом, интересна потому, что собрала круг единомышленников не только из США и Западной Европы, но практически со всего мира. Критерием «экономики участия» является личный вклад труженика: кто больше и усерднее работает, тот больше получает. Эта модель экономики и общества в целом считается эгалитарной, солидарной и самоуправляемой, хотя, конечно, не подразумевает абсолютного равенства ее участников. Ее нормативной основой являются «усилие и самоотдача» и

---

[1] Алими С. Последние новости об Утопии // Свободная мысль. – М., 2006. – № 5. – С. 71–79; Букчин М. Реконструкция общества: На пути к зеленому будущему. – Нижний Новгород: Третий путь, 1996; Фомичев С.В. Разноцветные зеленые: Стратегия и действие. – М.; Нижний Новгород: Третий путь, 1997.

[2] Кастельс М. Информационная эпоха: Экономика, общество и культура. – М.: ГУ-ВШЭ, 2000. – С. 505 – 506.

[3] Albert M. Realizing hope: Life beyond capitalism. – L.; N.Y.: Zed books, 2006; Albert M., Hahnel R. The political economy of participatory economics. – Princeton: Princeton univ. press, 1991.

«производство общественно полезных благ». Адепты «экономики участия» предлагают «переопределить» задачи в рамках каждой профессии таким образом, чтобы «исполнительские» и «креативные» роли оказались перемешаны[1]. В этой концепции просматриваются базовые принципы анархизма: децентрализация, добровольное объединение, горизонтальные связи и сети, отказ от (государственного) насилия. Но все же опять ключевой термин здесь – горизонтальная сеть. К 2005 г. сложилась международная сеть «экономики участия», объединяющая 300 захваченных (заброшенных или обанкротившихся) заводов в Аргентине, Венесуэле, Бразилии и Уругвае. Есть самоуправляющиеся гостиницы и жилые дома. Движение пользуется финансовой поддержкой некоторых государств.

Концепция «экономики участия» получила косвенную поддержку от американских социологов-урбанистов и культурологов[2]. Анализ двадцатилетней борьбы жителей больших городов США и Канады за расширение контроля над принятием решений относительно среды их непосредственного обитания показал, что в обществе потребления происходит распад городских сообществ, узость и отчужденность профессиональной этики корпораций, профанация научной экспертизы, самодовольство профессионалов, всеобщая амнезия культуры прошлого[3].

В идеологии «участия» есть и другая сторона. Сегодня массовому обществу профессиональные социологические исследования все менее интересны – ему нужны расследования, в которых всегда присутствует элемент причастности, личной заинтересованности «детектива». Отсюда – растущий

---

[1] Алими С. Последние новости об Утопии. – Указ. соч. – С. 14.
[2] Грац Р. Город в Америке: Жители и власти. – М.: Ладья, 1995; Jacobs J. The death and life of great American cities. – L.: Cape, 1962; Джекобс Дж. Закат Америки: Впереди Средневековье. – М.: Европа, 2006.
[3] Джекобс Дж. Закат Америки. – Указ. соч. – С. 39 – 40.

интерес массовой аудитории к жанру журналистского расследования, где знание социологических фактов сплавлено с процессом раскрытия тайной истории судеб и обстоятельств.

Французский социолог Ж. Гарнье справедливо говорит о модели «экономики участия» как о неореформистской. Сегодня вместо иерархической и централизованной организации речь идет о структурированном в сеть «движении движений»; рассуждая о формировании политических сил, мы отталкиваемся не от национального государства, но от изначально транснациональной борьбы; где идет речь о «гражданах» с накопленным ими культурным капиталом, лелеющих свою автономию и индивидуальность; нет больше «многообещающего завтра», а есть «конкретные альтернативы» и «реалистические утопии». Этот подход способствует продвижению демократической, справедливой, солидарной и экологической глобализации[1].

Опыт кооперативного движения по обеим сторонам Атлантики свидетельствует, что данный способ организации производства и повседневной жизни более эффективен, менее ресурсоемок и более демократичен. Вот пример решения проблем «экологии бедности». Уже 10 лет действует межправительственная программа общественного здравоохранения «Миссия Баррио Адентро», по которой 14 тыс. кубинских врачей оказывают бесплатную медицинскую помощь жителям самых бедных районов и городских трущоб Венесуэлы. Как пишет К. Оспина, «”босоногие врачи” работают эффективно и бесплатно, причем даже в тех районах, куда их местные коллеги отказываются ехать из-за бедности пациентов, труднодоступности района или небезопасной обстановки в нем… Только за 10 месяцев 2005 г. почти 80 тысяч венесуэльцев смогли бесплатно вернуть себе зрение… Работа врачей оплачивается кубинским

[1] Garnier J.-P. L’altermondialisme: Un internationalisme d’emprunt // Utopie critique. – P., 2006. – N 37. – (Цит. по: Алими С. Последние новости об Утопии. – Указ. соч. – С. 15).

правительством… С 1963 по 2005 гг. в общей сложности более 100 тысяч врачей и медицинских работников были задействованы в 97 странах, особенно в Африке и Латинской Америке». Что в 20 раз масштабнее помощи, которую оказывают по всему миру «Врачи без границ». Одновременно Куба обучает врачей из беднейших стран Центральной и Латинской Америки и даже из США[1].

Да, Кастельс прав, здесь работает иная, не рыночная и не потребительская логика. Это логика сострадания, ответственности, взаимопомощи и самоорганизации. Логика, где высшей ценностью является не прибыль, а человеческая жизнь и общественное благо. Это не «бульдозерная логика», когда трущобы и обветшавшие кварталы просто сносятся и застраиваются доходными домами, а терапевтическая логика улучшения сложившихся экосистем изнутри, логика гуманитарной помощи не где-то там, в новых кварталах социального жилья, а на месте, здесь и сейчас. Это – не калькулятивная рыночная медицина и не благотворительность денежных мешков, а «медицинский интернационал скорой взаимопомощи». Соответственно, и иная идентификация участников подобных программ: прежде всего со страждущими и одновременно с теми, кто ощущает реальную ответственность за «Другого», за всех нуждающихся. Кастельс прав и в другом. Этот «интернационал» – не порождение западного гражданского общества, а государственная инициатива, только цели у нее иные – социальные.

С точки зрения теории, здесь имеет место «прямое» производство человеческого капитала и поддерживающих его экосистем. Если население меньше болеет, больше трудоспособных, зрячих и т. д., то вероятность развития национальной экономики по нормальному пути больше. Наконец эта

[1] Оспина Э.К. Медицинский интернационал // Le monde diplomatique: Русское изд. – М., 2006. – № 8. – С. 20.

трансграничная миссия – пример того, что здравоохранение и вообще социальное обеспечение может быть организовано не только по монетарному принципу.

Д.В. Ефременко

ЭКОСОЦИАЛЬНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ И АНАЛИЗ ЭКОЛОГО-ПОЛИТИЧЕСКИХ ДИСКУРСОВ

Философская и этическая рефлексия отношений природы и общества имеет длительную историю. Лишь начиная с 1960-х годов, проблематика взаимоотношений природы и общества необратимо вошла в сферу политической деятельности и социальных исследований. Именно в это время разрозненные проявления антропогенного воздействия на окружающую среду, только отчасти находившиеся в поле институциональной деятельности, стали рассматриваться во взаимосвязи и в контексте основных проблем глобального развития. В это же время был придан мощный импульс таким направлениям социального знания, как экосоциология, экополитология (studies of environmental politics), экологическое право.

Почему же именно 1960-е годы являются столь важным рубежом для экосоциальной проблематики и экологической политики? Ведь несомненно, что социальные дискурсы об отношениях человека и природы имеют более давнее прошлое. Например, движение консервационизма, развернувшееся в США и некоторых европейских странах в конце XIX – начале XX вв., в целом не носило политического характера, хотя его сторонники черпали вдохновение в этических и эстетических представлениях Р. Эмерсона, Г. Торо и У. Морриса, которые явно предвосхищали идеи, ставшие популярными в последней трети XX века. Можно также вспомнить трагедию декабря 1952 г., когда лондонский «великий смог» унес жизни более 4000 человек. Реакцией на нее стало принятие британским парламентом «Закона о чистом воздухе» (1956) и ряда других мер административного регулирования, но не возникновение политизированного социального движения.

Очевидно, что в 1960-е годы произошло нечто очень важное с самим западным социумом эпохи «пост-», суть которого описывали по разному, но наиболее часто – как переход от индустриального к постиндустриальному обществу[1]. К началу 1960-х годов в индустриально развитых странах произошел важнейший социальный сдвиг: количество квалифицированных специалистов и менеджеров («белых воротничков») начало превышать количество индустриальных рабочих[2]. На протяжении этого десятилетия прогресс компьютерной техники и совершенствование средств передачи информации привели к их конвергенции в информационно-коммуникационную технологию, а в 1969 г. были сделаны первые шаги в развитии сетей компьютерной коммуникации, результатом которых впоследствии стало появление Интернета. На широком использовании информационных технологий базировалось и развитие новых гибких систем производства – так называемый «пост-фордизм».

1960-е годы были ознаменованы подъемом новых социальных движений и протестных выступлений, который повлек за собой серьезные изменения в политике и общественном сознании. Появление новых социальных движений было лишь в ограниченной степени связано с традиционными классовыми антагонизмами индустриальной эпохи. Как писал А. Турен, «по мере того, как мы входим в постиндустриальное общество, общественные движения могут развиваться независимо от политических действий, имеющих в виду прямой захват государственной власти… Новые общественные движения формируются

---

[1] Более детальное обсуждение теоретического потенциала представлений о постиндустриальном обществе, информационном обществе и обществе знания см.: Бехманн Г. Концепции информационного общества и социальная роль информации // Политическая наука / РАН. ИНИОН. – М., 2008. – № 2. – С. 10–28; Ефременко Д.В. Концепция общества знания и ее оборотная сторона // Концепция «общества знания» в современной социальной теории: Сб. науч. тр. – М.: ИНИОН РАН, 2009. – 1,6 а.л. – (В печати).

[2] Нейсбит Дж. Мегатренды. – М.: АСТ, 2003. – С. 23.

… не посредством политического действия и столкновения, а скорее влияя на общественное мнение»[1]. Выход этих движений на арену общественной жизни явился свидетельством растущей неудовлетворенности традиционными политическими институтами и субъектами, а также расширения круга проблем, которые прежде оставались вне поля зрения институциональной политики. В США это были движение за гражданские права, приведшее к радикальному сдвигу в преодолении расового неравенства, массовые протесты против войны во Вьетнаме, студенческие и феминистские выступления, экологическое движение. В странах Западной Европы кульминационным пунктом стали студенческие протесты 1968 г. В совокупности эти события привели к изменению мировоззрения и ценностных ориентиров, к формированию сферы неинституциональной политики и выходу на арену нового поколения общественных деятелей, более открытых и к обсуждению принципиально новых проблем. Благодаря возможностям СМИ в странах Запада значительно возросло политическое воздействие публичных дискуссий, развертывание которых было непременным спутником движений 1960-х годов.

Многие важные аспекты происшедших изменений были эксплицированы Р. Инглхартом (Инглегартом), в трактовке которого модернизационная динамика последней трети XX века характеризуется утверждением постматериализма – новой системы ценностных ориентаций. В ее рамках «преобладающее внимание к материальному благосостоянию и физической безопасности» уступает место «заботе о качестве жизни»[2]. В основе постматериализма лежит, по мнению Инглхарта, рост благосостояния, создающий ощущение

---

[1] Турен А. Возвращение человека действующего: Очерк социологии. – М.: Научный мир, 1998. – С. 164.

[2] Инглегарт Р. Культурный сдвиг в зрелом индустриальном обществе // Новая постиндустриальная волна на Западе: Антология / Под ред. В.Л. Иноземцева. – М.: Academia, 1999. – С. 250.

беспрецедентной экономической и физической безопасности. Закрепление этого культурного сдвига происходит в процессе смены поколений. «Поколение 1968 года» в США и Западной Европе, в самом деле, может служить самым ярким примером выхода на арену общественной жизни носителей постматериалистических ценностей.

Р. Инглхарт в целом принимает гипотезу С. Липсета о связи между уровнем индустриализации, благосостояния, образования и развитием демократических институтов[1], подчеркивая наличие «четкой эмпирической связи экономического развития с возникновением демократии, когда рациональный выбор и политическая культура выступают не как антиподы, а как взаимодополняющие факторы»[2]. Инглхарт также указывает на зависимость уровня обеспокоенности общества экологическими проблемами от материального благосостояния[3].

Разумеется, концепция постматериалистического ценностного сдвига не лишена слабостей и внутренних противоречий. Так, восприятие экологического риска «поколением 1968 года» было связано не столько с ощущением большей физической безопасности, сколько с осознанием иллюзорности безопасности в условиях глобального экологического кризиса. Тревожность общественных настроений этого времени усиливалась выявлением новых, прежде неизвестных угроз или политическим «переоткрытием» старых (например, угрозы изменения климата). Кроме того, некоторые социологические исследования показывают,

---

[1] Lipset S.M. Some social requisites of democracy: Economic development and political legitimacy // American political science rev. – Cambridge, 1959. – Vol. 53, N. 1. – P. 69–105.

[2] Инглегарт Р. Культурный сдвиг в зрелом индустриальном обществе. – Указ. соч. – С. 251.

[3] Inglehart R. Public support for environmental protection: Objective problems and subjective values in 43 societies // Political science & politics. – Cambridge, 1995. – Vol. 28, N 1. – P. 57–72.

что тезис Инглхарта относительно обусловленности роста популярности экологических ценностей подъемом благосостояния трудно подтвердить эмпирически[1], что, впрочем, относится и к появившимся позднее альтернативным теориям, подчеркивающим значение образования, возраста или других факторов[2].

1960–1970-е годы стали также временем дальнейшего изменения социальной роли и статуса науки. В каком-то смысле наука в это время завершила цикл своего самоопределения в отношениях с государством и обществом. В числе первых на происшедшие изменения обратили внимание немецкие социологи науки, входившие в так называемую Штарнбергскую группу – Г. Беме, П. Вайнгарт, В. ван ден Дэле, В. Крон. Во многом опираясь на идеи Ю. Хабермаса, они разработали концепцию «финализации науки». Ее суть состояла в том, что цели научного исследования во все возрастающей степени определяются не внутринаучными, а заданными извне, социальными и политическими целеполаганиями. В нарастании этой тенденции виделось наступление этапа, когда заканчивается «классический фронт» научных исследований и открывается новый, «неклассический фронт». Участники Штарнбергской группы обращали внимание на возникновение «гибридных сообществ». «Гибридные сообщества» являются «организационными структурами, в которых ученые, политики, администраторы и представители промышленности и других групп интересов непосредственно связываются, чтобы определить проблему, исследовательскую стратегию и найти решения. Это включает в себя процесс перевода политических целей в технические цели

---

[1] Brechin S.R. Objective problems, subjective values, and global environmentalism: Evaluating the postmaterialist argument and challenging a new explanation // Social science quart. – Oxford, 1999. – Vol. 80, N 4. – P. 793–809.

[2] Ignatow G. Cultural models of nature and society: Reconsidering environmental attitudes and concerns // Environment & behavior. – L., 2006. – Vol. 38, N 4. – P. 441–461.

и исследовательские стратегии, связывающий разные дискурсивные универсумы»[1]. Таким образом, помимо появления новых институциональных структур, штарнбергцы указали на процесс диффузии дискурсов науки, политики и общества, который в более радикальной версии можно интерпретировать как «сциентификацию общества» и «политизацию науки».

Если в 1970-е годы усилия Штарнбергской группы рассматривались едва ли не как подрывные[2], то на рубеже 1990-х гг. концептуализация качественных перемен во взаимоотношениях науки и общества получила широкое признание. Вслед за авторами одной из концепций, Дж. Равецем и С. Фунтовицем[3], результат этих качественных изменений можно назвать «постнормальной» наукой, имея, прежде всего, в виду принципиальные отличия от «нормальной» науки Т. Куна и от описанных им периодов научных революций. Кроме того, о завершении периода «нормальности» можно говорить и в смысле исчерпанности традиционных, «одноканальных» отношений между экспертами и политиками. В современных условиях неотъемлемой частью производства научного знания становятся его социально-политические аспекты, и потому сам этот процесс должен быть транспарентным и открытым для участия социальных акторов.

---

[1] Вайнгарт П. Отношение между наукой и техникой: Социологическое объяснение // Философия техники в ФРГ / Сост. Ц.Г. Арзаканян, В.Г. Горохов. – М.: Прогресс, 1989. – С. 138.

[2] По оценке В. Циммерли, подлинной причиной закрытия Института социальных исследований им. М. Планка в Штарнберге явилась разработка несколькими его сотрудниками концепции «финализации науки». См.: Циммерли В. Техника в изменяющемся обществе // Философия техники в ФРГ. – С. 250.

[3] Funtowicz S.O., Ravetz J.R. The emergence of post-normal science // Science, politics, and morality: Scientific uncertainty and decision making / Ed. by R. von Schomberg. – Dordrecht: Kluwer, 1993. – P. 85–123.

Постепенно стираются некогда стабильные демаркационные линии между наукой, обществом и политикой, наблюдается переструктурирование взаимоотношений между ними, имеющее далеко идущие последствия. Производство научного знания понимается уже не столько как поиск основополагающих законов природы, сколько как процесс, обусловленный контекстом применения знания, представлениями о социальных потребностях и потенциальных потребителях. Производство научного знания становится рефлексивным процессом, необходимым элементом которого является учет его социальных импликаций. В свою очередь, в таком взаимодействии науки и политики последняя также не остается неизменной. Перенос результатов научных исследований в сферу политики «вынуждает политических акторов и политические системы иметь дело с когнитивно конституированными задачами»[1], а благодаря современным средствам коммуникации и возрастающей мобильности интеллектуальных ресурсов этот процесс еще более интенсифицируется.

Таким образом, концентрация на коротком временном отрезке ряда важнейших изменений в сферах демографии, международных отношений, структуры производства и потребления, производства научного знания, информационных технологий, средств массовой информации и коммуникации и т.д. создала своеобразную «критическую массу», которая, в частности, заставила науку, общество и политические инстанции повернуться лицом друг к другу. Одной из центральных тем их диалога стали экологические проблемы, получившие политическое измерение. Отражением этого новой устойчивой связи социальных, политических и научных акторов, обусловленной

---

[1] Bechmann G., Beck S. Zur gesellschaftlichen Wahrnehmung des anthropogenen Klimawandels und seiner möglicher Folgen // Risiko Klima: Der Treibhauseffekt als Herausforderung für Wissenschaft und Politik / Hrsg. von J. Kopfmüller, R. Coenen. – Frankfurt a. M.; N.Y.: Campus, 1997. – S. 137.

проблемами комплексного взаимодействия природы и общества, стало появление эколого-политических дискурсов.

Логика подхода, основным элементом которого является анализ эколого-политических дискурсов, состоит в следующем.

Экологический кризис, множественные проявления которого свидетельствуют об общей дестабилизации экосистемы планеты, по своим причинам и сущности является кризисом социальным. Соответственно, особого внимания заслуживают процессы социального взаимодействия, в ходе которых формируются основные идеи и дискурсы, актуализирующие социальную и политическую компоненту экологической проблематики. В связи с этим уместно ставить задачу комплексного исследования «ландшафта» мнений и идей, выявления происходящих в нем с течением времени изменений.

Две наиболее влиятельные социальные концепции дискурса связаны с именами М. Фуко и Ю. Хабермаса. Так, дискурс в версии М. Фуко не сводится к идеологической рефлексии, но рассматривается в качестве поля сражения, своеобразной антагонистической процессуальности, обуславливающей появление истины. При этом власть в концепции Фуко является имманентной дискурсу. Дополнительные аналитические возможности в исследовании властных отношений связаны с использованием понятия диспозитива. Диспозитив – это наделенный некой стратегической функцией гетерогенный ансамбль, который включает в себя «дискурсы, институции, архитектурные планировки, регламентирующие решения, законы, административные меры, научные высказывания, философские, но также моральные и филантропические положения, – стало быть сказанное, точно так же, как и несказанное … Собственно диспозитив – это сеть, которая может быть установлена между

этими элементами»[1]. Не вызывает сомнений, что исследование в качестве диспозитива высказываний по экологическим проблемам, природоохранного законодательства и реализующих его институтов, социальных и политических инициатив, связанных с окружающей средой, международных переговорных механизмов и т.д. могло бы оказаться весьма плодотворным.

Однако, по нашему мнению, еще больше возможностей открывает та трактовка дискурса, которая восходит к Ю. Хабермасу. В русле данной традиции дискурс рассматривается как форма коммуникации, в рамках которой происходит коллективная рефлексия и переопределение предпосылок социального бытия. Центральной особенностью дискурсов является обмен аргументами в порядке ответа на вопросы, возникающие в процессе решения социально значимых проблем. Иначе говоря, именно система аргументации преобразует коммуникацию в дискурс.

В случае экологической проблематики в центре внимания исследователя оказывается аргументация, преобразующая коммуникативный процесс, касающийся экологических рисков, в эколого-политический дискурс. Такой подход в определенной мере соответствует макро- и мезоуровням анализа дискурса в версии Р. Водак: макроуровень – это выявление основных тем и топиков; мезоуровень – анализ линий аргументации; микроуровень – исследование лингвистической микроструктуры[2]. Два верхних уровня требуют экспликации исторического и политического контекста.

Историческое и проблемное рассмотрение эколого-политических идей и дискурсов позволяет показать их общность с другими идеями, осуществить демаркацию и на этой основе выявить доминантный дискурс. Изучение

---

[1] Фуко М. Воля к истине: По ту сторону знания, власти и сексуальности. – М.: Магистериум: Касталь, 1996. – С. 368.

[2] Language, power and ideology: Studies in political discourse / Ed. by R. Wodak. – Amsterdam: Benjamins, 1989. – P. 9.

«карьеры» доминантного дискурса, его возникновения, трансформации, упадка и, наконец, смены дискурсивной доминанты имеет основания претендовать на роль одного из основных подходов в экосоциальных исследованиях.

Возникновение эколого-политических дискурсов относится к числу «знаковых» явлений как для политики, так и для культуры. Политизация экологических рисков явилась проявлением фундаментального культурного сдвига. Но одновременно она стала и мощным фактором его ускорения.

Первый доминантный эколого-политический дискурс имел ярко выраженную алармистскую направленность, обусловленную, прежде всего, остротой экологических проблем и их драматической подачей в наиболее известных текстах той эпохи – от «Безмолвной весны» Р. Карсон[1] до «Пределов роста» Д. Медоуза[2]. В частности, как вспоминал А. Печчеи, при подготовке Первого доклада Римскому клубу ставка делалась на его сенсационность, которая должна была привлечь широкое внимание и тем самым придать больший авторитет деятельности клуба[3]. Однако наиболее существенную роль сыграли социальные факторы. В 1960-1970-е годы экологическое движение в странах Запада стало органичной частью новых социальных движений. Выход этих движений на арену общественной жизни явился свидетельством растущей неудовлетворенности традиционными политическими институтами и субъектами, а также расширения круга проблем, которые прежде оставались вне поля зрения институциональной политики[4]. Политизация экологических проблем, прямое обращение к общественному мнению, не опосредованное

---

[1] Carson R. Silent spring. – N.Y.: Houghton Mifflin, 1962.
[2] Beyond growth: Essays on alternative futures / Ed. by D.L. Meadows; W.R. Burch, Jr., F.H. Bormann. – New Haven (CT): Yale univ. press, 1975.
[3] Печчеи А. Человеческие качества. – М.: Прогресс, 1985. – С. 119.
[4] См.: Luke T.W. Class contradictions and social cleavages in informationalising post-industrial societies: On the rise of new social movements // New political science. – Oxford, 1989. – Vol. 8, N 1–2. – P. 125–153.

традиционными политическими институтами и практиками, развитие культуры политических дебатов способствовали сдвигу в сторону коммуникативной (делиберативной) демократии.

При этом социальная коммуникация экологических рисков практически с самого начала вышла за пределы национальных государств. Ее проводником стало транснациональное сообщество общественных активистов, экспертов и политиков, трансформировавшееся в 1970–1980-е годы в международную сетевую структуру неправительственных организаций, исследовательских учреждений, масс-медиа и т.д. Научное сообщество и неправительственные организации, активно участвовавшие в дискуссиях по экологической проблематике, получали широкий доступ к средствам массовой информации Запада и пользовались широким общественным вниманием. Тем самым средства массовой информации становились важнейшим каналом политического воздействия для экологически ориентированной сетевой структуры. Это воздействие принимало масштабы, которые было невозможно игнорировать традиционным политическим акторам. Уже в 1970-е годы стали заметно сокращаться возможности длительного замалчивания теми или иными государствами серьезных экологических проблем и сокрытия последствий техногенных катастроф. События, сопровождавшие Чернобыльскую катастрофу, подтвердили данную тенденцию в полной мере. Правительства в этой ситуации были вынуждены по большей части реагировать на импульсы, исходившие от научного сообщества и общественности.

Предостережения о неизбежности эко-диктатуры[1], были своеобразным проявлением положительной обратной связи в рамках эколого-политического

---

[1] См.: Hardin G. Exploring new ethics for survival: The voyage of the spaceship Beagle. – N.Y.: Viking, 1972; Heilbronner R.L. An inquiry into the human prospect. – N.Y.: Norton, 1974; Ophuls W. Ecology and the politics of scarcity: Prologue to a political theory of the steady state. – San Francisco: Freeman, 1977.

дискурса конца 1960–1970-х гг.: вызванные к жизни наиболее катастрофическими прогнозами исчерпания ресурсов и деградации экосистем, идеи эко-диктатуры еще более усиливали алармистскую тенденцию. Впоследствии, по мере исчерпания алармистского дискурса, идеи эко-диктатуры утрачивали прежний резонанс. Реминисценции этих идей возникают при появлении новых катастрофических сценариев, в частности сценариев изменения климата планеты, но их эффект в современных условиях нельзя сопоставить с периодом экологического алармизма 1970-х годов. Однако если возможность ограничения политических прав и демонтажа демократических институтов только в связи с проявлениями экологического кризиса и дефицитом невосполнимых ресурсов представляется маловероятной, то в комбинации с другими деструктивными процессами, например всплеском международного терроризма, возникновением новых региональных военных конфликтов, дестабилизацией мировой финансовой системы и т.д., подобные изменения могут происходить. «Глобализация неуверенности», достигшая своей новой стадии после террористических атак 11 сентября 2001 г., делает все более актуальным предупреждение У. Бека о расширении пропасти между социальной структурой и политикой, об изменении шкалы ценностных ориентаций, и о том, что ценность безопасности оттеснит на второй план ценности свободы, демократии и справедливости[1].

Ослабление позиций алармистского дискурса в первой половине 1980-х годов было обусловлено серьезным изменением условий коммуникации и социального восприятия экологического риска. В числе основных факторов этого изменения следует назвать выявление недостоверности наиболее катастрофических прогнозов деградации окружающей среды и исчерпания

[1] Бек У. Общество риска: На пути к другому модерну. – М.: Прогресс-Традиция, 2000. – С. 238.

ресурсов, отказ правительств ведущих индустриально развитых стран от рецептов ограничения экономического роста, спад новых социальных движений, стремление части экологических активистов стран Запада сформировать политические партии, институционализация экологической политики на национальном и международном уровнях, требовавшая более сбалансированной повестки политических действий. Не последнюю роль играло и то обстоятельство, что целый ряд задач, являвшихся приоритетными для экологистов в 1960-е годы, к началу 1980-х годов был полностью или частично решен на национальном уровне, а постматериалистические ценности качества жизни и благоприятной окружающей среды были интегрированы в программы почти всех ведущих политических партий стран Запада.

Если алармистский эколого-политический дискурс изначально формировался «снизу вверх», в порядке обсуждения экологической проблематики в отдельных государствах и последующей трансляции этой дискуссии на международный уровень, то следующий доминантный эколого-политический дискурс стал результатом целенаправленных усилий эпистемического сообщества[1], действовавшего на основании мандата ООН. Попытка создать новую целостную концепцию решения глобальных экологических и социальных проблем, на первый взгляд, была обречена на неудачу в обстановке глобальной идеологической конфронтации. Но стремясь к почти безнадежному примирению непримиримых позиций, Комиссия Брундтланд сумела предложить рамочную концепцию, которую на уровне деклараций приветствовали все ведущие государства мира, а в качестве доминантного дискурса поддержали представители самых разных направлений экологического движения. Несомненно, такому успеху идей устойчивого

[1] См.: Haas P.M. Obtaining international environmental protection through epistemic consensus // Millennium: J. of international studies. – L., 1990. – Vol. 19, N 3. – P. 347–363.

развития способствовало окончание «холодной войны», когда выявился дефицит позитивных идей и стратегий развития человечества. Доклад Брундтланд и документы Конференции ООН по окружающей среде и развитию в Рио-де-Жанейро (1992)[1] стали наиболее серьезной попыткой этот дефицит восполнить.

В отличие от алармистского эколого-политического дискурса, который имел преимущественно негативную нормативность, связанную с требованиями ограничить экономический рост независимо от социальной и политической цены такого ограничения, идеи устойчивого развития отличались позитивной нормативностью. Они нацеливали на гармонизацию интересов нынешних и будущих поколений, развитых и развивающихся стран, стимулирования экономического роста и мер по сохранению биосферы планеты. «Реабилитация» экономического роста стала основой широкого компромисса, сделавшего возможным консенсус Рио. Позитивная нормативность также способствовала тому, что устойчивое развитие в качестве доминанты сумело отчасти объединить существенно отличающиеся друг от друга дискурсы экологической модернизации, структурной экологизации, антимодернизма и др. В этом смысле устойчивое развитие можно рассматривать как эколого-политический мегадискурс.

Среди основных интерпретаций устойчивого развития особую роль играют представления об экологической модернизации, отражающие в первую очередь интересы индустриально развитых стран Запада. Экологическая модернизация, с одной стороны, требует серьезных социальных и технических инноваций, позволяющих политическим и экономическим институтам индустриально

---

[1] Our common future: Report of the World Commission on Environment and Development. – Oxford; N.Y.: Oxford univ. press, 1987; Our common future reconvened: Report of the World Commission on Environment and Development. – Geneva: Center for Our common future, 1992.

развитых стран дать адекватный ответ на экологически ориентированные требования общественных сил и движений. С другой стороны, она означает приспособление экономических акторов индустриального мира (ТНК, средних и мелких компаний, секторов промышленности и т.д.) к ужесточающемуся законодательному регулированию, направленному на решение экологических задач. В наибольшей степени подход экологической модернизации оказался востребован сторонниками так называемого «третьего пути» – разработанной Э. Гидденсом концепции[1], предусматривающей более ограниченную и одновременно более сфокусированную на решении отдельных задач роль государства в рамках партнерства с гражданским обществом. Само гражданское общество рассматривается в качестве ключевого агента изменений в направлении экологической модернизации. Сегодня этот подход завоевывает все больше сторонников, главным образом, в странах ЕС. Однако, не предлагая убедительной и приемлемой стратегии для стран развивающегося мира или для стран с переходной экономикой, экологическая модернизация рискует остаться региональной стратегией, ориентированной на интересы «золотого миллиарда». Соответствующие подходу экологической модернизации меры, осуществляемые в рамках «третьего пути», как правило, предполагают селекцию экологических проблем, выбор тех из них, в решении которых заинтересованы как общественные круги, так и бизнес-сообщество. Например, проблемы сокращения биологического разнообразия находятся на периферии такой политики. Соответственно, экологическая модернизация становится весьма уязвимой в контексте справедливости между регионами мира, а также между поколениями, поскольку решение наиболее неудобных проблем откладывается на будущее или даже осуществляется за счет будущего.

---

[1] Giddens A. The third way: The renewal of social democracy. – Cambridge: Polity, 1998.

Если экологическая модернизация представляет собой программу экологического реформирования капитализма, то преобладающий подход в индустриально развитых странах Запада состоит в использовании уже существующих возможностей рыночной экономики и плюралистической демократии для поиска выхода из современного экологического кризиса. Взаимосвязь экологической проблематики и представлений о демократии и либерализме характеризуется внутренней напряженностью. С одной стороны, по мнению многих аналитиков, глобальный экологический кризис является оборотной стороной социальной и экономической практики либерализма, а, с другой стороны, именно демократия позволяет во весь голос говорить о проблемах окружающей среды и добиваться соответствующих политических решений. В этом плане особое значение приобретает вопрос о возможности адаптации демократических принципов и институтов к решению задач, продиктованных глобальным экологическим кризисом.

Для либеральной демократии ключевым является агрегирование (учет) социальных предпочтений[1]. Политический дискурс либеральной демократии состоит в выявлении и согласовании индивидуальных предпочтений, поиске формулы, позволяющей удовлетворить как можно большее количество частных интересов. Представления о стоящем над этими интересами общем благе оказываются излишними. Экологические интересы в контексте либеральной демократии определяются в порядке поиска компромисса между интересами экологических групп и интересами акторов, осуществляющих эксплуатацию природных ресурсов. В целом, либеральная модель агрегирования групповых интересов лишь в малой степени позволяет решать задачи на основе коллективного действия.

---

[1] Miller D. Deliberative democracy and social choice // Political studies. – Oxford, 1992. – Vol. 40, Spec. iss. 1. – P. 54.

Как правило, экологический ущерб трудно квантифицировать, он диффузен и в ряде случаев представляется довольно абстрактным, тогда как экономические интересы наиболее влиятельных групп измеримы и конкретны. Эти группы наиболее дистанцированы от негативных экологических последствий, но именно они оказываются в центре процесса принятия решений[1]. Тем самым не только происходит маргинализация экологических задач, но в структурном отношении имеет место углубление экономического неравенства, которое, в свою очередь, усиливается неравенством расовым, этническим, гендерным и т.д. А это означает еще более неравномерное социальное распределение экологического ущерба, нарастание несправедливости. Интерпретации либеральной демократии различными группами интересов порождают серьезные трудности в плане экологической рациональности, поскольку не могут обеспечить консолидированного подхода к решению задач охраны окружающей среды.

Еще одна, более радикальная трактовка устойчивого развития – структурная экологизация – исходит из того, что достижение устойчивого развития возможно только на основе структурных изменений западного образа жизни, включая модели производства и стандарты потребления. Для этого требуется последовательная переориентация повседневного поведения на экологические императивы, на изменение характера мобильности, питания, укрепление децентрализованных, региональных структур снабжения и т.д. На уровне глобальных действий подход структурной экологизации предполагает не только тщательное отслеживание масштабов нагрузки на окружающую среду. Столь же важны усилия, направленные на решение проблем социальной справедливости в таких областях, как международное разделение труда, задолженность развивающихся стран, неравенство в доступе к ресурсам, их

[1] Pateman C. The disorder of woman. – Cambridge: Polity, 1989. – P. 163.

распределении и предотвращение связанных с этим неравенством конфликтов. Применительно к отношениям между Севером и Югом речь идет о нахождении оптимального баланса между вопросами защиты окружающей среды в развивающихся странах и удовлетворением основных нужд населения этих стран. Реализация требований социальной справедливости на глобальном уровне, основанием для которых является представление о равенстве прав всех людей планеты на использование окружающей среды, должна иметь своим следствием существенное ограничение всех форм материального потребления в совокупности с отказом от использования ресурсов и загрязнения окружающей среды сверх определенной нормы. При этом наибольшие ограничения были бы наложены на индустриальное развитие стран Запада. В этой связи неудивительно, что представители подхода структурной экологизации оказываются если не на маргинальных позициях в политическом спектре стран Запада, то, во всяком случае, занимают там достаточно локализованные ниши.

Более детальная классификация основных направлений эколого-политического дискурса устойчивого развития[1] демонстрирует как их принципиальные отличия друг от друга, так и точки пересечения. Основные противоречия обнаруживают себя всякий раз, когда речь заходит о наполнении представлений об устойчивом развитии политически конкретным содержанием. Политическая операционализация ведущих подходов к устойчивому развитию неизбежно происходит в новом функционально-ролевом распределении политических акторов, научного сообщества и общественности. Так, ключевое для устойчивого развития определение пределов экологической несущей способности осуществляется на основе научных теоретических моделей и методов, которые всегда подчинены ценностным решениям и установкам. Но

[1] Подробнее см.: Ефременко Д.В. Эколого-политические дискурсы: Возникновение и эволюция. – М.: ИНИОН РАН, 2006. – С. 121–154.

фактически это соподчинение происходит в той или иной форме взаимодействия науки и общества. Иначе говоря, речь идет о продукции научного знания, базирующейся на социальной нормативности, отчасти предвосхищающей, а отчасти формирующей социальные ожидания, например в отношении качества окружающей среды.

В этом контексте также имеет смысл затронуть проблему идентификации в рамках эколого-политического дискурса идеологии зеленых, т.е. сторонников защиты окружающих среды, объединенных по партийному принципу, в отличие от более широких и менее структурированных экологических движений, а также экологических неправительственных организаций и их сетей. Среди зеленых основную группу составляют партии стран Европейского Союза, объединившиеся в Европейскую федерацию зеленых, а с 2004 г. – в Европейскую партию зеленых; положение зеленых в США и в странах третьего мира отличается значительным своеобразием. Наличие различных фракций в партиях зеленых не позволяет говорить об их идеологическом единстве. Вместе с тем мощными интегрирующими факторами являются базовые принципы, с которыми соглашаются представители различных фракций. В частности, к числу этих принципов относится принцип устойчивого развития (экологической мудрости), а также принципы социальной справедливости, демократии участия и ненасилия.

Идентификация идеологии зеленых, если ее не ограничивать рассмотрением базовых принципов, состоит в выявлении конкретной комбинации нормативных установок и дискурсивных элементов экологической модернизации, структурной экологизации и антимодернизма. Абстрактные суждения об идеологии зеленых, не опирающиеся на предметный анализ большого объема данных, характеризующих историю, организационную структуру, коалиционную стратегию конкретной партии, действующей в

специфических условиях соответствующей партийной системы, имеют ограниченную ценность.

Каковы же перспективы дальнейшей эволюции эколого-политических дискурсов? Центральный вопрос состоит здесь в том, сохранится ли в будущем доминантный эколого-политический дискурс или же он будет вытеснен дискурсами глобализации. Сегодня неудовлетворенность существующими международными институтами характеризует практически все направления глобального развития. Разрыв между институтами, сформировавшимися десятилетия назад, экспоненциальным ростом населения и новой экономикой (то есть появлением или опережающим развитием тех направлений экономической деятельности, которые связаны с информационно-коммуникационными и другими наукоемкими технологиями) становится все более значительным. В контексте задач достижения глобального устойчивого развития еще более усилилось расхождение между институтами системы ООН и Бреттон-Вудскими институтами. Если ЮНЕП, ЮНЕСКО, ЮНИДО, ПРООН и др., а также постоянно действующие переговорные механизмы по глобальным изменениям климата, биоразнообразию и другим экологическим проблемам, можно применительно к периоду 1990-х годов назвать с теми или иными оговорками «институтами устойчивого развития», то ГАТТ (ВТО), МВФ, Всемирный банк и другие международные финансовые организации, действующие в рамках Вашингтонского консенсуса, с уверенностью можно охарактеризовать в качестве «институтов глобализации». Фактически в данном случае имеет место конкуренция между многосторонними концепциями, разрабатываемыми ООН и ее структурами, и подходами тех международных организаций, где преобладание позиций США неоспоримо.

Изначальная слабость институтов устойчивого развития продолжает усиливаться по мере усиления институтов глобализации. Конфликт между

подходом устойчивого развития и неолиберализмом фактически привел к ревизии основных принципов конференции ООН в Рио-де-Жанейро (по крайней мере, намеченного в Повестке дня на XXI век[1] хрупкого равновесия либерализации торговли, технических инноваций и мер по борьбе с бедностью), выявил конкретные расхождения между правилами ВТО и обязывающими международными соглашениями, базирующимися на документах Саммита Земли (Йоханнесбург, 2002). Осознание опасности этого дисбаланса способствовало активизации новых теоретических поисков, направленных на модернизацию институтов и механизмов глобального экологического управления. Был поставлен вопрос о создании Всемирной Экологической Организации (ВЭО), по крайней мере, столь же влиятельной, как и ВТО, а также о создании т. н. «экологической восьмерки» (по аналогии с «большой восьмеркой» ведущих индустриально развитых стран). Однако для любого из вариантов развития системы глобального экологического управления особую актуальность имеет проблема легитимности, поскольку задачей этой системы является не только подготовка, но также принятие и реализация решений. На глобальном уровне такой механизм не мог бы функционировать в качестве некоего всемирного экологического парламента. Власть, которой теоретически могли бы обладать ВЭО или иная структура глобального экологического управления, не может быть делегирована на основе прямых выборов. Поэтому для подтверждения легитимности этим структурам потребуются специальные усилия. По всей видимости, равный доступ к принятию решений для различных государственных акторов при максимально широком взаимодействии и учете мнений негосударственных акторов должен быть важнейшей предпосылкой легитимации глобального экологического управления. Фактически, речь в этом случае должна идти о горизонтально-вертикальной структуре процесса

[1] Mode of access: http://www.un.org/russian/conferen/wssd/agenda21

принятия решений. Однако проблема справедливого участия в процессе принятия решений сталкивается, прежде всего, с теми трудностями, которые характерны для ООН и связанных с ней организаций. В их числе – различия в финансовой поддержке, которую будут оказывать структурам глобального экологического управления те или иные государства, различия в «весе» их голосов, широкие возможности блокирования принятия решений, трудности достижения консенсуса и т.д.

Существуют также серьезные основания для противопоставления устойчивого развития и глобализации не только на институциональном уровне, но и в дискурсивном плане. В отличие от устойчивого развития как нормативной рамочной концепции, составляющей основу эколого-политического дискурса, глобализация представляет собой одновременно и объективный процесс, и социально-политический дискурс. Дискурс глобализации и такие объективные глобализационные процессы, как либерализация рынков, открытие экономик, миграция и т.д., очень тесно переплетены и взаимно усиливают друг друга. Однако было бы большим упрощением видеть в устойчивом развитии только его нормативные основания, а глобализацию рассматривать в качестве дискурса, имеющего исключительно объективные основания. Скрытую нормативность содержит уже утверждение о том, что глобализация является исторически обусловленным этапом развития человечества, предпосылки и отдельные проявления которого связаны с предшествующими этапами модернизации, но который при этом отличается качественным своеобразием, позволяющим говорить о наступлении новой эпохи.

Нормативность процессов глобализации, эксплицированная в позитивном ключе, как нечто неизбежное и одновременно необходимое, требующее соответствующей направленности дальнейших политических действий, может

быть названа глобализмом. Сущность неолиберальной идеологии глобализма – это «всепроникающее, всеизменяющее господство мирового рынка»[1]. Для глобализма характерно стремление затушевать грань между объективными мирохозяйственными процессами и целенаправленным использованием политико-экономического инструментария для ускорения и усиления глобализации. Если же к такой трактовке глобализации добавляется совокупность этических, философских, культурологических аргументов, а также более упрощенных и ярких риторических приемов, то само понятие глобализации превращается в мощное руководящее представление для дальнейших политических действий.

С другой стороны, негативные представления антиглобалистов о процессах глобализации, являются не в меньшей степени нормативными. Независимо от знака, дискурс глобализации становится универсальным, подавляя, поглощая или вытесняя другие дискурсы, претендующие на универсальность. В последние годы упоминания об устойчивом развитии в выступлениях политических лидеров все больше вытесняются рассуждениями о глобализации. На этом фоне динамику устойчивого развития как доминантного эколого-политического дискурса можно оценить как депрессивную. Как представляется, при таком развитии событий более реалистично ожидать существенного изменения конфигурации политических сил, акторов, идей, формирующих политические дискурсы.

Высока вероятность того, что эти изменения произойдут на основе ревизии представлений об устойчивом развитии и глобальном экологическом управлении, скорее всего, в рамках активного диалога с силами антиглобализма. Уже сейчас некоторые радикальные экологические движения активно

---

[1] Бек У. Что такое глобализация? Ошибки глобализма – ответы на глобализацию. – М.: Прогресс-Традиция, 2001. – С. 201.

участвуют в мероприятиях антиглобалистов. В рамках антиглобалистского движения на сегодня удается обеспечить более широкую постановку проблем окружающей среды во взаимосвязи с такими проблемами, как развитие местного самоуправления и инициатив локальных сообществ, сохранение рабочих мест, борьба против господства ТНК, финансовых спекуляций и диктата международных финансовых институтов, защита прав иммигрантов, обуздание гонки вооружений и т.д. Слабой стороной антиглобализма является его идейная и структурная гетерогенность. Принимая во внимание тенденции последних лет, уместно сделать предположение о возможности переструктурирования антиглобалистского движения, которое может произойти в первую очередь по причине сближения части сил антиглобализма с рядом влиятельных государственных и негосударственных акторов. Фактической основой такого сближения может стать стремление к преобразованию мирового порядка, преодолению однополярности и созданию благоприятных предпосылок для решения глобальных проблем. Вместе с тем в краткосрочной перспективе платить за преодоление однополярности придется и по «экологическому счету», поскольку и локальные природоохранные задачи, и участие в международных программах, направленных на недопущение дальнейшей дестабилизации окружающей среды в глобальном масштабе, оказываются на периферии политической повестки как глобального гегемона, так и тех государств, которые ориентированы на достижение многополярного мира.

Таким образом, ситуация, в которой сегодня должны решаться глобальные экологические проблемы, отличается исключительной сложностью. Упадок влияния дискурса устойчивого развития как бы выступает подтверждением пессимистических оценок в отношении скоординированных усилий международного сообщества, вместо которых сегодня все отчетливее

наблюдается возврат к приоритету национально-государственных интересов. Как отмечает В. И. Данилов-Данильян, «изменение такой ситуации возможно только после существенных сдвигов в общественном восприятии проблематики устойчивого развития, а для таких сдвигов, по-видимому, необходимо дальнейшее усиление угроз цивилизации и еще более яркие их проявления, чем известные сегодня»[1]. Последнюю оценку можно даже усилить.: Сдвиги в поведении политических акторов может вызвать не просто интенсификация проявлений экологического кризиса, но какое-то локализованное во времени масштабное катастрофическое событие, связь которого с антропогенным воздействием на окружающую среду будет убедительно подтверждена. Однако режим ожидания катастрофического события – стратегия далеко не лучшая. Очевидно, что политический дискурс или программа, нуждающиеся для своей реанимации в подобном событии, начинают утрачивать связь с повседневной реальностью. Не исключено, что и в случае природного катаклизма, обусловленного антропогенным воздействием, произойдет не возрождение дискурса устойчивого развития, а появление какого-либо нового эколого-политического дискурса, иначе, чем прежде, увязывающего проблемы взаимоотношений человека и природы.

Переживающий кризис дискурс устойчивого развития, по всей видимости, ожидает конвергенция с позитивными или негативными дискурсами глобализации. Представляется маловероятным, что значимые в национальном или международном масштабе политические движения смогут добиваться успеха, ограничиваясь лишь проблематикой окружающей среды. Новый эколого-политический дискурс не будет маргинальным по отношению к ключевым проблемам, которые окажутся в центре политических дебатов

[1] Данилов-Данильян В.И. Устойчивое развитие // Глобалистика: Энцикл. / Под ред. И.И. Мазура, А.Н. Чумакова. – М.: Радуга, 2003. – С. 739.

ближайших десятилетий XXI века. Можно предположить, что будущая дискурсивная доминанта, наряду с требованиями недопущения дестабилизации глобальной окружающей среды и обеспечения гарантий социальных прав, скорее всего, будет включать и требования справедливого миропорядка.

Разумеется, изучение эколого-политических дискурсов не может претендовать на роль универсального подхода в экосоциальных исследованиях. Однако хотелось бы подчеркнуть, что этот подход, пожалуй, в наибольшей степени благоприятствует междисциплинарной кооперации. Анализ эколого-политических дискурсов как продукта взаимодействия акторов, представляющих политику, бизнес, науку, гражданское общество может придать дополнительный импульс развитию экосоциологии, экополитологии и экофилософии. Он может дать немало и для науковедов, специалистов по экологическому праву, экономистов, занимающихся проблематикой экстерналий и другими аспектами экономики окружающей среды. В российских условиях, пока не слишком благоприятных для интенсивного развития экосоциальных исследований, подобная междисциплинарная кооперация может отчасти восполнить слабость институциональной базы этих дисциплин[1].

Анализ эколого-политических дискурсов можно также рассматривать как необходимую составляющую изучения экологической культуры. Согласно О. Н. Яницкому, экологическая культура – «ценностное отношение некоторого

---

[1] Разумеется, было бы неправильно списывать все проблемы только на слабость институциональной базы, недостаток финансирования, невнимание политических инстанций и т.п. Очень многое зависит и от активности ученых, заинтересованных в продвижении соответствующих направлений научного знания. Так, на последнем Всероссийском социологическом конгрессе (Москва, октябрь 2008 г.) работу секции по экосоциологии удалось организовать в первую очередь благодаря усилиям О.Н. Яницкого. В то же время секции по экополитологии не были организованы ни на последнем Всероссийском конгрессе политологов (Москва, ноябрь 2009), ни на предыдущем (Москва, октябрь 2006).

социального субъекта (индивида, группы, сообщества) к среде своего обитания: локальной, национальной, глобальной. Это отношение формируется в ходе практического освоения мира человеком (познавательных, хозяйственных, обучающих и иных практик), фиксируется в нормативно-ценностных системах и реализуется в действиях социальных акторов и институтов»[1]. При этом смена дискурсивной доминанты с полным основанием может рассматриваться в качестве индикатора значимых изменений экологической культуры.

Важной задачей представляется изучение особенностей эколого-политических дискурсов в России. Как можно видеть на примере полемики А.И. Солженицына и А.Д. Сахарова[2], одним из поводов которой послужили алармистские прогнозы «Пределов роста», в обсуждении социальных и политических аспектов экологических угроз неизменно воспроизводятся фундаментальные дилеммы русской общественной мысли. Когда же в современных российских условиях предпринимаются целенаправленные попытки политизации экологического движения, тем более – создания партии зеленых, очень быстро обнаруживается, что та или иная версия «зеленой» политической платформы не может консолидировать даже тех, для кого проблемы окружающей среды являются приоритетными. Как подчеркивает Н. Самовер, «предыдущие опыты политизации экологического движения в России показали, что оно неизбежно раскалывается на два течения, каждое из которых имеет преданных адептов, – левое, симпатии которого простираются от социал-

[1] Яницкий О.Н. Экологическая культура: Очерки взаимодействия науки и практики. – М.: Наука, 2007. – С. 17.
[2] Солженицын А.И. Письмо вождям Советского Союза. – Париж: YMCA-press, 1974; Сахаров А.Д. О письме Александра Солженицына «Вождям Советского Союза» // Сахаров А.Д. Тревога и надежда. – М.: Интер-Версо, 1991. – С. 63–72.

демократии до анархизма, и правое с выраженной традиционалистской и националистической окраской»[1].

Из этого отнюдь не следует, что экологически ориентированное социальное действие не имеет в России серьезного потенциала. Достаточно вспомнить, что в 2000 г. было собрано более 2 млн. подписей в поддержку проведения референдума о запрете ввоза в Россию ядерных отходов и о восстановлении самостоятельного природоохранного ведомства. В 2006 г. многотысячные протесты против строительства участка трассы Тихоокеанского нефтепровода в непосредственной близости от оз. Байкал проходили при более или менее активном участии представителей почти всего спектра политических сил, включая активистов «Единой России»[2]. Иначе говоря, консолидирующую роль в современной России может играть экологическая проблема, привлекающая к себе внимание различных политических сил, но никак не партия зеленых, практически лишенная электоральных перспектив в качестве самостоятельной силы, или же стоящая на грани утраты собственной идентичности в рамках широкой политической коалиции. Связь экологии и политики в нынешних условиях – это по преимуществу вопрос не электоральной, а коммуникативной демократии.

---

[1] Самовер Н. Миссия невыполнима? // Неприкосновенный запас: Дебаты о политике и культуре. – М., 2006. – № 2. – С. 146.
[2] Честин И. «Шашечки» или ехать? // Неприкосновенный запас: Дебаты о политике и культуре. – М., 2006. – № 2. – С. 151.

Рефераты

ХУБЕР Й. ЭКОСОЦИОЛОГИЯ.

HUBER J. Umweltsoziologie. – Mode of access: http://www.soziologie.uni-halle.de/huber/docs/umweltsozioligie.pdf

Целью статьи профессора Йозефа Хубера (университет Мартина Лютера, Галле–Виттенберг, ФРГ) является изложение основных положений экосоциологии, изучающей прямые и обратные связи между человеческим обществом и окружающей природной средой, а также условия поддержания равновесия в этом взаимодействии. Он исходит из того, что их взаимовлияние (открытое, а потому диффузное, изменчивое и порой непредсказуемое), с одной стороны, опирается на *коммуникации* в обществе, а именно специфические формы общения людей в процессе их познавательно-трудовой активности. С другой стороны, оно протекает в специфическом пространстве, где *организация* их действий и институтов неотделима от ограничений, налагаемых природой на общество.

Хорошо известно, что понятие *окружающей среды* включает условия обитания и деятельности человека, заданный ему природный и созданный им материальный (техногенный) миры. Именно общественное производство изменяет их, воздействуя прямо или косвенно на окружающую среду. Это воздействие, во всем многообразии его последствий, радикально усилилось в эпоху научно-технической революции, когда масштабы деятельности человека стали сравнимы с влиянием глобальных природных катаклизмов[1]. В широком смысле в данное понятие могут быть включены материальные и духовные обстоятельства существования и развития общества, а в узком – лишь природные. Поэтому, подчеркивает автор, в социологии оно обладает конкретным экологическим смыслом и в этом отношении отличается от его

[1] См.: Krämer K. Die soziale Konstitution der Umwelt. – Wiesbaden: VS, 2008.

абстрактных трактовок в системной теории, то есть от неспецифичного понятия окружающей среды, в частности, в психологии восприятия и поведения. Согласно утверждениям наук об окружающей среде, оно касается геосферы и биосферы, а точнее жизненного пространства человека (антропосферы), включая природные ресурсы и их использование. Природные ресурсы – это естественные субстанции, используемые как источники средств существования людей (минеральные, земельные, водные, лесные и т.д.). В ходе же производства и потребления растрачиваются ингредиенты подсистем окружающей среды – атмосферы, почвы (литосфера), водоемов и океанов (гидросфера), а также животного мира. Речь идет о совокупности необходимых для жизни на планете факторов, определяемых как условия существования. Их разделяют на климатические, географические, геоморфологические (рельеф), биотические (влияние живых организмов), антропологические (влияние человека), подчеркивая при этом их непосредственное или опосредствованное воздействие. Различают также максимальные и минимальные значения таких факторов, за пределами которых существование жизни невозможно.

Экология как самостоятельная наука об отношениях живых организмов и их сообществ между собой и с окружающей средой, сформировалась к началу XX в., а до этого времени ее предмет изучался в рамках биологии. В связи с усилившимся воздействием человека на природу она приобрела с середины XX века особую важность в качестве основы рационального природопользования и сохранения жизни, а сам термин «экология» – более широкий смысл. Поскольку человеческая деятельность включена в сложные причинно-следственные связи с природой, она имеет обширный спектр последствий. В силу этого с 1970-х гг. складывается экология человека, или социальная экология, изучающая закономерности взаимодействия общества и окружающей среды, а также практику ее охраны. Она включает различные философские, социологические,

экономические, географические и другие аспекты (в т. ч. экология города или экологическая этика). К этому периоду относятся и декларации об «экологизации» науки, отражающие осознание важнейшей роли экологических знаний и понимание того, что деятельность людей не просто наносит вред окружающей среде, но и, изменяя привычные условия, угрожает самому их существованию.

Обмен веществ и энергий современного индустриального общества в охватывающем их пространстве называется *индустриальным метаболизмом*. Индустриальный метаболизм характеризуется динамической изменчивостью, сочетанием постоянных структур с недолговечными элементами, а рассмотрение его экосистемных компонентов относится к предметной области *индустриальной экологии* (с. 641). Нанесение ущерба среде обитания (загрязнение или заражение воздуха, воды, почвы, истребление флоры и фауны) отражает, таким образом, патологии индустриального метаболизма и указывает на угрозу индустриальной экологии. Типичными проблемами таковой являются изменения гео- и биосферных условий жизни (например, климатические изменения). К ним также относятся деградация и количественное сокращение природных ресурсов, нарастающая опасность техногенных катастроф, отравлений и инфекций. С неизбежностью встает вопрос об экологическом кризисе, о нарушении взаимосвязей внутри экосистемы планеты или о необратимых явлениях, вызванных антропогенной активностью. Не случайно, что порожденные эволюцией человечества экологические проблемы, активизировали ряд общественно-политических движений, выступающих против отрицательных последствий научно-технического прогресса[1].

---

[1] См.: Opp K.D. Aufstieg und Niedergang der Ökologiebewegung in der Bundesrepublik // Umweltsoziologie / Hrsg. von A. Diekmann, C. Jäger. – Opladen: Westdeutscher Verl., 1996. – S. 350–379; Kriesi H., Giugni M. G. Ökologische Bewegungen im internationalen Vergleich: Zwischen Konflikt und Kooperation //

Экосоциология в ее современном виде может трактоваться, по замечанию автора, в широком или узком смысле. Широкое понимание означает исследование проблем окружающей среды науками об обществе, граничащее с ее постижением в науках о природе и технике. Оно содержит анализ всех функциональных систем общества и жизненных аспектов, обладающих экологической окраской. В узком понимании из нее исключаются вопросы управления, права, экономики и техники, которые воспринимаются как темы политологии, юриспруденции, экономики, инженерного дела и т.д. Дискурс об окружающей среде ограничивается вопросами экологического сознания и поведения (хотя нельзя отвергать также принадлежность последних к предметной области философии, психологии и педагогики). Балансируя между ними, данной дисциплине было сложно найти собственный исследовательский профиль. В любом случае, пишет Хубер, при определении своих задач экосоциология всегда апеллировала к *междисциплинарности*. Ее объектом стало толкование закономерностей и конфигураций взаимодействия общества со средой обитания, многообразие связей социальных модификаций с изменениями жизнеобеспечивающих предпосылок.

Важнейшими областями экосоциологии при этом выступают:

– экологическое сознание и экологическая этика;

– движения по защите окружающей среды и экологическая политика;

– экологический дискурс;

– разработка экологического законодательства и связанная с проблемами окружающей среды управленческая деятельность;

– экологические подходы к организации производства, экологический менеджмент;

– экологические подходы в частном домохозяйстве (поведение

Ibid.– S. 324–349.

потребителей во взаимосвязи с их стилем жизни и социальной средой);

– учет всех вышеперечисленных аспектов в контексте решения глобальных экологических и социальных проблем (в особенности отношений между Севером и Югом).

Характеризуя каждую из указанных тематик, Хубер констатирует, что на волне взлета «зеленых движений» (1970-е годы**)** произошло упрочение *экологического сознания* населения развитых стран мира. Согласно формулировке Германского совета экспертов по вопросам защиты окружающей среды, именно способ восприятия и осмысления условий сохранения жизни на планете стимулирует поиски путей преодоления экологического кризиса. В этом смысле экологическое сознание выступает составной частью проекта культурного и политического консенсуса наций, о чем свидетельствует также реакция общества на лозунги движения «зеленых». Природоохранная деятельность стала сегодня профессией, она институционализирована во множестве сфер – в науке, образовании, СМИ, партиях и общественных объединениях, на крупных предприятиях и малых фирмах. Такие перемены, бесспорно, привели к значительным успехам, особенно при очистке воздуха и водоемов, при переработке отходов. Вместе с тем экологические проблемы сохраняются, а в некоторых отношениях становятся еще более острыми.

Как подчеркивает автор, нельзя забывать о том, что суждения об окружающем мире радикально изменялись в последнее время. На протяжении веков в сознании человека, в общем-то, отсутствовали идеи экологически мотивированной критики отдельных схем модернизации общества. В настоящее время спектр отношений людей к миру природы распределяется в биполярном семантическом поле: между материалистически-утилитаристской и «пост-материалистически»-идеалистической позициями (с. 642). На этом фоне Хубер считает оправданным разграничение антропоцентристского и биоцентристского

подходов к этической проблематике взаимоотношений человека и природы. Первый выводит принципы и нормы экологического поведения из картезианской программы. Эта точка зрения, провозглашая человека «хозяином и господином природы» и учитывая его просвещенно-прагматический интерес к ней, тем не менее, признает, что естественные условия существования следует беречь как ядро жизни. Вторая, напротив, отвергает принцип «исключительности» человека и включает его в глобальную биофизическую систему. По мнению автора, большинство населения индустриально развитых стран в своем отношении к окружающей среде так или иначе воспринимают обе позиции, но все же преобладает антропоцентристско-утилитарный подход (особенно среди представителей бизнеса, инженерно-технических работников и ученых, занимающихся естественными науками).

Обращаясь к проблематике экологического дискурса, автор отмечает, что этот дискурс, как и всякая коммуникация, протекает в тематических циклах, обладающих различными векторами и фазами. Так, в 1970-е годы был популярен *дискурс [экономического] роста*, основанный на критическом переосмыслении императива прогресса. Однако наряду с рассуждениями о «пределах роста» и даже о «нулевом росте», первые концепты ориентировались на многообразие форм органического, селективного, раздельного и качественного роста.

К середине 1980-х годов утвердился *дискурс модернизации* (*Modernisierungsdiskurs*), подчеркивающий различия между превентивными мерами воздействия на окружающую атмосферу (фильтры, очистные сооружения, катализаторы выхлопных газов) и интегральными решениями проблем экологии (использование экологически «дружественных» материалов и технологий). Благодаря этому появилась возможность смягчить конфликт между экологией и экономикой, так как интегральное технологическое

обновление неотделимо от предварительной и синхронной модернизации в других функциональных областях. Вместе с тем новации нуждаются в правовых и финансовых инструментах управления индустриальным метаболизмом, а также в политической и духовной перестройке самого стиля политики, направленной на формирование сознания граждан и их образа жизни.

В период с 1986 до начала 1990-х годов на переднем плане оказался *дискурс риска (Risikodiskurs)*, обращенный к последствиям развития ядерной энергетики, химического производства, автомобильного движения и генетических технологий. Вопрос о том, каковы критерии приемлемости новых технологий и связанных с ними рисков приобрел особую актуальность в рамках обсуждения таких тем, как клонирование, новые формы питания, синдром коровьего бешенства.

Конференция ООН по проблемам окружающей среды и развития (Рио-де-Жанейро, 1992 г.) заложила основы *дискурса устойчивого развития* (*Nachhaltigkeitsdiskurs*). Этот дискурс ориентировал на достижение соответствия между масштабами и темпами экономического развития и несущей способностью экосистем. Кроме того, внимание акцентировалось на принципах справедливости распределения доходов и получаемых выгод при использовании природных ресурсов. В рамках общего дискурса устойчивости могут быть выделены три основных варианта ответа на вопрос о путях достижения устойчивого развития. 1) *Дискурс достаточности* (*Suffizienz-Diskurs*) продолжает линию рассуждений о «пределах роста» и призывает к отказу от нерационального потребления, к установлению производственных и транспортных ограничений экономического развития. 2) *Дискурс экоэффективности* (*Ökoeffizienz-Diskurs*) фокусирует внимание на конкретных путях экологической модернизации, сокращения потребления природных ресурсов через наращивание эффективности их использования, вторичную

переработку и распространение безопасных для окружающей среды технологий. 3) В противоположность этому *дискурс экологической,* или *метаболической, консистенции* (*ökologischen* oder *metabolischen Konsistenz*) делает ставку на инновации. Речь при этом идет об использовании неуглеродных видов энергии (например, солнечной или ветровой), экологически чистых способах переработки топлива, использовании новых материалов, безвредных продуктов. Именно этот путь, по заключению автора, находит отражение в нынешнем дискурсе об инновациях в сфере защиты окружающей среды.

Обращаясь к оценке политических мероприятий в сфере охраны окружающей среды, Хубер указывает на необходимость комплексного рассмотрения основных акторов соответствующего политического процесса, селекции конкретных мероприятий, а также политического стиля. В Германии вплоть до конца 1990-х экологическая политика представляла собой своеобразный поиск баланса между требованиями «зеленых» и потребностями индустрии. На принятие политических решений большое влияние оказывали как общественное мнение, так и заключения экспертов, обосновывавших необходимость природоохранных мероприятий. Так, сегодня в Германии действует более 800 законодательных актов по проблемам защиты окружающей среды, 2770 предписаний и примерно 4690 экологических инструкций. Кроме того, существует более 150 перечней различных экологических стандартов. Наконец, следует учитывать и набирающий силу процесс приведения национального экологического законодательства в соответствие с нормами и предписаниями институтов Европейского союза.

Следующий этап развития экологической политики в 1990-е годы характеризовался стремлением к согласованию позиций основных акторов и политических течений. В условиях сотрудничества концернов и экологических

ассоциаций при решении вопросов природоохранной деятельности становится возможным обновление правовой базы. Предпочтение отдается косвенным актам регулирования, в частности, вменению ответственности за совершенные действия и их последствия, использованию таких инструментов, как эконалоги и субвенции. Эти политические меры призваны сформировать гражданско-правовые и экономические рамочные условия для поддержки действий по защите окружающей среды со стороны бизнеса и частных домохозяйств. При этом укрепляется практика участия в процессе принятия решений широкого круга акторов.

Как бюрократическое регулирование, так и политика, основанная на открытости и общественном участии, имеют свои преимущества и недостатки. Так, вряд ли будет оправданным полный отказ от санкций и государственного контроля в условиях, когда значительную роль играют законодательно установленные экологические стандарты. Прямое вмешательство органов управления часто позволяет достичь быстрого результата. Однако такого рода быстрота нередко сопряжена с нерентабельностью, чрезмерным администрированием и поспешными нововведениями. В отличие от этого, ориентированная на координацию и изменение контекста модель регулирования позволяет стимулировать эффективные нововведения в сфере природопользования. Ее слабость состоит в том, что успехи здесь, хотя и возможны, но только до тех пор, пока в обществе бытует необходимый кооперативный климат. Если же на передний план выходит столкновение интересов, то практически неизбежным становится возврат к регулированию при помощи разветвленной системы контроля.

Не случайно, поэтому, в статье Хубера сделан акцент на особенностях экологического поведения потребителей. К числу граждан с высоким уровнем экологического сознания принято относить тех, кто готов расходовать

значительные суммы на товары, удовлетворяющие экологическим требованиям. Согласно таким критериям потенциал «экологического» потребления в ФРГ составляет 60% населения. Однако экологическая мотивация преобладает лишь у 35% потребителей, тогда как остальные 25% не придают большого значения задачам сохранения окружающей среды. По сути дела, существенными мотивами приобретения экопродуктов являются собственное здоровье и стремление к более высокому качеству потребления. Здесь, по мнению автора, проявляет себя скорее антропоцентристское утилитарное сознание.

Анализ данных экологического баланса продуктов и экологического аудита производства свидетельствует о том, что 60–80% воздействий на окружающую среду являются следствием концептуальных решений, принятых еще на стадии исследований и разработок. 20–30% воздействий сопряжены с процессом производства и примерно 10–20% – с конечным потреблением продукта. Поэтому основная проблема заключается не столько в преодолении реального разрыва между экологическим сознанием и потребительским поведением, сколько в экологических инновациях, являющихся результатом согласования различных позиций исследователей, разработчиков, производителей, инвесторов и представителей контролирующих органов. При этом потребителям отводится важная функция селекции предлагаемых товаров и услуг, осуществляемая посредством платежеспособного конечного спроса[1].

В заключение автор останавливается на перспективных направлениях глобальной экологической политики. К ним, во-первых, относятся экологические инновации, ориентированные на декарбонизацию энергетической базы, обеспечение безопасности использования материалов и

---

[1] Steinle C., Thiem H., Böttcher K. Umweltschutz als Erfolgsfaktor – Mythos oder Realität? // Ztschr. für Umweltpolitik und Umweltrecht. – Frankfurt a. M., 1998. – Jg. 21, H. 1. – S. 61–78; Gunter S., Ahlheim M. Ökonomische Ökologie. – B.: Springer, 1996.

продуктов, экологически обоснованное применение генетических технологий в химии и сельском хозяйстве. Во-вторых, Хубер подчеркивает возрастающее значение координации экологической политики на международном уровне, в особенности в таких областях, как климатические изменения, биологическое разнообразие, сохранение тропических лесов. Потребление природных ресурсов в новых индустриальных регионах мира (Мексика, Бразилия, государства АСЕАН, прибрежные районы Китая, отчасти Индия) приближается в настоящее время к уровню старых индустриальных регионов. Однако с учетом численности населения новых индустриальных стран этот уровень уже вскоре может быть превзойден. Поскольку же эти страны нельзя более относить к числу бедных и слаборазвитых, их участие в решении глобальных экологических проблем должно стать более ощутимым. Наконец, весьма сложной и далекой от решения проблемой является противоречие между формированием в структуре ООН механизмов международного экологического управления и глобальной гегемонией США.

С.Г. Ким

ЛЕМКЕ Т. ПРИРОДА В СОЦИОЛОГИИ: ОПЫТ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ПОЗИЦИИ.

LEMKE T. Die Natur in der Soziologie: Versuch einer Positionsbestimmung // Leviathan. – Wiesbaden, 2007. – Jg. 35, N 2. – S. 248–255.

В социологической традиции осмыслению отношений природы и общества не уделялось до недавних пор должного внимания. Причины, по мнению Томаса Лемке, профессора университета им. Гете, Франкфурт-на-Майне, Германия, лежат, прежде всего, в истории формирования социологической дисциплины и ее предметной области. Обособление от климатических, географических или биологических подходов к объяснению социальных

феноменов играло решающую роль на начальном этапе разработки дисциплинарного профиля. Если у К. Маркса и Г. Спенсера – провозвестников социологического мышления – еще отсутствует четкое разграничение понятий «природа» и «общество», то у Э. Дюркгейма, М. Вебера и Г. Зиммеля уже редки отсылки к внесоциальной реальности. Базовым для самоопределения социологической науки становится требование «объяснять социальное социальным».

В этом конститутивном дуализме, в полной мере обозначившимся в развитии социологической мысли со второй половины XIX века, «природа» образует, в лучшем случае, фон для профессионального воображения. В пору становления новой области научного знания такой зауженный взгляд на мир был, вероятно, оправдан, но, начиная с 1970-х годов, пришло понимание, что с «изгнанием природы из социологии» дольше мириться нельзя. Толчок к переориентации дал экологический кризис (внезапные природные катастрофы), столкновение с проявлениями которого вызвало широкую общественную дискуссию о «пределах роста». На интерес к экологической проблематике повлияла также активизация феминистского движения, борьба за права сексуальных меньшинств и эксперименты по применению генных и репродуктивных технологий.

Впоследствии «вопрос о природе» получает альтернативный ответ. Натуралистическая концепция предлагает интегрировать в теорию «забытые» или «вытесненные» природные факторы общественной жизни. Противоположный, социоцентрический подход сосредотачивается на дальнейшей разработке установленного инструментария социологического анализа и перенесении его на новые исследовательские поля – причем подразумевается, что релевантность природно-вещественных процессов регулярно подтверждается объяснением социальных феноменов. В первом

случае, общественный процесс рассматривается как выражение и поиск наилучшего приспособления к специфическим условиям окружающей среды и биологическим особенностям. Теоретический спектр анализа простирается здесь от экологических исследований до социологической интерпретации эволюционно-биологической концепции.

Сторонники социоцентризма отстаивают конструктивистский подход к социальным процессам и структурам. В этой теоретической перспективе образуется гетерогенный ансамбль разных аналитических форм, включающий и системную теорию Н. Лумана, и культуралистские теории риска М. Дуглас и А. Вильдавского, теорию процесса обучения К. Эдера, а также теорию рефлексивной модернизации У. Бека. Различаясь в частностях, эти теории, в общем, трактуют природу как объект социальной коммуникации и практической ассоциации. В центре обсуждения находятся конструкции восприятия и культурных схем.

С точки зрения автора, ни один из этих теоретических подходов не дает удовлетворительного ответа на запрос о методах социологического изучения природных феноменов. Натуралистическая позиция односторонне показывает связь общества и природы, ограничивая внимание энергетическим и материально-вещественным обменом, игнорируя процесс символического освоения и культурного опосредования. Социоцентрическая позиция, столь же односторонне, подчеркивает свой интерес именно к последним сторонам общественных процессов, настаивая на автономности, независимости развития общества от внешней природы.

Однако нынешняя дискуссия по поводу двух актуальных сегодня проблем – нерефлексивного отношения к антропологической дифференциации между человеком и не-человеческими существами и к эссенциалистскому понятию природы – протекает именно в рамках этих «однобоких», по мнению автора,

представлений. Обе вышеназванные позиции исходят в своей аргументации из принятого в социологии толкования человеческой ассоциации. Между тем исторические и этнографические исследования показывают, что животные, растения, умершие предки, боги и другие сущности могут в каждом конкретном обществе представать как его члены. Соответственно вызывает сомнения тезис о том, что социальными акторами могут быть исключительно живые люди.

В нетривиальном направлении движутся размышления таких авторов, как Г. Линдеманн, Б. Латур и др., которые утверждают, что и человеческие и не-человеческие существа в равной мере могут быть способными к действию и выступать как социальные акторы. Таким образом, открывается новая предметность социологического исследования: изучение того, как в социальных процессах решаются вопросы, какие сущности и при каких условиях становятся / не становятся членами общества. Сегодня, например, вызывает полемику следующая тема: может ли зародыш считаться членом правового сообщества? Могут ли животные претендовать на права и, следовательно, можно ли им приписывать способность к действию? Бесспорно, проблема признания новых потенциальных членов общества вызывает трудности, но все же нельзя не согласиться с тем, что антропологическая дифференциация должна стать предметом критического анализа социологов.

Второй проблемный комплекс образует смешение эпистемологических и онтологических вопросов. Конечно, важно сохранить познавательно-теоретическую программу денатурализации в социальных науках и стремиться к непредвзятому конструированию социальной реальности, но было бы ошибкой отбросить представление о стихийности и противодействии природы формам ее социального освоения и обуздания. При более детальном рассмотрении способов конструирования выясняется, что, защищая, например, тезис о «конце природы» в связи с беспрецедентным расширением

возможностей биотехнологической и экологической интервенции, такие авторы, как У. Бек, Э. Гидденс, Н. Розе, лишь убедительно стилизуют область незатронутой человеческой деятельностью природы с помощью очень узко истолкованного понятия природы. «Чисто природная среда» – безгранично изменчивая, с одной стороны, и аисторическая, фатальная с другой, – принимается как самоочевидное исходное допущение, а не самостоятельная проблемная предметность. Ей отводится лишь пассивная роль. Разговор ведется (что уже было показано выше) либо о детерминирующей предпосылке общественной деятельности, либо о результате, о плоскости проецирования социальных практик. Субстанциональность самой природы не принимается в расчет.

Автор призывает к преодолению этой ложной альтернативы и разработке постэссенциалистской концепции природы. В настоящее время такие попытки предпринимаются во многих социологических дисциплинах: в социологии науки и техники, в гендерных исследованиях, в социологии тела и экосоциологии. В данной связи Лемке ссылается на теорию сети акторов М. Каллона[1] и Б. Латура[2], теорию науки Д. Харауэй[3], М. Серреса[4] и И. Стенгерс[5], концепцию общественного отношения к природе Э. Беккера и Т. Яна[6], концепт

---

[1] Callon M. Some elements of a sociology of translation: Domestication of the scallops and the fishermen of St. Brieue Bay // Power, action and belief: A new sociology of knowledge? / Ed. by J. Law. – L: Routledge & Kegan Paul, 1986. – P. 196–229.

[2] Latour. B. Wir sind nie modern gewesen: Versuch einer symmetrischen Anthropologie. – B.: Akademie, 1995.

[3] Haraway D.J. Die Neuerfindung der Natur: Primaten, Cyborgs und Frauen. – Frankfurt a. M.; N.Y.: Campus, 1995.

[4] Serres M. Der Naturvertrag. – Frankfurt a. M.: Suhrkamp, 1994.

[5] Stengers I. The invention of modern science. – Minneapolis: Univ. of Minnesota press, 2000.

[6] Soziale Ökologie: Grundzüge einer Wissenschaft von der gesellschaftlichen Naturverhältnissen / Hrsg. von E. Becker, T. Jahn. – Frakfurt a. M.; N.Y.: Campus,

природы в социологических теориях Т. Бентона[1] и П. Диккенса[2]. Сюда же примыкает концепция «биосоциальности» П. Рабинова[3], рассматривающая социальные импликации биомедицинских и биотехнологических практик. Все эти исследования объединяет желание уйти от традиционных социально-научных «трансценденталий» вроде дуализма человека и животного или различия природы и культуры, чтобы открыть путь для их эмпирического наблюдения.

Указанные теоретические смещения меняют дисциплинарное самоопределение социологии и представление о разграничении естественных и социальных наук. По мнению автора статьи, дуализм натуралистического и социоцентрического понятий природы, должен быть заменен кооперативным диалогом. «Интеракция между обществом и природой образовала трансдисциплинарное поле, в которое естественные и социальные науки совместно могли бы привнести соответствующие компетентные пояснения и обоснования» (с. 252).

Этот взгляд больше, чем надежда на будущее. Уже сейчас можно наблюдать стирание демаркационной линии между, казалось бы, далекими, областями науки. В пользу данной тенденции говорит охватывающий многие дисциплины трансфер концепций, образцом которого может служить импорт лумановской категории «аутопоэзис».

2006.

[1] Benton T. Biology and social sciences: Why the return of the repressed should be given a (cautious) welcome // Sociology. – L., 1991. – Vol. 25, N 1. – P. 1–29.

[2] Dickens P. Linking the social and natural sciences: Is capital modifying human biology in its own image? // Sociology. – L., 2001. – Vol. 35, N 1. – P. 93–110; Dickens P. Society and Nature: Changing our environment, changing ourselves. – Cambridge: Polity, 2004.

[3] Rabinow P. Artifizialität und Aufklärung: Von der Soziobiologie zur Biosozialität // Anthropologie der Vernunft: Studien zu Wissenschaft und Lebensführung / Hrsg. von P. Rabinow. – Frankfurt a. M.: Suhrkamp, 2004. – S. 129–152.

Другой пример дают естественнонаучные подходы, которые при объяснении природных феноменов апеллируют к символико-смысловым процессам. Так биологическая теория эволюционных систем (developmental systems theory)[1] обнаруживает границы жесткого противопоставления культуры и природы при осмыслении биологических процессов. В ее основе лежит предположение, что биологические свойства вовсе не свидетельствуют о культурно-независимой и надисторической сущности, эти свойства являются результатом (а не причиной) процессов развития определенной комплексной системы, в которой социальные и психологические факторы также играют важнейшую роль. Таким образом, культура не противостоит природе, но конституционно входит в нее.

Обозначенная выше тенденция подводит к мысли, что пришло время отказаться от представлений о биологической и социальной детерминациях и поляризованного порядка науки, от отождествления «биологического с судьбой, а социального – с изменением» (с. 252). Намеченный новый ориентир возникает не только из теоретических оснований. Социология сегодня стоит перед чрезвычайно сложной – чтобы не сказать экзистенциальной – задачей. С одной стороны, оказывается, что социоцентрическая интерпретация недостаточна для адекватного обсуждения проблематики природы. Хотя с другой стороны, столь же неудовлетворительной кажется ревитализация существующего натуралистического объяснения. Социология вынуждена, поэтому, бороться одновременно за теоретическую и содержательную открытость естественнонаучных моделей объяснения и против усиливающихся тенденций натурализации социального, когда в изучении мозга и генома человека начинают видеть ключ к решению индивидуальных и коллективных проблем.

---

[1] Oyama S. The ontogeny of information: Developmental systems and evolution. – Durham (NC): Duke univ. press, 2000.

Следует задуматься о том, почему социологическое объяснение и толкование психо- и социобиологии, а также биокультурных и других новых научных концепций потеряло свое общественное значение. Если для объяснения фактов наркомании, насилия или безработицы все чаще используются аргументы биологической науки, то социологии непозволительно это игнорировать. Она должна поставить под сомнение аналитическую компетенцию такого рода трактовок и активно им противостоять. Дело не в укреплении старых барьеров в соответствии с девизом: общество – социальным наукам, природу – естественным наукам. Для социологов важнее оценить «возврат к природе» как шанс пересмотреть границы собственных базовых понятий и концепций, обновить области исследования. Это позволит распрощаться с антропоцентристской парадигмой и выверить дисциплинарное разделение труда между социальными и естественными науками. Такая антропологическая, онтологическая и научно-теоретическая «переустановка» открывает «третий путь» – по ту сторону натурализма и социоцентризма. Эвристический потенциал социологии заключен в соотносительной и рефлексивной перспективе трансформации представлений о разграничении природы и общества в самостоятельный предмет аналитического исследования.

У. Бек еще двадцать лет назад сформулировал тезис: «общество нельзя понять вне природы и природу – вне общества»[1]. В наше время необходимо пойти дальше. Именно потому, что эти категории не могут быть оторваны друг от друга, необходимо переосмыслить специфику дифференциации между ними. Какие исторические и культурные маркеры разделяют природу и общество? Как можно обрести «живую» социологию, для которой социальное будет не условием, а совместным произведением общества и природы? Подобная

[1] Beck U. Risikogesellschaft: Auf dem Weg in eine andere Moderne. – Frankfurt a. M. : Suhrkamp, 1986. – S. 107.

рефлексия не уводит социологию за собственные пределы, но позволяет углубить дискуссию о «природе в социологии».

Л.В. Гирко

КРЕМЕР К. ОКРУЖАЮЩАЯ СРЕДА И СОЦИАЛЬНОЕ НЕРАВЕНСТВО.

KRÄMER K. Umwelt und soziale Ungleichheit // Leviathan. – Wiesbaden, 2007. – Jg. 35, N 3. – S. 348–372.

Нынешние дебаты об экосоциологии, оживленные книгой У. Бека «Общество риска»[1], затрагивают, преимущественно, аспекты социологии риска: «экологическое поведение», ценностные предпочтения и отношения к природе различных социальных групп, в то время как вопросы социально неравных шансов использования потенциала окружающей среды остаются в тени.

Автор статьи Клаус Кремер (Рурский университет, г. Бохум, Германия) считает, что назрела необходимость в изменении проблемных акцентов. С этой целью он намерен прояснить перспективы применения категорий социально-структурного анализа к исследованиям окружающей среды, в частности, к осмыслению того, в какой мере экологические конфликты репродуцируют социальное неравенство.

В международных дискуссиях о распределении экоресурсов (в глобальном сопоставлении Север/Юг) центральное место обычно отводится межпоколенческому сравнению доступа к этим ресурсам, этическим позициям относительно их сохранения и восполнения. Однако, размышляя о тревожных симптомах общего ухудшения состояния окружающей среды, ученые неизбежно наталкиваются на условия жизни крайне бедного и потому наиболее социально уязвимого в ситуациях неблагоприятных климатических воздействий

[1] Beck U. Risikogesellschaft: Auf dem Weg in eine andere Moderne. – Frankfurt a. M.: Suhrkamp, 1986.

населения стран Африки, расположенных южнее Сахары, и стран Южной Азии. Очевидно, что для мер противодействия возникающим природным аномалиям – загрязнению почвы, дефициту пресной воды, уменьшению сельскохозяйственных полезных площадей – необходимы экономические, технологические и другие производственные мощности, отсутствующие здесь в силу недостатка средств. Ждать сдвигов в субъективном осознании целесообразности инновационных мер в данном случае недопустимо, утверждает автор. Индивидуальная ответственность едва ли может стать доминантой в организации социальной среды. Субъективность отражает социальную реальность посредством культурных штампов и воспроизводит то, что запечатлено в них.

Следовательно, внимание исследователей окружающей среды нужно сосредоточить на глобально неравных рисках подверженности экологическим кризисам и на стратегиях предупреждения и противостояния им. Необходимо также оценить зависимость таких стратегий от степени внешней помощи (например, поставки продуктов питания) и выявить социальные факторы, которые повышают или понижают экологическую уязвимость жителей этих стран. В число общепринятых критериев эффективности и полезности антикризисных действий, которым в экосоциологии отводится первостепенная роль, следует включать и критерий социальной справедливости распределения экоресурсов между разными группами населения.

Другая исследовательская забота автора – неравные возможности пользования благоприятными условиями естественной среды в индустриальных обществах. Среда обитания традиционно рассматривается как «общее благо», равно доступное каждому. Подобный образ мысли подтверждается программой «экологической модернизации». В последние годы предпринимаются многочисленные попытки обеспечить минимальные экологические стандарты

(например, чистой воды) для всех людей независимо от социальной принадлежности. При таком подходе постулируемое равное распределение качества среды можно представить даже как относительно более выгодное для экономически и социально обделенных групп.

Тем не менее, не следует забывать, что речь идет не о каком-то избыточном благе, но о благе предельно ограниченном и насущном. Поэтому обсуждение опасности вредных воздействий и стихийных бедствий явно недостаточно для полноты освещения проблем окружающей среды. По мнению Кремера, за основу нужно принять широкое понимание и переоценку всех важнейших функций окружающей среды с точки зрения различных социальных целей, что позволит выявить значение в данном контексте социологии неравенства. Необходимость такого рассмотрения проистекает также из задачи согласования конкурирующих притязаний на природные блага, которые можно удовлетворить лишь посредством вторичного перераспределения массы «экологического пирога». Автор задается вопросом, о каких объектах распределения можно говорить и как их оценивать на фоне социального неравенства и ищет ответ на него, прослеживая стратегии распределения природных источников жизнеобеспечения.

Прежде всего, следует различать первичное и вторичное распределения природного пространства. Первичное распределение охватывает качества среды регионов мира. С социологической точки зрения его можно не принимать в расчет, поскольку различные условия обитания, климат и растительные (вегетационные) зоны земли не являются результатом социальных процессов и могут объясняться эндогенной динамикой экологической системы. Вторичное распределение относится к антропогенным факторам значительного ухудшения качества окружающей среды. Для социологического исследования неравенства оно также имеет опосредованное значение, если эти факторы затрагивают всех

– и «бедных, и богатых». Случай социально индифферентного распределения назван Беком «нивелированием угрозы».

Одним из наиболее значимых измерений неравенства социального распределения является совокупность мер по улучшению качества окружающей среды, разрабатываемых в рамках экологической политики. Здесь важно, во-первых, выяснить, затрагивают ли эти улучшения все социальные группы, и, во-вторых, объяснить, насколько меры локализации, предохранения или компенсации от ущерба, нанесенного окружающей среде, согласуются с традиционными социально-структурными стандартами распределения и обременяют одни социальные группы больше, чем другие. Если отвлечься от монетарного эффекта распределения (денежного выражения приородоохранных мер), можно утверждать, что в результате мероприятий по улучшению качества среды социальная диспропорция ее распределения во всех регионах сокращается. В этом смысле прав, по-видимому, Мерк[1], утверждающий, что улучшение качества среды в прежде загрязненных областях приносит существенно большую пользу охватываемым локальным пространствам, потому что проблема устранения вредных воздействий здесь решается радикальнее, чем в менее загрязненных регионах.

Далее автор обращается к измерению социального распределения расходов по защите окружающей среды. Как выглядят в денежном выражении эти издержки в группах с разными доходами можно представить, если вычислить процентную долю таких затрат по отношению к среднегодовым доходам домохозяйства и затем сопоставить их относительную долю в группах с низкими доходами и в группах с наивысшими доходами. Опираясь на немногочисленные исследования данного предмета, автор констатирует, что

[1] Merk P. Verteilungswirkungen einer effizienten Umweltpolitik. – B.: Duncker & Humblot, 1988.

финансирование инвестиций по защите окружающей среды большим (в процентном отношении) бременем ложится на получателей низких доходов, чем на более благополучные в материальном отношении группы населения. Общеполитическая проблема распределения косвенных налогов состоит в том, что получатели небольших доходов показывают явно более высокую квоту потребления. Речь идет о релевантном затратам на экологические товары и услуги повседневной надобности (энергии, воде, уборке мусора и пр.) состоянии налогообложения. Спрос на эти товары и услуги лишь в малой степени зависит от гибкости цен, так что группы населения с низкими доходами испытывают относительно более сильное налоговое давление. И все же данные опросов, проведенных в Германии в 2004 г. на предмет определения уровня развития экологического сознания, свидетельствуют о готовности населения платить за улучшение окружающей среды.

Однако коллективный отклик на проблему регенерации среды не дает полного представления о неравных социально-структурных шансах использования природного потенциала. Сквозь призму приватной потребительской активности можно развернуто показать практики использования естественных ресурсов, источников энергии и природных веществ. Домохозяйство – это сфера и производства, и распределения, но также и скапливания отходов от использованных продуктов.

Для прояснения логики этого потребления автор обращается к концепции анализа материальных потоков (Stoffstromanalyse). В противоположность количественному анализу экологического балласта, разрушающих вредных воздействий среды, указанная концепция выдвигает на первый план качественный анализ общего «индустриального метаболизма», «расхода вещества» (Stoffdurchsatz) всей жизни общества «от колыбели до могилы» и, соответственно, экономики ресурсопотребления. В основе такого подхода

лежит убеждение в том, что потребительский оборот товаров и услуг в результате трансформирует материальный состав окружающей среды. Чтобы оценить интенсивность подобных изменений, нужно выявить затраты энергии, природных материалов и издержки загрязнения земных поверхностей, которые возникают, когда товары производятся, используются, обращаются и превращаются в отходы, иначе говоря, вычислить экологический баланс.

«Протяженность» и «плотность» сетей консуматорного обмена веществ, типичного для приватных хозяйств высокоиндустриального общества, позволяет интерпретировать его как непрерывное, технически поддерживаемое усиление функциональной взаимозависимости и горизонтальной связи.

Именно с точки зрения социально-структурного анализа восприимчивости к природной среде ощущается значительный дефицит концептов, позволяющих выявить интенсивность расходования природных материалов и энергии в быту относительно таких социологически релевантных переменных, как структура доходов и возможностей, образование, профессиональный статус, социальное окружение и жизненный стиль. С их помощью легче выделить структурно дифференцированные показатели «устойчивых поведенческих стандартов экологического потребления», оказывающих влияние на окружающую среду. Автор предполагает, что в той же мере, в которой неравны социальные ресурсы действия, неравны и шансы прямого и косвенного использования природной среды.

Понять, какие механизмы селекции при этом действенны и как они поддерживаются, можно, на взгляд Кремера, только оценив значение, которое придается при этом классическим ресурсам – деньгам, собственности и образованию. Для объяснения действия этих механизмов автор привлекает

предложенные Р. Крекелем[1] релевантные неравенству измерения действий: богатство, знания, отдельные ассоциации и ранги. Они характеризуют не только индивидуально неравное положение, но и потенциал власти (капитал, технологии и пр.) Если приложить эти измерения к практике освоения физической среды, то получим, по мысли автора, хотя и не достаточно точный, но относительно доступный индикатор сравнительной оценки базовых условий использования природных ресурсов в разных обществах. Мобилизация ресурсов в форме денег, собственности и инноваций – необходимое условие для улучшения (Inwertsetzung) природной среды. Пример выдачи патентов на опыты в области генной технологии говорит о монополизации их использования и подчинении порядку лицензирования.

Измерение ранга автор не считает существенным для выявления аспектов экологического неравенства и переключает внимание на измерение ассоциаций. Классический пример общинной собственности, альменда (неформальная договоренность о пользовании общими угодьями в традиционных общинах), имеет и современные аналоги. В наши дни разного рода международные организации также заключают многочисленные соглашения, регулирующие правила пользования ограниченными природными ресурсами. Основная их функция состоит в определении качественности окружающей среды как общего блага для государств-участниц договора, блага, которое можно использовать, сохранять и защищать только в кооперации.

Итак, обобщает автор, возможности рационального использования природной среды и улучшения ее качества зависят от исходных мобилизационных средств – денег, знаний и принадлежности к ассоциациям, которыми располагают социальные акторы. Структурно неравное

[1] Krekel R. Politische Soziologie der sozialen Ungleichheit. – Frankfurt a. M.; N.Y.: Campus, 2004.

распределение этих средств усиливает экологические выигрыши или проигрыши – групповые, классовые и национальные. Удельный вес и соотношение указанных, релевантных неравенству средств зависят от соответствующих общественных условий. В рыночных экономиках пользование ресурсами окружающей среды институционализируется, преимущественно, с помощью частного права. Эксклюзивность пользования природными благами, предоставленная собственникам, становится, таким образом, стратегическим ресурсом богатства.

Институты собственности закрепляют и развивают социальные модусы освоения, регенерации и использования специфического природного потенциала. Именно понятие собственности раскрывает социологический смысл асимметрии этих модусов, акцентирует точки напряжения в социальных отношениях по поводу использования физических объектов окружающей среды.

Однако, анализируя формы монопольного владения естественным запасом среды обитания, следует уточнить, что окружающая среда охватывает различные категории «благ». И предметом присвоения (личного или коллективного) могут быть лишь физические компоненты среды, но не ее качество. Кроме того, понятие владения лишь условно распространяется на такие природные элементы, как воздух, вода, земля. Последние выполняют комплексные экологические функции и в своей природной системной взаимосвязи предстают как «целое».

Использование, от кого бы оно ни исходило, влияет на качество среды, может улучшать или ухудшать ее. Уже У. Бек заметил, что ущерб от приватного распоряжения земными недрами ведет к «экологическому отчуждению», вредит естественному процессу развития. Это, впрочем, не означает, что институт собственности утратил свою главную функцию поддержания и воспроизводства

общественного богатства. Его жизнеспособность обнаруживает себя при идентификации социальных образцов освоения и регенерации потенциала окружающей среды. В известном смысле природные блага являются разновидностью «рентных благ», достающихся каждому в соответствии с его социально-экономическим положением. Такая форма присвоения подразумевает классическую модель рынка.

Доступ к специфическому потенциалу природной среды может регулироваться также другой формой собственности – общинной. С момента появления работы Гаррета Хардина «Трагедия общего достояния»[1] в литературе об экономике окружающей среды сложилось неверное, на взгляд автора, понимание того, что совместное пользование природными благами подразумевает потенциально неограниченное число пользователей, которые конкурируют между собой. Не лимитированное иерархическими решениями и ценообразованием освоение природных ресурсов неизбежно ведет к снижению их качества, поскольку каждый настроен лишь на собственную максимальную выгоду (дилемма альменды). В социальных исследованиях проблем экологии эта теория абсолютно законного собственнического интереса в русле неоклассической экономической модели подвергается сомнению. Например, для представителя американской экономической социологии М. Грановеттера[2] аналитически важна «встроенность» («embededdness») практик присвоения и использования в более широкий контекст социальных отношений и культурной деятельности. Он исходит из допущения, что сверхэксплуатации природных

[1] Hardin G. The tragedy of the commons // Science. – Washington, 1968. – Vol. 162, N 3859. – P. 1243–1248.
[2] Granovetter M. Economic action and social structure: The program of embeddedness // American j. of sociology. – Chicago, 1985. – Vol. 91, N 3. – P. 481–510.

ресурсов можно воспрепятствовать, если способы хозяйствования корректировать посредством социальных норм, правил и рутинных практик.

Автор ссылается также на мнение Э. Остром[1], которой неоклассическая модель экоэкономики кажется неполной и статичной, поскольку не учитывает институциональную аранжировку коллективного менеджмента природных ресурсов. Возможность влияния и контроля в модели Хардина также оспаривается, поскольку в ходе институциональных изменений меняются и условия деятельности. Свою критику теоремы альменды Остром подкрепляет эмпирическими данными, подтверждающими, что пользование природными запасами сообща необязательно ведет к необратимым последствиям их истощения.

На самом деле многие исследователи указывают на то, что общинная собственность конституирует специфическое отношение к собственности, подразумевающее определенные (хотя и неформальные) правила пользования природными богатствами, которых придерживается большинство акторов. Они приобретают повседневную значимость и обеспечивают эффективность использования жизненно важных природных резервов. Право собственности апеллирует здесь к представлению о кооперативном благе. Ни один пользователь не должен претендовать на исключительное право доступа к имеющимся в распоряжении сообщества ресурсам.

В связи с этим, автор считает важным уточнить само понятие общности. Типичным ее примером являются товарищества или объединения собственников со структурой, подобной товариществам, а также полицентрические сети кооперации, горизонтальные альянсы между

---

[1] Ostrom E. Governing the commons: The evolution of institutions for collective action. – Cambridge: Cambridge univ. press, 1990; Ostrom E., Gardner R., Walker J. Rules, games and common-pool resources. – Ann Arbor: Univ. of Michigan press, 1994.

коммунальными или иными административными органами, частными союзами вплоть до международных структур по защите различных видов глобального экологического достояния. Несмотря на все различия, общим знаменателем этих режимов пользования является то, что они не управляют через конвенциональные экономические рынки и не опираются на государственно-централизованные решения, а обращаются к горизонтальной системе консультаций и переговоров.

Третий вариант собственности занимает промежуточное место, так как не может быть однозначно причислен ни к модели, ориентированной на рынок, ни к кооперативной модели, но комбинирует обе формы собственности. Этот вариант можно рассмотреть на примере так называемых сертификатов, или квот (tradable permits), на комплексное природопользование, пользование недрами и пр. В настоящее время модель квоты на эмиссию стала применяться, прежде всего, как международный политический инструмент управления климатическими изменениями, чтобы на государственном уровне регулировать и лимитировать промышленную эмиссию парниковых газов. Такая квота дает право легально эмитировать выброс определенной массы вредных веществ в течение ограниченного времени. Для выдачи и перераспределения квот создан рынок действующего «права на загрязнение», политически регулируемый через механизм административного контроля. Разрешение на ограниченную эмиссию «загрязнения окружающей среды» опирается на правовую конструкцию, не допускающую произвола приватных решений и аллокации «свободного» рынка, но предполагающую подчинение объединенной системе правил, своего рода глобальной альменды.

В заключении автор еще раз подчеркивает социологическую значимость вопроса о неравных социальных перспективах снижения экологического балласта. Эмпирический анализ реального положения дел, с сожалением

резюмирует он, до сих пор отсутствует. Между тем включение аспектов социальной асимметрии в исследования проблем экоустойчивости актуально хотя бы потому, что широкая общественная поддержка защиты принципов природопользования может ослабеть во времена социально-экономической нестабильности.

Л.В. Гирко

ГЛОБАЛЬНОЕ ПОТЕПЛЕНИЕ КАК СОЦИОЛОГИЧЕСКАЯ ПРОБЛЕМА (Сводный реферат).

1. Lever-Tracy C. Global warming and sociology // Current sociology. – L., 2008 – Vol. 56, N 3. – P. 445–466.

2. Brechin S. Ostriches and change. A response to «Global warming and sociology» // Ibid. – P. 467–474.

3. Leahy T. Discussion of «Global warming and sociology» // Ibid. – P. 475–484.

4. Lever-Tracy C. Reply // Ibid. – P. 485–491.

Журнал *Current sociology* предлагает вниманию читателей дискуссию о том, могут ли проблемы глобальных изменений климата рассматриваться в качестве предмета социологического анализа. Дискуссия открывается статьей Констанс Левер-Трейси (университет Флиндерс, Австралия) «Глобальное потепление и социология» (1). Автор подчеркивает, что политические дебаты о глобальном потеплении до сих пор остаются на периферии внимания большинства социологов (если, конечно, основной областью их научных интересов не является экосоциология). С точки зрения Левер-Трейси, молчание социологического сообщества выглядит особенно странным на фоне постоянно множащихся подтверждений дестабилизации глобальной климатической системы. Разумеется, это молчание нельзя назвать полным. В 1990-е годы в

социологической литературе проблемы глобального потепления рассматривались в контексте анализа новых социальных движений, дискурса масс-медиа, обеспокоенности общества в связи с появлением новых рисков. Кроме того, вопросы климатических изменений, так или иначе, затрагивались в публикациях, посвященных социологически релевантным аспектам глобальной экологии. Так, Н. Штер в статье, опубликованной в 2001 г.[1], уделил значительное внимание глобальным изменениям климата как феномену, отражающему глубокие расхождения между экологией и экономикой. По мнению Штера, путь к преодолению этого противоречия открывает дематериализация экономики.

В большинстве учебников по социологии разделы, посвященные отношениям человека с окружающей средой, либо вовсе отсутствуют, либо – как в первых изданиях учебника Э. Гидденса[2] – занимают лишь несколько страниц. Предпринятый Левер-Трейси анализ заголовков и ключевых слов статей, опубликованных в ведущих англоязычных журналах по социологии в период с 2000 по 2005 г., показал, что такие термины, как «изменения климата», «глобальное потепление» и «парниковые газы» не встречаются ни разу, а в текстах статей они чаще всего упоминаются только в порядке перечисления основных экологических проблем.

Пытаясь найти причины такого невнимания социологов к проблемам климатических изменений, автор, прежде всего, обращает внимание на характерное для современного общества пренебрежение своим будущим. Наряду с этим, в социологическом сообществе сохраняется подозрительное отношение к натуралистическим объяснениям социальных фактов, в результате

---

[1] Stehr N. Economy and ecology in an era of knowledge-based economies // Current sociology. – L., 2001 – Vol. 49, N 1. – P. 67–90.

[2] Giddens A. Sociology. – Cambridge: Polity, 2000; Giddens A. Sociology. – Cambridge: Polity, 2001. (В издании 2001 г. Э. Гидденс этот раздел расширил).

чего авторитет специалистов в области естественных наук чаще всего игнорируется. Вместе эти два фактора вызывают слепоту в отношении фатальной конвергенции социального и природного времени, означающей запуск телеологического обратного отсчета возможной катастрофы. В ситуации, когда масштаб изменений природных процессов сокращается до временной шкалы человеческого общества, исследователи социальных феноменов продолжают рассуждать о дальнейшем сужении культурного горизонта, проявляющемся в стремлении получить немедленный результат и не задумываться о решении долгосрочных задач. Э. Хобсбаум в своей истории XX века[1] жаловался на то, что в конце этого века люди живут в «перманентном настоящем», особенностью которого является пренебрежение прошлым в сочетании с невниманием к будущему. Э. Гидденс усматривал в «разложении эволюционизма» и в «исчезновении телеологии» две наиболее заметные особенности новейшей стадии рефлексивного модерна. Многие социологи, даже не соглашаясь с известными суждениями Ф. Фукуямы и Ф. Лиотара, строят свою научную работу так, будто «конец истории» или постмодернистское исчезновение «больших нарративов» являются для них руководством к действию.

Начиная с К. Маркса, М. Вебера и Э. Дюркгейма социологическая традиция рассматривала природу в качестве некой фоновой константы, понимание и контроль которой постоянно возрастают благодаря росту научно-технических возможностей. Задача социологических исследований виделась в изучении социальной реальности независимо от данных естественных наук.

[1] Hobsbaum E. The age of extremes: The short twentieth century, 1914–1991. – L.: Joseph, 1994.

Только в конце 1970-х годов этот подход был поставлен под сомнение[1]. В духе «новой экологической парадигмы» специалисты по экосоциологии начали предпринимать усилия, направленные на преодоление барьеров между социальными и естественными науками, благодаря чему появилась возможность учитывать естественнонаучные данные в социологических исследованиях. В то же время доминирующую роль в социологии начали играть представления о социальной конструкции природы. И даже попытки предложить некий «средний путь», основанные на тезисе о «частичной независимости» науки и общества, в конечном счете, воспроизводят конструктивистский вывод о том, что научное знание лишь в редких случаях оказывается релевантным для социологов[2].

По убеждению автора, драматизм современной ситуации состоит в нарастающей необходимости перейти от «частичной независимости» к конвергенции науки и общества. Связано это с тем, что масштабы антропогенного воздействия на окружающую среду достигли критического уровня. В результате мы наблюдаем неожиданное и беспрецедентное ускорение изменений природных циклов. Природные и социальные изменения разворачиваются теперь в единой временной шкале. Например, таяние крупнейших массивов льда на планете могло бы без всякого антропогенного воздействия происходить на протяжении примерно 10 тыс. лет. Сейчас, однако, радикальные изменения климата могут произойти на протяжении нашей жизни или жизни наших детей. И если у нас есть еще время для неотложных действий, то измеряется оно десятилетиями или даже годами. Но именно эта

---

[1] Sociological theory and the environment: Classical foundations, contemporary insights / Ed. by R.E. Dunlap, F.H. Buttel, P. Dickens, A. Gijswijt. – Lanham (MD): Rowman & Littlefield, 2002.

[2] Lidskog R. The renaturalization of society? Environmental challenges for sociology // Current sociology. – L., 2001. – Vol. 49, N 1. – P. 113–136.

ограниченность временного горизонта ставит перед социологами важные задачи, от решения которых они не должны уклоняться.

Отвечая на критические высказывания К. Левер-Трейси, профессор университета г. Сиракузы (США) Стивен Бречин признает, что изменения климата представляют для человечества наиболее значительный вызов, реагировать на который необходимо в глобальном масштабе, быстро и хорошо продуманно (2). Однако он оспаривает основной тезис Левер-Трейси, объясняющий невнимание социологов к этой проблеме их предубеждением против «телеологии» и всего биологического. Социологи, в самом деле, нечасто обращаются к будущему, хотя есть примечательные исключения, например, работы Д. Белла или У. Бека. Что касается климатических изменений, то пока их влияние на будущее общества невелико, а объектом спекуляций становятся конкретные решения политиков, имеющие отношение к данной проблеме. Дистанцирование от биологических объяснений, как известно, стало одной из предпосылок роста социологического знания. Оно выражено известной формулой Дюркгейма: только социальные факты являются причиной социальных феноменов. Кроме того, окружающая среда является предметом специализированной области исследований, подобно таким темам, как семья, здоровье, феминистская теория, возрастные группы и т.д. Иначе говоря, экологическая проблематика является слишком узкой и специальной, чтобы быть частью социологического мэйнстрима.

Бречин указывает на то, что за последние 30–40 лет в осмыслении сущности экологических проблем произошли серьезные изменения. Ушли в прошлое наивные надежды на осуществление принципа «малое – прекрасно» или перехода к «экономике с нулевым ростом». Они сменились более умеренными призывами к экологической модернизации и внедрению новых технологий, способных разрешить некоторые экологические проблемы. Автор

подчеркивает, что за теми или иными вариантами действий, призванных предотвратить радикальные изменения климатической системы, стоят различные группы интересов, и задача социологов состоит в серьезном изучении этих групп. В частности, исследования У. Фрейденбурга[1] показали, что значительная часть экологического ущерба и, в частности, эмиссии парниковых газов вызвана действиями ограниченного числа бизнес-акторов, которые имеют непропорционально большие возможности влиять на принятие политических решений. В связи с этим Бречин высказывает предположение, что исследования влиятельных групп интересов, расового, классового и гендерного неравенства, экологического движения, социальных последствий негативного воздействия на окружающую среду и т.д. имеют гораздо больше оснований претендовать на внимание социологического мэйнстрима, чем климатическая проблематика.

Бречин скептически относится к утверждению Левер-Трейси о том, что сейчас, в преддверии планетарных климатических изменений, наступил наилучший момент для нового значимого вклада социологии в исследование общества. По его мнению, социология мэйнстрима уже активно участвует в дискуссии о социальных трансформациях. Однако на фоне неудач международного сообщества в решении задачи снижения эмиссии парниковых газов (равно как и борьбы с бедностью, неравенством, расизмом и т.д.) нет оснований ожидать каких-то решительных прорывов со стороны социологии. Таким прорывам должны предшествовать некоторые фундаментальные социальные изменения, которые станут стимулом для активизации социологических исследований. Но параметры таких изменений, которые, в частности, могли бы обеспечить успех борьбы с глобальным потеплением,

---

[1] Freudenburg W.R. Privileged access, privileged accounts: Toward a socially structured theory of resources and discourses // Social forces. – Chapel Hill (NC), 2005. – Vol. 94, N 1. – P. 89–114.

далеко еще не ясны. И алармистские предупреждения о приближающейся климатической катастрофе пока не могут изменить положения вещей. Бречин приходит к пессимистическому выводу о том, что климатическая проблематика окажется в фокусе социологического мэйнстрима лишь тогда, когда катастрофа уже произойдет. Пока же для многих более удобна поза страуса, прячущего голову в песок при приближении опасности.

Свой вклад в дискуссию о социологической релевантности проблем глобального потепления вносит и Терри Лихи, преподаватель университета Ньюкасла (Новый Южный Уэльс, Австралия) (3). Соглашаясь с озабоченностью К. Левер-Трейси, он полагает, что социальные изменения, необходимые для успешных действий по предотвращению дестабилизации климатической системы, крайне маловероятны в условиях капитализма. По сути дела, сторонники экологической модернизации капитализма, выступающие за крупномасштабные инвестиции в технологическое обновление энергетической инфраструктуры, субсидирование экологических программ и совершенствование политического регулирования, лишь формируют основу для нового раунда капиталистической экспансии.

Однако цена радикального технологического обновления может оказаться слишком высокой и привести к серьезному сокращению текущего уровня производства и потребления. Например, энергия ветра считается наиболее дешевой среди всех возобновляемых источников энергии. Вместе с тем стоимость аккумуляции и транспортировки этого вида энергии в 11 раз превышает стоимость энергии, получаемой с электростанций, работающих на каменном угле[1]. Существуют серьезные технологические трудности, препятствующие значительному сокращению этого разрыва. Общий объем

[1] Trainer T. Renewable energy cannot sustain consumer society. – Dordrecht: Springer, 2007. – P. 34.

выбросов в результате использования ископаемых энергоносителей составляет 6 гигатонн в год. Для уверенного предотвращения климатической катастрофы, подобной изменению направления Гольфстрима или высвобождению огромного количества метана в результате таяния вечной мерзлоты, необходимо сократить этот объем выбросов до 0,5 гигатонн к 2040 г. При условии равномерного распределения нагрузки между всеми жителями Земли, это будет означать, что энергозатраты на душу населения к 2050 г. должны составить 1–2% их нынешнего уровня в индустриально развитых странах. Иначе говоря, масштабы сокращения потребления будут в этом случае поистине катастрофическими. Фактическая динамика капитализма, однако, такова, что экспансия потребления продолжается как в индустриально развитых странах, так и в развивающихся странах.

Т. Лихи полагает, что в условиях капитализма невозможно добиться серьезного сокращения производства и потребления. Даже умеренные программы социальных изменений, которые предлагают «зеленые», наталкиваются на серьезнейшее сопротивление столпов капиталистического общества. Вместе с тем сегодня нет никаких оснований уповать на марксистские рецепты позапрошлого века, согласно которым основной движущей силой преобразования общественной системы станет революционный пролетариат. В отсутствие агента революционных преобразований нет шансов рассчитывать на появление альтернативы капитализму. В конечном счете, глобальный экологический кризис приведет к самоуничтожению капитализма, вслед за чем человечеству предстоит погрузиться в пучину варварства.

В своем ответе на статьи С. Бречина и Т. Лихи инициатор дискуссии отмечает, что основанная на принципе предупреждения стратегия предполагает учет наихудшего сценария (4). Однако ориентируясь только на этот сценарий,

мы рискуем оказаться парализованными перед лицом угрозы, с которой, возможно, мы еще в состоянии справиться. Поэтому К. Левер-Трейси призывает использовать те возможности предотвращения глобального потепления, которыми человечество в настоящее время располагает. Она указывает на значительные сдвиги в общественном мнении и в освещении СМИ проблем климатических изменений. Сегодня те, кто продолжает отрицать опасность глобального потепления, все чаще воспринимаются как экстремисты. Соответственно и индустриальное лобби все реже обращается к услугам «климатических скептиков», предпочитая искать компромисс со сторонниками решительных мер по сокращению выбросов парниковых газов. Значительная часть крупного бизнеса относит к сфере своей корпоративной ответственности добровольные обязательства по снижению эмиссии этих газов, а также инвестированию в проекты, направленные на восстановление экосистем, способных «связывать» углеродосодержащие вещества. В конце концов, даже такие противники Киотского протокола, как Дж. Буш и Дж. Ховард, были вынуждены декларировать свою приверженность действиям по предотвращению глобальных климатических изменений.

Левер-Трейси считает, что пределы повышения энергоэффективности мировой экономики далеко не достигнуты, а инвестиции в новые технологии использования возобновляемых источников энергии позволят значительно снизить ее себестоимость. Таким образом, технический прогресс, не будучи панацеей, является необходимой составляющей успешной борьбы с глобальным потеплением.

Левер-Трейси критически оценивает позицию Т. Лихи, который считает непреодолимой взаимозависимость между капиталистическим производством и потреблением. Она обращает внимание на то, что в ходе Второй мировой войны значительный рост производства и практически полная занятость были

достигнуты при одновременном сокращении потребления за счет мер экономии и рационирования. Послевоенная гонка вооружений также способствовала росту производства и высокой занятости, хотя создаваемая в этом секторе продукция не попадала в сферу потребления. Левер-Трейси полагает, что и технологическое обновление в целях борьбы с экологическим кризисом совсем не обязательно приведет к крушению капитализма. В этом случае, разумеется, будут свои выигравшие и проигравшие, но произойдет не коллапс мировой экономики, а переход к некоторой качественно новой фазе социального развития. По всей вероятности этот переход приведет к отказу от нынешней идеологии свободного рынка и безудержного консумеризма.

Возвращаясь к основной теме начатой ей дискуссии, Левер-Трейси отмечает, что социология, разумеется, не может претендовать на квалифицированную оценку тех сценариев климатических изменений, которые предлагают естественные науки. Однако социологи могут немало сделать в контексте изучения власти, культуры, потребительских предпочтений и стиля жизни, выступающих важнейшими факторами принятия решений по проблемам климатической политики.

Д.В. Ефременко

IN MEMORIAM: АНДРЕЙ ГРИГОРЬЕВИЧ ЗДРАВОМЫСЛОВ (1928-2009)

7 июля 2009 г. от нас ушел Андрей Григорьевич Здравомыслов, один из основоположников и истинных столпов советской/российской социологии. Несмотря на преклонный возраст, он до последнего дня трудился, поражая тех, кто его знал, недюжинной энергией и работоспособностью. Кончина его стала для многих шоком. Никто ее не ждал. Он умер внезапно, на улице, в кармане лежали билеты в театр. Конечно, он говорил в последнее время, что уже в возрасте, что многое дается уже тяжело, переживал, что не полностью оправился после инсульта, порой сетовал, что осталось мало времени, боялся не успеть довести до конца то, что считал себя призванным сделать. Но все же казалось, что его присутствие рядом – что-то само собой разумеющееся и что оно навсегда…

Андрей Григорьевич прожил трудную, до предела насыщенную жизнь, драматичную, в немалой мере трагическую, но необычайно плодотворную. Его биография неординарна. Он родился 18 мая 1928 г. Детство и юность его прошли в Ленинграде. Ему довелось в полной мере пережить на себе весь ужас блокады. Голод, дистрофия, смерть близких людей. Потом пять лет – пять лет! – в больнице с туберкулезом позвоночника. Еще не восстановив способность ходить, он поступил заочно на философский факультет ЛГУ. Окончив его в 1953 г., он проработал некоторое время секретарем комитета комсомола на ткацко-красильной фабрике им. Желябова, потом три года преподавал философию в Карагандинском горном институте. В 1956 г. он вернулся в Ленинград, где поступил в аспирантуру ЛГУ и защитил 1960 г. кандидатскую диссертацию. Ее переработанный вариант был издан в 1964 г. в виде небольшой книжки «Проблема интереса в социологической теории»; она принесла ему первую известность. Работая над диссертацией, он впервые познакомился с

западными социологическими теориями, интерес к которым сохранил до конца своих дней. Долговременное значение для него приобрел и круг проблем, связанных с категорией интереса; он занимает центральное место в более поздней его книге «Потребности. Интересы. Ценности» (1986). 60-е годы были связаны для Андрея Григорьевича с работой в Лаборатории социологических исследований в ЛГУ, которой руководил его близкий друг В.А. Ядов. Из проводимых лабораторией исследований отношения рабочих к труду вырос их совместный с Ядовым труд «Человек и его работа» (1967), ставший не просто самой известной советской социологической книгой, но и своего рода *opus magnum* советской социологии вообще (книга была почти сразу переведена на английский, немецкий и польский языки, а в 2003 г. переиздана в России со специально написанными для этого издания комментариями обоих соавторов). В первой половине 60-х произошло более близкое знакомство Андрея Григорьевича с традицией структурного функционализма, во многом повлиявшей на стиль его социологического мышления, и с классиками этой традиции Р. Мертоном и Т. Парсонсом, приезжавшими в СССР в 1961 и 1964 г. соответственно, особенно с последним. Андрей Григорьевич переводил выступление Парсонса в Ленинграде, потом с ним переписывался; он всегда дорожил этой связью, храня как дорогую реликвию фотографию, на которой его и Парсонса, еще молодых, можно увидеть вместе. Движимый интересом к этой теоретической традиции, Андрей Григорьевич подготовил к изданию знаменитый сборник «Структурно-функциональный анализ в современной социологии» (1968, вышло два выпуска из подготовленных трех), ставший на долгие годы одним из немногих источников, по которым социологи в СССР могли познакомиться с международной социологической мыслью напрямую, а не через кривое зеркало «критики буржуазной социологии». В то же время прямое соприкосновение с эмпирическим миром рабочих обострило интерес

Андрея Григорьевича к методологии эмпирических исследований. Его взгляд на нее нашел отражение в книге «Методология и процедура социологических исследований» (1969). Важной вехой в жизненном пути ученого стала также годовая командировка в Кению (1965), которая, как он сам потом вспоминал, помогла ему увидеть собственное общество как бы со стороны. В 1967–69 гг. он руководил кафедрой марксистско-ленинской философии и лабораторией социологического анализа партийной работы в Ленинградской Высшей партийной школе, но после выхода книги по методологии, в которую вразрез с негласными правилами были включены результаты исследования бюджета времени партийных работников, был вынужден уйти в Институт конкретных социальных исследований, где до 1974 г. заведовал сектором методологии и техники социологических исследований. С 1974 по 1991 г. Здравомыслов работал в Институте марксизма-ленинизма при ЦК КПСС, и в этот период – как в силу закрытости данного учреждения, так и в силу общего плачевного состояния советской социологии и ее плотного утрамбовывания – у него не было больших публикаций, за исключением книги «Потребности. Интересы. Ценности», вышедшей на фоне общего резкого ослабления идеологического прессинга.

Уже в середине 80-х репутация Андрея Григорьевича в кругу советских социологов была столь безупречной, что любые книги и статьи, написанные им, рекомендовались студентам как заслуживающие внимания. Его вклад в становление социологии как теоретической и исследовательской дисциплины в стране был столь значителен, что место в анналах российской социологии было бы ему обеспечено и без дальнейшей работы. Однако его темперамент, восприимчивость к новому, неутолимый интерес к происходящему не только не позволили ему почивать на лаврах, но, более того, последние пятнадцать лет стали едва ли не самым продуктивным периодом в его научной жизни. Распад

СССР и конфликты, вспыхнувшие на его развалинах, стали поводом для его десятилетней напряженной работы в области социологии конфликта, ставшей естественным развитием его давнего интереса к проблемам интереса и власти. В 90-е годы вышла целая серия его книг на эту тему: «Социология конфликта» (1994; дополн. издание, 1995; дораб. и дополн. издание, 1996), «Межнациональные конфликты в постсоветском пространстве» (1997, 1999), «Осетино-ингушский конфликт: Перспективы выхода из тупиковой ситуации» (1998), «Социология российского кризиса» (1999). В рамках этой общей проблематики им была предложена релятивистская теория наций. Его трудовая биография в этот период связана с РНИСНП, в котором он был директором Центра социологического анализа конфликтов.

В 1992 г. Андрей Григорьевич основал Профессиональную социологическую ассоциацию (в настоящее время Сообщество профессиональных социологов) и возглавлял ее до 2002 г. И это не было, как часто бывает, почетным президентством, еще одним официальным креслом для поднятия престижа. Напротив, А.Г. Здравомыслов рассматривал Сообщество профессиональных социологов в качестве важнейшей внутрипрофессиональной общественной организации, призванной в рамках широких дискуссий определять общие ориентиры развития нашего социологического сообщества, замерять градус его идейной «температуры» и решать проблемы профессии. Именно в рамках СоПСо Андрей Григорьевич постоянно выступал за чистоту социологического знания и профессии социологи от всякого рода идеологических примесей, консервативного традиционализма, демагогического пустозвонства. Андрей Григорьевич Здравомыслов и Сообщество профессиональных социологов во многом были и остаются тождественны.

Важное место в его профессиональной жизни занимала работа в Институте социологии и Высшей школе экономики. Достаточно поздно он пришел в сферу

активного преподавания и сразу же погрузился в самую гущу проблем университетской социологии. Прочитанные им курсы лекций по социологии конфликта входят в золотой фонд кафедры общей социологии ГУ-ВШЭ. При этом выдающийся социолог обнаружил и незауряднейший талант педагога, учителя, наставника. Андрей Григорьевич чрезвычайно высоко ценил молодые таланты и делал все, чтобы помочь молодым специалистам обрести свой голос в социологии. Для студентов, магистров, аспирантов не существовало ограничений на контакты с выдающимся ученым. Всегда и при всех обстоятельствах он встречался с ними и проводил часы в беседах со своими учениками. Такое встречается нечасто.

Последние годы научной деятельности А.Г. Здравомыслова связаны с Институтом социологии РАН. В начале 2000-х годов у Андрея Григорьевича возник острый интерес к истории российской и советской социологии, приведший к переосмыслению самой концепции истории социологии, идее социологического мышления и открытию А.И. Герцена как социолога. В Герцене А.Г. Здравомыслов видел уникальный сплав научности и гражданственности, критичности и созидательности, национальной принадлежности и включенности в международную научную культуру. Думается, что А.И.Герцен стал *alter ego* самого Андрея Григорьевича. Отсюда вырос и более широкий интерес к национальным социологическим школам, к тому, как социология существует и воспроизводится в контексте разных национальных культур. Своего рода промежуточным итогом этих изысканий стала подготовленная им в ИС РАН книга «Социология: Теория, история, практика» (2008). Продолжением этой работы стал большой проект, посвященный социологическому анализу российской социологии. Андрею Григорьевичу не удалось его завершить. Незадолго до кончины он закончил работу над очередной книгой, которая должна была перекинуть мостик от

предыдущих исследований к этому проекту, и мы надеемся, что она каким-то образом будет опубликована.

Андрей Григорьевич был одним из важных связующих звеньев между российской и международной социологией. Его имя было известно всем современным профессиональным социологам. Он участвовал в международных социологических конгрессах, был пожизненным членом Международной социологической ассоциации. В последние годы он несколько раз выезжал за границу, был в Германии, Финляндии, Великобритании. Из командировки в Германию и проведенных там интервью родилась книга «Немцы о русских на пороге нового тысячелетия» (2003). Среди всего им написанного эта книга стоит особняком; некоторые из нас считают ее одной из лучших его книг.

Помимо книг, Андрей Григорьевич оставил нам около 300 статей. Его вклад в социологию еще нуждается в осмыслении и систематизации. Сам он относил к своим основным достижениям исследование категории интереса, теорию мотивации трудовой деятельности, разработки в области социологии конфликта, релятивистскую теорию нации, разработки в сфере методологии социологического исследования и исследования соотношения разных теорий, направлений и школ (в том числе национальных) в социологии. Вместе с тем, отвечая однажды на вопрос о главных своих достижениях, он сказал: «…я считаю главным достижением то, что я избрал социологию как поприще своей деятельности»[1]. Вся жизнь Андрея Григорьевича Здравомыслова – это пример служения социологии. Он был социологом par excellence. Его биография неотделима от истории нашей социологии, а последняя не может быть адекватно и полно представлена без его имени и его вклада.

---

[1] Здравомыслов А.Г. Вехи научной биографии // Журнал социологии и социальной антропологии. – СПб., 1998. – Т. 1, № 3. – С. 12.

Уход из жизни Андрея Григорьевича стал печальным фактом. Но осознания этого события еще не произошло и едва ли произойдет. Энергия и продуктивность его научного интеллекта, обаяние личности, глубочайшая культура российского интеллигента продолжают оказывать на нас благотворнейшее воздействие. По-прежнему Андрей Григорьевич здесь, среди нас, с нами во всех делах профессиональных социологов России.

В.Г.Николаев,

Н.Е.Покровский

СВЕДЕНИЯ ОБ АВТОРАХ

Гирко Людмила Владимировна – кандидат философских наук, ведущий научный сотрудник Института научной информации по общественным наукам РАН

Гофман Александр Бенционович – доктор социологических наук, профессор Государственного университета – Высшей школы экономики, заведующий сектором социологии культуры Института социологии РАН

Ефременко Дмитрий Валерьевич – доктор политических наук, заведующий отделом социологии и социальной психологии Института научной информации по общественным наукам РАН

Ким Светлана Григорьевна – доктор исторических наук, старший научный сотрудник Института научной информации по общественным наукам РАН

Николаев Владимир Геннадьевич – кандидат социологических наук, доцент Государственного университета – Высшей школы экономики, старший научный сотрудник Института научной информации по общественным наукам РАН

Оберемко Олег Алексеевич – кандидат социологических наук, старший научный сотрудник Института социологии РАН

Покровский Никита Евгеньевич – доктор социологических наук, профессор, заведующий кафедрой общей социологии Государственного университета – Высшей школы экономики, главный научный сотрудник Института социологии РАН, член исполнительного комитета Международной социологической ассоциации, президент Сообщества профессиональных социологов России

Родригес Морато Артуро – профессор социологии, директор Центра социологических исследований искусства и культуры Барселонского

университета (Испания), вице-президент Международной социологической ассоциации

Симонова Ольга Александровна – кандидат социологических наук, доцент кафедры общей социологии Государственного университета – Высшей школы экономики, старший научный сотрудник Института научной информации по общественным наукам РАН

Соколова Марианна Евгеньевна – кандидат философских наук, старший научный сотрудник Института США и Канады РАН, докторант Института научной информации по общественным наукам РАН

Усачева Ольга Александровна – аспирант института социологии Государственного академического университета гуманитарных наук

Ушкова Екатерина Леонидовна – редактор Института научной информации по общественным наукам РАН

Ядов Владимир Александрович – доктор философских наук, профессор, декан факультета социологии Государственного университета гуманитарных наук, член Медународной социологической ассоциации, главный научный сотрудник Института социологии РАН, руководитель Центра теоретических и историко-социологических исследований Института социологии РАН

Якимова Екатерина Витальевна – кандидат философских наук, старший научный сотрудник Института научной информации по общественным наукам РАН

Яницкий Олег Николаевич – доктор философских наук, профессор, главный научный сотрудник Института социологии РАН

АННОТАЦИИ ВЫШЕДШИХ И ГОТОВЯЩИХСЯ К ПУБЛИКАЦИИ ИЗДАНИЙ ПО СОЦИОЛОГИИ

МИД ДЖ. Г. ИЗБРАННОЕ: Сб. перев. / РАН. ИНИОН. Центр социал. науч.-информ. исследований. Отд. социологии и социал. психологии; Отв. ред. Д.В. Ефременко; Сост. и переводчик: В.Г. Николаев. – М., 2009. – 16 а.л. – (Сер.: Теория и история социологии).

Джордж Герберт Мид (1863–1931) – выдающийся американский социолог и психолог, классик философии прагматизма. Признание пришло к Миду посмертно, когда ученики и сподвижники на основе неопубликованных рукописей и стенограмм лекций собрали и издали в виде сборников его фундаментальные труды. Идеи Мида оказали колоссальное воздействие на последующее развитие социальных наук, сделав его одной из самых влиятельных фигур в интеллектуальной истории XX века. На русском языке было опубликовано лишь несколько текстов Мида. В настоящий сборник включены несколько прижизненно опубликованных статей Мида и наиболее важные фрагменты из его посмертно опубликованных трудов.

Для социологов и философов, преподавателей, студентов и аспирантов вузов.

КОНЦЕПЦИЯ «ОБЩЕСТВА ЗНАНИЯ» В СОВРЕМЕННОЙ СОЦИАЛЬНОЙ ТЕОРИИ: Сб. науч. тр. / РАН. ИНИОН. Центр социал. науч.-информ. исслед. Отд. социологии и социал. психологии. Отв. ред. Д.В. Ефременко. – М., 2009. – 10 а.л. – (Сер.: Теория и история социологии).

В статьях, обзорах и рефератах анализируется теоретический потенциал и методологическое значение концепции «общества знания». Исследуется генезис этой концепции, прослеживается ее эволюция начиная с 1960-х годов и вплоть до наших дней, оцениваются возможности ее практической реализации в

сферах науки, образования, культуры, развития человеческого потенциала. Особое внимание уделяется месту представлений об обществе знания в ряду других теорий модернизации.

Сборник предназначен для социологов и философов, может быть использован в учебных целях преподавателями, студентами и аспирантами.

ИНТЕРАКЦИОНИЗМ В АМЕРИКАНСКОЙ СОЦИОЛОГИИ И СОЦИАЛЬНОЙ ПСИХОЛОГИИ ПЕРВОЙ ПОЛОВИНЫ XX ВЕКА: Сб. перев. / РАН. ИНИОН. Центр социал. научн.-информ. исследований. Отд. социологии и социал. психологии; Сост. и переводчик В.Г. Николаев. Отв. ред. Д.В. Ефременко. – М., 2010. – 18 а.л. – (Сер.: Теория и история социологии).

Представлены произведения Дж. Дьюи, У. Джеймса, У.А. Томаса, Ч.Х. Кули, Ч. Эллвуда, Р.Э. Парка, Э. Фэриса, Г. Блумера и др. Многие из них давно вошли в золотой фонд социологической и социально-психологической классики. Большинство текстов публикуются на русском языке впервые.

Для философов, социологов, психологов, преподавателей, студентов и аспирантов.